

ISSN 0130-7673

НОВАЯ МИРА

||| 3 |||

ДИИ ИИИ
НОВЬИИ

||| 1990 |||

3



1990



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1925 г.

№ 3

Март, 1990 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ — Благовещение	3
МИХАИЛ КУРАЕВ — Маленькая домашняя тайна. Из семейной хроники	9
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — В круге первом, роман. Продолжение	31
АЛЕКСАНДР РЕВИЧ — Дом на Плющихе	119
ГРИГОРИЙ МЕДВЕДЕВ — След инверсии, рассказ	122
ИРИНА ЕМЕЛЬЯНОВА — Дочери света	130
ЛЕОНИД МАРТЫНОВ — Два стихотворения. Публикация Г. Суховой-Мартиновой	140
АЛАН ЧЕРЧЕСОВ — И будет лето..., рассказ	142

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ — Статьи. Записная книжка. Составление и подготовка текста статей С. Г. Бочарова и И. П. Хабарова. Примечания к статьям С. Г. Бочарова. Публикация архивного материала и комментариев к нему С. И. Богатыревой	160
ИВАН ЕЛАГИН — Нет в мире ничего обыкновенней. Последние стихи. Публикация И. Матвеевой-Елагиной. Подготовка текста Е. Витковского. Валентина Синкевич — Последние дни Ивана Елагина	187

ПУБЛИЦИСТИКА

А. АВТОРХАНОВ — X съезд в осадное положение в партии	193
АЛЕКСЕЙ КИВА — Кризис «жавра»	206
И. БАЗИЛЕВА, П. ЭМЕРСОН — Консенсус	217

(См на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

- НАТАЛИЯ ВОВСИ-МИХОЭЛС — Мой отец — Соломон Михоэлс. Воспоминания о жизни и гибели 226

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- СЕРГЕЙ КОСТЫРКО — Подводные камни свободы 249

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

- Политика и наука* 258

Вс. Вильчек. За гребнем успеха.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

- Л. ЛЕБЕДИНСКИЙ — О некоторых музыкальных цитатах в произведениях Д. Шостаковича 262

КОРОТКО О КНИГАХ:

Михаил Золотоносов. — Ленинградская панорама. Литературно-критический сборник. ♦

Елизавета Пастернак. — Французская элегия XVIII—XIX веков в переводах поэтов пушкинской поры. ♦

Арсен Зинченко. — О Станиславе Косиоре. Воспоминания, очерки, статьи. ♦

Яков Кротов. — Н. А. Бердяев. Эрос и личность. Философия пола и любви. ♦

И. Зорич. — Г. И. Кагышев, В. Р. Михеев. Авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский 268

- КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 272

К СВЕДЕНИЮ ИЗДАТЕЛЬСТВ И РЕДАКЦИЙ

Обращаемся с просьбой ко всем советским и зарубежным издательствам, а также к редакциям газет и журналов всякий раз ставить нас в известность о намерениях перепечатать произведения, помещенные на страницах нашего журнала.

Редакционная коллегия.

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ

*

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Вода, отстаиваясь, отдает
осадок дну, и глубина яснее.

Меж голых, дочиста отмытых стен,
где глинян пол и низок свод; в затворе
меж четырех углов, где отстоялась
такая тишина, что каждой вещи
возвращена существенность: где камень
воистину есть камень, в очаге
огонь — воистину огонь, в бадье
вода — воистину вода, и в ней
есть память бездны, осененной Духом,—

а больше взгляд не сыщет ничего,—

меж голых стен, меж четырех углов
стоит недвижно на молитве Дева.
Отказ всему, что — плоть и кровь; предел
теченью помыслов. Должны умолкнуть
земные чувства. Видеть и внимать,
вкушать, и обонять, и осязать
единое, в изменчивости дней
неизменяемое: верность Бога.

Стоит недвижно Дева, покрывалом
поникнувшее утаив лицо,
сокрыв от мира — взор, и мир — от взора;
вся сила жизни собрана в уме,
и собран целый ум в едином слове
молитвы.

Как бы страшно стало нам,
когда бы прикоснулись мы к такой
сосредоточенности, ни на миг
не позволяющей уму развлечься.
Нам показалось бы, что этот свет
есть смерть. Кто видел Бога, тот умрет,—
закон для персти.

Праотец людей,
вкусив и яд греха, и стыд греха,
еще в Раю искал укрыть себя,
поставить Рай между собой и Богом,
творенье Бога превратив в оплот
противу Бога, извращая смысла
подаренного чувствам: видеть все —
предлог, чтобы не видеть, слышать все —
предлог, чтобы не слышать; и рассудок
сменяет помысл помыслом, страшась
остановиться.

Всуе мудрецы
об алмазных учили гранях,
о стенах из огня, о кривизне
пространства: тот незнаемый предел,

что отделяет ум земной от Бога,
 есть наше невнимание. Когда б
 нам захотеть всей волею — тотчас
 открылось бы, как близок Бог. Едва
 достанет места преклонить колена.

Но кто же стерпит, вопрошал пророк,
 пылание огня? Кто стерпит жар
 сосредоточенности? Неповинный,
 сказал пророк. Но и сама невинность
 с усилием на эту крутизну
 подьется.

Внимание к тому,
 что плоти недоступно, есть для плоти
 подобье смерти. Мысль пригвождена,
 и распят ум земной; и это — крест
 внимания. Вся жизнь заключена
 в единой точке словно в жгучей искре,
 все в сердце собрано, и жизнь к нему
 отхлынула. От побелевших пальцев,
 от целого телесного состава
 жизнь отошла — и перешла в молитву.

Колодезь Божий. Сдержана струя,
 и воды отстоялись. Чистота
 начальная: до дна прозрачна глубь.
 И совершилось то, что совершилось:

меж голых стен, меж четырех углов
 явился, затворенную без звука
 минуя дверь и словно проступив
 в пространстве нашем из иных глубин,
 непредставимых, волей дав себя
 увидеть,— тот, чье имя: Божья сила.

Кто изъяснял пророку счет времен
 на бреге Тигра, в огненном явьясь
 подобии. Кто к старцу говорил,
 у жертвенника стоя. Божья сила.

Он видим был — в пространстве, но пространству
 давая меру, как отвес и ось,
 неся в себе самом уставы те,
 что движут звездами. Он видим был
 меж голых стен, меж четырех углов,
 как бы живой кристалл иль столп огня.
 И слово власти было на устах,
 неотвратимое. И власть была
 в движенье рук, запечатлевшем слово.

Он говорил. Он обращался к Ней.

Учтивость неба: он Ее назвал
 по имени. Он окликал Ее
 тем именем земным, которым мать
 Ее звала, лелея в колыбели:
 Мария! Так, как мы Ее зовем
 в молитвах: Благодатная Мария!

Но странен слуху был той речи звук:
 не лепет губ, и языка, и неба,

в котором столько влажности, не выдох из глуби легких, кровяным теплом согретых, и не шум из недр гортани,— но так, как будто свет заговорил; звучание без плоти и без крови, легчайшее, каким звезда звезду могла б окликнуть: «Радуйся, Мария!»

Звучала речь, как бы поющий свет:

«О, Благодатная — Господь с Тобою —
между женами Ты благословенна —»

Учтивость неба? Ум, осиль: Того,
Кто создал небеса. Коль эта весть
правдива, через Вестника Творец
приветствует творение. Ужель
вернулось время на заре времен
неоскверненной: миг, когда судил
Создатель о земле Своей: «Добро
зело»,— и ликовали звезды? Где ж
проклятие земле? Где, дочь Евы?
И все легло на острие меча.

О, лезвие, что пронизало разум
до сердцевины. Ты, что призвана:
как знать, что это не соблазн? Как знать,
что это не зиянье древней бездны
безумит мысль? Что это не глумленье
из-за пределов мира, из-за грани
последнего запрета?

Сколько дев
языческих, в чьем девстве — пустота
безлюбия, на горделивых башнях
заждались гостя звездного, чтоб он
согрел их холод, женскую смесив
с огнем небесным кровь; из века в век
сидели по затворам Вавилона
служанки злого таинства, невесты
небытия; и молвилась молва
о высотах Ермонских, где сходили
для странных браков к дочерям людей
во славе неземные женихи,
премудрые,— и покарал потоп
их древний грех.

Но здесь — иная Дева,
в чьей чистоте — вся ревность всех пророков
Израиля, вся ярость Илии,
расторгнувшая сеть Астарты; Дева,
возросшая под заповедью той,
что верному велит: не принимать
языческого бреда о Невесте
превознесенной. Разве не навек
отсечено запретное?

Но Вестник
уже заговорил опять, и речь
его была прозрачна, словно грань
между камней твердейшего, и так
учительно ясна, чтобы воззвать
из оторопи ум, смиряя дрожь:

«Не бойся, Мариам; Ты не должна
страшиться, ибо милость велика
Тебе от Бога».

О, не лесь: ни слова
о славе звездной: все о Боге, только
о Боге. Испытуется душа:
воистину ли веруешь, что Бог
есть Милостивый? — и дает ответ:
воистину! До самой глубины:
воистину! Из сердцевины сердца:
воистину! Как бы младенца плач,
стихает смута мыслей, и покой
нисходит. Тот, кто в Боге утверждён,
да не подвижется. О, милость, милость,
как ты тверда.

И вновь слова звучат
и ум внимает:

«Ты зачнешь во чреве,
И Сын родится от Тебя, и дашь
Ему Ты имя: Иисус — Господь
спасает».

Имя силы, что во дни
Навиновы гремело. Солнце, стань
над Гаваоном и луна — над долом
Аиалон!

«И будет Он велик,
и назовут Его правдиво Сыном
Всевышнего; и даст Ему Господь
престол Давида, пращуря Его,
и воцарится Он над всем народом
избрания, и царствию Его
конца не будет».

Нет, о, нет конца
отверстой глуби света. Солнце правды,
от века чайнное, восстает
возрадовать народы; на возврат
обращена река времен, и царство
восстановлено во славе, как во дни
начальные. О, слава, слава — золото
без примеси, без порчи: наконец,
о, наконец Господь в Своем доме —
хозяин, и сбываются слова
обетований. Он приходит — Тот,
чье имя чудно: Отрок, Отрасль — тонкий
росток процветший, царственный побег
от корня благородного; о Ком
порой в загадках, а порой с неожиданным
дерзанием от века весть несли
сжигаемые вестью; Тот, пред Кем
в великом страхе лица сокрывают
Шестикрылатые —

Но в тишине
неимоверной ясно слышен голос
Отроковицы — ломкий звук земли
над бездной неземного; и слова
текут — студёный и прозрачный ток
трезвейшей влаги. Вятен в тишине,

меж голых стен, меж четырех углов
вопрос:

«Как это будет, если Я
не знаю мужа?»

— Голос человека
пред крутизной всего, что с человеком
так несоизмеримо. О, зарок
стыдливости: блюдут ли небеса,
что человек блюдет? Не пощадит —
иль пощадит Незримый волю Девы
и выбор Девы? О, святой затвор
обета, в тесноте телесной жизни
хранимого; о, как он устоит
перед безмерностью, что границ
не знает? Наставляемой мольба
о наставлении: «как это будет?» —

Дверь мороку закрыта. То, что Божье,
откроет только Бог. На все судил
Он времена: «Мои пути — не ваши
пути». Господне слово твердо. Тайну
гадания не разрешат. Не тем,
кто испытует Божий мрак, себя
обманывая сами, свой ответ
безмолвию подсказывая, бездне
нашептывая, — тем, кто об ответе
всей слезной болью молит, всей своей
неразделенной волей, подается
ответ.

И Вестник говорит, и вновь
внимает Наставляемая, ум
к молчанию понудив:

«Дух Святой —
тот Огонь живой, что на заре времен
вital над бездной, из небытия
тварь воззывая, возгревая вод
глубь девственную, — снидет на Тебя;
и примет в сень Свою Тебя, укрыв
как бы покровом Скинии, крыла
Шехины простирая над Тобой,
неотлучима от Тебя, как Столп
святой — в ночи, во дни — неотлучим
был от Израиля, как слава та,
что осияла новозданный Храм
и соприсушной стала, раз один
в покой войдя, — так осенит Тебя
Всевышнего всеизяждущая сила».

О, сила. Тот, чье имя — Божья сила,
учил о Силе, что для всякой силы
дает исток. Господень ли глагол
без силы будет? Сила ль изнеможет
перед немислимим, как наша мысль
изнемогает?

Длилось, длилось слово
учительное Вестника — и вот
что чудно было:

ангельская речь —
как бы не речь, а луч, как бы звезда

глаголющая — что же возвещала она теперь? Какой брала пример для проповеди? Чудо — о, но чудо житейское; для слуха Девы — весть семейная, как искони ведется между людьми, в стесненной теплоте плотского, родового бытия, где жены в участи замужней ждут рождения дитяти, где неплодным лишь слезы уготованы. И Дева семейной вести в ангельских устах внимала — делу силы Божьей.

«Вот

Елисавета, сродница Твоя,
бесплодной нарицаемая, сына
в преклонных летах зачала; и месяц
уже шестой ее надеждам».

Знак

так близок для Внимающей, да будет
Ей легче видеть: как для Бога все
возможно — и другое: как примера
смирение — той старицы стыдливо
таимая, в укроме тишины
лелеемая радость — гонит прочь
все призраки, все тени, все подобья
соблазна древнего. Недоуменье
ушло, и твердо стало сердце, словно
Господней силой огражденный град.

И совершилось то, что совершилось:

как бы свидетель правомочный, Вестник
внимал, внимали небеса небес,
внимала преисподняя, когда
слова сумела выговорить Дева
единственные, что звучат, вовеки
не умолкая, через тьму времен
глухонемую:

«Се, Раба Господня;
да будет Мне по слову Твоему».

И Ангел от Марии отошел.



МИХАИЛ КУРАЕВ

*

МАЛЕНЬКАЯ ДОМАШНЯЯ ТАЙНА

Из семейной хроники

Подайте мой мотор. Шоффер, на Острова!

И. Северянин

Что за причуда — использовать нынешнее небывалое еще время, когда почти официально разрешена даже некоторая озлобленность против начальства, обрушиваться всей силой, всей мощью припасенных художественных средств на коровьего акушера в отставке, бывшего ветеринарного врача Владимира Петровича, обращая общественное внимание на его жестокий и неприглядный нрав! И это сегодня, когда вместе с масками с лиц, почитавшихся многие годы благодетелями человечества, летят прочь пенсне, усы, брови, кокарды, лампасы и звезды целыми созвездиями! И это в наши несчастные дни, когда повсюду вдруг обнаружилось такие силы, о существовании которых еще каких-нибудь сорок — пятьдесят лет назад и помыслить было бы небезопасно. Где же таились они, эти силы? где накапливались? зрели, наливались?.. Ведь на невозмутимой поверхности подернутого ряской бытия царило безграничное послушание, молчание и дисциплина?..

Что ж, если не потянут мои худосочные герои, провиснет сюжет, не вытанцуется слог, ускользнет мысль и глухо прозвучит чувство, вещь должна уцелеть и пробить себе дорогу хотя бы как прогрессивная и потому похвальная попытка спасти от захирения и увядания старинный и почтенный жанр.

Среди всех существовавших доньше хроник предлагаемая семейная хроника обладает единственным, но несомненным достоинством — краткостью! И это вовсе не заслуга автора, это заслуга нашего замечательного времени, когда сроки, отпущенные на существование семьи, измеряются не только короткими годами — если бы так! Не только недлинными месяцами — и это куда ни шло! Если допустить, что где-то на земном шаре или во вселенной, а может быть, и за ее пределами есть семья такой прочности и такой продолжительности существования, каковые мы не можем даже представить своим умом, ограниченными пределами обозреваемого космоса, то так же смело можно предположить, что есть семьи, способные изумить всякого краткостью своего существования.

Излагая в полном объеме краткую историю семьи Владимира Петровича, каковая является лишь фрагментом семейной хроники Тебенковых, любознательным людям будут сообщены сведения о жестоком поступке ветеринарного врача, будет изображен сам ветеринарный врач и его жертва, место действия, пейзаж, когда по известным ныне причинам и более значительные события были не способны всколыхнуть дремавшие гражданские чувства; при этом все будет описано сугубо кратким и правдивым пером, без пристрастия, с подобающей скромностью.

Ни тираны, ни изверги, ни злые духи, то там то сям бравшие под свою опеку все, что охватывала их рука, любовь, взор и мысль, не коснулись ни Марии Адольфовны, ни Владимира Петровича, и поэтому оба героя должны быть отнесены к разряду безусловно второстепен-

ных в рассуждении происшедшей всемирной истории, а принимая во внимание возраст, род занятий и вообще так никому, в сущности, и не понадобившуюся жизнь, их также следует отнести к разряду героев исторически бесперспективных, с точки зрения прекрасной своими неожиданностями истории человечества, которая еще поджидает своего часа в непроглядной дали времен.

В наши невероятные дни, когда почти отменена ненависть к бесцензурному слову, мысли, свободе, когда каждый думает все что придет ему в голову, когда каждому дозволено считать себя не глупей некоторых,— в это самое время отвлекать общественное внимание на коровьего лекаря и его семидесятиоднолетнего невесту, быть может, дело совершенно предосудительное, удаляющее людей доброй воли от забот прогрессивных и не терпящих отлагательств.

Заботиться же о Марии Адольфовне и тем более о Владимире Петровиче не надо, поскольку даже ко времени излагаемых событий они уже одной ногой стояли в могиле, а в нынешние времена, надо думать, природа помогла им сделать тот неизбежный и завершающий шаг, по важности своей в жизни человека сравнимый лишь с рождением. И с прямотой и откровенностью, продиктованными нашими несчастными днями, следует сказать о том, что ни Марию Адольфовну, ни тем более Владимира Петровича отнести к людям доброй воли никак нельзя. Просто невозможно припомнить, чтобы за последние пятьдесят — шестьдесят лет они сделали что-нибудь примечательное для ускорения жизни на извилистых, а местами и политых кровью, путях прогресса. И вообще не припомнишь, делали ли они хоть что-нибудь по доброй воле.

В ветеринарный техникум, как известно, Владимир Петрович попал не по доброй воле. Глубокие социальные корни — сын врача и конторской служащей с фабрики Мельцера — не позволили Владимиру Петровичу оторваться от своего недоброкачественного происхождения и проникнуть незамеченным в медицинский институт, как он того страстно желал. Не помогло и письмо наркому товарищу Семашко с напоминанием о заслугах отца Владимира Петровича, не однажды успешно врачевавшего пострадавших в сражениях гражданской войны бойцов и командиров Красной Армии. Отвергнутый стойкой в своих классовых убеждениях приемной комиссией как элемент, социально чуждый новому обществу, Владимир Петрович, исполненный сострадания ко всякой живой твари и лишенный права милосердствовать роду человеческому, удовольствовался возможностью пройти в еще не поставленный на строгую социалистическую ногу ветеринарный техникум и пользоваться мелкий и крупный скот и всяческих животных из домашнего сословия.

По доброй ли воле большую часть своей подзатянувшейся жизни Мария Адольфовна прослужила стрелком вооруженной охраны на материальном складе станции Кунгур? Семейная хроника сохранила достоверный ответ и на этот вопрос, и он прозвучит в полную силу в нужное время в припасенном для этого месте. А пока же надо честно и прямо сказать, что и за час и за минуту до принятия столь важного для всей ее последующей жизни решения не думала и не мечтала Мария Адольфовна, урожденная пани Сварецка, встать под ружье на долгие годы...

Прежде чем приступить к делу основательно — с пейзажем, погодой, с визгом трамвайных колес на повороте, поскольку Мария Адольфовна ехала в загс на трамвае, петлявшем у гренадерских казарм и летевшем как стрела по улице Братства, в то время как Владимир Петрович катил из своих Озерков на двадцатке напрямик до бывшего учительского института, где разместился райком, а рядом в краснокирпичном здании казарменного типа приютились загс и бюро по обмену квартир,— так вот, прежде чем пуститься в эти лаконичные

зарисовки, подтверждающие истинность излагаемых событий, надо кратко и сжато изложить всю историю разом и сообщить ее смысл.

Итак, ему было семьдесят ровно, и он стоял одной ногой в могиле, ей же всего за три дня до свадьбы исполнился семьдесят один. Они поженились настоящим порядком, официально, со штампом в паспорте, соответствующей записью и сердечными поздравлениями от дежурного депутата райсовета. Мысли депутата, не высказанные вслух, не будут изложены и позже. Родилась новая и, стало быть, в известном смысле молодая семья. Жить бы им и жить, совет да любовь, а все пошло совсем по-другому, потому что по завершении официальной церемонии Владимир Петрович поступил жестоко. Сразу после этого Мария Адольфовна уехала в свой Кунгур, который, впрочем, своим так никогда и не считала, и больше своего жениха, то есть мужа, и в глаза не видела.

Смысл этой истории серьезный и нравоучительный: плохая штука — жестокость. Как бы все могло замечательно и прекрасно сложиться, и дальний план Клавдии Степановны мог бы осуществиться в полной мере... Так нет же!

После того, как история изложена в самом кратком виде и обозначен ее смысл, можно приступить и непосредственно к хронике как таковой. Рассказ будет постоянно тяготеть к вышеупомянутой свадьбе, не отвлекаясь сообщениями о том, как она, Мария Адольфовна, похоронила собственноручно троих своих детей и мужа, или рассказом о бонбоньерке с шоколадом, не будет подробных картин и сцен, где можно было бы пронаблюдать, как собираются в молодежном общезитии старички, чай пьют, разговаривают...

Правила хорошей семейной хроники требуют прежде всего разъяснения, кто же такая эта загадочная Мария Адольфовна, урожденная пани Сварецка, и, главным образом, как это она опять очутилась в середине пятидесятих годов в городе Ленинграде, хотя это ее появление не отвечало государственными интересам. Прибыла она из Кунгура, куда уехала во время войны из Ленинграда, не то чтобы сама вот так взяла и уехала, просто с точки зрения людей, мысливших государственно, оставлять во время войны в городе, готовившемся к схватке с врагом, лиц с таким отчеством представлялось небезопасным.

Пани Сварецка, едва начались бомбардировки города, была тут же вызвана на Дворцовую площадь, носившую в ту пору имя убитого на этой площади Моисея Соломоновича Урицкого; решительный молодой человек с двумя шпалами в петлице безукоризненной гимнастерки попросил у нее паспорт, едва взглянул на сделанные в паспорте записи, на глазах у Марии Адольфовны ловко, без видимых усилий порвал полуматерчатую ткань обложки и бросил в стоящую рядом урну, уже заполненную наполовину такими же никуда не годными документами. После этого Марии Адольфове без объяснений была вручена справка и категорическое предписание немедленно покинуть город. Так в начале августа сорок первого года с быстротой и удобствами, о которых не могли и мечтать сотни тысяч горожан, устремившихся в эвакуацию, пани Сварецка покинула еще не знавший о своей судьбе Ленинград.

Высаженная согласно предписанию сдержанного молодого человека с двумя шпалами на деревянном перроне станции уральского городка, славящегося своими мягкими, для резьбы камнями и жесткими на вид и чуть грубоватыми в действительности нравами горожан, польская леди, не обремененная особенным багажом, кроме швейной машинки в одной руке, чемодана в другой и вещмешка за спиной, сразу с поезда шагнула в первую попавшуюся дверь. Дверь оказалась дверью отдела кадров станции, где ей было немедленно предложено место в охране материального склада, поскольку настоящие стрелки вот-вот должны были покинуть свои посты по мобили-

зации... Представьте себе, она согласилась с легкостью, которая может показаться даже легкомыслием, однако трезвый, практический ум пани Сварецкой рассчитал получше Генерального штаба, что полчища оккупантов двинутся по советской земле значительно быстрее, чем ее поезд от Ленинграда на Урал, а стало быть, Красной Армии выгнать их до зимы навряд ли удастся, следовательно, ей понадобится зимнее пальто. Выехав из Ленинграда в легкой летней одежде, она не имела и каких-либо особых денег, если не считать свалившихся как с неба ста шестидесяти трех рублей. В последнюю минуту ей успела вернуть долг Софья Валериановна, умудрившаяся найти Марию Адольфовну на перроне Московского вокзала в эвакуационной сутолоке и неразберихе. Принимая предложение инспектора по кадрам станции Кунгур, пани Сварецка соблазнилась не столько возможностью встать под ружье, полагавшееся ей по службе, хотя мысль о том, что ненавистные боши, дойдя до Урала, наткнутся и на ее штык, приятно волновала грудь, — нет, как раз не волнением, а покоем и уверенностью в завтрашнем дне было сообщение инспектора по кадрам о месте в общежитии и форменной одежде летнего и зимнего образца с удержанием из зарплаты всего лишь пятидесяти процентов ее стоимости. На такой прием, на такую встречу в далекой и несколько чужой земле пани Сварецка рассчитывать не могла. Видя столько кругом неустройства, бедности и непорядка, Мария Адольфовна не ждала и тем более не требовала от властей, запутавшихся в дележе весьма, в общем-то, ограниченных благ, своей доли счастья и благополучия. Судьбой своей в эту минуту и в последующие годы была довольна, а что рассказывать о счастливых людях, только читателей дразнить да раздражать собственную нездоровую печень завистью.

Где-то в середине пятидесятых годов Мария Адольфовна появилась в Ленинграде в синем берете, украшенном эмалевой мишенью со скрещенными винтовками; на удивленный взгляд Тебеньковых, прибывших на тот самый перрон Московского вокзала на этот раз для встречи, Мария Адольфовна пояснила, что в форме чувствует себя на транспорте значительно уверенней.

Жила Мария Адольфовна в Ленинграде у Алексея Андреевича Тебенькова, поскольку он был хотя и не в прямом, но все-таки в родстве с Гильдой Вильгельмовной, а брат Гильды Вильгельмовны, умерший до войны, разумеется, до первой мировой, был в свое время женат на племяннице мужа сестры матери Марии Адольфовны, то есть, если говорить строго, являвшейся в какой-то мере даже сестрой Марии Адольфовны. И это все свято помнили и принимали Марию Адольфовну у Тебеньковых как родную отчасти и оттого, что дядя Адольф, которого никто из Тебеньковых никогда не видел и видеть не мог, поскольку в 1913 году дядя Адольф в городе Лодзь жил и застрелился, все-таки был женат на племяннице мужа сестры достопочтенной мамы Марии Адольфовны. Примешивалась сюда и иная благодарность — за то, что в 1931 году, когда молодой Алексей Андреевич приехал из Воронежа в Ленинград учиться, жил он, пользуясь не прямым, но все-таки родством, у Марии Адольфовны на Морской, в той единственной комнате, что сохранилась у нее от неплохой квартиры, где жила в свое время одна большая семья. Шесть лет прожил Алексей Андреевич с Марией Адольфовной, можно сказать, бок о бок, пока работал на «Электросиле» монтером, а вечером мотался в Политехнический институт.

Принимали Марию Адольфовну еще и потому хорошо, что дети Алексея Андреевича не видели ни бабушек своих, ни дедушек. Обе бабушки дотянули только до блокады, одна до декабря, другая до февраля, а дедушки умерли еще до войны, и поэтому Мария Адольфовна, с ее пышной шевелюрой, к которой множеством шпилек крепился военизированный берет, с ее старыми манерами, с ее привыч-

кой ко всем обращаться на «вы», с ее неистребимым польским акцентом, вся она была для детей Алексея Андреевича вроде как бабушка. Детям было уже за двадцать, младший умудрился, несмотря на протесты родителей, жениться, но оба сына громогласно утверждали, что обрести бабушку и на старости лет все-таки приятно.

Марию Адольфовну считали в семье вполне своим человеком, поэтому при ней ругались и ссорились, чего при посторонних, как известно, не позволяется.

Однажды, когда младший сын очередной раз вогнал мать в слезы, Мария Адольфовна, утешая Клавдию Степановну, у которой все из рук валялось, сказала нараспев:

— Хорошо, что я своих еще маленькими похоронила и слез от них не видела...

То ли для утешения так сказала, то ли пошутила. Детей своих она вспоминала совсем не часто, чрезвычайно редко, как и всю ту жизнь, что едва угадывалась в далеком, довоенном прошлом, а вот бонбоньерку с шоколадом вспоминала часто. Старший брат Марии Адольфовны работал в Петрограде на фабрике «Торнтон» мастером по крашению тканей. Однажды старший брат пригласил в ресторан Марию Адольфовну, и отца, и мать, и других сестер, и брата Рудольфа. Был обед. А после обеда подали бонбоньерку с шоколадом, и обед этот очень часто вспоминала Мария Адольфовна, гораздо чаще, чем город Лодзь или город Штеттин, где семья успела пожить перед войной, перед первой мировой, разумеется.

Как у Тебеньковых обед хороший да веселый, так она обязательно в конце вспомнит про бонбоньерку, а обеды такие случались у Тебеньковых не редко.

Приезжала Мария Адольфовна в Ленинград не часто, раз в три года примерно, но жила подолгу, месяца два-три, а последний раз почти полгода. И дело вовсе не в сроках семи рублевых пенсий, которая там, в Кунгуре, за три месяца набегала в изрядную сумму, — дело в том, что всякий раз становилось все трудней найти подходящий мотив, причину и объяснение отъезда Марии Адольфовны обратно в Кунгур, в свое родное молодежное общежитие, где вечерами допоздна играют в пинг-понг, смотрят по телевизору передачи из Перми и стремятся утвердить свой музыкальный вкус и права своего музыкального кумира не только у себя в комнате, но и в коридоре и на всем этаже, устраивая соревнования громкости приемников, проигрывателей и магнитофонов, хотя в ту пору магнитофонов было всего два на все общежитие. Жила в общежитии Мария Адольфовна вместе с напарницей, тоже пенсионеркой, в той самой комнате, что была оборудована под жилье самой Марией Адольфовной в конце лета и начале осени 1941 года...

Вообще-то Мария Адольфовна разместилась в общежитии очень хорошо, очень удачно. То есть сначала, как бы временно, ей были предоставлены апартаменты в виде бывшей умывальни, вот уже два года по своему прямому назначению не использовавшейся; превратить ее в жилое помещение тоже не представлялось возможным по причине отсутствия печки, предмета в условиях южного Урала необходимого. Впрочем, если бы эта умывальня в молодежном общежитии была оборудована как следует, навряд ли из нее удалось бы соорудить очень приличное жилье всего лишь двумя женскими руками в весьма короткий срок. Но умывальня была устроена тяп-ляп.

В конце-то концов! Не те времена, чтобы делать тайну из вопроса, почему все-таки закрыли умывальню. Дело в том, что умывален на первом этаже было две, в торцах длинного коридора этого изрядного двухэтажного деревянного здания. И в них с улицы лезли, не воры, конечно, а те самые посторонние лица, присутствие которых в стенах и под крышей молодежного общежития категорически запрещено

правилами внутреннего распорядка и правилами нравственности. У коменданта, располагавшего всего лишь двумя ногами, причем одна была деревянной, не было возможности драться с наседавшими врагами режима на двух фронтах одновременно. Сначала комендант принял историческое решение — закрыть южную умывалку в порядке временной воспитательной меры, но мера оказалась недостаточной эффективной, и про закрытую умывалку забыли. Пылкого ума читатель, разумеется, спросит, почему же нарушители режима не лезли непосредственно в окна жилых комнат хотя бы первого этажа. Вопрос серьезный. И ответов может быть сразу несколько. Ну, во-первых, в условиях климата Южного Урала окна жилых помещений тщательно заделываются и утепляются на значительную часть года и открывать их непрерывно значит попросту рисковать здоровьем всех ради сомнительного удовольствия немногих. Во-вторых, комната, уличенная в нарушении самого основополагающего правила внутреннего распорядка, могла вся разом лишиться права на койку, права на заслуженный отдых после трудового дня; были случаи, когда отправлялись искать жилье в частном секторе целыми комнатами, а в городе, забитом выковырянными, как в шутку назывались эвакуированные, найти жилье и за хорошие деньги было непросто... Иное дело гость, пролезший в окно умывалки! Ему грозит всего лишь изгнание в случае поимки, и никаких санкций на тех, кто, затаив дыхание, ждал гостя.

Не понадобилось ни великих средств, ни огромных усилий, чтобы запущенный чулан превратить в превосходное жилье, даже как бы в отдельную квартирку почти со всеми удобствами. И то, что раньше было недостатком, обернулось значительным достоинством! Например, полы были деревянные крашенные, для туалетной — плохо, а для квартирки — клад! Из трех раковин, укрепленных вдоль правой внутренней стенки, действовала лишь одна, первая от двери, что было неудобно в смысле толкучки и очереди, но когда Мария Адольфовна, действуя шведским ключом и небольшим ломиком типа фомки, разобрала и выкинула две недействующие, то первая у двери оказалась совершенно на месте, да еще освободилось место и для плиты. Набрав на станции цемента из порванных при разгрузке мешков и прихватив ведро песка, предназначавшегося для тормозных песочниц паровозов, она за один вечер так заделала стенку, что и следов от утративших свой смысл раковин не осталось. О том же, как появилась в этой части обживаемой территории плита, ходили легенды. И даже в три колена жестяная труба, протянувшаяся от плиты почти через все жилье, способствовала дополнительному обогреванию помещения. Перегородка, сооруженная из отслуживших свое линиях транспарантов «Берегись поезда!», «Хождение по путям опасно!», «За курение на территории нефтесклада — под суд!» и известного высказывания товарища Молотова: «Все дороги ведут к коммунизму!» — была укреплена дополнительной фанерой и оклеена с обеих сторон поверх газет роскошными обоями.

В течение трех недель, что Мария Адольфовна с муравьиным упорством и большевистской решительностью чуланную нежить превращала прямо-таки в хоромы, комендант общажения почти непрерывно участвовал в проводах своих бывших подопечных и постояльцев на фронт и потому трезвым почти не был. Однажды, протрезвев, он вспомнил, что «вохровская тетка», так она числилась в его своеобразной памяти, не устроена и надо что-то решать, нашел ей место в шестикоечной комнатке и со счастливой вестью приковылял к бывшей умывалке. Не веря своим глазам, он обозрел как бы отдельную квартирку из кухни и спальни-гостиной, мгновенно прикинув, что, кроме полагающегося шкафа, можно поставить еще и вторую койку. Так Мария Адольфовна получила к себе в компаньонки Сусанну Яковлевну, женщину тихую, приветливую и одинокую, занесенную

в Кунгур шальным военным ветром. С лица Сусанны Яковлевны никогда не сходила такая как бы полуулыбка, которой она словно просила прощения за свой небольшой горбик, горькой поклажей лежавший на ее узкой спине с раннего детства. Сразу же приняв старшинство решительной и ясной Марии Адольфовны, Сусанна Яковлевна, несмотря на то, что была старше Марии Адольфовны лет на пять, взяла безропотно роль младшей сестры. Надо сказать, что комендант, человек совестливый и грубый только по долгу службы, чувствовал себя несколько неуютно, сознавая, что не принял участия в устройстве жилья на территории умывалки, что могло пойти лично ему в плюс как инициатива по уплотнению, и потому хотел внести и свою лепту. Дополнить новое жилье удобствами у него попросту не хватало фантазии, и оставалось только что-нибудь сохранить из того, что еще не было выкорчевано твердой рукой польской леди. Невыкорчеванной оставалась только решетка на окне, та самая много-страдальная решетка из арматурной проволоки, множество раз гнутая, отрывавшаяся, прибавившаяся скобами и барочными гвоздицами, вареная-перевареная... «Нас не украдут!» — ударяя на «а», сказала Мария Адольфовна, требуя снять решетку. Комендант не оплошал, он плотно подступил к Марии Адольфовне, резко оглянулся на притихшую на своей койке Сусанну Яковлевну и, почти не разжимая губ, быть может только для того, чтобы сдержать предательский дых, зловеще произнес: «До особого распоряжения...» Это признание можно было понимать многообразно: то ли комендант ждал на этот счет указания из далекой Москвы, то ли из местных органов, громко, вслух не именуемых, то ли намекал на особые мотивы, связанные с подселенной жиличкой, — в общем, это был тот самый голос и тон, который безошибочно позволял каждому понять значительность сказанного и самому подобрать объяснение для любой, даже ляпнутой с полухмеля глупости. Зная, что «такое» зря не говорится, Мария Адольфовна с решеткой смирилась, а после того как в общежитие трижды проникали уже не романтические поклонники юных затворниц, а самые натуральные расконвоированные зэки, в немалом числе объявившиеся в Кунгуре, вопрос о решетке на окне первого этажа Марией Адольфовной и Сусанной Яковлевной, разумеется, не поднялся...

Служба в вооруженной охране, имея в виду многие ее преимущества, не особенно тяготила Марию Адольфовну; относясь к любому делу серьезно и уважительно, сознавая его необходимость в общей цепи человеческих забот, в чем в полной мере обнаруживала себя подлинно европейская традиция, она сравнительно легко привыкла к своему положению...

У Тебеньковых жалели, что Мария Адольфовна так далеко живет одна, и все время говорили, чтобы переезжала в Ленинград, но все было сложно. Бурный и прямой Алексей Андреевич, как и подобает руководителю его ранга, так прямо и объявил: «Ну что вы там, в своем общежитии, сидите, смерть поджидаете?!» Мария Адольфовна только смеялась.

Комната на Морской, где она жила до войны и где квартировал в свое время юный в ту пору Алексей Андреевич, во время войны пропала. Дом уцелел, а комната пропала. Вернуться после эвакуации, вернуться все-таки без ленинградского паспорта, стало быть, сначала выхлопотать паспорт, потом хлопотать о площади, о прописке, — это какое же надо иметь здоровье, или какие деньги, или хотя бы знакомства. Ни первого, ни второго, ни третьего у Марии Адольфовны не было. А чтобы прописаться у Тебеньковых, хотя площадь и позволяла, нет оснований. Не скажешь начальнику паспортного стола, что муж племянник мужа сестры Гильды Вильгельмовны, дядя Адольф, был прекрасный человек, хотя и застрелился в 1913 году в городе Лодзь.

Сначала Мария Адольфовна побаивалась подолгу жить без прописки у Тебеньковых, а в последний раз зажила. Немалую роль в этом продолжительном гостевании, конечно, играла Клавдия Степановна. В хронике Тебеньковых, изобилующей семейными кризисами разного масштаба и полета, середина шестидесятых годов будет обозначена как эпоха «игры вслепую». Игра эта не имеет ничего общего с шахматами, так как там все просто, нужно иметь хорошую память и помнить свои ходы и ходы соперника. В этой же игре, что вела Клавдия Степановна, ей приходилось делать ходы, не зная наверняка, что там еще совершил или только еще собирается совершить, какой еще ход сделает ее размашистого нрава супруг. Семейные узы, скрепленные детьми, сильно ослабели, после того как дети выпорхнули из родительского гнезда, один к жене, другой на недалежную стройку, где-то на Свири, соблазненный не столько перспективами инженерного роста, сколько возможностью отдохнуть от семейного деспотизма. Дом как бы опустел. И как ни старалась Клавдия Степановна заполнить его праздниками выдуманскими и настоящими, как ни старалась нагрузить и самого Алексея Андреевича заботами по благоустройству и совершенствованию среды обитания, даже приобретение «„Москвича“-стиляги», съедавшего немало свободного времени Алексея Андреевича, не давало Клавдии Степановне возможности чувствовать себя спокойно. В сущности, Клавдию Степановну ее природное чутье и на этот раз не подвело, когда она рассудила, что старики могут вполне заменить детей, если рассматривать их как элемент крепления семейных устоев.

Нельзя поручиться, что именно этими словами, именно так понимала Клавдия Степановна сложившуюся к середине шестидесятых годов ситуацию, но разве дело в словах?..

...Был чудесный июньский день. Ему предшествовало прекрасное утро, обещавшее исключительно хорошей денек и, надо сказать, сдержавшее свое обещание.

Клавдия Степановна, человек, убежденный в том, что ленинградцы, в отличие от прочего человечества, есть люди, исполненные тонких чувств и, главным образом, тонких предчувствий, в это утро еще раз подтвердила верность своим убеждениям. Какое-то... зачем какое-то? — именно ленинградское предчувствие подсказало ей завидной решительности поступок.

— К черту обед! — сказала эта женщина, в общем-то Бога побаивавшаяся и задабривавшая его куличами. — К черту кастрюли! Конца всему этому не будет... Такой день, солнце... Поехали на Острова? Вернемся — что-нибудь сообразим по-быстрому. Я думаю, рыбу возьмем на углу Куйбышева и Чапаева, а сосиски купим у нас в гастрономе.

— Леша пробил воротничок на двух рубашках переставить, — нараспев и даже сердито сказала Мария Адольфовна. — Как же я могу ездить на Острова?

Прожив всю жизнь среди русских, Мария Адольфовна все-таки ударения во многих словах ставила по-своему, и потому речь ее была всегда особенной.

— Хватит этой каторги! — помолодев от собственной решительности, сказала Клавдия Степановна. — Едем!

Если бы Клавдия Степановна стала и дальше убеждать Марию Адольфовну в необходимости отдохнуть и развяться, то навряд ли она одержала бы верх. Но она просто скинула шлепанцы и решительно пошла причесываться к зеркалу. Мария Адольфовна, что-то сердито ворча под нос, но достаточно неразборчиво, чтобы не завязалась дискуссия, тоже приступила к сборам.

Поездка на Кировские острова, излюбленное место отдыха трудящихся, была бы вполне симпатичной прогулкой двух беглецов с

домашней каторги, если бы с самого начала поездке этой не сопутствовала излишняя доля деловитости, ощущение смелости и дерзости предприятия, не покидавшее Клавдию Степановну.

Будь я живописец и будь у меня под рукой холст и порядочные краски, мне не составило бы труда в этом месте написать картину, отражающую именно то настроение, каковым необходимо проникнуться читателю хроники, прежде чем он окажется на Кировских островах. Впрочем, нет нужды тужить об отсутствии красок, холста и умения делать картины, необходимая картина уже сделана и принадлежит кисти художника И. Левитана, называется «Золотая осень» и известна по множеству репродукций как на изделиях фабрики «Северное сияние», так и на изделиях фабрики имени Микояна. Почему же трамвайная остановка на пыльном проспекте, клубящийся в жаре каменный город, грохотом и зноем напоминающий цех железодельного завода, должен навевать чувства, запечатленные на картине «Золотая осень»? И дело происходит в июне...

Взгляните сами: солнце залило горячим светом весь город и всю природу, а две женщины, одна просто пожилая, а другая даже очень пожилая, чтобы не сказать старая, словно разом помолодев, бросились к солнцу, и безумное предчувствие счастливой будущности засияло им вдруг радужными цветами... а когда уставшая жить без надежды природа встречается с солнцем, ярким и щедрым, и радуется этой встрече, душа как раз и наполняется настроением, столь счастливо высказанным на картине И. Левитана «Золотая осень».

По садам и дворам отцветала спасаяся и уцелевшая в городе черемуха, оставляя на газонах и тротуарах белые наметы. Наблюдавшееся к этому времени в мире животных отставание в сроках прилета насекомоядных уже стало выправляться. Это были последние годы гнездования ласточек касаток в городе; не умея добыть себе и детям корм вверху, они носятся в поисковом полете низко над землей, где и находят свою единственную пищу — насекомую летучую мелочь. Излишне чувствительные к загрязненному воздуху и особенно выхлопным газам, уже в последующие два-три года касатки покинули город, переселившись в окрестные поселки окончательно, и больше не тревожили душу своим стремительным безудержным полетом над Марсовым полем, над могилами борцов, павших за лучшую жизнь.

Округлый мысок, разделяющий устье Средней и Большой Невки, именуется, как и множество подобных мысков, Стрелкой, но именно этот мысок обладал в представлении сверстников как Марии Адольфовны, так и Клавдии Степановны каким-то особым, неизъяснимым свойством.

Живописная панорама расстилалась перед достигшими Стрелки горожанами: прямо вид на море, вернее на мелководный залив, именуемый Маркизовой лужей в память об одном из титулованных командующих Балтийским флотом, предпочитавшим держаться недалеко от города акватории; кабельтовых в семи — девяти на траверзе Кронштадта можно наблюдать земснаряды, перегоняющие песок со дна залива в Лахту, череду столбов линии электропитания, тянувшихся через мелководье, а еще дальше темные силуэты теряющихся в солнечном мареве фортов; слева открывался вид на обширные в ту пору пустыри левобережья Средней Невки, вправо же вид на Большую Невку, шириной уступающую и Средней и Малой, и лесопилку с высоченной жестяной трубой, носившую еще на памяти Клавдии Степановны имя Алексея Рыкова...

Трудно все-таки объяснить, почему истинный ленинградец, побывав именно на этом месте, уходит отсюда отдохнувшим, посвежевшим и приобщившимся даже к чему-то большему, чем природа, красота и поэзия...

— Володя! — крикнула Мария Адольфовна.

И если сутулый гражданин с палкой в руках, семенивший мимо украшавших Стрелку каменных львов, еще не расслышал этот крик, нам надо вернуться к началу хроники и проследить последующие события со всем вниманием.

— Володя! — снова крикнула Мария Адольфовна, очень кругло произнеся оба «о».

Наконец Владимир Петрович догадался, что Володя — это все еще он, и подошел к дамам. Он был несказанно рад, встретив Марию Адольфовну и Клавдию Степановну. Клавдию Степановну он до этого не знал и был представлен.

Разговор людей, не видевшихся почти двадцать лет, очень интересен, и его легко представит каждый. Значительно важнее сказать о том, о чем не говорилось.

С какой стати стал бы Владимир Петрович напоминать Марии Адольфовне в первые минуты встречи, радостной и неожиданной, как игравали они в четыре руки! Игры эти как раз и послужили основанием для предложения со стороны Владимира Петровича и дальше играть вместе до конца своих дней; в 1934 году он сделал овдовевшей Марии Адольфовне предложение, был настойчив и жил надеждой, пока в 1936 не услышал заветное «да». А когда он приехал к Марии Адольфовне на Морскую, чтобы сопровождать ее в загс, произошло следующее.

Незадолго до прихода жениха Мария Адольфовна, утомленная всеми хлопотами приготовлений, а разделить эти хлопоты уже тогда было некому, прилегла и уснула. Она проснулась от робкого, но настойчивого стука в дверь. И робость этого стука все и решила. Она в ту же минуту представила себе Владимира Петровича, от робости поклоняющегося всем богам, а пуще всех — диете. Ей показалось, что в дверь постучалась старость. Она накинула капот и открыла дверь.

— Володя, я хочу спать, зайди как-нибудь в другой раз, — сказала Мария Адольфовна и захлопнула дверь, лишь на секунду задержав взгляд на улыбке, которую принес ей Владимир Петрович. Улыбка была такая, будто ее взяли напрокат или купили в магазине держанных вещей. Мария Адольфовна даже успела представить за эту секунду, как нес Владимир Петрович эту улыбку по улице, поднимался по лестнице, боясь уронить с лица, благодарил соседей, открывших дверь, вот этой же самой улыбкой... Быть может, если бы не эта улыбка, она вышла бы за него замуж и не захлопнула бы дверь, ведущую к счастью. Но она согласилась, дала согласие именно тогда, когда огорченный ее долгим упорством Владимир Петрович вдруг перестал улыбаться вот так. Она, конечно, не сказала ему об этом. А теперь она просто закрыла дверь и уснула, как человек, сделавший важное и большое дело.

Потом они снова встречались и были друзьями до самой войны. И Владимир Петрович провожал Марию Адольфовну из Ленинграда в 1941 году в Кунгур и нес швейную машинку. Он несколько раз пытался возобновить переговоры о супружестве, но Мария Адольфовна была непреклонна.

Теперь самое время рассказать о Владимире Петровиче, он заслуживает того, чтобы о нем было составлено правильное представление, прежде чем мы увидим его во всем размахе его жестокого поступка, тем более что найти достоверное описание Владимира Петровича, кроме как в этой семейной хронике, пожалуй, и негде. Отрывочные сведения, хранящиеся то там то сям о каждом из нас, не дадут основания для сколько-нибудь правильного суждения об этом человеке, способном бог знает на что.

А собственно, что за нужда знакомиться с каким-то Владимиром Петровичем?!

Владимир Петрович представляет безусловный исторический интерес как человек единственный в своем роде, чья душа была подвергнута идеальной обработке молотом социальных бурь на накопительной эпохи. Ну и, разумеется, Владимир Петрович представляет безусловный интерес в рассуждении о жестокости.

Редкий ветеринарный врач за свои тридцать — сорок лет службы не устаивался в шутку или всерьез имени сказочного доктора Айболита, рожденного доброй фантазией знаменитого поэта, и только Владимир Петрович ни единого разу не услышал о себе такого, уж очень он был лишен и респектабельности, и энергии, и бьющей через край воли, черточек, из коих скроен и слеплен, быть может, самый привлекательный образ ветврача в мировой литературе. Надо думать, животные испытывали безусловное удовольствие от общения с Владимиром Петровичем: те, что позлей, понимали, что им не составят труда его загрывить или забодать, звери же смиренного нрава видели во Владимире Петровиче столь безобидное существо, что и зла от него совершенно основательно не предполагали.

Исцеление больного животного не вызывало в нем воодушевления, прилива сил, приступов самолюбия и веры в свои немалые способности, напротив, всяческое счастливое обстоятельство он рассматривал всего лишь как удачное избавление от возможных неприятностей.

Бессловесную тварь он понимал лучше и легче, чем людей; вся наша шумная прекрасная жизнь производила на него впечатление не то чтобы оглушающее, но вводила в состояние, близкое к оцепенению. Всякий громко разговаривающий человек уже был для него начальником, а способный наорать и изматерить в правах на его робкую душу мог сравняться с самим Господом Богом! Свою же доброжелательность, снисходительность и мягкий нрав, какого только и можно пожелать от истинного петербуржца, еще не подвергнутого обработке историческими катаклизмами, он частично распространял на женщин, каковых робел меньше, потому и терпел от них меньше; по большей же части все добродетели своей души и немалый опыт он изливал на своих четвероногих пациентов.

Приветливость Владимира Петровича, что отлично замечали даже его пациенты, была окрашена легкой тенью пришибленности, отчего производила впечатление несколько болезненное. Но это только на первых порах, потому что Владимир Петрович умел как-то так убраться, как-то так уничтожиться, что и вовсе становился незаметен, и уже никакие его проявления не способны были привлечь к нему чье бы то ни было внимание. О нем помнили, но не замечали.

Фигура Владимира Петровича, в основном недурно сложенная и не лишенная приятных линий, в результате воздействия как внутренних, так и внешних стихий ясность форм утратила и нажила некоторую неопределенность, какую-то гуттаперчевую мягкость. Волосы носил свои собственные, за ушами стремившиеся расти почему-то горизонтально, по-видимому, вследствие многолетнего ношения ветеринарного колпака. В одежде он был скромен и нарядов броских, обращающих на себя внимание роскошью или каким-нибудь неожиданным фасоном, не носил, за модой практически не гнался и не однажды приобретал довольно приличные костюмы универсального в смысле моды покроя в магазинах держанных вещей, справедливо находя это целесообразным и с личной точки зрения, и с точки зрения общественной экономии. Не терпя праздности и поглощенный с утра до вечера житейской суетой, освященной некоторой внутренней значительностью, Владимир Петрович день заканчивал рано и уже вскоре после девяти часов всячески стремился ко сну. Охоту, азартные игры, скачки и собственно верховую езду он не любил, хотя мог больной лошади и даже здоровой оказать массу всевозможных услуг.

Надо заметить, что скорее всего врачом Владимир Петрович был замечательным, но животные об этом сказать не могли, а работу свою он облакал в форму такого молчаливого услужения бессловесным тварям, что хозяева исцеленных зверей никак не решались воздать должное его искусству. В подтверждение сказанного можно привести случай с утробной водянкой. В Парголове на улице Жданова никак не могла растелиться старая черная корова, которой впогру не под быка идти, а под нож. Полночи приглашенные хозяйкой солдаты-строители, уже не раз оказывавшие разного рода ценные услуги, таскали оравшую, как пароход в тумане, корову по полу хлева, таскали за голову появившегося и даже дышавшего теленка. Голова вышла, а дальше ни в какую! Бывает. Редко, но бывает. Промучившись полночи, послали за Владимиром Петровичем в Озерки. Он прибыл и установил редчайший случай — теленок в утробном состоянии заболел водянкой, разбух и выйти смог лишь благодаря немалому искусству и сообразительности Владимира Петровича. Теленка, естественно, спасти не удалось, но поначалу ни злополучная роженица, ни ее хозяйка не могли поверить в свое счастье... А уже минут через двадцать ему пришлось слушать совершенно несправедливые упреки в том, что теленок не был спасен, что корова теперь не скоро придет в себя, что к началу отела Владимир Петрович мог бы сам догадаться и приехать, а главное, что не предотвратил и не предсказал этой самой водянки заранее, хотя месяц назад к черной корове был приглашаем...

Другой лекарь тебе палец йодом помажет, а ты уходишь от него переполненный по гроб жизни благодарностью чуть ли не за спасенную жизнь, за возвращенное здоровье и как бы гарантированное место в царствии небесном, а другой... Да что о других говорить, их почти и не осталось, и Владимир Петрович вовсе, может быть, из последних.

Обращаясь назад, мы застанем Владимира Петровича стоящим с сильно бьющимся сердцем и прервавшимся вдруг дыханием, ввернутым на какие-то недолгие мгновения именно в то самое состояние, в каком он пребывал тридцать лет назад почти два года кряду. Это был узанный им самим отзвук самозабвенной страсти, имя которой любовь.

Они замерли все трое, стараясь не спугнуть очарования этой минуты преждевременными речами.

Серая домашняя кошка вышла из-за куста шиповника, огляделась и с хозяйской деловитостью потрусила невесомой походкой по кремнистой прогулочной дорожке в сторону замерших на пьедесталах львов, лишь поравнявшись с Владимиром Петровичем, смотревшим на Марию Адольфовну и улыбающимся, перешла на галоп и в несколько прыжков оказалась на широкой спинке каменной скамьи.

Недолгое юношеское предвкушение жизни еще в ранние лета Владимира Петровича было окрашено тревогой, связанной с неудачным социальным происхождением, тускло и робко прошли следующие года; дожив до семидесяти, он так и не успел полюбить эту жизнь, полную интриг и ловушек, расставленных для каждого из нас на пути к могиле.

Ну что бы вам, Владимир Петрович, сбросить все, что мучит и угнетает, нет чтобы хоть за минуту до конца закрыть глаза на сумятицу и неразбериху этого мира и полной грудью вдохнуть неземную радость. Он еще никогда не был так близок к тихим радостям домашнего уюта и покоя, воплощенная мечта уже была готова поднять его на своих сладостных крылах, однако. . . Воспоминания коснулись всех струн его души, но ни одна не отозвалась тотчас желанием счастья, больше того, природа не взывала его к женитьбе, и тусклые ее звуки едва касались сердца и уже не приводили в движение ус-

нущие чувства. Природа беззвучно подсказывала ему, что сил осталось лишь на то, чтобы поддержать жизнь, а счастье... Что счастье?..

Они заговорили, перебивая друг друга, но бурная вспышка, обещающая бесконечные рассказы и расспросы, ни рассказами, ни расспросами не разрешилась, поскольку, в сущности, никто не знал, о чем говорить.

В какой-нибудь час они рассказали друг другу почти все, что могли рассказать. Не могла же Мария Адольфовна вот так сразу обрушить на Владимира Петровича рассказ о событии, быть может, самом ярком и значительном в истекшие годы, о том, как десять лет назад сотрудники материального склада вместе с отрядом вооруженной охраны провожали на заслуженный отдых работника вооруженной охраны, шестидесятилетнего стрелка, служившего долгие годы примером в труде и общественной жизни. И дело совсем не в том, что слог у Марии Адольфовны недостаточно красочный, просто она даже сама удивилась, как быстро кончился ее рассказ об этих долгих и утомительных годах приуральской жизни. Не могла она вот так вот сказать о том, как именно ее вкус, а в еще большей мере ее немалый авторитет помог вырваться из захолустной безызвестности даровитому ныне художнику Аркадию Михайловичу Р. Два года, живя в общежитии, писал он картину «Штурм» красками и маслом. Центральное место в картине занимал невиданный размером красноезвездный танк, которого одного было бы достаточно, чтобы сокрушить все остальные танки на свете, над танком развевалось победоносное знамя, а за ним летели солдаты, почти не касаясь брезентовыми сапогами образца сорок первого года брустверов вражеских окопов, солдаты с лицами обитателей железнодорожного общежития. На глазах Марии Адольфовны девятнадцатилетний Аркадий Михайлович Р. преодолел ограничительные рамки гиперболического реализма и поднял кистью художника материал и тему картины до высот эпического гротеска. Вокруг картины «Штурм» не утихали страсти. Комендант общежития довольно быстро уловил веяния времени и понял, что глубинное понимание искусства состоит в умении запрещать. Он сказал, что в комнате отдыха никогда не будет висеть эта насмешка над нашей победой. Причина же подлинная была в другом: один из убежавших немцев, хотя и был изобращен со спины, был неотличимо похож на коменданта. Немец заваливался вправо и, должно быть, лишился в этом бою если не жизни, то как минимум правой ноги...

Присвоение власти, ему не принадлежащей, было маленькой слабостью коменданта общежития, а может быть, и характерной для эпохи чертой, заимствованной комендантом у персон такого полета, таких высот, куда ему с его деревянной ногой было и не взлететь никогда в жизни. Пребывавшие в разного рода зависимости от него обитатели общежития робели защищать картину «Штурм», только Мария Адольфовна нашлась и сказала, что Аркадий израсходовал почти все краски, что были выписаны на культурно-воспитательную работу в общежитии, и если картина не будет висеть на видном месте, то отчитаться в израсходованных красках будет невозможно. Доводы подействовали на коменданта, и он уступил. А буквально через год выписанный из Москвы настоящий художник, расписывавший клуб железнодорожников, увидев «Штурм», пригласил Аркадия Р. к себе в помощники, а потом и вовсе увез в Москву и вывел на большую дорогу монументальной живописи...

Владимир Петрович сидел на скамейке, подвинув к Марии Адольфовне свое лицо с той самой улыбочкой, которой, видно, снесу нет, той самой, за которую, не ведая того, расплачивался и по сей день, он рассматривал большое рыхлое лицо своей бывшей невесты сквозь выпуклые стекляшки круглых очков. Стекляшки в очках были по-

крыты такой сеткой царапинок и мутных пятнышек, что и зрячий-то через них ни шиша не увидит. А Владимир Петрович рассматривал Марию Адольфовну досконально, даже головой двигал и почти ничего не слышал, потому что, когда Мария Адольфовна сказала, что навещается к Алеше Тебенькову уже не первый раз и живет чуть ли не четвертый месяц в гостях, скоро уж и домой ехать пора, он вдруг высказался:

— Нехорошо, Маша, что ты так далеко уехала, надо тебе в Ленинград переезжать.

Потом он стал рассказывать про свои болезни, расспрашивать про болезни Марии Адольфовны, подробно рассказал, при какой болезни какая нужна диета. В этом месте разговора приняла живейшее участие Клавдия Степановна, лишь улыбаясь до этой поры. Сошлись на том, что кефир хоть и простая вещь, но всегда хорош, только что не от радикулита. Владимир Петрович привел несколько очень удачных цитат из Ильи Ильича Мечникова.

Позднее состоялся визит Владимира Петровича к Тебеньковым, и он в шесть вечера говорил о том, что на ночь есть вредно. Спрашивал, есть ли в винегрете постное масло, и, узнав, что таковое там имеется, печально улыбнулся, очень печально. Со скорбным выражением лица съел винегрет. Когда приступал к рыбе, которая тоже оказалась жаренной на постном масле, рассказал о вреде жареной пищи. Рыбу тоже съел, но чай пил принципиально без сахара.

Визит Владимира Петровича счастливо совпал с прибытием под родительский кров обоих сыновей: старший сбежал со стройки в какую-то выдуманную командировку, чтобы отдохнуть от холостой жизни, младший, очередной раз поругавшись со своей юной женой, примчался отдохнуть от жизни супружеской.

Дети потом еще долго играли во Владимир Петровича, третируя мать постным маслом, разговорами о диете и вспоминая услышанное от Владимира Петровича: «Очень вам кланяюсь...»

Визит Владимира Петровича оставил прочный след в памяти Клавдии Степановны, более того, именно во время этого визита Клавдия Степановна, пораженная внезапно явившейся ей мыслью, побледнела и ничем более не выдала своего волнения. Сначала ей самой нужно было свыкнуться с явившейся мыслью, а потом уже приручить к ней и Марию Адольфовну.

В домашних разговорах, непрерывно шедших между двумя женщинами, все больше и больше места стали занимать вопросы брака. Клавдия Степановна не однажды говорила о том, что к браку, замужеству и женитьбе, нынче относятся совсем не так, как в прошлые времена, с чем Мария Адольфовна спешила согласиться. Клавдия Степановна привела немало примеров даже вовсе фиктивных браков, где супруги соединяются только на бумаге, как бы в глазах государства, а в действительности ничего подобного не происходит. Мария Адольфовна слушала эти рассказы примерно с таким же ужасом и искренним состраданием, как рассказы о столкновении трамваев или об упавшем в Фонтанку троллейбусе. Каково же было удивление Марии Адольфовны, когда она сначала почувствовала, а потом и вовсе поняла, что Клавдия Степановна как бы совершенно снисходительнозирает и даже почти что проповедует легкомысленное отношение нынешней публики к вопросам супружества и брака. Она даже не поверила своему наблюдению, но Клавдия Степановна была настолько определена, что для сомнений уже не оставалось места.

— Клава, я знаю, сколько трудно вам было сохранить семью,— сказала Мария Адольфовна, делая ударение на «е» в слове «семья».— А нынче семья только для удовольствия, кончилось удовольствие — кончилась семья.

— Конечно, мы люди другого поколения,— спешила оправдаться Клавдия Степановна,— а нынче смотрят на все это значительно проще.

— Не надо смотреть значительно проще,— убежденно сказала Мария Адольфовна.— Проще, чем у нас в общежитии, нигде не бывает, это скверно, так плохо...

Немалые усилия, потраченные Клавдией Степановной на попытку то ли расшатать консервативно настроенную Марию Адольфовну, то ли привить ей зеленые побеги современной морали, оказались совершенно излишними. То, к чему Клавдия Степановна так долго, трудно и безуспешно подбиралась, решилось само собой.

Когда Мария Адольфовна рассказывала Тебеньковым свою историю с Владимиром Петровичем, не находя, впрочем, убедительного или даже сколько-нибудь подробного объяснения своему отказу от руки и сердца Владимира Петровича, она сама назвала его несколько раз «вечный жених». Действительно, потерпев сокрушительное поражение в соискании руки Марии Адольфовны, Владимир Петрович более подобных попыток не повторял и женат ни разу не был.

Однажды под праздник Мария Адольфовна вдруг сказала сама: «Надо жениха позвать...» — что говорит о ней не только как о человеке, способном к состраданию и деятельному сочувствию, но и как о человеке с юмором, а в семьдесят лет человека с юмором встретить реже, чем с добротным сердцем или хорошим кровавым давлением.

И вот уже без обиняков, но на всякий случай как бы между прочим во время мытья посуды после завтрака Клавдия Степановна бросила вскользь давно уже вызревавшую в ней мысль:

— Мария Адольфовна, вам надо с Владимиром Петровичем зарегистрироваться...

Мария Адольфовна безмолвно сметала крошки со стола специальной гнущей щеточкой на плоский прямоугольный подносик.

Нетерпение Клавдии Степановны было так велико, что она даже не смогла выдержать подобающую случаю паузу, на худой конец хотя бы подкрепить сказанное соответствующим выражением лица или позой глубокой задумчивости; она повторила свое предложение с азартом непринужденности.

— Да не кричите,— строго сказала Мария Адольфовна, хотя Клавдия Степановна, видит бог, и не собиралась кричать.

Не думая о прошлом и предоставив будущее воле провидения, Мария Адольфовна умела сосредоточиться на каждом предстоящем деле, поступая согласно разумению и правде, не ведая о том, что прекрасное безумие и есть прекрасная жизнь, как уверяют люди, надо полагать, отведавшие и того и другого.

Подозревая в молчании Марии Адольфовны зреющий отказ, Клавдия Степановна, стремившаяся всегда по мере сил направить судьбу по верному руслу, стала подробно и очень убедительно разъяснять вопрос с пропиской.

Факт регистрации даст возможность прописаться у Владимира Петровича, а жить, разумеется, у Тебеньковых. Формальные строгости, существующие на этот счет, можно вовсе не принимать во внимание, потому что вот уже два года младший живет у жены, прописан здесь, и ни одному человеку в голову не приходит задавать на этот счет какие-либо вопросы. Единственная, совершенно единственная сложность — да и можно ли ее считать сложностью? — это участие в выборах, в голосовании. Здесь выявляют граждан и вносят в списки по месту прописки, но и это необязательно, поскольку достаточно взять открепительный талон — и можно вовсе не голосовать, не причиняя, таким образом, никаких беспокойств тем, кто призван судьбой и долгом обеспечивать изумительный процент участников голосования повсеместно. Тут же Клавдия Степановна пояснила, что за талоном этим даже ездить необязательно, его с удовольствием выдадут Владимиру Петровичу по первому же требованию с большой охотой.

— Вы устали... Ну сколько можно — общежитие и общежитие? Что вам этот Кунгур, наконец? Хорошо, а заболаете? — Клавдия Степановна даже сама удивилась очевидности и несокрушимости всех резонов за переезд в Ленинград.

— У нас хорошая больница, железнодорожная, — наконец произнесла Мария Адольфовна, тяготясь невозможностью вступить в разговор по существу и понимая необходимость хоть что-то сказать.

Всю жизнь совершая поступки лишь сообразно своему представлению о должном и невозможном, Мария Адольфовна совершенно бессознательно получала в награду покой, душевное равновесие и согласие с самой собой... Предложение же Клавдии Степановны, не такое уж и неожиданное, отозвалось неуловимым беспокойством, разговор даже чем-то был неприятен, но протест, всегда готовый вырваться наружу легко и просто, как клич: «Стой! Кто идет?!» — на этот раз не находил себе опоры, и потому ничего не оставалось как уйти в себя, но и уйдя в себя, она не нашла там привычного покоя и согласия.

Те энергия, энтузиазм, даже страсть, с которыми за дело взялась Клавдия Степановна, как бы отодвигали саму Марию Адольфовну от необходимости думать о себе, от необходимости самой совершать поступки, принимать решения, произносить слова, проявлять инициативу, то есть быть самой кузнецом своего счастья.

Прежде чем выразить свое согласие, Марии Адольфовне нужно было найти ответ на самый главный вопрос: не обернется ли вся эта затея для Тебеньковых какой-нибудь неприятностью, досадой, стеснением и не поставит ли ее, человека, привыкшего к независимости, в положение неудобное и непривычное?

Как известно, одной из высших форм, одним из высших свидетельств не только любви, но и симпатии, расположенности, уважения, доверия — даже прежде всего доверия! — в современной жизни служит согласие на прописку кого-либо на свою жилплощадь. Каждый из нас, не говоря о крупных и видных специалистах по современной семье, назовет немало примеров того, как супруги, пройдя все стадии испытания чувств вплоть до венчания в загсе, не спешат тем не менее прописывать друг друга на свою жилплощадь, а прописав, иной раз долго и искренне в этом раскаиваются.

Мария Адольфовна отчетливо понимала, что с этой стороны Клавдия Степановна ничем не рискует и приведенный в исполнение замысел никаким бременем ни на кого не обрушится.

Ни Владимир Петрович, ни Алексей Андреевич, посвященные в созревший план, не высказали никакого сомнения в его реальности и необходимости. Да и кому бы в голову пришло щепетильничать, когда именно эту пору можно будет назвать порогом эпохи, давшей небывалый толчок и небывалый повсеместный расцвет обывательского творчества и самых разнообразных поступков мелкоуголовного характера; эпоха, над которой еще предстоит задуматься, последствия которой еще предстоит осмыслить, делала лишь первые энергичные шаги. Живя всю жизнь под чужую дудку, Владимир Петрович научился, как и все мы, вытанцовывать самые что ни на есть фальшивые пассажи, а Алексею Андреевичу, имевшему дело с экономикой, обретающей все более и более романтический характер, удивляться невинной прописке Марии Адольфовны к Владимиру Петровичу и в голову не пришло.

Эпоха требовала все больше и больше блеска, шума и величия, чтобы скрыть бурно пробудившуюся к жизни самодеятельность нетерпеливых, не веривших ни одной секунды в приближение всеобщего благоденствия и положивших немалые усилия своих оборотистых душ на благо своих близких, дальних, родных и милых. Прodelки вельмож, призванных к общественному служению в ту пору, уже заполняют страницы и тома иных хроник, нам же необходимо

отметить, что именно в это время авторитет родства, а стало быть, и семьи, необычайно возрос. Немалое значение в этой связи стали придавать и самому акту вступления в брак.

Дворцы бракосочетаний еще только вызревали в умах ответственных мужей, а уже комнатки в исполкомах, где чохом вершились записи актов гражданского состояния, украсились четким расписанием времени, когда записывают рождение, когда бракосочетание, а когда и, так сказать, последнее гражданское состояние. Само время породило и поставило в повестку дня вопрос о торжественной регистрации бракосочетаний. Идя навстречу пожеланиям большинства новобрачных украсить свадебный стол хорошей пищей да и самим приодеться по возможности в импортное, словно по волшебству открыли специальные магазины, куда, кроме родных и знакомых работников этих магазинов, впускались по специальным талонам новобрачные и самые приближенные к ним лица. Талоны выдавались при подаче заявления.

Продовольственный салон в ту пору размещался на Литейном проспекте, в помещении неказистом, ныне занятом безалкогольным кафе «Гном», и имевшее место его посещение навряд ли представляет исторический интерес, куда интересней было бы побывать в роскошном гастрономе «Стрела» в доме «помещика» на Измайловском проспекте, где сегодня вершится таинство распределения продуктов для свадебных торжеств. Куда более важным моментом предлагаемой семейной хроники является поход будущих супругов в сопровождении неперменной Клавдии Степановны в загс Выборгского района, где были поданы соответствующие заявления и дело приобрело характер государственного события.

Тайные, скрытые от глаз механизмы, а может быть, просто причуды человеческой природы порождали в ту эпоху самые неожиданные поступки, изумлявшие своей откровенной странностью.

Мария Адольфовна, как ни крути, тоже человек своего времени и потому немало удивила Клавдию Степановну тем, что не только с неожиданной легкостью согласилась расписаться с Владимиром Петровичем, но даже несколько торопила совершение этого акта.

Тайный механизм женского сердца! — в какой свадебной истории ты не придашь событиям тот неожиданный, непредсказуемый, волнующий ход, без которого и сама свадьба да и сама жизнь была бы пресна и ординарна, как женщина без загадки, без тайны, без тревожащей душу способности взглянуть и на привычный предмет особенным образом! Ни Владимир Петрович, ни Клавдия Степановна не были, разумеется, посвящены Марией Адольфовной в тайную причуду, заставлявшую ее подгонять события.

Все дело в возрасте — и вовсе не в уходящем неведомо куда времени, истекающем стремительно и непрерывно, а в том, что Мария Адольфовна и Владимир Петрович были ровесниками, но... совсем непродолжительное время, всего лишь три месяца! Да, да...

Вступаете ли вы в вооруженные силы, идете ли на прием к врачу или фиксируете свое новое гражданское состояние, государство интересуется в этом случае вашим возрастом лишь в округленно взятом количестве прожитых лет, во многих анкетах есть такая графа — «Полных лет»... Чем полных?.. Мария Адольфовна была при строгом рассмотрении вопроса ровно на девять месяцев старше Владимира Петровича, и, зная, что придется заполнять анкетку и все указывать, ей хотелось, чтобы в графе «Возраст» или «Полных лет» и у жениха и у невесты стояли одинаково круглые цифры «70». Имя день рождения на яблочный Спас, в середине августа, Мария Адольфовна хотела шагнуть своим не утратившим, слава богу, твердости и выправки шагом под венец непременно со своим ровесником, для чего все надо было оформить до 19 августа.

Заявления были поданы 1 июля, и по всем статьям, даже с учетом месячного испытательного срока, отпускаемого государством для проверки вспыхнувшего чувства и серьезного осмысления предстоящего шага, даже со всеми проволочками можно было расписаться до 19 августа.

Принимая заявления, бесполоя барышня лет тридцати двух — тридцати шести почти без интонации разъяснила невозможность ни поторопить, ни ускорить день регистрации, она говорила, привычно глядя куда-то в окно, где шли по тротуару оживленного проспекта, изобилующего заводами и фабриками, молодые, средних лет и солидные мужчины, в известной части, разумеется, неженатые, сюда же, в тесные ее апартаменты с не умолкающим динамиком городской радиотрансляционной сети, они заходили или как женихи в сопровождении сверкающих торжеством невест, или как свершившиеся отцы, неся на своих мужественных руках пожизненные оковы отцовских забот, или как убитые горем вдовцы, еще не оправившиеся от потрясения, и потому не замечающие, что жизнь не кончилась, земля не опустела, как это показалось им накануне...

Суть же разъяснения была проста: регистрация браков временно сокращена в связи с переоборудованием специального помещения для торжественной регистрации.

— Вам же лучше будет... — как-то подчеркнуто отделяя себя от грядущих радостей новобрачных, без интонации сказала регистраторша.

— Нам нужно сейчас, а не лучше! — строго сказала Мария Адольфовна, пытаясь увидеть глаза государственного человека.

Государственная барышня обернулась, окинула взором нетерпеливую невесту, тень горькой усмешки чуть искривила ее давно не целованные губы, и она проговорила как о давно известном:

— Вас же будет уже депутат регистрировать, а у меня пойдут только рождения и смерти. Помещение готовится, идет ремонт. Вот видите? — Барышня откровенно помахала исписанными страницами амбарной книги. — Все переносят на август, и никто еще не возмущался. Удивительный народ — вам же делают лучше, а вы еще и не хотите...

Барышня пожалала плечами и посмотрела на Владимира Петровича с большой надеждой: «Записывать вас на... двадцать третье августа, или еще подумаете?» — явно давая понять, что с такой невестой лично она гарантировать ему супружеское счастье не может. И добавила:

— Если надо так быстро, можно регистрироваться по месту прописки невесты...

Клавдия Степановна извиняюще улыбнулась, Мария Адольфовна округлила глаза и буркнула что-то невнятное, скорее всего польски.

Владимир Петрович, не видевший никаких опасностей в назначении регистрации на 23 августа, тем не менее понимал, что надо стоять за своих. Поддавив понятное каждому мужчине в подобных обстоятельствах волнение, он овладел собой и, торжественно поименовав полным именем и фамилией свою невесту и себя самого как бы в третьем лице, объявил о желании вступить в брак немедленно, заслужив при этом улыбку ободрения от Клавдии Степановны. Жизнь и непринужденность, которых так не хватало регистраторше, пробудившиеся было на почве нормального житейского любопытства, вдруг опять оставили ее, и она, не поднимая глаз, погрузилась в то привычное рабочее состояние, в котором важно и строго исполняла свое жизненное предназначение, одинаково чуждая серьезному и смешному.

Нельзя сказать, чтобы регистрация браков под звуки городской радиотрансляции была для достигшей расцвета всех своих сил и

свойств регистраторши делом служебным, лишь слегка окрашенным привкусом личной досады. Непрестанное наблюдение граждан в минуты значительных житейских напряжений сделало ее удивительно зоркой, даже будущие счастливые семьи не казались ей похожими друг на друга; по неуловимым штрихам, чертам, черточкам, теням под глазами, брошенным взглядам в сторону, опущенным ресницам с поразительной проницательностью она отмечала про себя неразличимые для счастливых черты грядущих катастроф и потрясений, и некоторая ее сухость, строгость и сдержанность объяснялись, быть может, тем, что в этом же рабочем столе лежал штамп, отмечающий в паспорте факт прекращения брака. Куда больше оживления и участия вызывали у земной помощницы Гименея странные браки, каковых происходит чуть ли не каждую неделю немало: заходили расписываться как бы между прочим, прихватив «свидетелей» чуть не здесь же, в коридоре, из неиссякаемой очереди в бюро по жилбмену, заходили с авоськами и портфелями, в уличных сапогах, заходили втроем, когда неведомый устроитель семьи готовился покинуть материнское чрево, приходили слегка под мухой, будто женились на спор, непрестанно хохоча; особенно острые ощущения, памятные на целый день, а иногда и больше, оставляли причудливые соединения в браке людей, совершенно несходных, очевидно несходных статью, возрастом, манерой... И хотя регистрация старичков, как наш случай, не была уж такой особенной редкостью, но все-таки принадлежала к тем обстоятельствам наблюдаемой со стороны жизни, которые придавали ее собственному существованию остроту и тревогу. Именно поэтому оставшаяся по собственной воле безымянной сотрудница загса вдруг почувствовала искреннее, сердечное желание сделать все так, чтобы этим старичкам не пришлось еще один месяц — много ли их осталось? — жить не так, как они для себя придумали. Неожиданно ее взгляд упал на открытую страницу регистрационной книги, и она увидела пустую строку, куда можно было вписать регистрацию на завтра. Помехой же на пути немедленного решения вопроса оказалась Клавдия Степановна, она решила пустить в ход все свое немалое обаяние, всю свою лучезарность, всю многолетнюю, практикой подтвержденную способность обращать к себе людей нужной стороной — это-то и сгубило дело.

— Извините... вас зовут?..— Клавдия Степановна так непринужденно улыбнулась, а голос звучал так легко и открыто, что ни одному человеку в мире не пришлось бы в голову, что этот голос и эта улыбка могут усложнить жизнь, омрачить ее или отяготить невозможными просьбами, такая улыбка и такой голос могут только украсить жизнь.— Вас зовут?..— повторила Клавдия Степановна, предполагив, что ее не расслышали.

— Это не имеет значения,— сухо сказала регистраторша и захолопнула книгу, куда могла бы лечь строкой если не счастья, то хотя бы сравнительного благополучия запись про Марию Адольфовну и Владимира Петровича; ее слова и жесты опережали мысль и были подвижны внезапно вспыхнувшим чувством неприязни к этой красивой, благополучной, поблескивающей колечками, одетой, прибранной женщине, пахнувшей непростыми духами, и вовсе не потому, что надушилась, отправляясь по важному делу, просто сама ее одежда, волосы, кожа уже впитали в себя неистребимый запах уверенности и довольства... «Это ей нужно, ей,— едва увидев улыбку Клавдии Степановны, решила регистраторша.— Все есть, так еще что-то придумала... Старичков венчает, ишь что ей понадобилось!..»

— Вы же прекрасно видите, я очень хочу вам помочь, я понимаю все... я все понимаю, но помочь не могу...— Голос регистраторши подобрел, в нем зазвучали теплые человеческие тона.

Все трое переглянулись, пожали плечами и двинулись к выходу. Ничего не оставалось как ждать 23 августа.

Весь визит, вместе с подачей заявления, оформлением промтоварного и продовольственного талона и беседой, занял ровно четыре минуты.

— Следующий! — крикнула в открытую Владимиром Петровичем дверь регистраторша, устоявшая перед искушением нарушить правила и установленный для всех порядок.

Клавдия Степановна была крайне смущена — цветы, возвращенные в тайниках ее души и вытащенные на свет божий, уже не производили того волнующего впечатления ни на окружающих, ни на нее саму.

23 августа, в четверг, в одиннадцать часов утра Мария Адольфовна и Владимир Петрович сидели в свежееотремонтированном и оборудованном мягкими креслами аванзале, предвараившем скромный, но вполне опрятный и строгий зальчик торжественной регистрации. Три группки молодых людей в окружении приятелей и немногочисленной родни не обращали никакого внимания на стариков, по видимому поджидавших своих внуков. За плотно закрытой двустворчатой дверью слышался марш Мендельсона...

Клавдия Степановна и призванная второй свидетельницей, со стороны жениха, соседка его Екатерина Теофиловна, в свое время даже имевшая виды на Владимира Петровича, оживленно разговаривали. Клавдия Степановна, демонстрируя незаурядную выдержку, даже умудрилась смеяться, шутить, как и полагается на пороге радостного события. Владимир Петрович подробно и с горьким пафосом торопливо рассказывал Марии Адольфовне какой-то фильм, виденный у соседей по телевизору. Суть рассказа сводилась к тому, что идти в кинотеатр и смотреть за деньги такую ерунду было бы обидно, а вот так, между прочим посмотреть у соседей по телевизору, так вроде и ничего, и картина все-таки с познавательной точки зрения интересная, Игра актеров хороша, песня красива и очень красивая любовь интеллигентной женщины и простого рабочего... Мария Адольфовна слушала безучастно, еще не решившая для себя, в какую сторону она двинется, когда призовут войти в торжественный зал, где уже в третий раз за утро прозвучит марш Мендельсона.

Затая, рассчитанная на деловую регистрацию в тесной исполкомовской комнатухе, явно не выдерживала ни всей этой публичности, ни шума, ни звона, ни громких голосов. Словно пробуждаясь, Мария Адольфовна смотрела на все предприятие трезвыми глазами и не думала больше о будущей спокойной жизни.

Наконец дверь в главный зал была распахнута и с его порога знакомая уже регистраторша громогласно объявила:

— Мария Адольфовна Сварецка и Владимир Петрович Гусаров приглашаются пройти в зал для торжественной регистрации брака!

Клавдия Степановна лишь сдержанно кивнула, Владимир Петрович со своими ущербными очками служительницу не узнал, только Мария Адольфовна подступила к ней вплотную с вопросом:

— Вы говорили, что будет депутат?

Регистраторша, совершенно справедливо считая неуместными любые разговоры не по существу, плавным жестом руки указала путь следования к полированному столу с подготовленными уже документами, за которыми стояла юная миловидная депутатка райсовета с красной лентой, украшенной гербом республики, через плечо. Депутат искренне и приветливо улыбалась.

Едва за будущими супругами и их свидетелями замкнулись обе створки дверей, как торжественные звуки уже слышанного из-за дверей марша вырвались из незаметно включенного магнитофона, придавая моменту волнующую значительность.

Мария Адольфовна и Владимир Петрович стояли перед столом, как провинившиеся дед и бабка, вызванные в школу к завучу, а мо-

жет, и самому директору начальной школы для серьезного разговора об отставании внука по природоведению и дисциплине.

Незаметным укоризненным кивком Клавдия Степановна дала понять, что музыку прокручивать до конца необязательно.

Депутат мгновенно уловила этот сигнал и почти незаметным движением руки, как бы желая опереться на стол, снизу стола музыку выключила.

Когда вышли из зала, где получили паспорта со штампами и расписались в книге, Клавдия Степановна предложила всем поехать к ним закусить, напирая на то, что ничего особенного не затевается, но посидеть надо.

Екатерина Теофиловна, почитая предложение своевременным и разумным, вопросительно посмотрела на Владимира Петровича.

— Вы поезжайте, а я никак не могу,— торопливо проговорил Владимир Петрович.— Мне к часу надо в амбулаторию. Только-только поспеть осталось времени. Номерок у меня взят...

Владимир Петрович вынул из пухлого бумажника, набитого старыми и новыми рецептами, какими-то счетами и даже вырезками из газет, бумажный амбулаторный номерок, внимательно его на глазах у всех рассмотрел и снова спрятал в бумажник. После этого распорядился и поспешил на трамвайную остановку, зная по опыту, как редко в эту пору после бурной утренней развозки ходят трамваи.

Когда приехали домой вдвоем — Екатерина Теофиловна куда-то тоже заспешила,— Мария Адольфовна, вешая пальто на распялку, буркнула себе под нос, полагая, что ее никто не слышит:

— Хоть бы цветочки купил...

И это все?! Все, что может сказать в решающую минуту своей жизни старая женщина, когда жизнь в последний, быть может, раз отвратила от нее свое лицо? И только эти три слова в упрек жизни, заряженной на всякую минуту дерзостью и оскорблением? Ни стоны, ни гнева, ни слез?.. И где? — на земле, взрастившей не одну революцию, а целых три, на земле, где дважды у памятника основателю города прозвучало негромко «ужо!», сначала брошенное безумным Евгением, а ровно через год подтвержденное на том же самом месте безумным выстрелом Каховского.

Нет! В Кунгур! В Кунгур! Гряди же, Мария Адольфовна, как невеста Ливанская, на предуготовленное тебе ложе на кладбище станции Кунгур, где ждет тебя покой, которым нет никакой возможности насладиться.

А что же обещанная жестокость? Неужели напрасно, без результата унижала, давила, сокрушала и оскорбляла пани Сварецку эта неповторимая, огромная, полная песен, прогресса и достижений жизнь, безудержно устремленная к сиятельному будущему, лежащая без оглядки на стыд, без почтительности к юности, без жалости к зрелости, без уважения к сединам? Неисправимая, нестигаемая, неумолимая Мария Адольфовна закусилась удила и в минуту, быть может, последнего унижения не смирилась перед скупостью, перед жадностью жизни на добрый жест, на знак внимания. И нет прощения ни замордованному до ненужности, ни загнанному в угол, если из своего угла он мог протянуть руку с цветами! Мор! И не протянул.

...Но разве это свадьба? Пусть игра! Пусть игра, продиктованная роскошной и неумной фантазией мироустройства, обращающего мелочную гнусность в правило и порядок. Игра? Но другой у нас нет, и не вина Марии Адольфовны, что она могла играть лишь по правилам чести.

Мария Адольфовна уедет в Кунгур. В общежитии ее место будет тут же освобождено от временно подселенной выпускницы пермского техникума связи. После небольших формальностей, на которые и

уйдет-то всего неделька, ей выдадут на почте пенсию аж почти за полгода!

Хорошо и Владимиру Петровичу, вкусившему наконец свою небыточную мечту в самом полном, то есть идеальном смысле. В оставшиеся ему восемь месяцев жизни на двойных тетрадных листах в линейку он отправит четыре письма в Кунгур. Он проживет не только на бумаге, но и в сердце своем бурную, легкую, слегка пьянящую и свободную пору счастья, не отягощенную и не униженную ничем земным. И здесь остается лишь пожалеть, что чувствам этим суждено было пробудиться и расцвести лишь после отъезда Марии Адольфовны, быть может и несколько торопливого. Помнится, именно в предпоследнем письме Владимир Петрович кратко и толково от всей полноты чувств излагал план жизни соединенных сердец, и план этот имел черты практические и даже исполнимые.

Пройдут века, и навряд ли в точности будет отыскано место Марии Адольфовны и Владимира Петровича в крутом, грозном и отчасти кровавом прологе грядущей цивилизации, а пока бегством в могилу они нороят ускользнуть от неминуемого светлого будущего.

Позвольте проститься с вами откровенно, читатель, так же откровенно, как и познакомились, без церемоний, мы же люди жестокого века, ведь это мы оскорбляем стариков нищетой и бесправием... и свято храним эту нашу маленькую семейную тайну.

Хорошо Марии Адольфовне, она старая и скоро умрет, а нам с вами жить...

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

В КРУТЕ ПЕРВОМ

Роман

41

Муж и жена Герасимовичи поцеловались. Муж был маленького роста, но рядом с женой оказался вровень. Надзиратель им попался смиренный простой парень. Ему совсем не жалко было, чтоб они поцеловались. Его даже стесняло, что он должен был мешать им видеться. Он бы отвернулся к стене и так бы простоял полчаса, да не тут-то было: подполковник Климентьев велел все семь дверей из следственных комнат в коридор оставить открытыми, чтобы самому из коридора надзирать за надзирателями.

Оно-то и подполковнику было не жалко, чтобы свиданцы поцеловались, он знал, что утечки государственной тайны от этого не произойдёт. Но он сам остерегался своих собственных надзирателей и собственных заключённых: кой-кто из них состоял на осведомительной службе и мог на Климентьева же капнуть.

Муж и жена Герасимовичи поцеловались.

Но поцелуй этот не был из тех, которые сотрясали их в молодости. Этот поцелуй, украденный у начальства и у судьбы, был поцелуй без цвета, без вкуса, без запаха — бледный поцелуй, каким может награждать умерший, привидевшийся нам во сне.

И — сели, разделённые столиком подследственного с покоробленной фанерной столешницей.

Этот неуклюжий маленький столик имел историю богаче иной человеческой жизни. Многие годы за ним сидели, рыдали и млели от ужаса, боролись с опустошающей бессонницей, говорили гордые слова или подписывали маленькие доносы на ближних арестованные мужчины и женщины. Им обычно не давали в руки ни карандашей, ни перьев — разве только для редких собственноручных показаний. Но и писавшие показания успели оставить на покоробленной поверхности стола свои метки — те странные волнистые или угольчатые фигуры, которые рисуются бессознательно и таинственным образом хранят в себе сокровенные извивы души.

Герасимович смотрел на жену.

Первая мысль была — какая она стала непривлекательная: глаза подведены впалыми ободками, у глаз и губ — морщины, кожа лица — дряблая, Наташа совсем уже не следила за ней. Шубка была ещё довоенная, давно просилась хоть в перелицовку, мех воротника проредился, полёт, а платок — платок был с незапамятных времён, кажется ещё в Комсомольске-на-Амуре его купили по ордеру — и в Ленинграде она ходила в нём к Невке по воду.

Но поддую мысль, что жена некрасива, исподнюю мысль существа, Герасимович подавил. Перед ним была женщина, единственная на земле, составлявшая половину его самого. Перед ним была женщина, с кем сплеталось всё, что носила его память. Какая миловидная свежая девушка, но с чужой непонятной душой, со своими короткими воспоминаниями, поверхностным опытом — могла бы заслонить жену?

Наташе ещё не было восемнадцати лет, когда они познакомились в одном доме на Средней Подъяческой, у Львиного мостика, при встрече тысяча девятьсот тридцатого года. Через шесть дней будет двадцать

лет с тех пор. Теперь, обернувшись, ясно видно, что были для России год Девятнадцатый или Тридцатый. Но всякий Новый год видишь в розовой маске, не представляешь, что свяжет народная память со звучанием его числа. Так верили и в Тридцатый.

А в тот-то год Герасимовича первый раз и арестовали. За — *вредительство...*

Началом своей инженерной работы Илларион Павлович застиг то время, когда слово «инженер» равнялось слову «враг» и когда пролетарской славой было подозревать в инженере — вредителя. А тут ещё воспитание заставляло молодого Герасимовича кому надо и кому не надо предупредительно кланяться и говорить «извините, пожалуйста» очень мягким голосом. А на собраниях он лишался голоса совсем и сидел мышкой. Он сам не понимал, до чего он всех раздражал.

Но как ни выкраивали ему дела, едва-едва натянули на пять лет. И на Амуре сейчас же расконвоировали. И туда приехала к нему невеста, чтобы стать женой.

Редкая у них была тогда ночь, чтобы мужу и жене не приснился Ленинград. И вот они собрались уже вернуться — в тридцать пятом. А тут как раз повалили навстречу, Кировский поток...

Наталя Павловна сейчас тоже всматривалась в мужа. На её глазах когда-то менялось это лицо, твердели эти губы, излучались через пенсне охолодевшие, а то и жестокие вспышки. Илларион перестал раскланиваться и перестал частить «извините». Его всё время попрекали прошлым, там увольняли, там зачисляли на должность не по образованию — и они ездили с места на место, бедствовали, потеряли дочь, потеряли сына. И, уже на всё рукой махнув, рискнули вернуться в Ленинград. А вышло это — в июне сорок первого года...

Тем более не смогли они сносно устроиться тут. Анкета висела над мужем. Но, призрак лабораторный, он не слабел, а сильнел от такой жизни. Он вынес осеннюю копку траншей. А с первым снегом стал — могильщиком.

Зловещая эта профессия в осаждённом городе была самой нужной и самой доходной. Чтобы почтить в последний раз уходящих, остальные в живых отдавали нищий кубик хлеба.

Нельзя было без содрогания есть этот хлеб! Но оправданье Илларион видел такое: сограждане нас не жалели — не будем жалеть и мы!

Супруги выжили. Чтобы ещё до конца блокады Иллариона арестовали за *намерение* изменить родине. В Ленинграде и многих брали так — за намерение, потому что нельзя было прямо дать измену тому, кто не был даже под оккупацией. А уж Герасимович, в прошлом лагерник, да приехал в Ленинград в начале войны — значит, с намерением попасть к немцам. Арестовали бы и жену, да она при смерти была тогда.

Наталя Павловна рассматривала сейчас мужа — но, странно, не видела на нём следов тяжёлых лет. С обычной умной сдержанностью смотрели его глаза сквозь поблескивающее пенсне. Щёки были не впалые, морщин — никаких, костюм — дорогой, галстук — тщательно повязан.

Можно было подумать, что не он, а она сидела в тюрьме.

И первая её недобрая мысль была, что ему в спецтюрьме прекрасно живётся, конечно, он не знает гонений, занимается своей наукой, совсем он не думает о страданиях жены.

Но она подавила в себе эту злую мысль.

И слабым голосом спросила:

— Ну, как там у тебя?

Как будто надо было двенадцать месяцев ждать этого свидания, триста шестьдесят ночей вспоминать мужа на индевеющем ложе вдовы, чтобы спросить:

— Ну, как там у тебя?

И Герасимович, обнимая своей узкой тесной грудью целую жизнь, никогда не давшую силам его ума распрямиться и расцвести, целый мир арестантского бытия в тайге и в пустыне, в следственных одиночках, а теперь в благополучии закрытого учреждения, ответил:

— Ничего...

Им отмерено было полчаса. Песчинки секунд неудержимой струёй просыпались в стеклянное горло Времени. Теснились первыми проскочить десятки вопросов, желаний, жалоб, — а Наталья Павловна спрашивала:

— Ты о свидании — когда узнал?

— Позавчера. А ты?

— Во вторник... Меня сейчас подполковник спросил, не сестра ли я тебе.

— По отчеству?

— Да.

Когда они были женихом и невестой, и на Амуре тоже, — их все принимали за брата и сестру. Было в них то счастливое внешнее и внутреннее сходство, которое делает мужа и жену больше, чем супругами.

Илларион Павлович спросил:

— Как на работе?

— Почему ты спрашиваешь? — встрепенулась она. — Ты знаешь?

— А что?

Он кое-что знал, но не знал, то ли он знал, что знала она.

Он знал, что вообще на воле арестантских жён притесняют.

Но откуда было ему знать, что в минувшую среду жену уволили с работы из-за родства с ним? Эти три дня, уже извещённая о свидании, она не искала новой работы — ждала встречи, будто могло совершиться чудо, и свидание светом бы озарило её жизнь, указав, как поступать.

Но как он мог дать ей дельный совет — он, столько лет просидевший в тюрьме и совсем не приученный к гражданским порядкам?

И решать-то надо было: отречься или не отречься...

В этом сереньком, плохо натопленном кабинете с тусклым светом из обрешеченного окна — свидание проходило, и надежда на чудо погасала.

И Наталья Павловна поняла, что в скудные полчаса ей не передать мужу своего одиночества и страдания, что катится он по каким-то своим рельсам, своей заведенной жизнью — и всё равно ничего не поймёт, и лучше даже его не расстраивать.

А надзиратель отошёл в сторону и рассматривал штукатурку на стене.

— Расскажи, расскажи о себе, — говорил Илларион Павлович, держа жену через стол за руки, и в глазах его теплилась та сердечность, которая зажигалась для неё и в самые ожесточённые месяцы блокады.

— Ларик! у тебя... зачётов... не предвидится?

Она имела в виду зачёты, как в приамурском лагере — проработанный день считался за два отбытых, и срок кончался прежде назначенного.

Илларион покачал головой:

— Откуда зачёты! Здесь их от веку не было, ты же знаешь. Здесь надо изобрести что-нибудь крупное — ну, тогда освободят досрочно. Но дело в том, что изобретения здешние... — он покосился на полуотвернувшегося надзирателя, — ...свойства... весьма нежелательного... Не мог он высказаться ясней!

Он взял руки жены и щеками слегка тёрся о них.

Да, в обледеневшем Ленинграде он не дрогнул брать пайку хлеба за похороны с того, кто завтра сам будет нуждаться в похоронах.

А теперь бы вот — не мог...

— Грустно тебе одной? Очень грустно, да? — ласково спрашивал он у жены и тёрся щекою о её руку.

Грустно?.. Уже сейчас она обмирала, что свидание ускользает, скоро оборвётся, она выйдет ничем не обогащённая на Лефортовский вал, на безрадостные улицы — одна, одна, одна.. Оступляющая бесцельность каждого дела и каждого дня. Ни сладкого, ни острого, ни горького, — жизнь как серая вата.

— Наталочка! — гладил он её руки. — Если посчитать, сколько прошло за два срока, так ведь мало осталось теперь. Три года только. Только три...

— Только три?! — с негодованием перебила она, и почувствовала, как голос её задрожал, и она уже не владела им. — Только три?! Для тебя — т о л ь к о! Для тебя прямое освобождение — «свойства нежелательного»! Ты живёшь среди друзей! Ты занимаешься своей любимой работой! Тебя не водят в комнаты за чёрной кожей! А я — у в о л е н а! Мне на что больше жить! Меня куда не примут! Я не могу! Я больше не в силах! Я больше не проживу одного месяца! месяца! Мне лучше — умереть! Соседи меня притесняют как хотят, мой сундук выбросили, мою полку со стены сорвали — они знают, что я слова не смею... что меня можно выселить из Москвы! Я перестала ходить к сёстрам, к тётке Жене, все они надо мной издеваются, говорят, что таких дур больше нет на свете. Они все меня толкают с тобой развестись и выйти замуж. Когда это кончится? Посмотри, во что я превратилась! Мне тридцать семь лет! Через три года я буду уже старуха! Я прихожу домой — я не обедаю, я не убираю комнату, она мне опротивела, я падаю на диван и лежу так без сил. Ларик, родной мой, ну сделай как-нибудь, чтоб освободиться раньше! У тебя же гениальная голова. Ну, изобрази им что-нибудь, чтоб они отвязались! Да у тебя есть что-нибудь и сейчас! Спаси меня! Спа-си ме-ня!!..

Она совсем не хотела этого говорить, сокрушённое сердце!.. Трясаясь от рыданий и целуя маленькую руку мужа, она поникла к покоробленному шероховатому столику, выдавшему много этих слёз.

— Ну, успокойтесь, гражданочка, — виновато сказал надзиратель, косясь на открытую дверь.

Лицо Герасимовича перекошено застыло и слишком заблистало пенсне.

Рыдания неприлично разнеслись по коридору. Подполковник грозно стал в дверях, уничтожающе посмотрел в спину женщине и сам закрыл дверь.

По прямому тексту инструкции слёзы не запрещались, но в высшем смысле её — не могли иметь места.

42

— Да тут ничего хитрого: хлорную известь разведёшь и кисточкой по паспорту чик, чик... Только знать надо, сколько минут держать — и смывай.

— Ну, а потом?

— А высохнет — ни следа не остаётся, чистенький, новенький, садись и тушью опять корябай — Сидоров или там Петюшин, уроженец села Криюши.

— И ни разу не попадались?

— На этом деле? Клара Петровна... Или может быть... вы разрешите..?

— ?

— ...звать вас, пока никто не слышит, просто Кларой?

— ...Зовите...

— Так вот, Клара, первый раз меня взяли потому, что я был беззащитный и невинный мальчишка. Но второй раз — хо-го! И держался я под всесоюзным розыском не какие-нибудь простые годы, а с конца

сорок пятого по конец сорок седьмого,— это значит, я должен был подделывать не только паспорт и не только прописку, но справку с места работы, справку на продуктовые карточки, прикрепление к магазину! И ещё я лишние хлебные карточки по поддельным справкам получал— и продавал их, и на то жил.

— Но это же... очень нехорошо!

— Кто говорит, что хорошо? Меня заставили, не я это выдумал.

— Но вы могли просто работать.

— «Просто» много не наработаешь. От трудов праведных — палат каменных, знаете? И кем бы я работал? Специальности получить мне не дали... Попадаться не попадался, но ошибки бывали. В Крыму в паспортном отделе одна девушка... только вы не подумайте, что я с ней что-нибудь... просто сочувствующая попалась и открыла мне секрет, что в самой серии моего паспорта, знаете, эти ЖЩ, ЛХ — скрыто указывается, что я был под оккупацией.

— Но вы же не были!

— Да не быть-то не был, но паспорт-то чужой! И пришлось из-за этого новый покупать.

— Где??

— Клара! Вы жили в Ташкенте, были на Тезиковом базаре и спрашиваете — где! Я ещё и орден Красного Знамени хотел себе купить, двух тысяч не хватило, у меня на руках восемнадцать было, а он упёрся — двадцать и двадцать.

— А зачем вам орден?

— А зачем всем ордена? Так просто, дурак, пофорсить хотел. Если б у меня была такая холодная голова, как у вас...

— Откуда вы взяли, что у меня холодная?

— Холодная, трезвая, и взгляд такой... умный.

— Ну, вот!..

— Правда. Я всю жизнь мечтал встретить девушку с холодной головой.

— За-чем?

— Потому что я сам сумасбродный, так чтоб она не давала мне делать глупостей.

— Ну, рассказывайте, прошу вас.

— Так на чём я?... Да! Когда я вышел с Лубянки — меня просто кружило от счастья. Но где-то внутри остался, сидит маленький сторож и спрашивает: что за чудо? Как же так? Ведь никогда никого не выпускают, это мне в камере объяснили: виноват, не виноват — десьть в зубы, пять по рогам — и в лагерь.

— Что значит — *по рогам*?

— Ну, намордник пять лет.

— А что значит — *намордник*?

— Боже мой, какая вы необразованная. А ещё дочь прокурора. Как же вы не поинтересуетесь, чем занимается ваш папа? «Намордник» — значит — кусаться нельзя. Лишение гражданских прав. Нельзя избирать и быть избранным.

— Подождите, кто-то подходит...

— Где? Не бойтесь, это Земеля. Сидите, как сидели, прошу вас! Не отодвигайтесь. Раскройте папку. Вот так, рассматривайте... Я сразу понял тогда, что выпустили меня для слежки — с кем из ребят буду встречаться, не поеду ли опять к американцам на дачу, да вообще жизни не будет, посадят всё равно. И я их — надул! Попрощался с мамой, ночью из дому ушёл — и поехал к одному дядьке. Он-то меня и втравил во все эти подделки. И два года за Ростиславом Дорониным гнали всесоюзный розыск! А я под чужими именами — в Среднюю Азию, на Исык-Куль, в Крым, в Молдавию, в Армению, в Дальний Восток... Потом — по маме очень соскучился. Но домой являться — никак нельзя! Поехал в Загорск, поступил на завод каким-то петрушкой, подсоб-

ником, мама ко мне по воскресеньям приезжала. Поработал я там неделю несколько — проспал, на работу опоздал. В суд! Судили меня!

— Открылось?!

— Ничего не открылось! Под чужой фамилией осудили на три месяца, сижу в колонии, стриженный, а всесоюзный розыск гудит: Ростислав Доронин! волосы русые пышные, глаза голубые, нос прямой, на левом плече родинка. В копеечку им розыск обошёлся! Отбухал я свои три месяца, получил у гражданина начальника паспорт — и жануул на Кавказ!

— Опять путешествовать?

— Хм! Не знаю, можно ли вам всё...

— Можно!

— Как это вы уверенно говорите... Вообще-то нельзя. Вы — совсем из другого общества, не поймёте.

— Пойму! У меня жизнь была нелёгкая, не думайте!

— Да вчера и сегодня вы так хорошо на меня смотрите... Правда, хочется вам всё рассказать... В общем, я удрапать хотел. Совсем из этой лавочки.

— Какой лавочки?..

— Ну, из этого, как его, социализма! Уже у меня изжога от него, не могу!

— От социализма?!..

— Да раз справедливости нет — на кой мне этот социализм?

— Ну это с вами так получилось, обидно очень. Но куда ж бы вы поехали? Ведь там — реакция, там — империализм, как бы вы там жили?!

— Да, верно, конечно. Конечно, верно! Да я серьёзно и не собирался. Да это и уметь надо.

— И как же вы опять..?

— Сел? Учиться захотел!

— Вот видите, значит — вас тянуло к честной жизни! Учиться — надо, это — важно. Это — благородно.

— Боюсь, Клара, что не всегда благородно. Уж потом в тюрьмах, в лагерях я обдумал. Чему эти профессора могут научить, если они за зарплату держатся и ждут последней газеты? На гуманитарном-то факультете? Не учат, а мозги затемняют. Вы ведь на техническом учились?

— Я и на гуманитарном...

— Ушли? Расскажите потом. Да, так вот надо было мне потерпеть, аттестат за десятилетку поискать, не трудно его и купить, но — беспечность, вот что нас губит! Думаю: какой дурак там меня ищет, пацана, забыли уж, наверно, давно. Взял старый на своё имя аттестат — и подал в университет, только уже в ленинградский, и на факультет — географический.

— А в Москве были на историческом?

— К географии от этих скитаний привязался. Чёртовски интересно! Наездисься — насмотришься... Ну, и что ж? Только походил на лекции с неделю, меня — хоп! — и опять на Лубянку! И теперь — двадцать пять лет! И — в тундру, я ещё не был — практику проходить!

— И вы об этом рассказываете — смеясь?

— А чего ж плакать? Обо всём, Клара, плакать — слёз не хватит. Я — не один. Послали на Воркуту — а там уж таких молодчиков! уголь долбят! Вся Воркута на эзках стоит! Весь Север! Да вся страна одним боком на них опирается. Ведь это, знаете, сбывшаяся мечта Томаса Мора.

— Чья?.. Мне стыдно бывает, я многого не знаю.

— Томаса Мора, дедушки, который «Утопию» написал. Он имел совет признавать, что при социализме неизбежно останутся разные унизительные и особо-тяжёлые работы. Никто не захочет их выполнять! Кому ж их поручить? Подумал Мор и догадался: да ведь и при

социализме будут нарушители порядка. Вот им, мол, и поручим! Таким образом современный ГУЛАГ придуман Томасом Мором, очень старая идея!..

— Я никак не одумаюсь. В наше время — и так жить: подделывать паспорта, менять города, носиться, как парус... Людей, подобных вам, я нигде в жизни не видела.

— Клара, я тоже не такой! Обстоятельства могут сделать из нас чёрта! Вы же знаете — бытие определяет сознание! Я и был тихий мальчик, слушался маму, читал Добролюбова «Луч света в тёмном царстве». Если милиционер манил меня пальцем — во мне падало сердце. Во всё это вырастаешь незаметно. А что мне оставалось? Ждать, как кролику — пока меня второй раз возьмут?

— Не знаю, что оставалось, но и так жить?!.. Я представляю, как это тяготно: вы — постоянно вне общества! вы — какой-то лишний гонимый человек...

— Ну, иногда тяготно. А иногда, знаете, даже и не тяготно. Потому что как по Тезикову базару походишь, посмотришь... Ведь если новенькие ордена продают и к ним удостоверения незаполненные, так это — где продажный человек работает, а? В какой организации? Представляете?.. Вообще я скажу вам, Клара, так: я сам — только за честную жизнь, но чтобы все, понимаете? — чтобы все до одного!

— Но если все будут ждать от других, так никогда и не начнётся. Каждый должен...

— Каждый должен, но не каждый делает! Слушайте, Клара, я вам скажу проще. Против чего произошла революция? Против привилегий! Тошно было русским людям от чего? От привилегий. Одни одеты были в робу, другие — в соболя, одни пешкодралом — другие на фазтонах, одни по гудочку на фабрику, другие в ресторанах морду наращивали. Верно?

— Конечно.

— Правильно. Но почему же теперь люди не отталкиваются от привилегий, а тянутся к ним? И что говорить обо мне, о пацане? Разве с меня начинается? Я же на старших смотрю. Я же насмотрелся. Живу в небольшом городке в Казахстане. Что я вижу? Жёны местных начальников бывают в магазине? Да никогда! Меня самого посылали первому секретарю райкома ящик макарон отнести. Целый ящик. Нераспечатанный. Можно догадаться, что не только этот ящик и не только в этот день...

— Да, это ужасно! Это меня саму переворачивало всегда, вы поверите?

— Поверю, конечно. Почему живому человеку не поверить? Скорей поверю, чем книжке в миллион экземпляров... И вот эти привилегии — они же охватывают людей, как зараза. Если кто может покупать не в том магазине, где все — обязательно будет там покупать. Если кто может лечиться в отдельной клинике — обязательно будет там лечиться. Если может ехать в персональной машине — обязательно поедет. Если только где-нибудь мёдом помазано и туда по пропускам — обязательно будет этот пропуск выхлопывать.

— Это — да! Это ужасно!

— Если забором может отгородиться — обязательно отгородится. И сам же сукин сын был мальчишкой — лазил через купеческий забор, яблоки рвал — и тогда был прав! А теперь ставит забор в два роста, да сплошной, чтоб к нему заглянуть нельзя, ему так уютно оказывается! — и думает, что опять же он прав! А в Оренбурге на базаре инвалиды войны, которым объедки одни достались, играют в решку — медалью Победы. Бросят вверх и кричат: «Морда — или Победа?»

— Как это?

— Ну, там с одной стороны написано «победа», а с другой — Изображение. Посмотрите у отца.

— Ростислав Вадимыч...

— Какой я к чертям Вадимыч? Просто — Руся.

— Мне трудно вас так называть...

— Ну, я тогда встану и уйду. Вон, на обед звонят. Я для всех — Руся, а для вас... особенно... Не хочу иначе.

— Ну, хорошо... Руся... Я тоже не совсем глупенькая. Я много думала. С этим нужно — бороться! Но не вашим способом, конечно.

— Да я же ещё и не боролся! Я просто так рассуждал: если равенство — так всем равенство, а если нет — так к ядреней Фене... Ох, простите меня, пожалуйста... Ох, простите, я не хотел... И вот видим мы с детских лет такое дело: в школе говорят красивые слова, а дальше не ступишь без блата, а нигде нельзя без лапы — так и мы растём продувные, нахальство — второе счастье!

— Нет! Нет! Так нельзя! В нашем обществе много справедливого. Вы берёте через край! Так нельзя! Вы много видели, правильно, много пережили, но «нахальство второе счастье» — это же не жизненная философия! Так нельзя!

— Руська! На обед звонили, слышал?

— Ладно, Земеля, иди, я сейчас... Клара! Вот я говорю вам взвешенно, торжественно: я всей душой был бы рад жить совсем иначе! Но если бы у меня был друг... с холодной головой... подруга... Если бы мы могли с ней вместе обдумать. Правильно построить жизнь. В общем я — это ведь только внешне, что я — как будто арестант и на двадцать пять лет. Я... О, если б вам рассказать, на каком я лезвии сейчас балансирую!.. Любой нормальный человек умер бы от разрыва сердца... Но это потом... Клара! Я хочу сказать: во мне — вулканические запасы энергии! Двадцать пять лет — ерунда, я могу шутя когти оторвать...

— Ка-ак?

— Ну, это... умахнуть. Я даже сегодня утром присматривал, как бы я это из Марфина сделал. От того дня, когда невеста моя — если б только она у меня появилась — сказала бы: Руся! Убег! Я жду тебя! — клянусь вам, я бы в три месяца убежал, паспорта бы подделал — не подкопаешься! Увёз бы её в Читку, в Одессу, в Великий Устюг! И мы начали бы новую, честную, разумную, свободную жизнь!

— Хорошенькая жизнь!

— Знаете, как у Чехова всегда герои говорят: вот через двадцать лет! через тридцать лет! через двести лет! Нарботаться бы день на кирпичном заводе, да прийти уставшему! О чём мечтали!.. Нет, это я всё шучу! Я вполне серьёзно! Я совершенно серьёзно хочу учиться, хочу трудиться! Только не один! Клара! Посмотрите, как тихо, все ушли. В Великий Устюг — хотите? Это — памятник седой старины. Я там ещё не был.

— Какой вы паразитерный человек.

— Я искал её в ленинградском университете. Но не думал, где найду.

— Кого?..

— Кларочка! Из меня ещё кого угодно можно вылепить женскими руками — великого проходимца, гениального картёжника или первого специалиста по этрусским вазам, по космическим лучам. Хотите — стану?

— Диплом подделаете?

— Нет, правда стану! Кем назначите, тем и стану. Мне только — вы нужны! Мне нужна только ваша голова, которую вы так медленно поворачиваете, когда в лабораторию входите...

Генерал-майор Пётр Афанасьевич Макарыгин, кандидат юридических наук, давно уже служил прокурором по *спецделам*, то есть, делам, содержание которых было бы не полезно знать общественности и которые поэтому производились скрытно. (Все миллионы политиче-

ских дел были такими.) К этим делам, наблюдать за правильностью следствия и всего хода и поддерживать обвинение, — не всякие прокуроры допускались, и допускались самим следствием, то есть ревизуемым МГБ. Но Макарыгин всегда был допущен: помимо давних там знакомств он ещё с большим тактом умел совмещать свою неуклонную преданность законам и понимание специфики работы Органов.

У него было три дочери — все три от первой жены, его подруги по гражданской войне, умершей при рождении Клары. Воспитывала дочерей уже мачеха, сумевшая, впрочем, стать для них тем, что называется хорошая мать.

Дочерей звали: Динэра, Дотна́ра и Клара. Динэра значило ДИтя Новой ЭРы, Дотнара — ДОчь Трудового НАРода.

Дочери шли ступеньками по два года. Средняя, Дотнара, окончила десятилетку в сороковом году и, обскакав Динэру, на месяц раньше её вышла замуж. Отец посердился, что рановато, но правда, зять попался хороший — выпускник Высшей Дипшколы, способный и покровительствуемый молодой человек, сын известного отца, погибшего в гражданскую войну. Звали зятя — Иннокентий Володин.

Старшая дочь Динэра, пока мать ездила в школу улаживать её двойки по математике, болтала ножками на диване и перечитывала всю мировую литературу от Гомера до Фаррера. После школы, не без помощи отца, она поступила на актёрский факультет института кинематографии, со второго курса вышла замуж за довольно известного режиссёра, эвакуировалась с ним в Алма-Ату, снималась героиней в его фильме, потом разошлась с ним, вышла замуж за женатого генерала интендантской службы и уехала с ним на фронт — не на фронт, а в тот самый третий эшелон, лучшую полосу войны, куда не долетают снаряды врага, но и не доползают тяжести тыла. Там Динэра познакомилась с писателем, входившим в моду, фронтowym корреспондентом Галаховым, ездила с ним собирать для газеты материалы о героизме, вернула генерала его прежней жене, а сама с писателем уехала в Москву.

Так уже восемь лет, как из детей осталась в семье одна Клара.

Две старших сестры разобрали на себя всю красоту, и Кларе не осталось ни красоты, ни даже миловидности. Она надеялась, что это с годами исправится — нет, не исправилось. У неё было чистое прямое лицо, но слишком мужественное. По углам лба, по углам подбородка сложилась какая-то твёрдость — и Клара не могла её изгнать, да уж и не следила за этим, примирилась. И руками она двигала тяжеловато. И смех у неё был какой-то твёрдый. Оттого она не любила смеяться. И танцевать не любила.

Клара кончала девятый класс, когда посыпались все события сразу: замужество обеих сестёр, начало войны, отъезд её с мачехой в эвакуацию в Ташкент (отец отправил их уже двадцать пятого июня) — и уход отца в армию прокурором дивизии.

Три года они прожили в Ташкенте, в доме старого приятеля их отца — заместителя одного из Главных тамошних прокуроров. В их покойную квартиру около окружного дома офицеров, на втором этаже, с надёжно зашторенными окнами, не проникали зной юга и горе города. Из Ташкента взяли в армию многих мужчин, но вдесятеро наехало их сюда. И хотя каждый из них мог убедительными документами доказать, что его место тут, а не на фронте, у Клары было неконтролируемое ощущение, будто сток нечистот омывал её здесь, чистота же подвига и вершина духа — вся ушла за пять тысяч вёрст. Действовал извечный закон войны: хотя не по волеизъявлению люди уходили на фронт, а всё же все горячие и все лучшие находили дорогу туда, да и там, по тому же отбору, их же больше всего и погибло.

В Ташкенте Клара окончила десятилетку. Шли споры, куда ей поступать. Как-то никуда особенно её не тянуло, ничто не определилось в ней ясно. Но из такой семьи нельзя же было не поступать! Ре-

шила выбор Динэра: она очень, очень настаивала в письмах и заезжала проститься перед фронтом, — чтобы Кларёныш поступала на литературный.

Так и пошла, хотя по школе знала, что скучная эта литература: очень правильный Горький, но какой-то неувлекательный; очень правильный Маяковский, но непроворотливый какой-то; очень прогрессивный Салтыков-Щедрин, но рот раздерёшь, пока прочитаешь; потом ограниченный в своих дворянских идеалах Тургенев; связанный с нарождающимся русским капитализмом Гончаров; Лев Толстой с его переходом на позиции патриархального крестьянства (романов Толстого учительница не советовала им читать, так как они очень длинные и только затемняют ясные критические статьи о нём); и ещё потом скопом делали обзор каких-то уже совсем никому не известных Степняка-Кравчинского, Достоевского и Сухово-Кобылина, правда у них и названий запоминать не надо было. Во всём этом многолетнем ряду один разве Пушкин сиял как солнышко.

И вся-то литература состояла в школе из усиленного изучения, что хотели выразить, на каких позициях стояли и чей социальный заказ выполняли все писатели эти и ещё потом советские русские и братских народов. И до самого конца Кларе и её подругам так и непонятно осталось, за что вообще этим людям такое внимание: они не были самыми умными (публицисты и критики, и тем более партийные деятели были все умнее их), они часто ошибались, путались в противоречиях, где и школьнику было ясно, попадали под чуждые влияния — и всё-таки именно о них надо было писать сочинения и дрожать за каждую ошибочную букву и ошибочную запятую. И ничего, кроме ненависти, эти вампиры молодых душ не могли к себе вызвать.

Вот у Динэры с литературой получалось как-то всё иначе — остро, весело. Уверяла Динэра, что в институте такая и будет литература. Но Кларе не оказалось веселей и в университете. На лекциях пошли юсы малые и большие, монашеские сказания, школы мифологическая, сравнительно-историческая и всё это вроде бы пальцами по воде, а на кружках толковали о Луи Арагоне, о Говарде Фасте и опять же о Горьком в связи с его влиянием на узбекскую литературу. Сидя на лекциях и сперва ходя на эти кружки, Клара всё ждала, что ей скажут что-то очень главное о жизни, вот об этом тыловом Ташкенте, например.

Брата клариной соученицы по десятому классу зарезало трамвайной развозкой с хлебом, когда он с друзьями хотел стащить на ходу ящик... В коридоре университета Клара как-то выбросила в урну не доеденный ею бутерброд. И тотчас же, неумело маскируясь, подошёл студент её же курса и этого же самого арагоновского кружка, вынул бутерброд из мусора и положил себе в карман... Одна студентка водила Клару советовать о покупке на знаменитый Тезиков базар — первую толкучку Средней Азии или даже всего Союза. За два квартала там толпился народ и особенно много было калек, уже этой войны — они хромали на костылях, размахивали обрубками рук, ползали, безногие, на дощечках, они продавали, гадали, просили, требовали — и Клара раздавала им что-то, и сердце её разрывалось. Самый страшный инвалид был *самовар*, как его там звали: без обеих рук и без обеих ног, жена-пропойца носила его в корзине за спиной, и туда ему бросали деньги. Набрав, они покупали водку, пили и громко поносили всё, что есть в государстве. К центру базара — гуще, не пробиться плечом через наглых бронированных спекулянтов и спекулянтку. И никого не удивляли, всем были понятны и всеми приняты тысячные цены здесь, никак не соразмерные с зарплатами. Пусты были магазины города, но всё можно было достать здесь, всё, что можно проглотить, что можно надеть на верхнюю или нижнюю часть тела, всё, что можно изобрести — до американской жевательной резинки, до пистолетов, до учебников чёрной и белой магии.

Но нет, об этой жизни на литфаке не говорили и как бы даже не знали ничего. Литературу такую изучали там, будто всё было на земле, кроме того, что видишь вокруг собственными глазами.

И с тоской поняв, что через пять лет это кончится тем, что и сама она пойдёт в школу и будет задавать девчёнкам нелюбимые сочинения и педантично выискивать в них запятые и буквы, — Клара стала больше всего играть в теннис: в городе были хорошие корты, а у неё развился верный сильный удар.

Теннис оказался для неё счастливым занятием: он приносил радость движения телу; уверенность удара отдавалась уверенностью и других поступков; теннис отвлек её и от всех этих институтских разочарований и тыловых запуганностей — ясные границы корта, ясный полёт мяча.

Но ещё важнее — теннис принёс ей радость внимания и похвал окружающих, которые совершенно необходимы девушке, особенно некрасивой. У тебя, оказывается, есть ловкость! реакция! глазомер! У тебя многое есть, а ты думала — нет ничего. Часами можно прыгать по корту неумоимо, если хоть несколько зрителей сидят и смотрят за твоими движениями. И белый теннисный костюм с короткой юбочкой наверьняка Кларе шёл.

Вообще это в страдание для неё превратилось: что надевать? Несколько раз в день приходится переодеваться и каждый раз мучительная головоломка: что надеть на твои крупные ноги? и какая шляпка тебе не смешна? и какие цвета тебе идут? и какой рисунок ткани? и какой воротник к твоему твёрдому подбородку? Клара была оделена способностью это знать, и при средствах одеваться — всегда была одета дурно.

Вообще: как это — нравятся? как это — нравиться? почему ты — не нравишься? Ведь с ума сойдёшь, никто тебе не поможет и не выручит никто. В чём это ты не такая? Что это в тебе не то? Один, два, три эпизода можно объяснять случайностями, несовпадениями, неопытностью — но наконец этот невидимый горький стебель всё время попадает тебе между зубами, в каждом глотке. Как побороть эту несправедливость? Ты же не виновата, что такая уродилась!

А тут ещё эта литературная трепотня так надоела Кларе, что на втором году Клара забросила литфак, просто перестала ходить.

А со следующей весны фронт пошёл уже в Белоруссию, все покидали эвакуацию. И они тоже вернулись в Москву.

Но и тут не сумела Клара верно решить, в какой же ей институт идти. Искала она, где меньше говорят, а больше делают, значит — технический. Но чтобы не с тяжёлыми грязными машинами. И так попала в институт инженеров связи.

Никем не руководимая, она опять совершила ошибку, но в этой ошибке никому не призналась, упрямо решив доучиться и работать, как придётся. Впрочем, среди однокурсниц (мальчиков было мало) не одна она оказалась случайная, век такой начинался: ловили синюю птицу высшего образования, и не попавшие в авиационный институт переносили документы в ветеринарный, забракованные в химико-технологическом становились палеонтологами.

В конце войны у отца Клары было много работы в Восточной Европе. Он демобилизовался осенью сорок пятого и сразу получил квартиру в новом доме МВД на Калужской заставе. В один из первых дней возвращения он повёз жену и дочь смотреть квартиру.

Автомобиль прокатил их мимо последней решётки Нескучного сада и остановился, не доезжая моста через окружную железную дорогу. Было предполуденное время тёплого октябрьского дня, затянувшегося бабьего лета. И мать и дочь были в лёгких плащах, отец — в генеральской шинели с распахнутой грудью, с орденами и медалями.

Дом строился полукруглый на Калужскую заставу, с двумя крыльями: одно — по Большой Калужской, другое — вдоль окружной. Всё

делалось в восемь этажей, и ещё предполагалась шестнадцатизэтажная башня с солярием на крыше и с фигурой колхозницы в дюжину метров высотой. Дом был ещё в лесах, со стороны улицы и площади не кончен даже каменной кладкой. Однако, уступая нетерпеливости заказчика (Госбезопасности), строительная контора скороспешно сдавала со стороны окружной уже вторую отделанную секцию, то есть лестницу с прилегающими квартирами.

Строительство было обнесено, как это всегда бывает на людных улицах, сплошным деревянным забором, — а что сверх забора была ещё колючая проволока в несколько рядов и кое-где высились безобразные охранные вышки, из проносившихся машин замечать не успевали, а жившим через улицу было привычно и тоже как будто незаметно.

Семья прокурора обошла забор вокруг. Там уже снята была колючая проволока, и сдаваемая секция выгорожена из строительства. Внизу, у входа в парадное, их встретил любезный прораб, и ещё стоял солдат, которому Клара не придала внимания. Всё уже было окончено: высохла краска на перилах, начищены дверные ручки, прибиты номера квартир, протёрты оконные стёкла, и только грязно одетая женщина, наклонённого лица которой не было видно, мыла ступени лестницы.

— Э! Алё! — коротко окликнул прораб, — и женщина перестала мыть и посторонилась, давая дорогу на одного и не поднимая лица от ведра с тряпкой.

Прошёл прокурор.

Прошёл прораб.

Шелестя многоскладчатой надушенной юбкой, почти обдавая ею лицо поломойки, прошла жена прокурора.

И женщина, не выдержав ли этого шёлка и этих духов, — оставаясь низко склонённой, подняла голову посмотреть, много ли их ещё.

Её жгучий презирающий взгляд опалил Клару. Обданное брызгами мутной воды, это было выразительное интеллигентное лицо.

Не только стыд за себя, который всегда ощущаешь, обходя женщину, моющую пол, — но перед этой юбкой в лохмотьях, перед этой телогрейкой с вылезшей ватой Клара испытала какой-то ещё высший стыд и страх! — и замерла — и открыла сумочку — и хотела вывернуть её всю, отдать этой женщине — и не посмела.

— Ну, проходите же! — зло сказала женщина.

И придерживая подол своего модного платья и край бордового плаща, почти притиснувшись к перилам, Клара трусливо пробежала наверх.

В квартире не мыли полов — там был паркет.

Квартира понравилась. Мачеха Клары дала прорабу указания по доделкам и особенно была недовольна, что паркет в одной комнате скрипит. Прораб покачался на двух-трёх клёпках и обещал устранить.

— А кто здесь всё это делает? строит? — резко спросила Клара.

Прораб улыбнулся и промолчал. Отец буркнул:

— Заключённые. кто!

На обратном пути женщины на лестнице уже не было.

И солдата не было снаружи.

Через несколько дней они переехали.

Но шли месяцы, и годы шли, а Клара почему-то всё не могла забыть той женщины. Она помнила точно её место на предпоследней ступеньке отметного удлинённого марша, и каждый раз, если не в лифте, вспоминала на этом месте её серую нагнутую фигуру и вывернутое ненавидящее лицо.

И всегда суеверно сторонилась к перилам, как бы боясь наступить на поломойку. Это было непонятно и — непобедимо.

Однако, ни с отцом, ни с матерью она никогда этим не поделилась, не напомнила им, не могла. С отцом после войны её отношения

вообще установились нескладистые, недобрые. Он сердился и кричал, что она выросла с испорченной головой, если вдумчивая — то навыворот. Её ташкентские воспоминания, её московские будние наблюдения он находил нетипичными, вредными, а манеру искать из этих случаев вывод — возмутительной.

О том, что поломойка и сегодня стоит на их лестнице — никак нельзя было ему признаться. Да и мачехе. Да и вообще — кому?

Вдруг однажды, в прошлом году, спускаясь по лестнице с младшим зятем, Иннокентием, она не удержалась — невольно отвела его за рукав в том месте, где надо было обойти невидимую женщину. Иннокентий спросил, в чём дело. Клара замялась, могло показаться, что она сумасшедшая. К тому же Иннокентия она видела очень редко, он постоянно жил в Париже, франтовски одевался, держался с постоянной насмешечкой и снисходительно к ней, как к девочке.

Но решила, остановилась — и тут же рассказала, всё руками развела, как было тогда.

И без всякого франтовства, без этого ореола вечной европейской жизни, он стоял всё на той же ступеньке, где их застигло, и слушал — совсем попростевший, даже потерянный, почему-то шляпу сняв.

Он всё понял!

С этой минуты у них началась дружба.

44

До прошлого года Нара со своим Иннокентием были для семьи Макарыгиных какими-то заморскими нереальными родственниками. В год недельку они мелькали в Москве да к праздникам присылали подарки. Старшего зятя, знаменитого Галахова, Клара привычно называла Колей и на «ты», — а Иннокентия стеснялась, сбивалась.

Прошлым летом они приехали надолго, стала часто Нара бывать у родных и жаловаться приёмной матери на мужа, на порчу и затмение их семейной жизни, до тех пор такой счастливой. С Алевтиной Никаноровной они долгие вели об этом разговоры, Клара не всегда была дома, но если была, то открыто или притаённо слушала, не могла и не хотела уклониться. Ведь самая главная загадка жизни эта и была: отчего любят и отчего не любят?

Сестра рассказывала о многих мелких случаях их жизни, разногласиях, столкновениях, подозрениях, также о служебных просчётах Иннокентия, что он переменялся, стал пренебрегать мнением важных лиц, а это сказывается и на их материальном положении, Нара должна себя ограничивать. По рассказам сестры она оказывалась во всём права, и во всём неправ муж. Но Клара сделала для себя противоположный вывод: что Нара не умела ценить своего счастья; что пожалуй она сейчас Иннокентия не любила, а любила себя; она любила не работу его, а своё положение в связи с его работой; не взгляды и пристрастия его, пусть изменившиеся, а своё владенье им, утверждённое в глазах всех. Клару удивляло, что главные обиды её были не на подозреваемые измены мужа, а на то, что он в обществе других дам недостаточно подчёркивал её особое значение и важность для себя.

Неволею младшей незамужней сестры мысленно примеряя себя к положению старшей, Клара уверилась, что она бы себя так ни за что не вела. Как же можно удовлетворяться чем-то, отдельным от его счастья?.. Тут ещё запутывалось и обострялось, что не было у них детей.

После того радостного откровения на лестнице стало так просто между ними, что хотелось видеться ещё, обязательно. И, главное, много вопросов набралось у Клары, на которые вот Иннокентий мог бы и ответить!

Однако присутствие Нары или другого кого-нибудь из семьи почему-то мешало бы этому.

И когда в тех же днях Иннокентий вдруг предложил ей съездить на денёк за город, она толчком сердца сразу же согласилась, ещё и подумать, ещё и понять не успев.

— Только не хочется никаких усадеб, музеев, знаменитых развалин,— слабо улыбался Иннокентий.

— Я тоже не люблю! — определённо отвела Клара.

Оттого что Клара знала теперь его невзгоды, его вялая улыбка сжимала её сочувствием.

— Обалдеешь от этих Швейцарий,— извинялся он,— хоть по России простенькой побродить. Найдём такую, а?

— Попробуем! — энергично кивнула Клара.— Найдём!

Всё-таки прямо не договорились — втроем или вдвоем они едут.

Но назначил ей Иннокентий будний день и Киевский вокзал, без звонка домой, без заезда сюда, на Калужскую. И из этого ясно стало не только, что — вдвоем, но и родителям, пожалуй, знать не нужно.

По отношению к сестре Клара чувствовала себя вполне вправе на эту поездку. Даже если бы они прекрасно жили — это был законный родственный налог. А так, как жили они — была виновата Нара.

Может, самый замечательный день жизни предстоял сегодня Кларе — но и самые мучительные приготовления: как же одеться?! Если верить подругам, ей не шёл ни один цвет — но какой-то цвет надо же выбрать! Она надела коричневое платье, плащ взяла голубой. А больше всего промучалась с вуалеткой — два часа накануне примеряла и снимала, примеряла и снимала... Ведь есть же счастливицы, кто сразу могут решить. Кларе отчаянно нравились вуалетки, особенно в кино: они делают женщину загадочной, поднимают её выше критического разглядывания. Но всё ж она отказалась: Иннокентию надоели всякие французские выдумки, да и будет солнечный день. А чёрные сетчатые перчатки всё же надела, сетчатые перчатки очень красиво.

Им сразу попался дальний малоярославецкий поезд, паровичок, вот и хорошо, они билеты взяли до конца на всякий случай, плана у них не было и станций они не знали.

До того не знали, что оба вздрогнули, когда соседи назвали станцию Нара! Иннокентий, если бы знал, может выбрал бы другой вокзал? А Клара совсем забыла.

И ещё много раз в пути повторяли эту Нару. Так и висела над ними...

Августовское утро было прохладное. Они встретились оба бодрые, весёлые. Сразу установился разговор несвязный, оживлённый, только несколько раз ошибались оба на «вы» и тут же смеялись, и от этого ещё проще становилось.

Иннокентий был весь в западном, полуспортивном, что ли, а таскал и мял с такой небрежностью, как костюм из «рабочей одежды».

Хотя целый день был впереди, но Клара кинулась его распрашивать, сбивчиво — то о Европе, то — как понимать нашу жизнь. Она сама точно не знала, чего хотела, что именно нужно ей понять. Но что-то нужно было! Ей искренне хотелось поумнеть! Ей так необходимо было разобраться!

Иннокентий шуточно крутил головой:

— Вы думаете... ты думаешь, я сам что-нибудь понимаю?

— Но вы же дипломаты, вы нас всех ведёте — и вдруг ничего не понимаете?

— Да нет, все мои коллеги понимают, это только я ничего не понимаю. И даже я всё понимал примерно до прошлого, до позапрошлого года.

— Что же случилось?

— И вот этого — тоже не понимаю,— смеялся Иннокентий.— И потом, Кларочка, всякое объяснение неизвестно откуда начинать, оно же тянется от дальних-дальних азов. Вот сейчас из-под лавки вылезет пещерный человек и попросит объяснить ему за пять минут, как

электричеством ходят поезда. Ну, как ему объяснишь? Сперва вообще походи научись грамоте. Потом — арифметике, алгебре, черчению, электротехнике... Чему там ещё?

— Ну, не знаю... магнетизму...

— Вот, и ты не знаешь; а на последнем курсе! А потом, мол, приходи, через пятнадцать лет, я тебе всё за пять минут и объясню, да ты и сам уже будешь знать.

— Ну, хорошо, я готова учиться, но где учиться? С чего начинать?

— Ну... хоть с наших газет.

По вагону шёл с кожаной сумкой и продавал газеты, журналы. Иннокентий купил у него «Правду».

Ещё при посадке, понимая, что разговор у них может быть особенный, Клара направила спутника занять неудобную двухместную скамью у двери: Иннокентий не понимал, но только здесь можно было говорить посвободней.

— Ну, давай учиться читать, — развернул газету Иннокентий. — Вот заголовок: «Женщины полны трудового энтузиазма и перевыполняют нормы». Подумай: а зачем им эти нормы? Что у них, дома дела нет? Это значит: соединённой зарплаты мужа и жены не хватает на семью. А должно хватать — одной мужской.

— Во Франции так?

— Везде так. Вот дальше, смотри: «во всех капиталистических странах, вместе взятых, нет столько детских садов, сколько у нас». Правда? Да, наверно правда. Только не объяснена самая малость: во всех странах матери свободны, воспитывают детей сами, и детские сады им не нужны.

Дребезжали. Ехали. Останавливались.

Иннокентий без труда находил, пальцем ей показывал, а при гроте объяснял к уху:

— Бери дальше, самые ничтожные заметки: «Член французского парламента имярек заявил...» и дальше о ненависти французского народа к американцам. Сказал так? Да наверно сказал, мы правду пишем! Только пропущено: от какой партии член парламента? Если он не коммунист, так об этом бы непременно написали, тем ценней его высказывание! Значит, коммунист. Но — не написано! И так всё, Кларэт. Напишут о небывалых снежных заносах, тысячи автомашин под снегом, вот народное бедствие! А хитрость в том, что автомобилей так много, что для них даже гаражей не строят... Всё это — свобода от информации. Это проходит и в спорт, пожалуйста: «встреча принесла заслуженную победу...», дальше не читай, ясно: нашему. «Судейская коллегия неожиданно для зрителей признала победителем...» — ясно: не нашего.

Иннокентий оглянулся, куда выбросить газету. И этого не понимал, какой это заграничный жест! И так уж на них огаядывались. Клара отняла газету и держала.

— Вообще, спорт — опиум для народа, — заключил Иннокентий.

Это было неожиданно и очень обидно. И совсем неубедительно звучало у такого некрепкого человека.

— Я — в теннис много играю и очень его люблю! — тряхнула головой Клара.

— Играть — ничего, — сразу исправился Иннокентий. — Страшно — на зрелища кидаться. Спортивными зрелищами, футболом да хоккеем из нас и делают дураков.

Дребезжали. Ехали. Смотрели в окно.

— Значит, у них там — хорошо? — спросила Клара. — Лучше?

— Лучше, — кивнул Иннокентий. — Но не хорошо. Это разные вещи.

— Чего ж не хватает?

Иннокентий серьёзно на неё посмотрел. Того первого оживления не стало в нём, очень спокойно смотрел.

— Так просто не скажешь. Сам удивляюсь. Чего-то нет. И даже многого нет.

А Кларе так с ним было хорошо, по-человечески хорошо, не от какой-нибудь игры прикосновений, пожатий или тона, их не было,— и хотелось отблагодарить, чтоб ему тоже было хорошо, крепче.

— У вас... у тебя такая интересная работа,— утешала она.

— У меня? — поразился Иннокентий, и при том, что он был худ, ещё впали его щёки, он показался замученным, будто недоедающим.— Служить нашим дипломатом, Кларочка, это иметь две стенки в груди. Два лба в голове. Две разных памяти.

Больше не пояснял. Вздохнул, смотрел в окно.

А понимала ли это его жена? А чем она его укрепила, утешила?

Клара всматривалась и обнаружила такую особенность его лица: отдельно верх его лица выглядел довольно жёстко, отдельно низ — мягко. От лба, свободно развёрнутого от уха к уху, лицо косыми линиями сужалось и смягчалось к небольшому нежному рту. Около рта было много мягкости, даже беспомощности.

Разгорался день, весело мелькали леса, много лесу было по дороге.

Чем дальше шёл поезд, тем проще оставалась публика в вагоне и тем заметнее среди всех — они оба, будто разряженные для сцены. Клара сняла перчатки.

На лесном полустанке они выскочили. Кроме них ещё несколько баб с городскими продуктами в сумках вышли из соседнего вагона, больше никого не осталось на перроне.

Молодые люди собирались в лес. И по ту и по другую сторону тут был лес, правда густой, тёмный, некрасивый. Но как только поезд убрал хвост, бабы дружной кучкой все вместе уверенно подались деревянным переходом через рельсы и куда-то правее леса. И Клара с Иннокентием тоже пошла за ними.

Травы и цветы сразу за линией стояли по плечо. Потом тропка ныряла сквозь несколько рядов берёзовой посадки. Там дальше было выкошено, стожок, а на подросте травы паслась и не паслась задумчивая коза, привязанная длинной верёвкой к колышку. Теперь налево лес распахивался, но бабы бойко сыпали правей, прямо на солнце, где ещё за рядами кустов открывался обширный простор.

И молодые люди согласны решили, что в лес — успеется, а вот в этот сияющий простор непременно им надо сейчас же идти.

Туда выводила полевая дорога — плотная, травяная. От неё ближе к линии золотилось хлебное поле — тяжёлые колосья на коротких крепких стеблях, а что за хлеб — они не знали, но на красоту поля это не влияло. По другую же сторону дороги, чуть не на весь простор, сколько видеть можно было, стояла голая запаханная, а потом от дождей оплывшая земля, одни места сырей, другие суше — и на таком большом пространстве ничего не росло.

Их полустанок был в углу, теперь только они выходили на этот простор — такой объёмный, что никак его нельзя было в два глаза убрать, не повернув несколько раз головы. И далеко вокруг и тут за линией сразу всё обмыкалось лесом сплошным с мелко зубристым издала верхом.

Вот кажется этого они и хотели, не зная, не задавшись! Они побрели так медленно, как спотыкались ноги при головах, запрокинутых к небу. И останавливались, и головами вертели. Линия тоже была не видна, закрытая посадкой. И только впереди, за долгой простора, куда шли они, выдвигалась по пояс из западающей местности тёмно-кирпичная церковь с колокольней. И ещё бабы удалялись впереди, а больше на всём просторе не было ни человека, ни хутора, ни тракторного вагончика, ни брошенной косилки, никого, ничего — тёплое гульбище ветра и солнца да пространство рыскающих птиц.

В две минуты ничего не осталось от их делового тона и забот.

— Так это — Россия? Вот это и есть — Россия? — счастливо спрашивал Иннокентий и жмурился, разглядывая простор, останавливаясь, смотрел на Клару. — Слушай, я ведь представляю Россию, но я ведь её не представляю! — каламбурил он. — Я никогда по ней вот так просто не ходил, только самолёты, поезда, столицы...

Он взял её вытянутой рукой, пальцы за пальцы, как берутся дети или очень близкие люди. И так они побрели, меньше всего глядя под ноги. В свободных руках помахивались у него шляпа, у неё сумочка.

— Слушай, сестра! — говорил он. — Как хорошо, что мы пошли сюда, а не в лес. Вот именно этого мне в жизни не хватает: чтоб во все стороны было видно. И чтоб дышалось легко!

— А тебе — неужели не видно? — Его жалоба так тронула её — свои бы глаза она предложила, если б это могло помочь.

— Нет, — качал он, — нет. Было когда-то видно, а сейчас всё запуталось.

Что запуталось? Если уж так запуталось, то это не в убеждениях только, это обязательно и в семье. И если б он ещё немножко добавил, Клара посмела бы тогда вмешаться, и открыла бы, как она за него, и как он прав, и не надо отчаиваться!

— Так надо бывает поговорить! — отзывалась она.

Но он на том и кончил. Он уже смолк.

Жарчело. Сняли плащи.

Никто больше не появлялся во всём окоёме, не встречался, не обгонял. За посадкой изредка протягивались поезда, прошумливали, а будто беззвучно, только дымок в движеньи.

Удалявшиеся бабы давно свернули с этой дороги и теперь уже были в центре простора, плохо видны против солнца. Дошли до того поворота и Иннокентий с Klarой; по мягкому полю шла утоптанная (на солнце светлей) тропочка, чуть ныряя на тракторных бороздах. Вкось больших плановых полей протаптывали людишки свои мелюзговые потребности.

Тропа шла к той деревне с церковью, но ещё раньше в середине простора она подходила к удивительно тесной, особой кучке деревьев. Куща стояла посреди полей, далеко отступая от всякого леса, и от деревни изрядно — странная бодряя свежая куща крутых высоких деревьев. Она узкая была, но украшала собой весь простор, она была его центр. Что ж это могло быть? Отчего и зачем среди полей?

Свернули туда и они.

Руки их разъединились. Тропа была на одного. Теперь он шёл позади Клары.

Идёт позади и смотрит тебе в спину. Рассматривает тебя. То ли муж твоей сестры. То ли брат тебе. То ли...

Теперь чтобы говорить, Кларе надо было останавливаться и оглядываться:

— А как ты будешь меня звать? Не зови «Клярэт».

— Не буду. Да я ж тебя не знал. Вообще на Западе так сокращают, чтоб два-три звука, не больше.

— Я буду тебя «Инк» звать, ладно?

— Ладно. Очень хорошо.

— Тебя так никто не зовёт?

Нет, простор был не совсем ровный, он незаметно спадал налево, куда они шли. Местность полого разваливалась, а к той куще деревьев поднималась опять.

Теперь уже видно было, что это — берёзы, и старые, большие, посаженные обводным прямоугольником ровно, а в середине ещё. Как удивительно стояла эта куща, ни к чему не относясь, сама по себе.

— А у тебя когда это всё началось? — спрашивала Клара.

Что — это? Тут много вкладывалось.

Но он не затрунился:

— Наверно, знаешь когда? Когда я стал разбирать мамины шкафы. Нет, может быть и раньше, может и за целый год раньше, а всё-таки, когда я стал разбирать шкафы.

— Это уже после смерти?

— Намного после смерти, намного. Да не так давно. Я ведь... Вот и этого никому не расскажешь, Дотти этого не принимает или не понимает...

(А я пойму!.. Больше, больше о Дотти, мы так разговоримся сейчас! Тебе будет легко!..)

— ...Я ведь очень плохой был сын, Кларонька. Я ведь при жизни маму по-настоящему никогда не любил. Я ведь во время войны из Сирии даже на её похороны... Слушай, а это не кладбище?

Остановились. И вздрогнули, хотя было жарко. Сразу поняли: да, кладбище! И как же они раньше..? Ничем другим и быть не могла эта отдельная среди рабочих полей неприкосновенная сень.

Хотя ещё не было видно крестов, ни могил. Они ещё переходили дно разлога, перескакивали через мокредь (Иннокентий прыгнул хуже Клары, угодил одним ботинком в грязное, но она не подавала ему руки на перепрыг, чтобы не обидеть). Ещё поднимались, и неожиданно круто.

Ни оградой, ни заборными столбами, ни канавой, ни валом — ничем не было кладбище обведено, только стояли по ровнѹ эти старые берёзы, соединясь в верхах, а земля поля ровна и открыта, как воздух в воздух, переходила в густую славную мураву, без сорняков и почему-то невысокую, хотя не топтанную и не стриженную. Мурава росла такая, какая нужна и приятна на кладбище.

Как здесь было тенисто, тихо! Это было самое чистое и живое убежище во всём охвате распланированной местности!

Вокруг иных могилки были ограды. А то — просто безымянные пирамидальные травяные холмики. И даже свежие.

— Как просторно! — удивлялся Иннокентий. — Тут сто могил, не больше, и можно ещё пятьдесят разместить свободно. И, наверно, приходи, копай, никого не спрашивай. А в Москве, где мама лежит, там разрешение хлопотали в Моссовете, и директору кладбища что-то совали, и между двух могил негде ногу поставить, и ещё перекапывают старые под новые.

Вот эти старые берёзы и отстояли кладбищенское раздолье от тракторов.

Сами плащи на землю бросились, само как-то селось — лицом к Простору. Отсюда, из тени и за солнцем, он хорошо смотрелся. Чуть белела, уже далёкая, будка полустанка. И поверх линейной посадки переползал дымок.

Смотрели, дышали, молчали. Очень хорошо сиделось. На восставленные столбиками колени Инк положил голову, сидел так. И Кларе открылся его затылок: как у мальчика слабый затылок, но обработанный терпеливым умелым парикмахером.

— Какое чистое кладбище! — удивлялась Клара. — Скотом не загажено, мазута не налито.

— Да, — с наслаждением выдохнул Иннокентий. — Вот бы где похорониться! Ведь потом не удастся, пропустишь. Будут гроб свинцовый в самолёт совать, потом в автобусе куда-нибудь...

— Рано об этом думать, Инк!

— Когда, Кларонька, всё ложь — очень утомляешься рано. Очень рано, вдвое быстрее. — Он и говорил слабым усталым голосом.

Это могло быть о его работе. А может — обо всей жизни. А может — только о жене.

Доспрашивать Клара не могла.

— И что же — в шкафу?

— В шкафу? — сосредоточил Иннокентий свой всегда не беспечный, всегда озабоченный взгляд. — В шкафу вот что... — Но, кажется,

только представив этот подробный рассказ, он уже устал от него.— Да нет, это долго... Я как-нибудь потом...

Если уж сейчас — долго, то когда ж и рассказывать?.. Или такая его черта, что интересно ему только то, что ново, что первый раз?

На каком же тогда лету у него всё перехватывать?

— Значит, у тебя никого родных не осталось?

— Представь себе — дядя, мамин брат! Причём я о нём тоже ничего не знал до прошлого года.

— Когда не видел?

— То есть, видел маленьким, но совершенно не запомнил.

— Где же он?

— В Твери.

— Где?

— В Калининне. Два часа езды — а никак не соберусь. Да когда мне, если я и в России не бываю?.. Написал ему, старик обрадовался.

— Слушай, Инк, надо поехать! Ведь потом тоже будешь жалеть!

— Да я и думаю поехать, думаю! Да просто вот на днях поеду. Вот слово даю.

Уже отошёл Иннокентий в тени от разморчивого солнца и выглядел бодрей.

Куда ж было им теперь идти? Во все стороны до леса далеко, да и дорог нет, за одним краем кладбища — подсолнухи, за другим — свёкла. Только и оставалась им тропка — та самая, за бабами, к деревне. А там где-нибудь и лес будет. Пошли так.

Иннокентий снял куртку, остался в лёгкой белой рубашке. Островато выпирали лопатки из его некруглой, негладкой спины. А шляпу снова надел от солнца.

— Ты знаешь, на кого похож? — смеялась Клара. — Есенин, воротясь в родную деревню после Европы.

Иннокентий усмехнулся, стал вспоминать:

— Ах, родина, и что ж я тут нашёл?.. Какой я стал чужой... Косить разучился, пахать разучился...

Они входили в безлюдную улицу. Между порядками домов было всего метров десять, но дорога так непоправимо, так до конца веков изрыта, искромсана гусеницами и скатами, местами засохла кочками по колено, местами налита жидкой свинцовой грязью, на высыхание которой не могло хватить никакого лета, — что двум сторонам улицы сноситься было как через реку. Торные тропинки шли только у домов, и надо было сразу выбирать сторону.

По их стороне показалась и быстро шла навстречу девочка с плетёной кошёлкой.

— Дево... — начал Иннокентий, тут разглядел, что она постарше, — девушка! — Но она быстро приближалась и оказалась женщиной лет под сорок, странно маленького роста и с бельмами на обоих глазах. Получилась насмешка, но уже не знал Иннокентий, как лучше обратиться. — Эта деревня — как называется?

— Рождество. — мелькнула она на них нездоровыми глазами и так же спешно шла.

— Рождество? — удивились между собой молодые люди. — Необычное какое название. — Вдогонку крикнули: — А почему?

— Назвали. Откуда я знаю? — отозвалась та через плечо. И спешила дальше.

И куда растеклись все те проворные бабы с поезда? Не было жизни ни на улице, ни во дворах. И покосившиеся хилые двери, как в курятниках, а не домах и безоткрывные, без форточек, навеки вставленные двойные рамы маленьких оконек тоже по видимости не могли скрывать за собой человеческой жизни. Ни классических свиней не было видно или слышно, ни домашней птицы. Лишь убогие тряпки да одеяла, развешенные в одном дворе на верёвках, доказывали, что кто-то здесь утром был.

Солнце полно наливало собой тишину.

В глубине одного двора они заметили движение. Загребая посуху калошами, шла крупная старуха и разглядывала у себя в руке.

— Мамаша!

Не слышала.

— Мамаша!

Подняла голову.

— Слышу плохо,— высохшим плоским голосом предупредила она. Глаза её совсем как будто ничему не удивились в разряженных прохожих.

— Нельзя ли молока у вас купить? — спросила Клара.

Молоко им не нужно было, а — лучший способ разговориться, как она знала по поездкам в колхоз.

— Коров — нету,— с достоинством ответила старуха.

В руке у неё был покойный жёлто-белый цыплёночек, он не выбивался и не дёргался.

— Мамаша, эта церковь как называлась? — спросил Иннокентий.

— Что это — называлась? — посмотрела она на него как через плёнку. В обвисшем лице её была самистая важность.

— Ну, у каждой церкви... название же есть?

— Только что звание,— сказала старуха.— А закрыли уж не за памятью, двадцать годов. Автобусом час ехать, ближе церкви нету. А летняя рядом была — пленные разобрали.

— Какие пленные?

— Немцы.

— А зачем?

— Кирпичи в Нару отправляли. Вот цыплята у меня дохнут. Четвёртый уже. Отчего это?

Клара и Иннокентий сочувственно пожали плечами.

— Или приминает она их? — размышляла старуха, шаркая в избу, к низкой двери.

И так до конца улицы ни движенья и ни души они не видели больше, не показалась и не залаяла собака. Только две-три курицы копались тихо. Потом охотничьим шагом вышла из чертополоха — кошка, как будто уже и не домашний зверь, на людей и головы не повела, понюхала землю во все стороны и пошла вперёд, на главную улицу, такую же мёртвую, куда упиралась эта.

На их пересечении и расширении как раз и стояла та церковь: приземистый прочный храм фигурной кладки с накладными крестами из кирпичей и выше его — колокольня с двумя этажами колоколенных сплошных прорезов. Там заросло мхами и травой, и множество ласточек или ещё даже меньших птичек в непрерывном беззвучном кружении суетились на высоте прорезов, влетая, вылетая и обращаясь. Труднодоступный купол колокольни был цел, а на храме ободран от жести, оставлены только рёбра каркаса. Пережили два десятилетия и оба креста, стояли на местах. Нараспашку была нижняя дверь колокольни, там во тьме горела керосиновая лампа, стояли молочные бидоны, и не было никого. Открыта была и дверь в подвал храма, там мешки стояли на ступеньках — и тоже не было никого.

Ни ограды, ни двора вокруг церкви не сохранилось — а с той стороны и с этой, и вокруг, и между храмом и колокольней всё было изрыто тракторами и машинами в их тряске-жажде не застрять, как-нибудь в этот раз, в этот последний бы раз выбраться, дойти и уйти от склада — и израненная, изувеченная, больная земля вся была в серых чудовищных струпьях комков и свинцовых загноинах жидкой грязи.

Церковь была — вот она, но молодые люди долго искали, где ж бы им посуху перебраться через улицу. Далеко вбок пришлось отойти и там ещё повилать и попрыгать.

В дорогу были вмешаны большие колотые куски плит, облипшие

грязью. А у стен храма лежали чистые мелкие куски и крошки — белого, розового и жёлтого мрамора.

Иннокентий разогрелся от солнца, но не раздумялся, а чуть побледнел. Под краем шляпы у него взмокли волосы.

Подождали к церкви. Тяжёлой вонью разило откуда-то в неподвижном жарком воздухе — от застойной ли воды, или от скотских трупов, или от нечистот? Они уж сами не рады были, что сюда зашли, и не до осмотра храма было им, да и нечего тут осматривать. Дальше, за церковью, был спуск, а внизу — много шаровых огромных ив, целое царство ивяное, и туда, в зелень, был их единственный уход, убег.

Но их окликнули:

— Закурить не будет, граждане?

Небольшой мужичок с головой, сильно втянутой в плечи, как бы от постоянного озноба или страха, а между тем разбитной, появился откуда-то и ширял по ним глазами.

Иннокентий с сожалением похлопал по карманам, будто всё же имел надежду найти там пачку:

— Не курю, товарищ.

— Жа-аль,— огорчился втянутоголовый, но не уходил, а быстрыми глазами рассматривал диковинных приезжих. Он не видел, на какой они машине подъехали, но понимал в них особый сорт начальства.

— Эта церковь — как называлась?

— Рождества,— уже без почтения ответил мужичок, разгадав их по одному слову, и так же быстро ушёл за угол, как и появился.

Но там, куда идти им, ниже, они заметили ещё и одноногого, с открытой деревяшкой. В синей ситцевой рубаше с белыми бязевыми латками он отдыхал на камне под липой.

— Откуда мрамор? — спросил Иннокентий.

— Чего? — отозвался латаный мужик.

— Ну вон, камень цветной.

— А-а-а... Алтарь разбили.— Думал.— Иконостас.

— А зачем?

Думал.

— Дорогу гátить.

— Отчего это у вас так... пахнет? — спросила Клара.

— Чего? — удивился одноногий. Думал.— А-а, это вам наверно от скотного. Скотный вон у нас, рядом.

Он показал рукой, но они уже не смотрели, они спешили вырваться — туда, к ивам, вниз.

— А что там? — спросили они.

— Там? Ничего нет.— Думал.— А, речка.

Спускалась битая тропка туда. Клара хотела сбегать, но с тревогой глянула на бледность Иннокентия и пошла с ним медленно.

— После такой деревни действительно на то кладбище потянет,— крутила она головой.— А ты — хромаешь?

— Да что-то трёт.

В раскидистой тени огромной первой ивы они остановились и оглянулись. Теперь, когда не воняло, а зелёная влажная свежесть достигла их, когда церковь оказалась на холме, не видно было страшной изувеченности земли, только птичьи точки металась и плавали вокруг колокольни — смотреть отсюда было приятно.

— Ты очень устал! — тревожилась Клара.— Тебе надо отдохнуть. И ногу посмотреть.

Он бросил плащи и сел на землю, прислонился к наклонному стволу. Закрыв глаза, Откинутый, смотрел вверх, на церковь.

— Вот тебе, Кларочка, два Рождества...

— Почему — два?

— Наше и западное. Наше ты сейчас видела. А западное — всё небо в рекламах, все улицы — в заторе машин, душатся в магазинах,

подарки — каждый каждому. И на какой-нибудь захудалой затёртой витринке — ясли и Иосиф с ослом.

— А какой Иосиф с ослом?

Тут они различили на обрыве у церкви, там, где сохранился рядок лип — пропущенную ими могилу с обелиском.

— Жалко, не посмотрели.

— Давай я сбегаю! — взялась Клара и наискосок, без дороги, побежала. Она бежала как весёлая, но совсем не весело было ей.

Постояла, прочла и так же легко спустилась, сильными ногами тормозя на ямках.

— Ну, кто ты думаешь?

— Священник?

— «Вечная слава воинам Четвёртой дивизии народного ополчения, павшим смертью храбрых за честь, независимость и так далее... от министерства финансов».

— Финансов? — поразился он, и шевельнулись его удлинённые уши в изломчатых крупных хрящах. — Даже и финансов! Бедные клерки... Сколько ж их тут легло?.. И на сколько человек была одна винтовка? Четвёртая дивизия ополчения?

— Да.

— Дивизия безоружных! — и четвёртая... Вот дикость этой войны — народное ополчение...

— А почему — дикость? — онедоумела Клара.

Иннокентий вздохнул и свесил голову.

— Тебе плохо?.. Инк, может вернёмся? Не надо дальше?

Он ещё вздохнул.

— Да нет, ничего. Жару я плохо переносу. И обулся неудачно, не сообразил.

— Я тоже разношенных зря не надела. А где тебе трёт? Давай газеты под пятку подложим, будет свободней.

Мастерили.

А на небе там и здесь появились пережатые облака. Иногда они прикрывали и смягчали солнце.

— Ну что ж, Инк, пойдём дальше или нет? Надо было в лес, да? Хочешь, пойдём вдоль реки, там тоже тень будет.

Он уже отошёл и улыбался:

— Вот дохлый, да? Всю жизнь в автомобилях... А ты молодец. Пойдём, пойдём. По какому берегу?

Ниже их через речку был переброшен трап, на обоих берегах толстой проволокой прикрученный от наводнения к низам ив.

Перейти? Не перейти? На том и на этом по-разному ляжет дорога, и от этого разговоры будут разные, и вся прогулка. Перейти?.. Не перейти?..

Перешли. Опять какое-то правильное насаждение было тут на медленном привольном подъёме от реки. Кроме водолюбивых ив, которые сами выбрали речку, ещё были посажены берёзы рядком и ели. И заглохший пруд был здесь с лягушками и палыми листьями — наверно вырытый, такой правильный. Что это было всё? Заброшенное ли именьё? Не у кого спросить.

Отсюда, между шарами ив, ещё красивее казалась церковь, почти на горе — и туда-то хаживали под колокольный звон из другой соседней деревни, начинавшейся неподалеку.

Но довольно было с них деревень, они шли вдоль реки.

Тут очень бы приятно идти, своя тенистая влажная замкнутая жизнь. На мелких местах слышное журчание и видимая рябь, на глубоких редкие необъяснимые вздрагивания неподвижной будто бы воды, и всюду — беготня водопеших стрекоз, а наверно есть и рыба и раки. Тут надо бы разуться по колено и идти просто речкою, как мальчишки бродят по раков. А по берегу мешала им то непроходимая крапива, то ольховый прутняк.

Толстенная причудливая ива вырастала на их берегу, а гнутым стволом перекидывалась на тот берег — как мост, и с поручнями таких же кручёных изогнутых ветвей.

— Баобаб! — всплеснула Клара. — Вот красавец! А давай по нему на тот берег! Там, кажется, лучше идти.

Иннокентий недоверчиво покачал головой. Но Клара уже вскочила уверенно на косой ствол и протянула ему сильную руку:

— Пойдём!

Ей казалось, что это обязательно будет хорошо. Вот на том берегу что-то встретится или скажется, для чего была вся эта прогулка.

Иннокентий в сомнении протянул свою мягкую кисть.

Ствол ивы, умеренно поднимаясь, уводил, однако, высоко. Иннокентий следовал небольшими переступами и, кажется, избегал смотреть вниз. А тут ещё ветка, за которую он держался, пересекала их путь, надо было через неё же и перелезть. Всё это делал он с лицом сосредоточенного думанья, совсем замолчал. Не оцарапавшись, они спрыгнули. Но видно было, что удовольствия от перехода Инк не получил.

И ничто не стало лучше на новом берегу. Малозначное они говорили друг другу. Слышалось тарахтение трактора где-то выше. Очень скоро и тут не стало пути близ воды. И пришлось им покинуть тень и подняться от реки единственной возможной дорогой. Иннокентий всё явнее хромал.

И вышли они — на разбросанный бригадный двор с одним домиком и одним малым сараем. Домик был, наверно, контора: на верхушке его чуть шевелился бледно-розовый флаг с оборванным краем. А сарай имел лишь такую ширину, что в одну строчку уместился лозунг: «Вперёд, к победе коммунизма!», всё же множество кирпично-ржавых, облезло-голубых и облупленно-зелёных машин неизвестного назначения с хоботами, жерлами, зацепами, и цистерны, и полевая кухня, и прицепы с поддёртыми или опущенными дышлами — всё было разбросано и покинуто на большой площади такой же изувеченной, изрытой земли, где и ногой почти пройти было нельзя. И только один человек в чумазой робе всё бродил от машины к машине, наклонялся, поднимался, что-то смотрел. Больше не было никого.

Да на холме работал один трактор.

И другого пути не было. Кое-как по колдобинам пересекали они бригадный двор. Иннокентий хромал. Снова было жарко. Они спустились к реке опять.

А она текла под бетонный мост. Уравнивал скучный прочный мост оба берега, оба жребия. Кажется, это было шоссе.

— Подловим попутную? — сказал Иннокентий. — Не возвращаться ж на станцию опять.

День был в середине, а прогулка при конце.

Отчего натягивается между людьми вот эта препонка? Почти видно и почти слышно, как можно помочь друг другу.

Но не дано было этому быть. Этого быть не могло.

Под мостом они обнаружили родничок. Сели, стали пить, придумали и ноги помыть.

Но тут послышался сильный гул наверху. Они вышли и из-под откоса стали смотреть на дорогу.

По шоссе катилась вереница одинаковых новеньких грузовиков под новеньким брезентом. До горы не было видно им конца, и на другую гору ушла голова колонны. Были машины с антеннами, техобслуживания, с бочками «огнеопасно» или с прицепными кухнями. Расстояния между машинами точно выдерживались метров по двадцать — и не менялись, так аккуратно они шли, не давая бетонному мосту умолкнуть. В каждой кабине с военным шофёром ещё сидел сержант или офицер. И под брезентами сидели многие военные: в откидные окош-

ки и сзади виднелись их лица, равнодушные к покинутому месту и к мимобежному, и к тому, куда гнали их, застылые в сроке службы.

От того, как Клара с Иннокентием поднялись, они насчитали сотню машин, пока стихло.

И опять под мостом шуршала вода у торчащих надпиленных опор прежнего деревянного.

Иннокентий опустил на камень у родничка и сказал потерянно:

— Жизнь — распалась.

— Но в чём? но в чём распалась, Инк? — с отчаянием вырвалось у Клары. — Но ты же всё обещал мне объяснить — и ничего не объясняешь!

Он посмотрел на неё большими глазами. Взял обломанную палочку как карандаш. И на сырой земле начертил круг.

— Вот видишь — круг? Это — отечество. Это — первый круг. А вот — второй. — Он захватил шире. — Это — человечество. И кажется, что первый входит во второй? Ничего подобного! Тут заборы пред-
рассудков. Тут даже — колючая проволока с пулемётами. Тут ни телом, ни сердцем почти нельзя прорваться. И выходит, что никакого человечества — нет. А только отечества, отечества, и разные у всех...

Чуть ли не в те самые дни спеццать предложила Кларе анкеты. Она с лёгкостью заполнила их: происхождение её было безупречно, жизнь — не протяжённа, освещена ровным светом благополучия и свободна от поступков, порочащих гражданина.

Сколько-то месяцев анкеты ходили, были все одобрены. Тем временем Клара окончила институт и переступила порог вахты таинственной зоны Марфина.

45

С другими своими подругами, выпускницами института связи, Клара прошла пугающий инструктаж у тёмнолицего майора Шикина.

Она узнала, что работать будет среди крупнейших агентов — псов мирового империализма и американской разведки, нипочём продававших свою родину.

Клара была назначена в Вакуумную лабораторию. Так называлась лаборатория, изготовлявшая множество электронных трубок по заказам остальных лабораторий. Трубки сперва выдувались в соседней маленькой стеклодувной; а затем в собственно-вакуумной, большой полутёмной комнате, обращённой на север, откачивались тремя гудящими вакуумными насосами. Насосы, как шкафы, перегородивали комнату. Даже днём здесь горели электрические лампы. Пол был выложен каменной плиткой — и постоянно стоял гул от шагов людей, от передвига стульев. У каждого насоса сидел или похаживал свой вакуумщик, заключённый. В двух-трёх местах за столиками ещё сидели заключённые. А из вольных были только одна девушка Тамара да начальник лаборатории, капитан.

Этому своему начальнику Клара была представлена в кабинете Яконова. Он был толстенький немолодой еврей с каким-то налётом равнодушия. Ничем уже больше не страшая Клару, он кивнул ей идти за собой, а на лестнице спросил:

— Вы, конечно, ничего не умеете и ничего не знаете?

Клара ответила невнятно. Ещё ко всему страху не хватало позо-
ра — сейчас разоблачат, что она невежда, и будут над ней смеяться.

Как в клетку со зверьми, она вступила в лабораторию, где обитали чудовища в синих комбинезонах. Она даже глаза поднять боялась.

Трое вакуумщиков, действительно, ходили как пленные звери возле своих насосов — у них был срочный заказ, и их вторые сутки не пускали спать. Но у среднего насоса арестант лет за сорок, с пле-

пиной, запущенно-небритый, остановился, раскрылся в улыбке и сказал:

— Во-о! Пополнение!

И сразу страх сняло. Столько доброты и простоты было в этом восклицании, что Клара только усилием лица удержалась от ответной улыбки.

Младший вакуумщик — у него был самый маленький из насосов, тоже остановился. Это был совсем юноша с весёлым, чуть плутоватым лицом и невинными глазами. Его взгляд на Клару выражал такое чувство, будто он застигнут врасплох. Таким взглядом ещё никогда в жизни ни один молодой человек на Клару не смотрел.

Зато старший вакуумщик Двоетёсов, чей громадный насос в глубине комнаты особенно громко гудел, — высокий нескладный мужчина, сам поджарый, а с отвислым животом, презрительно посмотрел на Клару издали и ушёл за шкаф, словно чтоб не видеть подобной мерзости.

Позже Клара узнала, что это не обидно, что таков он бывал со всеми вольными, при входе начальства нарочно включал какой-нибудь гуд, чтоб надо было его перекрикивать. За наружностью своей он откровенно не следил, мог прийти с отрывающейся на брюках пуговицей, ещё висящей на длинной нитке, с дырой на спине, или вдруг начинал при девушках чесаться под комбинезоном. Он любил говорить:

— А я — у себя на Родине! В своём отечестве — чего мне стесняться?

Среднего вакуумщика заключённые, даже и молодые, звали просто Земеля, на что он ничуть не обижался. Он был из тех, кого психологи называют «солнечными натурами», а в народе говорят — «рот до ушей, хоть завязки пришей». В последующие недели наблюдая за ним, Клара заметила, что он никогда не жалел ни о чём пропавшем, будь то завалившийся карандаш или вся его погибшая жизнь, ни на кого и ни на что не сердился, в равной мере и не боялся никого. Он был всамделишный хороший инженер, только моторист-авиационник, в Марфино был завезен по ошибке, но прижился здесь и не рвался в другое место, справедливо считая, что вряд ли там будет лучше.

Вечером, когда насосы стихали, Земеля любил в тишине послушать или рассказать что-нибудь:

— Бывало, возьми пятак и иди, чего хочешь покупай, на каждом шагу тебе в руки суют, — широко улыбался он. — Дерьмом никто не торговал. Сапоги — так сапоги, десять лет без починки носишь, а с починкой — пятнадцать. Кожу-то на головках не обрезали, как сейчас, а напускали, чтобы под ногой вкруговую сходилась. Ещё эти были... как они назывались?.. красные расписные на спиртовой подошве — это ж не сапоги, это душа вторая! — Весь он растаивал в улыбке и жмурился как на слабое тёплое солнышко. — Или, например, на станциях... Никогда на полу не лежали, по суткам никогда за билетами не душились. Приходи за минуту, покупай, садись, всегда вагоны свободные. Поезда гоняли — не сэкономили... Вообще — просто, очень просто жилось...

Старший вакуумщик, покачивая грузным телом и засунув руки в карманы, выходил на эти рассказы из тёмного угла, где его письменный стол был надёжно укрыт от начальства. Он становился посреди комнаты, смотрел как-то избоку, выкаченными глазами, а очки были спущены на нос:

— Земеля! Да ты разве царя помнишь?

— Помню немножко, — извинялся улыбкой Земеля.

— На-прас-но, — качал головой Двоетёсов. — Забывай. А то социализм нужно качать.

— Да ведь, Костя, — робко возражал Земеля. — Социализм-то вроде построен, говорят.

— Ну-у-у? — выулпывался старший вакуумщик.

— Да-а. Ещё с тридцать третьего, что ль, года.

— Это когда на Украине голод был? Так подожди, подожди, а что ж мы теперь вот день и ночь откачиваем?

— Теперь? Коммунизм наверно, — сиял Земеля.

— Да-а?!.. Вон она-а!.. — придурковато гундосил старший вакуумщик и, шаркая, уходил в свой угол.

Для себя или для Клараы они такой разговор вели, — но Клара докладывать не ходила.

Обязанности Клараы оказались несложны: ей надо было, чередуясь с Тамарой, приходиться один день с утра и быть до шести вечера, а другой день после обеда и — до одиннадцати ночи. Капитан же был всегда с утра, потому что днём его могло требовать начальство; вечерами он никогда не приходил, не ставя своей целью служебное продвижение. Главная задача девушек была — дежурство, то есть, слежка за заключёнными. Помимо того, «для развития», начальник поручал им мелкие несрочные работы. С Тамарой Клара встречалась всего часа два в день. Тамара работала на объекте больше года и обращалась с заключёнными непринуждённо. Кларе даже показалось, что с одним из них она довольна коротка и носит ему книги, но обменивали они их незаметно. Кроме того, тут же, в институте, Тамара ходила на кружок английского языка, где учились вольные, а преподавали (конечно, бесплатно, и в этом состояла выгода) — заключённые. Тамара быстро рассеяла страхи Клараы, что эти люди могут причинить что-нибудь ужасное.

Наконец, и сама Клара разговорилась с одним из заключённых. Правда, это был преступник не государственный, а всего-навсего бытовик, каких в Марфине содержалось очень мало. Это был Иван-стеклодув, великий мастер, на свою беду. Старуха тёща говорила о нём, что работник он золотой, а пьяница ещё золотей. Он много зарабатывал, много пропивал, в пьяном виде бил жену и громил соседей. Но всё было бы ничего, если бы пути его не скрестились с МГБ. Какой-то авторитетный товарищ без знаков различия вызвал его повесткой и предложил поступить на работу с окладом три тысячи рублей. Иван же работал в таком одном местечке, где платили ему меньше, но со сдельными он выгонял больше. И он, забыв, с кем имеет дело, запросил четыре тысячи в месяц. Ответственный собеседник добавил двести, Иван упёрся на своём. Его отпустили. В первую же получку он напился и стал буяннить во дворе, но милиция, которой раньше бывало не дозваться, тут сразу пришла большим нарядом и увела Ивана. На другой же день был ему суд, дали год, и после суда привезли к тому же начальнику без знаков, который разъяснил, что Иван будет работать на предназначенном ему месте, но только платить ему не будут. Если такие условия его не устраивают, он может ехать добывать заполярный уголь.

Теперь Иван сидел и выдувал удивительные по своей форме, каждый раз новые, электронно-лучевые трубки. Год срока ему кончался, но судимость оставалась, и, чтоб не выслали из Москвы, он очень просил начальство оставить его на этой работе и вольным, хотя б на полутора тысячах.

Никого на шарашке не мог заинтересовать столь бесхитростный рассказ с таким благополучным концом — на шарашке были люди, по пятьдесят суток сидевшие в камере смертников, и люди, лично знавшие папу римского и Альберта Эйнштейна. Но Клару эта история потрясла. Получилось, как сказал Иван, — «что хотят, то и делают».

Политических она дичилась, держала их от себя в осторожно-официальном отдалении. Но и от рассказа стеклодува вдруг осветилась подозрением её голова, что среди этих синих комбинезонов мо-

гут встретиться и другие вовсе невинные. А если так — то не осудили и её отец когда-нибудь тоже невинного человека?..

Однако опять же некому было задать этот вопрос: в семье — некому, и на работе — некому. Та дружба с Иннокентием и та прогулка не получили продолжения — может быть потому, что вскоре они с Нарой опять уехали за границу.

Однако, в этом году у Клары появился, наконец, друг — Эрнст Голованов. Тоже не на работе она его нашла, он был литературный критик, и как-то Динэра привезла его к ним в дом. Не ахти какой он был кавалер, ростом только-только не ниже Клары (а когда отдельно стоял, то казался и ниже), прямоугольные у него были лоб и голова на прямоугольном туловище. Лишь немного старше Клары, он выглядел уже как будто средних лет, с брюшком и спортивно совсем не развит. (Откровенно говоря, и фамилия его была по паспорту Саушкин, а Голованов — псевдоним.) Зато человек начитанный, развитый, интересный, и уже кандидат Союза Писателей.

Как-то была она с ним в Малом театре. Шла «Васса Железнова». Спектакль производил унылое впечатление. Он шёл при зале, заполненном меньше, чем наполовину. Вероятно, это и убивало артистов. Они выходили на сцену скучные, как приходят служащие в учреждение, и радовались, когда можно было уйти. При таком пустом зале было почти стыдно играть: и грим, и роли казались забавой, не достойной взрослого человека. Казалось, что в тишине зала кто-то из зрителей сейчас скажет тихо, совсем как в комнате: «Ну, милые, ладно, хватит кривляться!» — и спектакль разрушится. Унижение актёров передалось и зрителям. Всем передалось это ощущение, что они участвуют в постыдном деле, и неловко было смотреть друг на друга. Поэтому и в антрактах было очень тихо, как во время спектакля. Пары переговаривались полужёпотом и беззвучно ходили по фойе.

Клара с Эрнстом тоже прошагали так первый антракт. Эрнст оправдывался за Горького и возмущался за Горького, что недостойно так его играть, бранил откровенно-халтурившего сегодня народного артиста Жарова, но ещё смелее — общую рутину в министерстве культуры, которая подрывала и наш театр с его замечательными реалистическими традициями и доверие к нему зрителя. Эрнст не только писал складно, но и правильно, складно говорил, не жуя, не покидая фраз, даже когда горячился.

Во втором антракте Клара попросила остаться в ложе. Она сказала:

— Мне потому надоело смотреть и Островского, и Горького, что надоело это разоблачение власти капитала, семейного угнетения, старый женится на молодой. Мне надоела эта борьба с призраками. Уже пятьдесят лет, уже сто лет прошло, а мы всё машем руками, всё разоблачаем, чего давно нет. А о том, что есть — пьесы не увидишь.

— Отчасти верно. — Эрнст с благожелательной улыбкой и любопытством смотрел на Клару. Он не ошибся в ней. Девушка эта никак не поражала наружностью, но с ней не соскучишься. — О чём же, например?

Никого не было ни в соседних ложах, ни под ними в партере. Снизив голос и стараясь не очень выдать государственную тайну и тайну своего участия в этих людях, Клара рассказала Эрнсту, что работает с заключёнными, зарисованными ей как псы империализма, но при знакомстве ближе они оказались такими вот и такими. И мучил её вопрос, пусть скажет Эрнст — ведь среди них есть и невинные?

Эрнст обстоятельно выслушал и ответил солидно, как обдуманно уже:

— Конечно, есть. Это неизбежно при всякой пенитенциарной системе.

Клара не поняла, какая система, и в ответ не вдумалась, а хотелось ей кончить выводом стеклодува:

— Но тогда, Эрнст! Ведь это получается — что хотят, то и делают! Это же ужасно!

Сильная рука теннисистки сжалась в кулак на красном бархате барьера. Свою короткопалую кисть Голованов плоско положил на барьер точно рядом, но не поверх клариной руки, этих вольностей невзначай он не применял.

— Нет, — мягко, но уверенно объяснил он, — не «что хотят, то и делают». Кто это — «делает»? Кто это — «хочет»? История. Нам с вами иногда кажется это ужасным, но, Клара, пора привыкнуть, что существует закон больших чисел. Чем на большем материале развёртывается какое-нибудь историческое событие, тем, конечно, больше вероятность отдельных частных ошибок — судебных ли, тактических, идеологических, экономических. Мы охватываем процесс только в его основных определяющих чертах, и главное — убедиться, что процесс этот неизбежен и нужен. Да, иногда кто-то страдает. Не всегда по заслугам. А убитые на фронте? А совсем бессмысленно погибшие от ашхабадского землетрясения? от уличного движения? Растёт уличное движение — должны расти и жертвы. Мудрость жизни в том, чтобы принимать её в её развитии и с её неизбежными ступеньками жертв.

Что ж, в этом объяснении был резон. Клара задумалась.

Уже дали два звонка, и зрители сходились в зал.

В третьем акте колокольчиком разыгралась артистка Роек, игравшая младшую дочь Вассы, и стала вытягивать весь спектакль.

По-настоящему Клара и сама не понимала, что интересовал её не какой-то где-то невинный человек, который может быть уже давно сгнил за Полярным Кругом по Закону больших чисел, — а вот этот младший вакуумщик, голубоглазый, со смугло-золотистым отливом щёк, почти мальчишка, несмотря на двадцать три года. С первой же встречи в его взгляде не гасло радостное преклонение перед Кларой, постоянно её будоражившее. Она не могла расчесть и сопоставить, что Ростислав приехал из лагеря, где два года не видел женщин. Она только первый раз в жизни чувствовала себя предметом восхищения.

Впрочем, восхищение это не овладевало соседом Клары целиком. В этом затворничестве, почти напролёт при электрическом свете, в полутёмной лаборатории, какой-то своей наполненной скорометчивой жизнью жил этот юноша: то, скрываясь от начальства, он что-то мастерил; то украдкой учил в служебное время английский язык; то звонил по телефону своим друзьям в другие лаборатории и бежал с ними встречаться в коридоре. Всегда он двигался порывисто, и всегда, в каждую минуту, а особенно в сию минуту казался без остатка захваченным чем-то бурно интересным. И восхищение Кларой было одним из таких бурно интересных его занятий.

При этом он не забывал следить и за своей наружностью, из-под комбинезона у него под пестроватым галстуком всегда виднелось что-то безукоризненно белое. (Клара не знала, что это и была манишка — изобретение Ростислава, шестнадцатая часть казённой простыни.)

Молодые люди, с которыми Клара встречалась на воле, и особенно Эрнст Голованов, уже преуспели в служебном положении, одевались, двигались и разговаривали рассчитанно, чтобы не уронить себя. По соседству же с Ростиславом Клара чувствовала, что легчает, что и ей хочется озорнуть. Всё с растущей симпатией она тайком присматривалась к нему. Ей никак не верилось, что вот как раз он и добродушный Земеля есть те самые цепные псы империализма, против которых предупреждал майор Шикин. Ей очень хотелось узнать имен-

но о Ростиславе — за какое злодейство он наказан? долго ли ему ещё сидеть? (Что он не женат — было ясно.) Спросить его самого она не решалась, представляя, что такие вопросы должны травмировать человека, возрождая перед ним его отвратительное прошлое, которое он хочет стряхнуть с себя, чтобы исправиться.

Прошло ещё месяца два. Клара уже вполне обвыклась со всеми, множество раз при ней разговаривали о всяких неслужебных пустяках. Ростислав подстерегал, когда на вечернем дежурстве во время ужина заключённых Клара оставалась в лаборатории одна, и неизменно стал приходить в это время — то за оставленными вещами, то позаниматься в тишине.

В эти его вечерние приходы Клара забыла все предупреждения оперуполномоченного...

Вчера вечером у них как-то сам прорвался тот стремительный разговор, от которого, как от напора дикой воды, рушатся жалкие человеческие перегородки.

Никакого отвратительного прошлого этому юноше не предстояло стряхивать. У него была только ни за что погубленная юность и вбирчивая жажда узнать и отведать всего, чего не успел.

Оказалось, он жил с матерью в подмосковной деревне, у канала. Он только кончил десятилетку, когда американцы из посольства сняли в их деревне дачу. Руська и два его товарища имели неосторожность (ну, и любопытство тоже) раза два удить с американцами рыбу. Всё сошло как будто благополучно, Руська поступил в Московский университет, но в сентябре его арестовали — тайком, на дороге, так что мать долго не знала, куда он делся. (Оказывается, МГБ всегда старается арестовать человека так, чтоб он ничего не успел спрятать и чтобы близкие не могли от него получить пароль или знак.) Его посадили на Лубянку (Клара даже это название тюрьмы услышала впервые в Марфине). Началось следствие. От Ростислава добывались — какое задание он получил от американской разведки, на какую явочную квартиру должен был передать. По собственному выражению, Руська был ещё телёнок и только недоумевал и плакал. И вдруг случилось диво: с Лубянки, откуда никого добром не выпускают, — Руську выпустили.

Это было ещё в сорок пятом году. На этом он остановился вчера.

Всю ночь Клара была в возбуждении от его начатого рассказа. Сегодня днём, презрев последние правила бдительности и даже границы приличия, она открыто села рядом с Ростиславом у его тихо погуживающего малого насоса — и беседа их возобновилась.

К обеденному перерыву они были уже как дети, по очереди кушающие одно большое яблоко. Им было уже странно, что за столько месяцев они не разговорились. Они едва успевали высказываться. Перебивая её в нетерпении, он уже касался её рук — и она не видела в этом плохого. А когда все ушли на перерыв — вдруг новый смысл снизошёл на то, что плечо у них было к плечу и рука касалась руки. Прямо перед собой Клара увидела волевые в неё ярко-голубые глаза.

Срывающимся голосом Ростислав говорил:

— Клара! Кто знает — когда ещё мы будем так сидеть? Для меня это — чудо! Я поклоняюсь вам! (Он уже сжимал и ласкал её руки.) Клара! Мне, может быть, всю жизнь погибать по тюрьмам. Сделайте меня счастливым, чтоб я в любой одиночке мог согреться этой минутой! Дайте мне поцеловать вас!!

Клара ощущала себя богиней, сходящей в подземелье к узнику. Ростислав притянул её и отпечатлел на её губах поцелуй разрушительной силы, поцелуй измученного воздержанием арестанта. И она отвечала ему...

Наконец, она оторвалась, отклонилась, с кружащейся головой, потрясённая...

— Уйдите... — попросила она.

Ростислав встал и стоял перед нею, пошатываясь.

— Сейчас пока — уйдите! — требовала Клара.

Он заколебался. Потом подчинился. С порога он жалко, моляще обернулся на Клару — и его как укачнуло туда, за дверь.

Вскоре все вернулись с перерыва.

Клара не смела поднять глаз ни на Руську, ни на кого другого. В ней разгоралось — но не стыд совсем, а если радость — то не покойная.

Она услышала разговоры, что арестантам разрешена ёлка.

Она недвижно просидела три часа, шевеля только пальцами: плела из разноцветных хлорвиниловых проводков — корзиночку, подарок на ёлку.

А Иван-стеклодув, воротясь со свидания, выдул двух смешных стеклянных чёртиков, как бы с винтовками, связал клетку из стеклянных прутков, а в ней подвесил на серебряной ниточке стеклянный же грустно позвенивающий ясный месяц.

46

Полдня простиралось над Москвой низкое мутное небо, и было нехолодно. А перед обедом, когда семеро заключённых ступили из голубого автобуса на прогулочный дворик шарашки, — первые нетерпеливые снежинки кое-где пролетали по одной.

Такая снеговинка, шестигранная правильная звёздочка, упала и Нержину на рукав старой фронтальной порыжевшей шинели. Он остановился посреди двора и глубоко заглывал воздух.

Старший лейтенант Шустерман, оказавшийся тут, предупредил, что время сейчас не прогулочное и надо зайти в здание.

Это было досадно. Не хотелось, да просто невозможно было никому рассказывать о свидании, ни с кем делиться, искать ничего участия. Ни говорить. Ни слушать. Хотелось быть одному и медленно-медленно протягивать через себя всё это внутреннее, что он привёз, пока оно ещё не расплылось, не стало воспоминанием.

Но именно одиночества — не было на шарашке, как и во всяком лагере. Всегда везде были камеры, и купе вагон-заков, и теплушки телячьих вагонов, и бараки лагерей, и палаты больниц — и всюду люди, люди, чужие и близкие, тонкие и грубые, но всегда люди, люди.

Войдя в здание (для заключённых был особый вход — деревянный трап вниз и потом подвальный коридор), Нержин остановился и задумался — куда ж идти?

И придумал.

Чёрной задней лестницей, по которой никто почти не ходил, миная составленные там в опрокидку ломаные стулья, он стал подниматься на глухую площадку третьего этажа.

Эта площадка была отведена под ателье художнику-эзку Кондрашёву-Иванову. К основной работе шарашки он не имел никакого отношения, содержался же тут в качестве крепостного живописца: вестибюли и залы Отдела Спецтехники были просторны и требовали украшения их картинами. Менее просторны, зато более многочисленны были собственные квартиры замминистра, Фомы Гурьяновича и других близких к ним работников, и ещё более настоящей необходимостью было — украсить все эти квартиры большими, красивыми и бесплатными картинами.

Правда, Кондрашёв-Иванов плохо удовлетворял этим запросам: картины он писал хотя большие, хотя бесплатные, но не красивые. Полковники и генералы, приезжавшие осматривать его галерею, тщетно пытались ему втолковать, как надо рисовать, какими красками, и со вздохом брали то, что есть. Впрочем, вправленные в золочёные рамы, картины эти выигрывали.

Нержин, миновав на восходе большой уже законченный заказ для вестибюля Отдела Спецтехники — «А. С. Попов показывает адмиралу Макарову первый радиотелеграф», вывернул на последний марш лестницы и, ещё прежде, чем самого художника, увидел прямо вверху, на глухой стене под потолком — «Изувеченный Дуб», двухметровой высоты картину, тоже законченную, которую, однако, никто из заказчиков не хотел брать.

По стенам лестничного пролёта висели и другие полотна. Как-кие были укреплены на мольбертах. Свет сюда давали два окна — одно с севера, другое с запада. И сюда же, на лестничную площадку, выходило решёткой и розовой занавеской оконце Железной Маски, не дотянувшееся до божьего света.

Ничего более не было здесь, ни даже стула. Вместо того — два чурбачка стойком, повыше и пониже.

Хотя лестница худо отапливалась, и здесь была устоявшаяся холодная сырость, телогрейка Кондрашёва-Иванова лежала на полу, а сам он, вылезавший руками и ногами из своего недостаточного комбинезона, неподвижно стоял, длинный, негнувшийся, и как будто не мёрз. Большие очки, укрупнявшие и устрашавшие его лицо, прочно держались за уши, приспособленные к постоянным резким поворотам Кондрашёва. Взгляд его был упёрт в картину. Кисть и палитру он держал в опущенных на всю длину руках.

Услыша осторожные шаги, оглянулся.

Они встретились глазами, ещё продолжая каждый думать о своём.

Художник не был рад посетителю — он нуждался сейчас в одиночестве и молчании.

Но более того — он был рад ему. И, не лицемеря ничуть, а даже с непомерным восторгом, такая привычка у него была, воскликнул:

— Глеб Викентьич?! Милости прошу!

И гостеприимно развёл руками с кистью и палитрой.

Доброта — обоюдное качество для художника: она питает его воображение, но и разрушает его распорядок.

Нержин застенчиво замялся на предпоследней ступеньке. Он сказал почти шёпотом, будто ещё кого-то третьего боялся здесь разбудить:

— Нет, нет, Ипполит Михалыч! Я пришёл, если можно?.. помолчать здесь...

— Ах, да! ах, да! ну, разумеется! — так же тихо закивал художник, быть может уже по глазам заметив или вспомнив, что Нержин ездил на свидание. И отступил, как бы раскланиваясь и показывая кистью и палитрой на чурбачок.

Подобрав полы шинели, которые в лагере он уберёт от обрезания, Нержин опустил на чурбак, откинулся к балясинам перил и — очень ему хотелось закурить! — не закурил.

Художник уставился в то же место картины.

Замолчали...

В Нержине приятно-тонко ныло разбуженное чувство к жене.

Как будто в драгоценной пылице были те места пальцев, которыми он на прощанье касался её рук, шеи, волос.

Годами живёшь без того, что отпущено на земле человеку.

Оставлены тебе: разум (если он вмещается в тебя). Убеждения (если ты до них созрел). И по самое горлышко — забот об общественном благе. Кажется — афинский гражданин, идеал человека.

А косточки — нет.

И одна эта женская любовь, которой ты лишён, словно перевешивает весь остальной мир.

И простые слова:

— Любишь?

— Люблю! А ты? —

сказанные там взглядами или шевелением губ, теперь наполняют душу тихим праздничным звоном.

Сейчас Глеб не мог бы представить или вспомнить каких-либо недостатков жены. Она казалась сплетённой из одних достоинств. Из верности.

Жаль, не решился поцеловать её ещё в начале свидания. Теперь этого поцелуя никак уже не добрать.

Губы у жены — развыклые, слабые. И как утомлена! И как затравленно сказала о разводе.

Развод перед законом? Без сожаления относился Глеб к разрыву гербовой бумажки. Вообще какое дело государству до союза душ? Да и до союза тел?

Но, довольно побитый жизнью, он знал, что у вещей и событий есть своя неумолимая логика. В повседневных действиях людям никогда и не грезится, какие совсем обратные последствия вытекут из их поступков. Вот — Попов, изобретая радио, думал ли, что готовит всеобщую балаболку, громкоговорящую пытку для мыслящих одиночек? Или немцы: пропускали Ленина для развала России, а получили через тридцать лет раскол Германии? Или Аляска. Казалось, такая оплошность, что продали её за бесценок — но теперь советские танки не могут идти по сухопутью в Америку! И ничтожный факт решает судьбу планеты.

Вот и Надя. Разводится, чтоб избежать преследований. А разведётся — и сама не заметит, как выйдет замуж.

Почему-то от её последнего помахивания пальцами без кольца сердце сжалось, что именно так прощаются навсегда...

Нержин сидел и сидел в молчании — и избыток послесвиданной радости, который ещё распирал его в автобусе, постепенно отлил, теснимый трезво-мрачными ображениями. Но тем самым уравновесились его мысли, и опять он стал входить в свою обычную арестантскую шкуру.

«Тебе идёт здесь», — сказала она.

Ему идёт быть в тюрьме!

Это правда.

По сути вовсе не жаль пяти просиженных лет. Ещё даже не отдалясь от них, Нержин уже признал их для себя своеобразными, необходимыми для его жизни.

Откуда ж лучше увидеть русскую революцию, чем сквозь решётки, вмурованные ею?

Или где лучше узнать людей, чем здесь?

И самого себя?

От скольких молодых шатаний, от скольких бросаний в неверную сторону берегла его железная предуказанная единственная тропа тюрьмы!

Как Спиридон говорит: «Своя воля клад, да черти его стерегут».

Или вот этот мечтатель, не восприимчивый к насмешкам века, — что потерял он, севши в тюрьму? Ну, нельзя бродить с ящиком красок по Подмоскovie. Ну, нельзя собирать натюрморты на столе. Выставки? Так он не умел себе их устраивать и за полсотни лет ни единой картины не выставил в хорошем зале. Деньги за картины? Он не получал их и там. Дружелюбных зрителей? Но здесь он их собирает как бы не больше. Мастерскую? Но даже вот такой холодной лестничной площадки у него на воле не было. И жильё его, и мастерская была там — узкая длинная комната, похожая на коридор. Чтобы развернуться с работой, он ставил стулья на стулья, а матрас закатывал, и посетители спрашивали: «Вы переезжаете?» Стол был у них единственный, и когда на нём разворачивался натюрморт — до окончания картины они с женой обедали на стульях.

В войну не стало масла для красок — он брал пайковое подсолнечное и разводил на нём. За карточки надо было служить, его по-

слали в химический дивизион рисовать портреты отличниц боевой и политической подготовки. Заказано было десять таких портретов, но из десяти отличниц он выбрал одну и изводил её долгими сеансами. Однако, рисовал её совсем не так, как надо было командованию — и никто потом не хотел брать этого портрета, названного: «Москва, сорок первый год».

А сорок первый год на этом портрете — явился. Это была девушка в противоопридном костюме. Медно-рыжие буйные волосы её выбрасывались во все стороны из-под пилотки и взволнованным контуром охватывали голову. Голова была вскинута, безумные глаза видели перед собой что-то ужасное, непрощаемое что-то. Но не расслаблена по-девически была фигура! Готовые к борьбе руки держались за ремень противогаза, а противоопридный чёрно-серый костюм ломался острыми жёсткими складками, серебристой полосой отсвечивал на переломленной плоскости — и выделялся как латы рыцарских времён. Благородное, жестокое и мстительное сошлось и врзалось на лице этой решительной калужской комсомолки, вовсе не красивой, в которой Кондрашëв-Иванов увидел Орлеанскую Деву!

Очень, кажется, близко это всё получилось к «не забудем! не простим!», но переходило за край, показывало что-то уже не управляемое — и картины испугались, не взяли, не выставили ни разу нигде, она годы стояла в комнатёнке художника, отвёрнутая к стене, и так достоялась до самого дня ареста.

Сын Леонида Андреева Даниил написал роман и собрал два десятка друзей послушать его. Литературный четверг в стиле девятнадцатого века... Этот роман обошёлся каждому слушателю в двадцать пять лет исправительно-трудовых лагерей. Слушателем крамольного романа был и Кондрашëв-Иванов, правнук декабриста Кондрашëва, приговорённого за восстание к двадцати годам и отмеченного трогательным приездом к нему в Сибирь полюбившей его гувернантки-француженки.

Правда, в лагерь Кондрашëв-Иванов не попал, а прямо после того, как расписался за приговор ОСО, привезен был в Марфино и поставлен писать картины по одной в месяц, как установил для него Фома Гурьянович. Двенадцать месяцев минувшего года Кондрашëв писал развешенные сейчас здесь и уже увезенные картины. И что ж? Имея за спиной пятьдесят лет, а впереди двадцать пять, он не жил, а летел этот безбурный тюремный год, не зная, выпадет ли ещё второй такой. Он не замечал, чем его кормили, во что одевали, когда пересчитывали его голову в числе других.

Здесь он лишён был встречаться и беседовать с другими художниками. И смотреть картины других. И по альбомам репродукций, просочившимся через таможду, узнавать, как там и куда растёт западная живопись.

А куда б она ни росла — это никак не могло влиять и отношения не имело к работе Кондрашëва-Иванова, потому что в магическом пятиугольнике, где всё открывалось и создавалось, все пять вершин были заняты раз и навсегда: две вершины — рисунок и цвет, как мог увидеть только он, две вершины — мировое Добро и мировое Зло, а пятая — сам художник.

Он не мог живыми ногами вернуться к тем пейзажам, которые когда-то видел, и не мог руками воссоставить те натюрморты, но ко всем к ним и особенно к истинным их цветам он прозрел в камерах, полутемных от намордников, — и теперь по памяти писал не написанные прежде натюрморты и пейзажи.

Один из тех натюрмортов в соотношении египетского квадрата, четыре к пяти (Кондрашëв первейшее значение придавал соотношению сторон), и сейчас висел рядом с окном Мамурина. В половину его площади тут располагался стоймя, ребром — ярко-начищенный круглый медный поднос. Это был простой поднос, но воспринимался

он как доблестно горящий щит! И стоял рядом тёмно-металлический кувшин, в мелких углубинах воронёный — не для вина, скорей для свежей воды. А ещё по задней стене спадала жёлто-золотая парча (всеми оттенками жёлтого особенно увлекался сейчас Кондрашёв) и воспринималась как накидка Невидимого. Что-то было в сочетании этих трёх предметов, что передавало дух мужества и призывало не отступать.

(Никто из полковников не брал этого натюрморта, настаивая таз переставить плашмя и на него положить хотя бы разрезанный арбуз.)

Кондрашёв писал сразу несколько картин, оставляя и возвращаясь к ним вновь. Ни одну из них он не довёл до той ступени, которая даёт мастеру ощущение совершенства. Он даже не знал точно, существует ли такая ступень. Он оставлял их тогда, когда уже переставал различать в них что-либо, когда примелькивался его глаз. Он оставлял их тогда, когда с каждым возвратом всё меньшими и меньшими крохами был способен их улучшить и даже замечал, что портит, а не исправляет.

Он оставлял их — отворачивал к стене, задёргивал. Картины от него отделялись, отдавались, — а когда он снова свежее взглядывал на них, безнаградно и навсегда отдавая их висеть среди чванной роскоши, — прощальный восторг пробивал художника. Пусть никто их не увидит больше, но всё-таки он их написал!

...Уже полный внимания, Нержин стал рассматривать теперь последнюю картину Кондрашёва.

Стылый ручей занимал главное в ней место. Куда тёк ручей — почти нельзя было понять: он не тёк вовсе, его поверхность была готова взяться ледком. Где помельче, в ручье угадывался коричневый оттенок — это был ответ палых листьев, устлавших дно. Первый снег лежал пятнами на обоих бережках, а в выгائнах между ними торчала жёлкло-коричневая трава. Два куста ветлы росли у берега, неосяземо-дымчатые, мокрые от задержавшегося на них крупинками и тающего снега. Но не тут было главное, а — в глубине: густою грудью леса стояли оливково-чёрные ели, в первом же ряду их беззащитно светилась единственная берёза. От её жёлтого нежного огня ещё мрачней и сплочённей стояла хвойная стража, поднимая острые пики в небо. Небо было в безнадёжных пегих клочьях, и в такой же пасмури заходило задушенное солнце, не имея силы прорваться прямым лучом. Но и не это ещё было главное, а — стылая вода устоявшегося ручья. Она имела налитость, глубину. Она была свинцово-прозрачная, очень холодная. Она вобрала в себя и держала равновесие между осенью и зимой. И даже ещё какое-то другое равновесие.

В эту картину сейчас и уставился автор.

Был неотклонимый закон у творчества, Кондрашёв хорошо и давно его знал, пытался остояться против него, но снова беспомощно ему подчинялся. Закон этот был — что ничто, сделанное им раньше, не имело веса, не шло в счёт, не составляло никакой заслуги автора. Только то единственное, что писалось сегодня, только оно было средоточие всего его жизненного опыта, высшей точкой его способностей и ума, первым пробным камнем его таланта.

А оно не удавалось!

Каждое из прежних до того, как удался, тоже не удавалось, но прежнее отчаяние было всё забыто, а теперь вот это единственное — первое, на котором он учился писать по-настоящему! — оно не удавалось — и вся жизнь была прожита зря, и таланта не было никогда никакого!

Вот эта вода — она была и налита, и холодна, и глубока, и неподвижна — но всё это было ничто, если она не передавала высшего синтеза природы. Этого синтеза — понимания, успокоения, всесоединения — сам в себе, в своих крайних чувствах Кондрашёв никогда не находил, но знал и поклонялся ему в природе. Так вот это высшее

успокоение — передавала его вода или нет? Он изнывал и отчаивался понять — передавала или нет?

— А вы знаете, Ипполит Михалыч. Я, кажется, начинаю с вами соглашаться: все эти места — Россия.

— Не Кавказ? — быстро обернулся Кондрашёв-Иванов. Очки его не дрогнули на носу, как прилитые.

Этот вопрос, хотя далеко и не первый, тоже был не лишён важности. Многие с недоумением отходили от пейзажей Кондрашёва: они казались им не русскими, а кавказскими, что ли, — слишком величественными, слишком приподнятыми.

— Вполне могут быть такие места в России, — всё уверенней соглашался Нержин. Он поднялся с чурбака и прошёлся, рассматривая «Утро необыкновенного дня» и другие пейзажи.

— Ну, разумеется! ну, разумеется! — волновался художник и крутил головой. — Не только могут быть в России — но и есть! Я бы вас повёз, если бы без конвоя! Поймите, публика поддалась Левитану! Вслед за Левитаном мы привыкли считать нашу русскую природу бедненькой, обиженной, скромно-приятной. Но если бы наша природа была только такая, — скажите, откуда бы взялись у нас саможигатели? стрельцы-бунтари? Пётр Первый? декабристы? народо-вольцы?

— У-у, — понравилось Нержину. — Это верно. Но всё-таки, Ипполит Михалыч, как хотите, я не понимаю вашей страсти к крайним выражениям. Ну вот, изувеченный дуб. Ну почему он обязательно на обрыве скалы? Под ним конечно — бездна, меньше вы не принимаете. И небо — не только грозное, но оно вообще никогда не знало солнца, такое небо. И все ураганы, какие за двести лет где-нибудь дули — все тут прошли, и ветви ему закручивали, и с когтями рвали его из скалы. Я знаю, вы шекспирист, вам если злодейство — то самое непомерное. Но это устарело, в статистическом смысле такие ситуации редко кого настигают. Не надо этих больших букв над добром и злом..

— Да это слышать невозможно!! — разгневался художник и потрясал длинными руками. — Что устарело?! Злодейство устарело??? Да только в нашем веке оно и проявилось впервые, при Шекспире были телячьи забавы! Не только большие, но пятиэтажные буквы надо над Злом и Добром, и чтоб мигали как маяки! А то мы заблудились в нюансах! Статистически редко? А — каждого из нас? А — сколько нас миллионов?

— Вообще-то да... — покачал головой и Нержин. — Если в лагере нам предлагают отдать остатки совести за двести грамм черняшки.. Но это как-то беззвучно делается, как-то непоказно..

Кондрашёв-Иванов ещё выпрямился, ещё воздвигнулся во всю свою недюжинную высоту. Смотрел же он ещё вверх и вперёд, как Эгмонт, ведомый на казнь:

— Но никогда никакой лагерь не должен сломить душевной силы человека!

Нержин усмехнулся со злою трезвостью:

— Не должен, может быть, — но сламывает! Вы ещё не были в лагерях, не судите. Вы не знаете, как там хрустят наши косточки. Попадают туда люди одни, а выходят — если выходят — неузнаваемо другие. Да известное дело, бытие определяет сознание.

— Н-нет!! — Кондрашёв-Иванов расправил длинные руки, готовый сейчас же схватиться с целым миром. — Нет! Нет! Нет! Да это было бы унижительно! Да для чего тогда и жить? Да почему ж тогда, ответьте — бывают верны возлюбленные в разлуке? Ведь бытие требует, чтоб они изменили! А почему бывают разными люди, попавшие в одинаковые условия, хоть и в тот же лагерь? Ещё неизвестно, кто кого формирует: жизнь — человека или сильный благородный человек — жизнь!

Нержин был спокойно уверен в превосходстве своего житейского опыта над фантастическими представлениями этого нестареющего идеалиста. Но нельзя было не залюбоваться его возражениями:

— В человека от рождения вложена некоторая Сущность! Это как бы — ядро человека, это его я! Никакое внешнее бытие не может его определить! И ещё каждый человек носит в себе Образ Совершенства, который иногда затемнён, а иногда так явно выступает! И напоминает ему его рыцарский долг!

— Да, и вот ещё,— почесал в затылке Нержин, тем временем опять осевший на чурбак.— Зачем у вас так часто рыцари и рыцарские принадлежности? Мне кажется, вы переходите меру, хотя конечно, Мите Сологдину это нравится. Девчёнка-зенитчица у вас — рыцарь, медный поднос у вас — рыцарский щит...

— Ка-ак? — изумился Кондрашёв.— Вам это не нравится? Перехожу меру! Ха! ха! ха! — грандиозным хохотом обгрелся он, и по всей лестнице, как по скалам, раздалось эхо от его хохота. И как пикою с коня поражая Нержина, ткнул в его сторону руку, заострённую пальцем:— А кто изгнал рыцарей из жизни? Любители денег и торговли! Любители вакхических пиров! А кого не хватает нашему веку? Членов партий? Нет, уважаемый,— не хватает *рыцарей!* При рыцарях не было концлагерей! И душегубок не было!

И вдруг смолк, и со всей конской высоты мягко снизился на коротки рядом с гостем и, блеща очками, спросил шёпотом:

— Вам — показать?

И так всегда кончаются споры с художниками!

— Конечно, покажите!

Кондрашёв, не выпрямляясь в рост, прокрался куда-то в угол, вытащил маленькое полотёно, набитое на подрамник, и принёс его, держа к Нержину обратной серой стороной.

— Вы — о Парсифале знаете? — глуховато спросил он.

— Что-то связано с Лоэнгрином.

— Его отец. Хранитель чаши святого Грааля. Мне представляется именно этот момент. Этот момент может быть у каждого человека, когда он внезапно впервые увидит Образ Совершенства...

Кондрашёв закрыл глаза, подобрал и закусил губы. Он готовился сам.

Нержин удивился, почему такое маленькое то, что он сейчас увидит.

Художник открыл веки:

— Это — только эскиз. Эскиз главной картины моей жизни. Я её, наверно, никогда не напишу. Это то мгновение, когда Парсифаль впервые увидел — замок! святого! Грааля!!!

И он обернулся поставить эскиз перед Нержиным на мольберт. И сам неотрывно смотрел уже только на этот эскиз. И поднял вывернутую руку к глазам, как бы заслоняясь от света, идущего *оттуда*. И отступая, отступая, чтобы лучше охватить видение, он пошатнулся на первой ступеньке лестницы и едва не грохнулся.

Картина задумана была по высоте в два раза больше, чем по горизонтали. Это была клиновидная щель между двумя сдвинутыми горными обрывами. На обоих обрывах, справа и слева, чуть вступали в картину крайние деревья леса — дремучего, первозданного. И какие-то ползучие папоротники, какие-то цепкие враждебные уродливые кусты прилепились на самых краях и даже на отвесных стенах обрывов. Наверху слева, из лесу, светло-серая лошадь вынесла всадника в шлемовидном уборе и алом плаще. Лошадь не испугалась бездны, лишь приподняла ногу в несделанном последнем шаге, готовая, по воле всадника, и попятиться и перенестись — ей по силам и крылато перенестись.

Но всадник не смотрел на бездну перед лошадьёю. Растерянный, изумлённый, он смотрел туда, перед нами вдаль, где на всё верхнее

пространство неба разлилось оранжево-золотистое сияние, исходящее то ли от Солнца, то ли от чего-то ещё чище Солнца, скрытого от нас за замком. Вырстая из уступчатой горы, сам в уступах и башенках, видимый и внизу сквозь клиновидную щель и в разломе между скалами, папоротниками, деревьями, игловидно поднимаясь на всю высоту картины до небесного зенита,— не чётко-реальный, но как бы сотканный из облаков, чуть кольшистый, смутный и всё же угадываемый в подробностях нездешнего совершенства,— стоял в ореоле невидимого сверх-Солнца сизый замок Святого Грааля.

47

Звонок обеденного перерыва разнёсся по всем закоулкам здания семинарии-шарашки, достиг и отдалённой лестничной площадки.

Нержин поспешил на воздух.

Как ни ограничено было общее пространство прогулки, он любил прокладывать себе дорожку, по которой не шли все, и как в камере, три шага вперёд и назад, но ходил один. Так добывал он себе на прогулках короткое благо одиночества и самоустояния.

Пряча гражданский костюм под долгими полами своей безызносной артиллерийской шинели (неснятие костюма вовремя было опасное нарушение режима, и с прогулки могли прогнать — а идти переодеваться было жалко прогулочного времени),— Нержин быстрыми шагами дошёл и занял свою протоптанную короткую дорожку от липы до липы, уже на самом краю дозволяемой зоны, вблизи того забора, что выходил к архиерейскому кораблеvidному дому.

Не хотелось дать себя расплескать в пустом разговоре.

Снежинки кружились всё такие же редкие, невесомые. Они не составляли снега, но и не таяли, упав.

Нержин стал ходить почти оцупью, с запрокинутой к небу головой. От глубоких вдохов тело всё заменялось внутри. А душа сливалась с покоем неба — даже вот такого мутного, зрелого снегом.

Но тут окликнули его:

— Глебка...

Нержин оглянулся. Тоже в старой офицерской шинели и зимней шапке (и он был арестован с фронта зимой), не полностью выдвинувшись из-за ствола липы, стоял Рубин. Перед другом-однокорытником он испытывал сейчас неловкость, сознание некрасивого поступка: друг как бы ещё продолжал свидание с женой — и в такую святую минуту приходилось его прерывать. Эту неловкость Рубин выражал тем, что не вовсе выдвинулся из-за липы, а лишь на полбороды.

— Глебка! Если я очень нарушаю настроение — скажи, исчезну. Но весьма нужно поговорить.

Нержин посмотрел в просительно-мягкие глаза Рубина, потом на белые ветви лип — и опять на Рубина. Сколько бы ни ходить тут, по одинокой тропке, ничего больше не выбрать из того горя-счастья в душе. Оно уже застывало.

Жизнь продолжалась.

— Ладно, Лёвчик, вали!

И Рубин вышел на ту же тропку. По его торжественному лицу без улыбки смекнул Глеб, что случилось важное.

Нельзя было искусить Рубина тяжелей: нагрузить его мировой тайной и потребовать, чтоб он ни с кем не поделился из самых близких! Если бы сейчас американские империалисты выкрали его с шарашки и резали б его на кусочки — он не открыл бы им своего сверхзадания! Но быть среди эзков шарашки единственным обладателем такой гремучей тайны и не сказать даже Нержину — это было уже сверхчеловеческое требование!

Сказать Глебу — всё равно, что и никому не сказать, потому что Глеб никому не скажет. И даже очень естественно было с ним поде-

литься, потому что он один был в курсе классификации голосов и один мог понять трудность и интерес задачи. И даже вот что — была крайняя необходимость ему сказать и договориться сейчас, пока есть время, а потом пойдёт горячка, от лент не оторвёшься, а дело расширится, надо брать помощника...

Так что простая служебная дальновидность вполне оправдывала мнимое нарушение государственной тайны.

Две облезлые фронтовые шапки и две потёртые шинели, плечами отталкиваясь, а ногами черня и расширяя тропу, они медленно стали ходить по ней рядом.

— Дитя моё! Разговор — *три нуля*. Даже в Совете Министров об этом знают пара человек, не больше.

— Вообще-то я — могила. Но если такая закаятая тайна — может, не говори, не надо? Меньше знаешь — больше спишь.

— Дура! Я б и не стал, мне за это голову отрубят, если откроется. Но мне нужна будет твоя помощь.

— Ну, бузуй.

Всё время присматривая, нет ли кого поблизости, Рубин тихо рассказал о записанном телефонном разговоре и о смысле предложенной ему работы.

Как ни мало любопытен стал Нержин в тюрьме — он слушал с густым интересом, раза два останавливался и переспрашивал.

— Пойми, мужичок, — закончил Рубин. — это — новая наука, *фоноскопия*, свои методы, свои горизонты. Мне и скучно и трудно входить в неё одному. Как здорово будет, если мы этот воз подхватим вдвоём! Разве не лестно быть зачинателями совершенно новой науки?

— Чего доброго, — промычал Нержин, — а то — науки! Пошла она к кобелю под хвост!

— Ну, правильно, Аркезилай из Антиоха этого бы не одобрил! Ну, а — досрочка тебе не нужна? В случае успеха — добротная досрочка, чистый паспорт. А и без всякого успеха — упрочишь своё положение на шарашке, незаменимый специалист! Никакой Антон тебя пальцем не тронет.

Одна из лип, в которые упиралась тропка, имела ствол, раздвоенный с высоты груди. На этот раз Нержин не пошёл от ствола назад, а прислонился к нему спиной и откинулся затылком точно в раздвоение. Из-под шапки, сдвинутой на лоб, он приобрёл вид полублатной и так смотрел на Рубина.

Второй раз за сутки ему предлагали спасение. И второй же раз спасение это не радовало его.

— Слушай, Лев... Все эти атомные бомбы, ракеты «фау» и новорожденная твоя фоноскопия... — он говорил рассеянно, как бы не решив, что ж ответить, — ...это же пасть дракона. Тех, кто слишком много знает, от роду веков замуровывали в стенку. Если о фоноскопии будут знать два члена совета министров, конечно Сталин и Берия, да два таких дурака, как ты и я, то *досрочка* нам будет — из пистолета в затылок. Кстати, почему в ЧК-ГБ заведено расстреливать именно в затылок? По-моему, это низко. Я предпочитаю — с открытыми глазами и залпом в грудь! Они боятся смотреть жертвам в глаза, вот что! А работы много, берегут нервы палачей...

Рубин помолчал в затруднении. И Нержин молчал, всё так же откинувшись на липу. Кажется, тысячу раз у них было вдоль и поперёк переговорено всё на свете, всё известно — а вот глаза их, тёмно-карие и тёмно-голубые, ещё изучающе смотрели друг на друга.

Переступить ли?..

Рубин вздохнул:

— Но такой телефонный разговор — это узелок мировой истории. Обойти его — нет морального права.

Нержин оживился:

— Так ты и бери дело за жабры! А что ты мне вкручиваешь тут — новая наука да досрочка! У тебя цель — словить этого молодчика, да?

Глаза Рубина сузились, лицо ожесточело.

— Да! Такая цель! Этот подлый московский стилига, карьерист, стал на пути социализма — и его надо убрать.

— Почему ты думаешь, что — стилига и карьерист?

— Потому что я слышал его голос. Потому что он спешит выслужиться перед боссами.

— А ты себя не успокаиваешь?

— Не понимаю.

— Находясь, видимо, в немалом чине, не проще ли ему выслужиться перед Вышинским? Не странный ли способ выслуживаться — через границу, не называя даже своего имени?

— Вероятно, он рассчитывает туда попасть. Чтобы выслужиться здесь, ему нужно продолжать серенькую безупречную службёнку, через двадцать лет будет какая-нибудь медалька, какой-нибудь там лишний пальмовый лист на рукаве, я знаю? А на Западе сразу — мировой скандал и миллион в карман.

— М-да-а... Но всё-таки судить о моральных побуждениях по голосу в полосе частот от трёхсот до двух тысяч четырёхсот герц... А как ты думаешь, он — правду сообщил?

— То есть, относительно радиомагазина?

— Да.

— В какой-то степени очевидно — да.

— «В этом есть рациональное зерно»? — передразнил Нержин. — Ай-ай-ай, Лёвка-Лёвка! Значит, ты становишься на сторону воров?

— Не воров, а — разведчиков.

— Какая разница? Такие же стилиги и карьеристы, только нью-йоркские, крадут секрет атомной бомбы, чтобы получить от Востока три миллиона в карман! Или — ты не слышал их голосов?

— Дурень! Ты безнадёжно отравлен испарениями тюремной параша! Тюрьма тебе исказила все перспективы мира! Как можно сравнивать людей, вредящих социализму, и людей, служащих ему? — Лицо Рубина выражало страдание.

Нержин сбил жаркую шапку назад и опять откинулся головой в раздвоение ствола:

— Слушай, у кого это я недавно читал чудесное стихотворение о двух Алёшах...?

— То было другое время, ещё не отдифференцированных понятий, ещё не прояснившихся идеалов. Тогда — могло быть.

— А теперь прояснились? В виде ГУЛАГа?

— Нет! В виде нравственных идеалов социализма! А у капитализма их нет, одна жажда наживы!

— Слушай, — уже и плечами втирался Нержин в раздвоение липы, устраиваясь для длинного разговора, — какие такие нравственные идеалы социализма, ты мне скажешь? Мы не только на земле их не видим, ну допустим кто-то испортил эксперимент, но где и когда они обещаны, в чём они состоят? А? Ведь весь и всякий социализм — это какая-то карикатура на Евангелие. Социализм обещает нам только равенство и сытость, и то принудительным путём.

— И этого мало? А в каком обществе во всю историю это было?

— Да в любом хорошем свинарнике есть и равенство, и сытость! Вот одолжили — равенство и сытость! Вы нам — нравственное общество дайте!

— И дадим! Только не мешайте! На дороге не стойте!

— Не мешайте бомбы выкрадывать?

— Ах, вывороченные мозги! Но почему ж все умные трезвые люди...

— Кто? Яков Иванович Мамурин? Григорий Борисович Абрамсон?.. — смеялся Нержин.

— Все светлые умы! все лучшие мыслители Запада, Сартр! — все за социализм! все против капитализма! Это становится уже триумфом! А тебе одному неясно! Обезьяна прямоходящая!

Рубин наклонялся на Нержина, корпусом на него наседали и тряс растопыренными пятернями. Нержин отталкивался в груди:

— Ладно, пусть обезьяна! Но не хочу я разговаривать в твоей терминологии — какой-то «капитализм»! какой-то «социализм»! Я этих слов не понимаю и не могу употреблять!

— Тебе — Язык Предельной Ясности? — рассмеялся Рубин, сорвался с напряжения.

— Да, если хочешь!

— А что ты понимаешь?

— Я — вот понимаю: своя семья! неприкосновенность личности!

— Неограниченная свобода?

— Нет, моральное самоограничение.

— Ах, философ утробный! Да разве с этими расплывчатыми амёбными понятиями ты проживёшь в двадцатом веке? Ведь все эти понятия классовые! Ведь они зависят от...

— Ни от хрена они не зависят! — отбился и выпрямился из углубления Нержин. — Справедливость — ни от чего не зависит!

— Классовое! Классовое понятие! — тряс Рубин пятерню над его головой.

— Справедливость — это глава угла, это основа мироздания! — замахал и Нержин. Издали можно было подумать, что они сейчас будут драться. — Мы родились со справедливостью в душе, нам жить без неё не хочется и не нужно! Помнишь, как Фёдор Иоаныч говорит: я не умён и не силен, меня обмануть не трудно, но белое от чёрного я отличить могу! Давай сюда ключи, Годунов!!

— Никуда ты, никуда не денешься! — грозно толковал Рубин. — Придётся тебе дать отчёт: по какую сторону баррикады ты стоишь?!

— Вот ещё мать твою фанатиков перегрёб, — всю землю нам баррикадами перегородили! — сердился и Нержин. — Вот в этом и ужас! Ты хочешь быть гражданином вселенной, ты хочешь быть ангелом поднебесья — так нет же, за ноги дёргают: *кто не с нами, тот против нас!* Оставьте мне простору! Оставьте простору! — отталкивался Нержин.

— Мы тебе оставим — так те не оставят, с той стороны!

— Вы оста-авите! Кому вы оставляли! На штыках да на танках всю дорогу...

— Дитя моё, — смягчился Рубин, — в исторической перспективе...

— Да на хрена мне перспектива! Мне жить сейчас, а не в перспективе. Я знаю, что ты скажешь! — бюрократическое извращение, временный период, переходный строй — но он мне жить не даёт, ваш переходный строй, он душу мою топчет, ваш переходный строй, — и я его защищать не буду, я не полоумный!

— Я ошибся, что затронул тебя после свидания, — совсем мягко сказал Рубин.

— Не при чём тут свидание! — не спадало ожесточение Нержина. — Я и всегда так думаю! Над христианами мы издеваемся — мол, ждёте рая, дурачки, а на земле всё терпите, — а мы чего ждём? а мы для кого терпим? Для мифических потомков? Какая разница — счастье для потомков или счастье на том свете? Обоих не видно.

— Никогда ты не был марксистом!

— К сожалению был.

— Су-бака! Стерва... Голоса классифицировали вместе... Что ж мне теперь — одному работать?

— Найдёшь кого-нибудь.

— Ко-го?? — нахохлился Рубин, и было странно видеть детски-обиженное выражение на его мужественном пиратском лице.

— Нет, мужик, ты не обижайся. Значит, они меня будут известной жёлто-коричневой жидкостью обливать, а я им — добывай атомную бомбу? Нет!

— Да не им — нам, дура!

— Кому — нам? Тебе нужна атомная бомба? Мне — не нужна. Я, как и Земеля, к мировому господству не стремлюсь.

— Но шутки в сторону! — спохватился опять Рубин. — Значит, пусть этот прыщ отдаёт бомбу Западу?..

— Ты спутал, Лёвочка, — нежно коснулся отворота его шинели Глеб. — Бомба — на Западе, её там изобрели, а вы воруете.

— Её там и кинули! — блеснул коричнево Рубин. — А ты согласен мириться? Ты — потворствуешь этому прыщу?

Нержин ответил в той же заботливой форме:

— Лёвочка! Поэзия и жизнь — да составят у тебя одно. За что ты так на него сердчаешь? Это же — твой Алёша Карамазов, он защищает Перекоп. Хочешь — иди бери.

— А ты — не пойдёшь? — ожесточел взгляд Рубина... — Ты согласен получить Хиросиму? На русской земле?

— А по-твоему — воровать бомбу? Бомбу надо морально изолировать, а не воровать.

— Как изолировать?! Идеалистический бред!

— Очень просто: надо верить в ООН! Вам план Баруха предлагали — надо было подписывать! Так нет, Пахану бомба нужна!

Рубин стоял спиной к прогулочному двору и тропинке, а Нержин — лицом и увидел быстро подходившего к ним Доронина.

— Тихо, Руська идёт. Не поворачивайся, — шёпотом предупредил он Рубина. И продолжал громко ровно: — Слушай, а тебе такой не встречался там шестьсот восемьдесят девятый артиллерийский полк?

— А кого ты там знал? — ещё не переключась, нехотя отозвался Рубин.

— Майора Кандыбу. С ним был интересный случай...

— Господа! — сказал Руська Доронин весёлым открытым голосом. Рубин кряхтя повернулся, поглядел хмуро:

— Что скажете, инфант?

Ростислав смотрел на Рубина непритворённым взглядом. Лицо его дышало чистотой:

— Лев Григорыч! Мне очень обидно, что я — с открытой душой, а на меня косятся мои же доверенные. Что ж тогда остальным? Господа! Я пришёл вам предложить: хотите, завтра в обеденный перерыв я вам продам всех хриstopродавцев в тот самый момент, когда они будут получать свои тридцать серебрянников?

Если не считать толстячка Густава с розовыми ушами, Доронин был на шарашке самым молодым зэком. Все сердца привлекал его небидчивый нрав, удатливость, быстрота. Немногие минуты, в которые начальство разрешало волейбол, Ростислав отдавался игре беззаветно; если стоящие у сетки пропускали мяч, он от задней черты бросался под него «ласточкой», отбивал и падал на землю, в кровь раздирая колена и локти. Правилось и необычное имя его — Руська, вполне оправдавшееся, когда, через два месяца после приезда, его голова, бритая в лагере, заросла пышными русыми волосами.

Его привезли из Воркутинских лагерей потому, что в учётной карточке ГУЛАГа он числился как фрезеровщик; на самом же деле оказался фрезеровщик липовый и вскоре был заменён настоящим. Но от обратной отсылки в лагерь Руську спас Двоетёсов, взявший его учиться на меньшем из вакуумных насосов. Переимчивый Руська быстро

научился. За шарашку он держался как за дом отдыха — в лагерях ему пришлось хлебнуть много бед, о которых он рассказывал теперь с весёлым азартом: как он *гоходил* в сырой шахте, как стал делать себе *мостырку* — ежедневную температуру, нагревая обе подмышки камнями одинаковой массы, чтобы два термометра никогда не расходились больше, чем на десятую долю градуса (двумя термометрами его хотели разоблачить).

Но со смехом вспоминая своё прошлое, которое за двадцать пять лет его срока неотступно должно было повториться в будущем, Руська мало кому, и то по секрету, раскрывался в своём главном качестве — донного парня, два года водившего за нос сыскной аппарат МГБ. Достойный крестник этого учреждения, он так же не гнался за славой, как и оно.

И так в пёстрой толпе обитателей шарашки он не был особо примечателен до одного сентябрьского дня. В этот день Руська с таинственным видом обошёл до двадцати самых влиятельных эзков шарашки, составявших её общественное мнение, — и с глазу на глаз каждому из них возбуждённо сообщил, что сегодня утром оперуполномоченный майор Шикин вербовал его в стукачи, и что он, Руська, согласился, предполагая использовать службу доносчика для всеобщего блага.

Несмотря на то, что личное дело Ростислава Доронина было испещрено пятью сменёнными фамилиями, галочками, литерами и шифрами о его опасности, предрасположенности к побегу, о необходимости транспортировать его только в наручниках, — майор Шикин в погоне за увеличением штата своих осведомителей счёл, что Доронин — юноша, и потому нестойк, что он дорожит своим положением на шарашке и потому будет предан оперуполномоченному.

Тайком вызванный в кабинет Шикина (вызывали, например, в секретариат, а там говорили: «да-да, зайдите к майору Шикину»), Ростислав присидел у него три часа. За это время, слушая нудные наставления и разъяснения кума, Руська своими зоркими ёмкими глазами изучил не только крупную голову майора, поседевшую за подшиванием доносов и кляуз, его черноватое лицо, его крохотные руки, его ноги в мальчиговых ботинках, мраморный настольный прибор и шёлковые оконные шторы; но и, мысленно переворачивая буквы, перечёл заголовки на папки и бумажки, лежавшие под стеклом, хотя сидел от края стола за полтора метра, и ещё успел прикинуть, какие документы Шикин, очевидно, хранит в сейфе, а какие запирает в столе.

Порою Доронин простодушно уставял свои голубые глаза в глаза майора и согласительно кивал. За этим голубым простодушием кипели самые отчаянные замыслы, но оперуполномоченный, привыкший к серому однообразию людской покорности, не мог догадаться.

Руська понимал, что Шикин действительно может услатить его на Воркуту, если он откажется стать стукачом.

Не Руську одного, но всё поколение руськино приучили считать «жалость» чувством унижительным, «доброту» — смешным, «совесть» — выражением поповским. Зато внушали им, что доносительство есть и патриотический долг, и лучшая помощь тому, на кого доносишь, и содействует оздоровлению общества. Не то, чтоб это всё в Руську проникло, но и не осталось без влияния. И главным вопросом для него было сейчас не тот, насколько это дурно или позволительно — стать стукачом, а — что из этого получится? Уже обогащённый бурным жизненным опытом, множеством тюремных встреч и наслушавшись хлёстких тюремных споров, этот юноша не выпускал из виду и такую ситуацию, когда все эти архивы МГБ будут раскапывать, и всех тайных сотрудников предавать позорному суду.

Поэтому согласиться на сотрудничество с кумом было в дальнем смысле так же опасно, как в ближнем — отказаться от него.

Но кроме всех этих расчётов Руська был художник авантюризма. Читая занятные бумажки вверх ногами под настольным стеклом Шикина, он задрожал от предчувствия острой игры. Он томился от бездеятельности в тесном уюте шарашки!

И для правдоподобия уточнив, сколько он будет получать, Руська с жаром согласился.

После его ухода Шикин, довольный своей психологической проницательностью, прохаживался по кабинету и потирал одну крохотную ладонь о другую — такой осведомитель-энтузиаст обещал богатый урожай доносов. А в это самое время не менее довольный Руська обходил доверенных эзков и исповедывался им, что согласился быть стукачом из любви к спорту, из желания изучить методы МГБ и выявить подлинных стукачей.

Другого подобного признания не помнили эзки, даже старые. Руську недоверчиво спрашивали — зачем он, рискуя головой, похваляется. Он отвечал:

— А когда над этой сворой будет Нюрнбергский процесс, — вы за меня выступите свидетелями защиты.

Из двадцати узнавших эзков каждый рассказал ещё одному-двум, — и никто не пошёл и не донёс куму! Уже одним этим полста людей утвердились выше подозрений.

Событие с Руськой долго волновало шарашку. Мальчишке поверили. Верили ему и позже. Но, как всегда, у событий был свой внутренний ход. Шикин требовал *материалов*. Руське приходилось что-нибудь давать. Он обходил своих доверителей и жаловался:

— Господа! Воображаете, сколько стучат другие, если я вот месяца не служу — а как Шикин жмёт! Ну войдите в положение, подбросьте матерьяльчика!

Одни отмахивались, другие подбрасывали. Единодушно было решено погубить некую даму, которая работала из жадности, чтоб умножить тысячи, приносимые мужем. Она держалась с эзками презрительно, высказывалась, что их надо перестрелять (говорила она так среди вольных девушек, но эзкам быстро стало известно), и сама завалила двоих — одного на связи с девушкой, другого — на изготовлении чемодана из казённых материалов. Руська бессовестно оболгал её, что она берёт от эзков письма на почту и ворует из шкафа конденсаторы. И хотя он не представил Шикину ни одного доказательства, а муж дамы — полковник МВД, решительно протестовал, — по неотразимой силе тайного доноса дама была уволена и ушла заплаканная.

Иногда Руська стучал и на эзков — по каким-либо незлостным мелочам, сам же предупреждая их об этом. Потом перестал предупреждать, смолк. Не спрашивали и его. Невольно все поняли так, что он стучит и дальше, но уже о таком, в чём не признаешься.

Так Руську постигла судьба двойников. Об игре его по-прежнему никто не донёс, но его стали сторониться. Рассказываемые им подробности, что у Шикина под стеклом лежит особое расписание, по которому стукачи заскакивают в кабинет без вызова, и по которому можно их ловить, как-то мало вознаграждали за его собственную принадлежность к прихту стукачей.

Не подозревал и Нержин, любящий Руську со всеми его интригами, что о Есенине на него стукнул тоже Руська. Потеря книги доставила Глебу боль, которой Руська предвидеть не мог. Тот рассудил, что книга — Нержина собственная, это выяснится, отнять её никто не отнимет, — а Шикина можно очень занять доносом, что Нержин прячет в чемодане книгу, наверное принесенную ему вольной девушкой.

Ещё сохраняя на губах вкус клариного поцелуя, Руська вышел во двор. Снежная белизна лип была ему цветением, а воздух казался тёплым, как весной. В своих двухлетних скитаниях-скрываниях, все мальчишеские помыслы устремив на обман сыщиков, он совсем уду-

стил искать любовь женщин. Он сел в тюрьму девственным, и от этого по вечерам ему было так безутешно-тяжело.

Но, выйдя во двор, при виде низкого длинного штаба спецтюрьмы он вспомнил, что завтра в обед он здесь хотел задать спектакль. Подсела как раз пора о том объявлять (раньше было нельзя, чтоб не сорвалось). И, овеянный восхищением Клары, оттого чувствуя себя тройне удачливым и умным, он огляделся, увидел Рубина и Нержина на краю прогулочного двора,— и решительно направился к ним. Шапка его была сдвинута набок и назад, так что лоб весь и уголочек темени с космой волос были доверчиво открыты нехолодному дню.

По строгому лицу Нержина, как видел Руська на подходе и потом по хмурому обёрнутому лицу Рубина, они говорили о серьёзном. Но Руську встретили незначительной подставной фразой, это было ясно. Что ж, сглотив обиду, он толковал им:

— Надеюсь, вам известен общий принцип справедливого общества, что всякий труд должен быть оплачен? Так вот, завтра каждый Иуда будет получать свои серебрянники за третий квартал этого года.

— Резинщики! — возмутился Нержин.— Уже и четвёртый отработали — а они только за третий? Почему такая задержка?

— Очень во многих местах надо подписывать платёжную ведомость,— объяснял Руська извиняющимся тоном.— В том числе буду получать и я.

— И тебе тоже платят за третий? — удивился Рубин.— Ведь ты же там служил только полквартала?

— Ну что ж, я — отличился! — с подкупающей открытой улыбкой оглядел обоих Руська.

— И прямо наличными?

— Боже упаси! Фиктивный денежный перевод по почте с зачислением суммы на лицевой счёт. Меня спросили — от какого имени вам прислать? Хотите — от Ивана Ивановича Иванова? Стандарт меня покоробил. Я попросил — нельзя ли от имени Клары Кудрявцевой? Всё-таки приятно думать, что о тебе заботится женщина.

— И по сколько же за квартал?

— Вот тут-то самое остроумное! Осведомителю по ведомости выписывают сто пятьдесят рублей за квартал. Но надо для приличия переслать по почте, а неумолимая почта берёт три рубля почтовых сборов. Все кумовья настолько жадные, что своих денег добавить не хотят, и настолько ленивые, что не поднимают вопроса о повышении ставки сексотам на три рубля. Поэтому переводы будут все как один на 147 рублей. Поскольку нормальный человек никогда таких переводов не шлёт,— эти недостающие тридцать гривенников и есть Иудина печать. Завтра в обед надо столпиться около штаба и у всех, выходящих от опера, смотреть перевод. Родина должна знать своих стукачей, как вы находите, господа?

В этот самый час, когда отдельные редкие снежинки стали срываться с неба и падали на тёмную мостовую улицы Матросская Тишина, с булыжников которой скаты автомашин слизали последние остатки снега прошлых дней,— в 318-й комнате студенческого городка на Стромынке шла предвечерняя воскресная жизнь девушек-аспиранток.

318-я комната на третьем этаже своим широким квадратным окном как раз и выходила на Матросскую Тишину, а от окна к двери была продолговата, и вдоль стен её, справа и слева, упнулись по три железных кровати гуськом и шатко высились плетёные этажерки с книгами. Средней полосой комнаты, оставляя вдоль кроватей лишь узкие проходы, один за другим стояли два стола: ближе к окну — «диссертационный», где громоздко теснились книги, тетради, чертежи

и стопы машинописного текста, а дальше — общий, за которым сейчас Оленька гладила, Муза писала письмо, а Люда перед зеркалом раскручивала папильотки. У дверной стены ещё оставалось место для умывального таза, отгороженного занавеской (умываться полагалось в конце коридора, но девушкам было там неудобно, холодно, да-леко).

На кровати близ умывальника лежала венгерка Эржика и читала. Она лежала в халате, который в комнате назывался «бразильский флаг». У неё были ещё и другие затейливые халаты, восхищавшие девушек, но на выход она одевалась очень сдержанно, как бы даже стараясь не привлекать внимания. Она привыкла так за годы, когда была подпольщицей-коммунисткой в Венгрии.

Следующая в ряду постель Люды была растерзана (Люда не так давно встала), одеяло и простыня касались пола, зато поверх подушки и спинки кровати было бережно разложено уже выглаженное голубое шёлковое платье и чулки. И персидский коврик висел над кроватью. Сама же Люда за столом громко рассказывала историю ухаживания за ней некоего испанского поэта, вывезенного с родины ещё мальчиком. Она подробно вспоминала ресторанный обстановку, какой был оркестр, какие блюда, гарниры и пили что.

Утюг Оленьки был включён в патрон-«жулик» над столом и оттуда свисал шнур. (Чтобы не расходовали электричества, утюги и плитки были на Стромынке строго запрещены, розеток не ставили, а за «жуликами» охотилась вся комендатура.) Оленька слушала Люду, посмеиваясь, но зорко занята была своей гладкой. Жакет этот и юбка к нему были её всё. Ей было бы легче прожечь утюгом себе тело, чем этот костюм. Оленька жила на одну аспирантскую стипендию, сидела на картошке и каше, если могла не доплатить в троллейбусе двадцати копеек — не доплачивала, стена у её кровати была завешана географической картой — зато вот этот вечерний наряд был весь хорош, никакой части его не приходилось стыдиться.

Муза, избыточно-полная, с грубоватыми чертами лица и в очках старше своих тридцати лет, пыталась на столе, качаемом гладкой, и под этот назойливый оскорбляющий её рассказ писать письмо. Попросят другого помолчать она вообще считала неделикатным. Останавливать же Люду было — её распалать, она бы только сдержала. Люда была новая у них, не аспирантка, а приехала после финансового института на курсы политэкономов, да и приехала-то больше для развлечения. Отец её, генерал в отставке, много слал ей из Воронежа.

Люда была первобытно убеждена, что во встречах и вообще в отношениях с мужчинами состоит единственный смысл женской жизни. Но в сегодняшнем рассказе она выделяла ещё особую пикантность. У себя в Воронеже уже бывшая три месяца замужем и сходявшаяся потом кой с какими другими мужчинами, Люда сожалела, что девичество у неё прошло как-то слишком мельком. И вот с первых же слов знакомства с испанским поэтом она разыгрывала начинающую, трепетала и стыдилась малейшего прикосновения к плечу или локтю, а когда потрясённый поэт вымолил у неё *первый* в её жизни поцелуй, она содрогалась, переходила от восторга к отчаянию и вдохновила поэта на стихотворение в двадцать четыре строки, к сожалению не на русском.

Муза писала письмо своим глубоко-пожилым родителям в далёкий провинциальный город. Папа и мама её до сих пор любили друг друга как молодожёны, и всякое утро, идя на работу, папа до самого угла всё оборачивался и помахивал маме, а мама помахивала ему из форточки. И так же любила их дочь, и привыкла писать им часто и подробно о каждом своём переживании.

Но сейчас она не находила себя. Эти двое суток, с вечера последней пятницы, с Музой случилось такое, от чего затмилась её неутомимая повседневная работа над Тургеневым — работа, заменявшая ей

всякую другую жизнь, все виды жизни. Ощущение у неё было самое гадкое — будто она вымазалась во что-то грязное, позорное, чего нельзя ни отмыть, ни скрыть, ни показать — и существовать с этим тоже нельзя.

Случилось, что в эту пятницу вечером, когда она вернулась из библиотеки и собиралась ложиться, её вызвали в канцелярию общезжития, а там сказали: «да, да, вот в эту, пожалуйста, комнату». А там сидели двое мужчин в штатском, вначале очень вежливых, представившихся ей как Николай Иванович и Сергей Иванович. Мало стесняясь поздним временем, они держали её час, и два, и три. Они начали с расспросов, с кем она в одной комнате, с кем на одной кафедре (хотя знали, конечно, не хуже её). Они неторопливо беседовали с ней о патриотизме, об общественном долге всякого научного работника не замыкаться в своей специальности, но служить своему народу всеми средствами, всеми возможностями. Против этого Муза не нашлась возразить, это было совершенно верно. Тогда братья Ивановичи предложили ей *помогать* им, то есть в определённое время встречаться с кем-нибудь из них в этой же вот канцелярии, или на агитпункте, или в клубных комнатах, а то и в самом университете, по уговору, — и там отвечать на определённые вопросы или передавать свои наблюдения в письменном виде.

И с этого — началось долгое, ужасное! Они стали говорить с ней всё грубее, покрикивать, обращаться уже на «ты»: «Да что ты упрямисься? Тебя ж не иностранная разведка вербует!» «Нужна она иностранной разведке, как кобыле пятая нога...» Потом прямо заявили, что диссертацию защитить ей не дадут (а у неё шли последние месяцы, и диссертация была почти готова), научную карьеру ей ломают, потому что такие учёные хлюпки Родине не нужны. Это очень её напугало: разве был для них труд выгнать её из аспирантуры? Но тут они вынули пистолет, передавали друг другу и как бы невзначай держали наведенным на Музу. От пистолета у Музы, наоборот, страх миновал. Потому что в конце концов остаться живой, но выгнанной с чёрной характеристикой, было хуже. В час ночи Ивановичи отпустили её думать до вторника, вот до ближайшего вторника, двадцать седьмого декабря, — и взяли подписку о неразглашении.

Они уверяли, что им всё известно, и если она кому-нибудь расскажет об их разговоре, то по этой подписке будет тотчас арестована и осуждена.

Каким несчастным выбором они остановились именно на ней?.. Теперь обречённо она ждала вторника, не в силах заниматься, — и вспоминала те недавние дни, когда можно было думать об одном Тургеневе, когда душу ничто не гнело, а она, глупая, не понимала своего счастья.

Оленька слушала с улыбкой, раз поперхнулась водой от смеха. Оленька хотя и поздновато из-за войны, в двадцать восемь лет была наконец счастлива-счастлива-счастлива и всем прощала всё, пусть каждый добывает себе счастье как может. У неё был возлюбленный, тоже аспирант, и сегодня вечером он должен был зайти за ней и увести.

— Я говорю: вы, испанцы, вы так высоко ставите честь человека, но если вы поцеловали меня в губы, то ведь я обесчещена!

Привлекательное, хотя и жестокое лицо светловолосой Люды передало отчаяние обесчещенной девушки.

Худенькая Эржика всё это время, лёжа, читала «Избранное» Галахова. Эта книга раскрывала перед ней мир высоких светлых характеров, цельность которых поражала Эржику. Персонажей Галахова никогда не сотрясали сомнения — служить родине или не служить, жертвовать собой или не жертвовать. Сама Эржика по слабому знакомству с языком и обычаями страны ещё не видела таких людей тут, но тем более важно было узнавать их из книг.

И всё-таки она опустила книгу и, перекачась на бок, стала слушать также и Люду. Здесь, в 318-й комнате, ей приходилось узнавать противоположные удивительные вещи: то инженер отказался ехать на увлекательное сибирское строительство, а остался в Москве продавать пиво; то кто-то защитил диссертацию и вообще не работает. («Разве в Советском Союзе бывают безработные?») То, будто, чтобы прописаться в Москве, надо дать большую взятку в милицию. «Но ведь это — явление *моментальное?*» — спрашивала Эржика. (Она хотела сказать — временное.)

Люда досказывала о поэте, что если выйдет за него замуж, то уж теперь ей нет выхода — надо правдоподобно изобразить, что она-таки была невинна. И стала делиться, как именно собирается представить это в первую ночь.

Змейка страдания прошла по лбу Музы. Неделikatно было бы открыто заткнуть пальцами уши. Она нашла повод отвернуться к своей кровати.

Оленька же весело воскликнула:

— Так героини мировой литературы совершенно зря каялись перед женихами и кончали с собой?

— Конечно ду-у-уры! — смеялась Люда. — А это так просто!

Вообще же Люда сомневалась, выходить ли за поэта:

— Он не член ССП, пишет всё на испанском, и как у него будет дальше с гонорарами? — ничего твёрдого!

Эржика была так поражена, что спустила ноги на пол.

— Как? — спросила она. — И ты... и в Советском Союзе тоже выходят замуж *по счёту?*

— Привыкнешь — поймёшь, — тряхнула Люда головой перед зеркалом. Все папильотки уже были сняты, и множество белых завившихся локонов дрожало на её голове. Одного такого колечка было довольно, чтобы окольцевать юношу-поэта.

— Девочки, я делаю такое выведение... — начала Эржика, но заметила странный опущенный взгляд Музы на пол близ неё — и ахнула — и вздёрнула ноги на кровать.

— Что? Пробежала? — с искажённым лицом крикнула она.

Но девочки рассмеялись. Никто не пробежал.

Здесь, в 318-й комнате, иногда даже и днём, а по ночам особенно нахально, отчётливо стуча лапами по полу и пища, бегали ужасные русские крысы. За все годы подпольной борьбы против Хорти ничего так не боялась Эржика, как теперь того, что эти крысы вскочат на её кровать и будут бегать прямо по ней. Днём ещё, при смехе подруг, страх её миновал, но по ночам она обтыкалась одеялом со всех сторон и с головой и клялась, что если доживёт до утра — будет уходить со Стромынки. Химичка Надя приносила яд, разбрасывали им по углам, они стихали на время, потом принимались за своё. Две недели назад колебания Эржики решились: не кто-нибудь из девочек, а именно она, зачерпывая утром воду из ведра, вытащила в кружке утонувшего крысёнка. Трясаясь от омерзения, вспоминая его сосредоточенно-примирённую острую мордочку, Эржика в тот же день пошла в венгерское посольство и просила поселить её на частной квартире. Посольство запросило министерство иностранных дел СССР, министерство иностранных дел — министерство высшего образования, министерство высшего образования — ректора университета, тот — свою адмхозчасть, и хозяйка ответила, что частных квартир пока нет, жалоба же о якобы крысах на Стромынке поступает впервые. Переписка пошла в обратную сторону и снова в прямую. Всё же посольство обнадеживало Эржику, что комнату ей дадут.

Теперь Эржика, охватив подтянутые к груди колени, сидела в своём бразильском флаге как экзотическая птица.

— Девочки-девочки, — жалобным распевом говорила она. — Вы мне все так нравитесь! Я бы ни за что не ушла от вас мимо крыс.

Это была и правда и неправда. Девушки нравились ей, но ни одной из них Эржика не могла бы рассказать о своих больших тревогах, об одинокой на континенте Европы венгерской судьбе. После процесса Ласло Райка что-то непонятное творилось на её родине. Доходили слухи, что арестованы такие коммунисты, с кем она вместе была в подполье. Племянника Райка, тоже учившегося в МГУ, и ещё других венгерских студентов вместе с ним — отозвали в Венгрию, и ни от кого из них не пришло больше письма.

В запертую дверь раздался их условный стук («утюга не прячьте, свои!»). Муза поднялась и, прихрамнув (колено ныло у неё от раннего ревматизма), откинула крючок. Быстро вошла Даша — твёрдая, с большим кривоватым ртом.

— Девчёнки! девчёнки! — хохотала она, но всё ж не забыла накинуть за собой крючок. — Еле от кавалера отвязалась! От кого? Догадайтесь!

— У тебя так жирно с кавалерами? — удивилась Люда, роясь в чемодане.

Действительно, университет отходил от войны как от обморока. Мужчин в аспирантуре было мало и всё какие-то не настоящие.

— Подожди! — Оленька вскинула руку и гипнотически смотрела на Дашу. — От Челюстей?

«Челюсти» был аспирант, заваливший три раза подряд диалектический и исторический материализмы и, как безнадежный тупица, отчисленный из аспирантуры.

— От Буфетчика! — воскликнула Даша, стянула шапку-ушанку с плотно-собранных тёмных волос и повесила её на колок. Она медлила снять дешёвенькое пальто с цыгеечным воротником, три года назад полученное по талону в университетском распределителе, и так стояла у двери.

— Ах — того??!

— В трамвае еду — он заходит, — смеялась Даша. — Сразу узнал. «Вам до какой остановки?» Ну, куда денешься, сошли вместе. «Вы теперь в той бане уже не работаете? Я заходил сколько раз — вас нет».

— А ты б сказала... — смех от Даши перебросился к Оленьке и охватывал её как пламя, — ты б сказала... ты б сказала... ! — Но никак она не могла выговорить своего предложения и, хохоча, опустила на кровать, однако не мня разложенного там костюма.

— Да какой буфетчик? Какая баня? — добивалась Эржика.

— Ты б сказала... ! — надрывалась Оленька, но новые приступы смеха трясли её. Она вытянула руки и шевелением пальцев пыталась передать то, что не проходило через глотку.

Засмеялись и Люда, и ничего не понявшая Эржика, и сумрачное некрасивое лицо Музы разошлось в улыбке. Она сняла и протирала очки.

— Куда, говорит, идёте? Кто у вас тут, в студенческом городке? — хохотала и давилась Даша. — Я говорю... вахтёрша знакомая!.. рукавички!.. вяжет...

— Ру?-ка?-вички?..

— ...вяжет!!!..

— Но я хочу знать! Но какой буфетчик? — умоляла Эржика.

Оленьку хлопали по хребту. Отсмеялись. Даша сняла пальто. В тугом свитере, в простой юбке с тесным поясом видно было, какая она гибкая, ладная, не устанет день нагибаться на любой работе. Отвернув цветистое покрывало, она осторожно присела на край своей кровати, убранный почти молитвенно — с особой взбитостью подушки и подушечки, с кружевной накидкой, с вышитыми салфеточками на стене. И рассказала Эржике:

— Это ещё осенью было, зятепло, до тебя... Ну, где жениха искать? Через кого знакомиться? Людка и посоветовала: иди, мол, гу-

лять в Сокольники, только одна! Девушкам всё портит, что они по двое ходят.

— Расчёт без промаха! — отозвалась Люда. Она осторожно стирала пятнышко с носка туфли.

— Вот я и пошла,— продолжала Даша, но уже без веселья в голосе.— Похожу — сяду, на деревья посмотрю. Действительно, подсел быстро какой-то, ничего по наружности. Кто же? Оказывается, буфетчик, в закулочной работает. А я где?.. Стыдно мне так стало, не сказать же, что аспирантка. Вообще учёная баба — страх для мужчин..

— Ну — так не говори! Так можно чёрт знает до чего дойти! — недовольно возразила Оленька.

В мире, таком прореженном и таком опустевшем, после того как вытолкнули из него железное туловище войны; когда зияли только ямки чёрные в тех местах, где должны были двигаться и улыбаться их сверстники или старшие их на пять — на десять — на пятнадцать лет,— этими неизвестно кем составленными, грубыми, никакого смысла не выражающими словами «учёная баба» нельзя же было захлопывать тот светлый яркий луч науки, который оставался их роковому женскому поколению на всякие личные неудачи.

— ...Сказала, что кассиршей в бане работаю. Пристал — в какой бане, да в какую смену. Еле ушла...

Всё оживление покинуло Дашу. Тёмные глаза её смотрели тоскливо.

Она весь день прозанималась в Ленинской библиотеке, потом несытно и невкусно пообедала в столовой и возвращалась домой в унынии перед незаполнимым воскресным вечером, не обещавшим ей ничего.

Когда-то, ещё в средних классах просторной бревенчатой школы в их селе, ей нравилось хорошо учиться. Потом радовало, что под предлогом института ей удалось отцепиться от колхоза и прописаться в городе. Но вот уж ей было много лет, училась она восемнадцать рядов, надоело ей учиться до ломоты в голове — а зачем она училась? Простая бабья радость — ребёнка родить, и вот не от кого, не для кого.

И, задумчиво покачиваясь, Даша в смолкнувшей комнате произнесла свою любимую поговорку:

— Нет, девчата, жизнь — не роман...

При их МТС есть агроном один. Пишет Даше, спрашивает. Но вот-вот станет она кандидатом наук, и вся деревня скажет: для чего ж училась девка? — за агронома вышла. Это и любая звеньевая может... А с другой стороны Даша чувствовала, что и кандидат наук она будет ненастоящий, стреноженный, скованный, что вузовская работа будет ей — неподъёмный заклый клин; что и кандидатом не поспеет и не сумеет она проникнуть в те высшие свободные круги науки.

Идущих в науку женщин, их целую жизнь хвалили, хвалили, так напевали, так много им обещали — и тем жёстче было теперь упереться в глыбу лбом.

Ревниво досмотрев за развязной удачливой соседкой, Даша сказала:

— Людка! А ты — ноги помой, советую.

Люда осмотрелась:

— Ты думаешь?

В нерешительности вытащила спрятанную электроплитку и включила в «жулик» вместо утюга.

Какой-нибудь работой хотелось деятельной Даше отогнать кручину. Она вспомнила, что есть у неё новопкупка из белья, не того размера, но пришлось брать, пока выбросили. Теперь, достав, она начала ушивать.

Так все стихли, и можно было бы наконец вникнуть по-настоящему в письмо. Но нет, оно не выписывалось! Муза перечитала послед-

ние написанные фразы, одно слово заменила, несколько неясных букв подвела...— нет, письмо не удавалось! В письме была ложь, и мама с папой сразу это почувствуют. Они поймут, что дочке плохо, что случилось что-то чёрное — но почему же Муза не пишет прямо? В первый раз почему она лжёт?..

Если бы никого сейчас не было в комнате, Муза бы застонала громко. Она просто заревела бы вслух — и, может, хоть чуть бы полегчало. А так она бросила ручку и подперлась ладонями, скрывая лицо ото всех. Ведь вот как это делается! — выбор целой жизни, и ни с кем нельзя посоветоваться! Ни у кого не найти помощи! — подписка о неразглашении! А во вторник опять предстать перед теми двумя, уверенными, знающими готовые слова, готовые повороты. Как хорошо было жить ещё позавчера! А теперь всё поггло. Потому что они ведь не уступят. Но и ты не уступишь. Как же можно рассуждать о гамлетовском и донкихотском началах в человеке — и всё время помнить, что ты — доносчица, что у тебя есть кличка — Ромашка или какая-нибудь Трезорка, и что ты должна собирать материалы вот на этих девченок или на своего профессора?..

Муза сняла с зажмуренных глаз слёзы, стараясь незаметно.

— А где Надюшка? — спросила Даша.

Никто не отозвался. Никто не знал.

Но у Даши за шитьём пришла своя мысль поговорить сейчас о Наде:

— Как вы думаете, девочки, сколько можно? Ну, пропал без вести. Ну, пошёл пятый год после войны. Ну, уж кажется, можно бы и отсечь, а?

— Ах, что ты говоришь! Что ты говоришь! — со страданием воскликнула Муза и вскинула руки над головой. Широкие рукава её сероклетчатого платья скользнули к локтям, обнажая белые рыхловатые руки. — Только так и любят! Истинная любовь перешагивает гробовую доску!

Сочные чуть припухлые губы Оленьки отошли в косую складку:

— После гробовой доски? Это, Муза, что-то трансцендентное. Память, нежные воспоминания, — но любовь?

— Вот именно: если человека нет вообще — как же его любить? — вела своё Даша.

— Я б ей, если б могла, честное слово, сама бы похоронное извещение прислала: что убит, убит, убит и в землю закопали! — горячо высказалась Оленька. — Что за проклятая война — пять лет прошло, а она всё на нас дышит!

— Во время войны, — вмешалась Эржика, — очень многие загнались далеко, за океан. Может и он там, живой.

— Ну, вот это может быть, — согласилась Оля. — Так она может надеяться. Но вообще, у Надюши есть такая тяжёлая черта: она любит упиваться своим горем. И только своим. Ей без горя даже чего-то бы в жизни не хватало.

Даша ожидала, пока все отговорятся, и медленно проводила кончиком иголки по рубчику, словно оттачивала её. Она-то знала, заводя разговор, как сейчас их всех поразит.

— Так слушайте, девчénки, — веско сказала она теперь. — Всё это нас Надюшка морочит, врёт. Ничего она не считает мужа мёртвым, ни на какой возврат из без вести она не надеется. Она просто знает, что муж её жив. И даже знает, где он.

Все оживились:

— Откуда ты взяла?

Даша победно смотрела на них. Давно уже за её редкую приглядчивость её прозвали в комнате следователем.

— Слушать надо уметь, девки! Хоть раз обмолвилась она о нём как о мёртвом? Не-а. Она даже «был» старается не говорить, а как-

нибудь так, без «был» и без «есть». Ну, если без вести пропал, то хоть разочек-то можно о нём порассуждать как о мёртвом?

— Но что ж тогда с ним?

— Да неужели не ясно? — вскрикнула Даша, вовсе откладывая шитьё.

Нет, им не было ясно.

— Он жив, но бросил её! И ей стыдно в этом признаться! И придумала — «без вести».

— А вот в это поверю! в это поверю! — поддержала Люда, хлюпая за занавеской.

— Значит, она жертвует собой во имя его счастья! — воскликнула Муза. — Значит, почему-либо нужно, чтоб она молчала и не выходила замуж!

— Тогда чего ей ждать? — не понимала Оленька.

— Да всё правильно, молодец Дашка! — выскочила Люда из-за занавески без халата, в одной сорочке, голоногая, отчего казалась ещё стройней и выше. — Заело её, потому и придумала, что — святоша, что верна мёртвому. Ни черта она не жертвует, дрожит она, чтоб кто-нибудь её приласкал, да никто её не хочет! Вот бывает так, ты будешь идти — на тебя все на улице будут оглядываться, а она хоть сама прилипай — а никому не нужна.

И ушла за занавеску.

— А к ней Щагов ходит, — сказала Эржика, с трудом выговаривая «щ».

— Ходит — это ещё ничего не значит! — уверенно отбивала невидимая Люда. — Надо, чтобы клюнул!

— Как это — «клюнул»? — не поняла Эржика.

Рассмеялись.

— Нет, вы скажите так, — гнула Даша своё. — Может, она ещё надеется отбить мужа у той назад?..

В дверь раздался тот же условный стук — «утюга не прячьте, свои».

Все замолчали. Даша откинула крючок.

Вошла Надя — волочащимся шагом, с вытянутым постарелым лицом, как бы желая своим видом подтвердить все худшие насмешки Люды. Странно, она даже не обратилась к присутствующим ни с каким вежливо-приличным словом, не сказала «вот и я» или «ну, что тут нового, девочки?». Она повесила шубу и молча прошла к своей кровати.

Эржика снова читала. Муза опять убрала лицо в ладони. Оленька укрепляла розовые пуговицы на своей кремовой блузке.

Никто не нашёлся ничего сказать. Желая сгладить неловкость тишины, Даша протянула, будто заканчивая:

— Так что, девчата, жизнь — не роман...

После свидания Наде хотелось видеться только с такими же обречёнными, как и она, и говорить только о тех, кто сидит за решёткой. Она поехала из Лефортова через всю Москву на Красную Пресню к жене Сологдиной передать ей три заветных слова мужа.

Но Сологдиной она не застала дома (мудрено было её застать, если все недельные дела для сына и для себя сгруживались ей на воскресенье). Передать записку через соседей было тоже невысказано: из слов Сологдиной Надя знала, да и представляла легко, что соседи враждебны к ней и шпионят.

И если Надя поднималась по крутой, совсем тёмной днём лестнице возбуждённая, предвкушая радость разговора с милой женщиной, разделяющей её тайное горе, — то опускалась она даже не раздосадованная, а разбитая. И как на фотографической бумаге, положен-

ной в бесцветный и безобидный на вид проявитель, начинают неумолимо проступать уже содержащиеся на ней, но до сих пор неявные очертания,— так и в душе Нади после неудачного захода к Сологдиной, стали нагнетаться все те мрачные мысли и дурные предчувствия, которые зародились ещё на свидании, но не сразу дали себя знать.

Он сказал: «не удивляйся, если меня отсюда увезут, если прервутся письма»... Он может уехать!.. И даже эти свидания, раз в год — прекратятся?.. А как же тогда Надя?..

И что-то о верховьях Ангары...

И ещё — не стал ли он верить в бога?.. Была какая-то фраза... Тюрьма искалечит его духовно, уведёт в мистику, в идеализм, приучит к покорности. Характер его изменится, и он вернётся совсем-совсем неизвестным человеком...

Но, главное, он угрожающе говорил: «не связывай слишком больших надежд с окончанием моего срока», «срок — это условность». На свидании Надя воскликнула: не верю! не может быть! Но вот шёл час за часом. Отданная своим мыслям, она опять пересекла всю Москву, с Красной Пресни в Сокольники, и теперь эти мысли неотгонно жалили её, и нечем было от них защититься.

Если тюремный срок Глеба никогда не кончится — чего же ждать? Справедливо ли это: превратить свою жизнь в приставку к жизни мужа? Всем даром существа своего пожертвовать — для ожидания пустоты?

Хорошо, хоть у них там нет женщин!..

Что-то было в сегодняшнем свидании ещё не названное, не понятое — и непоправимое...

И в студенческую столовую она тоже опоздала. Ещё этого мелкого невезенья не хватало, чтоб довершить её отчаяние! Сразу вспомнилось, как два дня назад её оштрафовали на десять рублей за то, что она сошла с задней площадки. Десять рублей сейчас порядочные деньги, это — сто рублей дореформенных.

На Стромынке под начинающимся приятным снежком стоял мальчишка в нахлобученной фуражке и торговал папиросами «Казбек» вроссыпь. Надя подошла и купила у него две папиросы.

— А где же — спичек? — спросила она сама себя вслух.

— На, тётя, циркни! — охотливо предложил мальчишка и протянул ей коробку.— За огонёк денег не берём!

Не размышляя, как это выглядит со стороны, Надя тут же, на улице, со второй спички прикурила папиросу криво, с одного боку, отдала коробку и, не заходя в дверь корпуса, стала прохаживаться. Курение ещё не стало её привычкой, но и не первая это была её папироса. Горячий дым причинял ей боль и отвращение — и тем отсасывало немного тяжесть от сердца.

Откурив половину папиросы, Надя бросила её и поднялась в 318-ю комнату.

Тут она брезгливо миновала неубранную кровать Люды и тяжело опустилась на свою, больше всего желая, чтобы её сейчас никто ни о чём не спрашивал.

Она села — и глаза её оказались вровень с четырьмя стопами её диссертации на столе — четырьмя экземплярами на машинке. И Надя невольно вспомнила все бесконечные мытарства с этой диссертацией — как-то устраиваться с фотокопиями чертежей, первую переделку, вторую, и вот возврат для третьей.

А вспомнив, как безнадёжно и незаконно просрочена диссертация, она вспомнила и ту секретную спецразработку, которая одна могла дать ей сейчас заработок и покой. Но путь загораживала страшная анкета на восьми страницах. Сдать её в отдел кадров надо было ко вторнику.

Писать всё, как есть — значило быть выгнанной к концу недели из университета, из общежития, из Москвы.

Или — тотчас разводиться..

Как она и решила.

Но это было и тяжко, и способ долго-хитрый.

Эржика застелила постель, как могла (у неё это ещё не очень хорошо получалось: и стелиться, и стирать, и гладить она училась впервые на Стромынке, всю прежнюю жизнь такую работу за неё делала прислуга), накрасила перед зеркалом не губы, а щёки, и ушла заниматься в Ленинку.

Муза пробовала читать, но чтение у неё не шло. Она заметила мрачную неподвижность Нади и поглядывала на неё с беспокойством, не решаясь, однако, спросить.

— Да! — вспомнила Даша. — Я сегодня слышала, говорят «книжных» денег за этот год заплатят вдвое больше.

Оленька встрепенулась:

— Шутишь?

— Девчёнкам наш декан сказал.

— Подожди, это сколько же будет? — Олино лицо загорелось тем воодушевлением, которое деньги способны принести лишь людям, не привыкшим и не жадным к ним. — Триста да триста — шестьсть, семьдесят да семьдесят — сто сорок, пять да пять... Хо-го? — вскричала она и захопала в ладоши. — Семьсот пятьдесят!! Вот это да!

И она чуть запела. У неё был голосок.

— Теперь ты купишь себе полного Соловьёва!

— Ещё чего! — фыркнула Оленька. — На эти деньги можно сшить платье гранатовое, креп-жоржетовое, воображаешь? — Она подхватила края юбки кончиками пальцев. — И двойные воланы?!

Оленька многим ещё не была обзаведена. Лишь совсем недавно, последний год, у неё вернулся к этому интерес. У неё мать очень долго болела, в позапрошлом году умерла. С тех пор никого-никого в живых у Оленьки не осталось. На отца и на брата они с матерью получили похоронные в одну и ту же неделю сорок второго года. Мать слегла тогда тяжело, и Оленьке пришлось бросить первый курс, год пропустить, работать, потом перевестись на заочное.

Но ничего этого не было сейчас на её пухленьком милом двадцативосьмилетнем личике. Напротив, её задевал тот вид застывшего страдания, с которым, подавляя всех, сидела против неё на своей койке Надя.

И Оля спросила:

— Что с тобой, Надюша? Ты утром ушла весёлая.

Слова были сочувственные, но смысл их был — раздражение. Неизвестно, какими полутонами наш голос выдаёт наше чувство.

Надя не только распознала это раздражение в голосе соседки. Но и глаза её видели, как прямо перед ней Оленька одевалась, как вколола брошку — рубиновый цветочек, в отворот жакета, как душилась.

И самые эти духи, окружавшие Олю невидимым облачком радости, достигали Надиных ноздрей воздушной струйкой утраты.

И ничуть не разглядев лицом и слова выговаривая, как делая большой труд, Надя ответила:

— Я тебе мешаю? Я порчу тебе настроение?

Они смотрели друг на друга через диссертационный заваленный стол. Оленька выпрямилась, пухленький подбородок её приобрёл твёрдые очертания. Она сказала чётко:

— Видишь ли, Надя. Я не хотела бы тебя обидеть. Но, как сказал наш общий друг Аристотель, человек есть животное общественное. И вокруг себя мы можем раздавать веселье, а мрак — не имеем права.

Надя сидела пригорбившись, уже очень немолода была эта посадка.

— А ты не можешь понять, — тихо, убито выговорила она, — как бывает тяжело на душе?

— Как раз я очень могу понять! Тебе тяжело, да, но нельзя так любить себя! Нельзя себя настраивать, что ты одна страдальца в целом мире. Может быть, другие пережили гораздо больше, чем ты. Задумайся.

Она не договорила, но почему, собственно, один пропавший без вести, которого ещё можно заменить, ибо муж заменим,— значил больше, чем убитый отец, и убитый брат, и умершая мать, если этих трёх заменить нам не дано природой?

Она сказала и ещё постояла прямоенько, строго глядя на Надю.

Надя отлично поняла, что Оля говорит о потерях — своих. Поняла — но не приняла. Потому что ей представлялось так: непоправима всякая смерть, но случается она, всё-таки, однократно. Она сотрясает, но — единожды. Потом незаметнейшими сдвигами, мало-помалу-помалу она отодвигается в прошлое. И постепенно освобождаешься от горя. И надеваешь рубиновую брошку, душишься, идёшь на свидание.

Неразмычное же надино горе — всегда вокруг, всегда держит, оно — в прошлом, в настоящем и в будущем. И как ни мечись, за что ни хватайся — не выбиться из его зубов.

Но чтобы достойно ответить, надо было открыться. А тайна была слишком опасна.

И Надя сдалась, уступила, солгала, кивнула на диссертацию:

— Ну, простите, девочки, измучилась я. Нет больше сил переделывать. Сколько можно?

Когда так объяснилось, что Надя вовсе не выставляет своего горя больше всех горь, настороженность Оленьки сразу опала, и она сказала примирительно:

— Ах, иностранцев повыбрасывать? Так это же не тебе одной, что ты расстраиваешься?

Повыбрасывать иностранцев значило заменить всюду в тексте «Лауэ доказал» на «учёным удалось доказать», или «как убедительно показал Лангмюр» на «как было показано». Если же какой-нибудь не только русский, но немец или датчанин на русской службе отличился хоть малым — нужно было непременно указать полностью его имя-отчество, оттенить его непримиримый патриотизм и бессмертные заслуги перед наукой.

— Не иностранцев, я их давно выбросила. Теперь надо исключить академика Баландина...

— Нашего советского?

— ...и всю его теорию. А я на ней всё строила. А оказалось, что он... что его...

В ту же пропасть, в тот же подземный мир, где томился в цепях надин муж, ушёл внезапно и академик Баландин.

— Ну, нельзя же так близко к сердцу! — настаивала Оленька. Было и тут у неё что возразить: — А у меня — с Азербайджаном?..

Ничто никогда не располагало эту среднерусскую девушку стать ирановедом. Поступая на исторический, она и мысли такой не держала. Но её молодой (и женатый) руководитель, у которого она писала курсовую по Киевской Руси, стал за ней пристально ухаживать и очень настаивал, чтобы в аспирантуре она тоже специализировалась по Киевской Руси. Оленька в тревоге перекинулась на итальянский ренессанс, но и Итальянский Ренессанс был не стар и, оставаясь с нею наедине, тоже вёл себя в духе Возрождения. Тогда-то в отчаянии Оленька перепросилась к дряхлому профессору-ирановеду, у него писала и диссертацию, и теперь благополучно кончила бы, если б в газетах не всплыл вопрос об Иранском Азербайджане. Так как Оленька не проследила красной нитью извечное тяготение этой провинции к Азербайджану и чуждость её Ирану, — то диссертацию вернули на переделку.

— Скажи спасибо, что хоть исправить дают заранее. Бывает хуже. Вон, Муза рассказывает...

Но Муза уже не слышала. На счастье своё она углубилась в книгу, и теперь комнаты вокруг неё не существовало.

— ...на литфаке одна защищала диссертацию о Цвейге четыре года назад, уже доцентствует давно. Вдруг обнаружили у неё в диссертации три раза, что «Цвейг — космополит», и что диссертантка это одобряет. Так её вызвали в ВАК и отобрали диплом. Жуть!

— Фу, ещё в химии расстраиваться! — отозвалась и Даша. — Что ж тогда нам, политекономам? В петлю лезть? Ничего, дышим. Вот, Стужайла-Олябышкин, спасибо, выручил!

Действительно, всем было известно, что Даша получила уже третью тему для диссертации. Первая тема у неё была «Проблемы общественного питания при социализме». Тема эта, очень ясная лет двадцать назад, когда любому пионеру и Даше в том числе было надёжно известно, что семейные кухни в скором времени отомрут, домашние очаги погаснут и раскрепощённые женщины будут получать завтраки и обеды на фабриках-кухнях, — тема эта стала с годами туманной и даже опасной. Наглядно было видно, что если кто и обедал ещё в столовой, как например сама Даша, то лишь по проклятой необходимости. Процветали только две формы общественного питания: ресторанный, но в ней недостаточно ярко были выдержаны социалистические принципы, и — самые паршивые забегаловки, торгующие одной только водкой. В теории же остались по-прежнему фабрики-кухни, ибо Вождю Трудящихся эти двадцать лет недосуг был высказаться о питании. И потому опасно было рискнуть сказать что-нибудь своё. Даша помучилась-помучилась, и руководитель сменил ей тему, но и новую взял по недомыслию не из того списка: «Торговля предметами широкого потребления при социализме». Материала и по этой теме оказалось мало. Хотя во всех речах и директивах говорилось, что предметы широкого потребления производить и распространять можно и даже нужно, — но практически эти предметы по сравнению со стальным прокатом и нефтепродуктами начинали носить некий укорный характер. И будет ли лёгкая промышленность всё более развиваться или всё более отмирать — не знал даже учёный совет, во время отклонивший тему.

И вот тут добрые люди надоумили, и Даша вымолила себе: «Русский политеконом XIX века Стужайла-Олябышкин».

— Ты хоть портрет-то его, благодетеля, нашла где-нибудь? — со смехом спрашивала Оленька.

— Вот именно, не могу найти!

— С твоей стороны просто неблагоприятно! — Оленька старалась теперь развеселить Надю, на самом же деле обдавала её своим предсвиданным оживлением. — Я бы нашла и повесила над кроватью. Я вполне представляю: это был благообразный старикашка-помещик с неудовлетворёнными духовными запросами. После сытного завтрака он садился в домашнем халате у окна, в той, знаешь, глухой провинции ларинских времён, над которой невластны бури истории, и, глядя, как девка Палашка кормит поросят, неторопливо рассуждал,

Как государство богатеет,
И чем живет...

Цыпочка! А вечером играл в карты... — Оленька залилась.

Она рдела. Она вся была — нарастающее счастье.

И Люда уже забралась в небесно-голубое платье, тем лишив свою постель веероподобного прикрытия (Надя со страдательным подёргиванием косилась в её сторону). Перед зеркалом она сперва освежила подкраску бровей и ресниц, потом с большой аккуратностью раскрасила губы в лепесток.

— И обратите внимание, девочки, — внезапно сказала Муза, как она умела, естественно, будто все только и ждали её замечания. — Чем отличаются русские литературные героини от западно-европейских? Са-

мые излюбленные герои западных писателей всегда добиваются карьеры, славы, денег. А русского героя, не корми, не пой — он ищет справедливости и добра. А?

И опять углубилась в чтение.

— Да ты б хоть свету попросила,— пожалела её Даша. И включила.

Люда уже надела и боты, потянулась за шубкой. Тут Надя резко кивнула на её постель и сказала с отвращением:

— Ты опять оставляешь нам убирать за тобой эту гадость?

— Да пожалуйста, не убирай! — вспыхнула Люда и сверкнула выразительными глазами. — И не смей больше притрагиваться к моей постели!! — Её голос взлетел до крика. — И не читай мне морали!!

— Ты должна понимать! — сорвалась теперь Надя и всё невысказанное кричала ей. — Ты оскорбляешь нас!.. Может у нас быть что-нибудь другое на душе, чем твой вечерние удовольствия?

— Завидуешь? У тебя не клюёт?

Лица обеих исказились и стали очень неприятны, как всегда у женщин в озлоблении.

Оленька раскрыла рот тоже напасть на Люду, но в «вечерних удовольствиях» ей послышался обидный намёк. И она остановилась.

— Нечему завидовать! — глухо крикнула Надя оборванным голосом.

— Если ты заблудилась, вместо монастыря в аспирантуру, — всё звончей кричала Люда, чуя победу, — так сиди в углу и не будь свекровью. Надоело! Старая дева!

— Людка! Не смей! — закричала Даша.

— А чего она не в своё дело...? Старая дева! Старая дева! Неудачница!

Очнулась Муза и, угрожающе в сторону Люды размахивая томиком, тоже стала кричать:

— Мещанство живёт! торжествует! и процветает!

Все они пять стали кричать своё, не слушая других и не соглашаясь с ними.

С налитой, ничего уже не соображающей головой, стыдясь своей выходки и рыданий, Надя, как была, в том лучшем, что надевала на свидание, бросилась плашмя на кровать и накрыла голову подушкой.

Люда снова перепудрилась, расправила над беличьей шубкой вьющиеся белые локоны, спустила чуть ниже глаз вуалетку и, не убрав-таки постели, но в уступку накинув одеяло, ушла.

Надю окликали, она не шевелилась. Даша сняла с неё туфли и завернула углы одеяла ей на ноги.

Потом раздался ещё стук, по которому выпорхнула Оленька в коридор, как ветер вернулась, подвела кудри под шляпку, юркнула в меховушку с жёлтым воротником и новой походкой пошла к двери.

(Эта походка была — на радость, но и — на борьбу...)

Так 318-я комната отправила в мир один за другим два прелестных и прелестно одетых соблазна.

Но, потеряв с ними оживление и смех, комната стала совсем унылой.

Москва была огромный город, а идти в ней было — некуда...

Муза опять не читала, сняла очки и спрятала лицо в большие ладони.

Даша сказала:

— Глупая Ольга! Ведь поиграет и бросит. Мне говорили, что у него другая где-то есть. И как бы не ребёнок.

Муза выглянула из ладоней:

— Но Оля ничем не связана. Если он окажется такой — она может оставить его.

— Как не связана! — кривой улыбкой усмехнулась Даша. — Какую же тебе ещё связь...

— Ну, ты всегда всё знаешь! Ну, откуда ты это можешь знать? — возмутилась Муза.

— Да чего ж тут знать, если она у них в доме ночевать остаётся?

— О! Ничего! Ничего это ещё не доказывает! — отвергла Муза.

— А теперь только так. Иначе не удержишь.

Девушки помолчали, каждая при своём.

Снег за окном усиливался. Там уже темнело.

Тихо переливалась вода в радиаторе под окном.

Нестерпимо было подумать, что воскресный вечер предстояло погибать в этой конуре.

Даше представился отвергнутый ею буфетчик, здоровый сильный мужчина. Зачем уж так было его отталкивать? Ну, пусть бы в темноте сводил её в какой-нибудь клуб на окраине, где университетские не бываю. Потискал бы где-нибудь у заборчика.

— Музочка, пойдём в кино! — попросила Даша.

— А что идёт?

— «Индийская гробница».

— Но ведь это — чушь! Коммерческая чушь!

— Да ведь в корпусе, рядом!

Муза не отзывалась.

— Тоскливо же, ну!

— Не пойду. Найди работу.

И вдруг опал электрический свет — остался только багрово-тусклый накалённый в лампочке волосок.

— Ну, этого ещё...! — простонала Даша. — Фаза выпала. Повесишься тут.

Муза сидела, как статуя.

Не шевелилась Надя на кровати.

— Музочка, пойдём в кино!

Постучали в дверь.

Даша выглянула и вернулась:

— Надюша! Цагов пришёл. Встанешь?

51

Надя долго рыдала и впивалась зубами в одеяло, чтобы перестать. Под подушкой, надвинутой на голову, стало мокро.

Она была рада уйти куда-нибудь до поздней ночи из комнаты. Но некуда было ей пойти в огромном городе Москве.

Уж не первый раз тут, в общежитии, её хлестали такими словами: свекровь! брюзга! монашенка! старая дева! Всего обиднее была несправедливость этих слов. Какая она была раньше весёлая!..

Но легко ли даётся пятый год лжи — постоянной маски, от которой вытягивается и сводит лицо, голос режет, суждения становятся бесчувственными? Может быть и вправду она сейчас — невыносимая старая дева? Так трудно судить о себе самой. В общежитии, где нельзя, как дома, топнуть ножкой на маму — в общежитии, среди равных, только и научаешься узнавать в себе плохое.

Кроме Глеба уже никто-никто не может её понять...

Но и Глеб тоже не может её понять...

Ничего он ей не сказал — как ей быть, как ей жить.

Только, что — сроку конца не будет...

Под быстрыми уверенными ударами мужа оборвалось и рухнуло всё, чем она каждый день себя крепила, поддерживала в своей вере, в своём ожидании, в своей недоступности для других.

Сроку — конца не будет!

И значит, она ему — не нужна... И, значит, она губит себя только...

Надя лежала ничком. Неподвижными глазами она смотрела в просвет между подушкой и одеялом на кусок стены перед собой — и не могла понять, и не старалась понять, что это за освещение. Было

как будто и очень темно — и всё же различались на знакомой охренной стене пупырышки грубой побелки.

И вдруг сквозь подушку Надя услышала особенный дробный стук пальцами в фанерную филёнку двери. И ещё прежде, чем Даша спросила: «Щагов пришёл. Встанешь?» — Надя уже сорвала подушку с головы, спрыгнула на пол в чулках, поправляла перекрученную юбку, гребёной пригладывала волосы и ногами нащупывала туфли.

В безжизненно-тусклом свете полунакала Муза увидела её поспешность и отшатнулась.

А Даша кинулась к людиной постели, быстро подоткнула и убрала. Впустили гостя.

Щагов вошёл в старой фронтовой шинели внакидку. В нём всё ещё сидела армейская выправка: он мог нагнуться, но не мог сторбиться. Движения его были обдуманно.

— Здравствуйте, уважаемые. Я пришёл узнать, чем вы занимаетесь без света, — чтоб и себе перенять. Подохнуть с тоски!

(Какое облегчение! — в жёлтом полумраке не были видны опухшие от слёз глаза.)

— Так если б не сутёмки, вы б, значит, не пришли? — в тон Щагову ответила Даша.

— Ни в коем разе. При ярком свете женские лица лишены очарования. Видны злые выражения, завистливые взгляды, — (он будто был здесь перед тем!), — морщины, неумеренная косметика. На месте женщин я б законодательно провёл, чтобы свет давался только вполнакала. Тогда бы все быстро вышли замуж.

Даша строго смотрела на Щагова. Всегда он так говорил, и ей это не нравилось — какие-то заученные выражения.

— Разрешите присесть?

— Пожалуйста, — ответила Надя ровным голосом хозяйки, в котором не было и следа недавней усталости, горечи, слёз.

Ей, наоборот, нравились его самообладание, снисходительная манера, низкий твёрдый голос. От него распространялось спокойствие. И остроты его казались приятными.

— Второй раз могут не пригласить, публика такая. Спешу сесть. Итак, чем вы занимаетесь, юные аспирантки?

Надя молчала. Она не могла много говорить с ним, потому что они поссорились позавчера и Надя внезапным неосознанным движением, с той степенью интимности, которой между ними не было, ударила его тогда портфелем по спине и убежала. Это было глупо, по-детски, и сейчас присутствие посторонних облегчало её.

Ответила Даша.

— Собираемся идти в кино. Не знаем, с кем.

— А — какая картина?

— «Индийская гробница».

— О-о, непременно смотрите. Как рассказывала одна медсестра, «много стреляют, много убивают, вообще замечательная картина!».

Щагов удобно сидел у общего стола:

— Но позвольте, уважаемые, я думал у вас застать хоровод, а тут какая-то панихида. Может быть, у вас не всё гладко с родителями? Вы удручены последним решением партбюро? Так оно к аспирантам, кажется, не относится.

— Какое решение? — малозвучно спросила Надя.

— Решение? О проверке силами общественности социального происхождения студентов, верно ли они указывают, кто их родители. Тут — богатые возможности, может быть кто-нибудь кому-нибудь доверился, или проговорился во сне, или прочёл чужое письмо, и всякие такие вещи...

(И ещё будут искать, и ещё копать! О, как всё надоело! Куда вырваться?..)

— А, Муза Георгиевна? Вы ничего не скрыли?..

— Что за низость! — воскликнула Муза.

— Как, вас и это не веселит? Ну, хотите, я расскажу вам забавнейшую историю с тайным голосованием вчера на совете мехмата...?

Щагов говорил всем, но следил за Надей. Он давно обдумывал, чего хочет от него Надя. Каждый новый случай всё явнее выказывал её намерения.

...То она стояла над доской, когда он играл с кем-нибудь в шахматы, и напрашивалась играть с ним сама и обучаться у него дебютам. (Боже мой, но ведь шахматы помогают забыть время!)

То звала послушать, как она будет выступать в концерте.

(Но так естественно! — хочется, чтоб игру твою похвалил не совсем равнодушный слушатель!)

То однажды у неё оказался «лишний» билет в кино, и она пригласила его.

(Ах, да просто хотелось иллюзии на один вечер, показаться где-то вдвоём... Опереться на чью-то руку.)

То в день его рождения она подарила ему записную книжечку — но с неловкостью: сунула в карман пиджака и хотела бежать — что за хватки? почему бежать?

(Ах, от смущения лишь, от одного смущения!)

Он же догнал её в коридоре, и стал бороться с ней, притворно пытаясь вернуть ей подарок, и при этом охватил её — а она не сразу сделала усилие вырваться, дала себя подержать.

(Столько лет не испытывала, что руки и ноги сковались.)

А теперь этот игривый удар портфелем?

Как со всеми, как со всеми, Щагов был железно-сдержан и с нею. Он знал, как завязчивы все эти женские истории, как трудно из них потом вылезать. Но если одинокая женщина молит о помощи, просто молит о помощи? — кто так непреклонен, чтоб ей отказать?

И сейчас Щагов вышел из своей комнаты и пошёл в 318-ю не только уверенный, что Надю он обязательно застанет дома, но начиная волноваться.

...Курьёзу с голосованием на совете если и рассмеялись, то из вежливости.

— Ну, так будет свет или нет? — нетерпеливо воскликнула уже и Муза.

— Однако, я замечаю, что мои рассказы вас ничуть не смешат. Особенно Надежду Ильиничну. Насколько я могу разглядеть, она мрачнее тучи. И я знаю, почему. Позавчера её оштрафовали на десять рублей — и она из-за этих десяти рублей мучается, ей жалко.

Едва Щагов произнёс эту шутку, Надю как подбросило. Она схватила сумочку, рванула замок, наудачу оттуда что-то выдернула, истерично изорвала и бросила клочки на общий стол перед Щаговым.

— Муза! Последний раз — идёшь? — с болью воскликнула Даша, взявшись за пальто.

— Иду! — глухо ответила Муза и, прихрамывая, решительно пошла к вешалке.

Щагов и Надя не оглянулись на уходящих.

Но когда дверь закрылась за ними — Наде стало страшновато.

Щагов поднёс клочки разорванного к глазам. Это были хрустящие кусочки ещё одной десятирублёвки...

Он встал из шинели (она осела на стуле) и беспорывно обходя мебель, подошёл к Наде, много выше её. В свои большие руки свёл её маленькие.

— Надя! — в первый раз назвал её просто по имени.

Она стояла неподвижно, ощущая слабость. Вспышка её, изорвавшая десятку, ушла так же быстро, как возникла. Странная мысль промелькнула в её голове, что никакой надзиратель не склоняет к ним сбоку свою бычью голову. Что они могут говорить, о чём только захотят. И сами решат, когда им надо расстаться.

Она увидела очень близко его твёрдое прямое лицо, где правая и левая части ни чёрточкой не различались. Ей нравилась правильность этого лица.

Он разнял пальцы и скользнул по её локтям, по шёлку блузки.

— Н-надя!..

— Пу-устите! — голосом усталого сожаления отозвалась Надя.

— Как мне понять? — настаивал он, переводя пальцы с её локтей к плечам.

— В чём — понять? — невнятно переспросила она.

Но не старалась освободиться!..

Тогда он сжал её за плечи и притянул.

Жёлтая полумгла скрыла пламя крови в её лице.

Она упёрлась ему в грудь и оттолкнулась.

— Ка-ак вы могли подумать?..

— А шут вас разберёт, что о вас думать! — пробормотал он, отпустил и мимо неё отошёл к окну.

Вода в радиаторе тихо переливалась.

Дрожащими руками Надя поправила волосы.

Он дрожащими руками закурил.

— Вы — знаете? — раздельно спросил он, — как — горит — сухое — сено?

— Знаю. Огонь до небес, а потом кучка пепла.

— До небес! — подтвердил он.

— Кучка пепла, — повторила она.

— Так зачем же вы швыряете-швыряете-швыряете огнём в сухое сено?

(Разве она швыряла?.. Да как же он не мог её понять?.. Ну, просто хочется иногда нравиться, хоть урывками. Ну, на минуту почувствовать, что тебя предпочли другим, что ты не перестала быть лучшей.)

— Пойдёмте! Куда-нибудь! — потребовала она.

— Никуда мы не пойдём, мы будем здесь.

Он возвращался к своей спокойной манере курить, властными губами зажимая чуть сбоку мундштук — и эта манера тоже нравилась Наде.

— Нет, прошу вас, пойдёмте куда-нибудь! — настаивала она.

— Здесь — или нигде, — безжалостно отрубил он. — Я обязан предупредить вас: у меня есть невеста.

52

Надю и Щагова сблизило то, что оба они не были москвичами. Те москвичи, кого Надя встречала среди аспирантов и в лабораториях, носили в себе яд своего несуществующего превосходства, этого «московского патриотизма», как называли сами они. Надя ходила среди них, какие ни будь её успехи перед профессором, в существах второго сорта.

Как же было ей отнестись к Щагову, тоже провинциалу, но рассекавшему эту среду, как небрежно рассекает ледокол простую мягкую воду. Однажды при ней в читальне один молоденький кандидат наук, желая унижить Щагова, спросил его с высокомерным поворотом змеиной головы:

— А вы, собственно... из какой местности?

Щагов, превосходя собеседника ростом, с ленивым сожалением посмотрел на него, чуть покачиваясь вперёд и назад:

— Вам не пришлось там побывать. Из фронтовой местности. Из посёлка Блиндажный.

Давно замечено, что наша жизнь входит в нашу биографию не равномерно по годам. У каждого человека есть своя особая пора жизни, в которую он себя полнее всего проявил, глубже всего чувствовал и сказался весь себе и другим. И что бы потом ни случилось с чело-

веком даже внешне значительного, всё это чаще — только спад или инерция того толчка: мы вспоминаем, упиваемся, на много ладов переигрываем то, что единожды прозвучало в нас. Такой порой у иных бывает даже детство — и тогда люди на всю жизнь остаются детьми. У других — первая любовь, и именно эти люди распространили миф, что любовь даётся только раз. Кому пришлось такой порой пора их наибольшего богатства, почёта, власти — и они до беззубых дёсен шамкают нам о своём отошедшем величии. У Нержина такой порой стала тюрьма. У Щагова — фронт.

Щагов хватанул войны с жарком и с ледком. Его взяли в армию в первый месяц войны. Его отпустили на *гражданку* только в сорок шестом году. И за все четыре года войны у Щагова редко выдавался день, когда б с утра он был уверен, что доживёт до вечера: он не служивал в высоких штабах, а в тыл отлучался только в госпиталь. Он отступал в сорок первом от Киева и в сорок втором на Дону. Хотя война в общем шла к лучшему, но Щагову доставалось уносить ноги и в сорок третьем и даже в сорок четвёртом под Ковелем. В придорожных канавках, в размытых траншеях и меж развалин сожжённых домов узнавал он цену котелка супа, часа покоя, смысл подлинной дружбы и смысл жизни вообще.

Переживания сапёрного капитана Щагова не могли зарубцеваться теперь и в десятилетия. Он не мог теперь принять никакого другого деления людей, кроме как на солдат и прочих. Даже на московских всё забывших улицах у него сохранилось, что только слово «солдат» — порука искренности и дружелюбия человека. Опыт внушил ему не доверять тем, кого не проверил огонь фронта.

После войны у Щагова не осталось родных, а домик, где прежде жили они, был начисто сметен бомбой. Имущество Щагова было — на нём, и чемодан трофеев из Германии. Правда, чтобы смягчить демобилизованным офицерам впечатление от гражданской жизни, им ещё двенадцать месяцев после возвращения платили «оклад по воинскому званию», зарплату ни за что.

Воротясь с войны, Щагов, как и многие фронтовики, не узнал той страны, которую четыре года защищал: в ней рассеялись последние клубы розового тумана равенства, сохранённого памятью молодёжи. Страна стала ожесточена, совершенно бессовестна, с пропастями между хилой нищетой и нахально жиреющим богатством. Ещё и фронтовики вернулись на короткое время лучшими, чем уходили, вернулись очищенными близостью смерти, и тем разительней была для них перемена на родине, перемена, назревшая в далёких тылах.

Эти бывшие солдаты были теперь все здесь — они шли по улицам и ехали в метро, но одеты кто во что, и уже не узнавали друг друга. И они признали высшим порядком не свой фронтовой, а — который застали здесь.

Стоило взяться за голову и подумать: за что же дрались? Этот вопрос многие и задавали — но быстро попадали в тюрьму.

Щагов не стал его задавать. Он не был из тех неуёмных натур, кто постоянно тычется в поисках всеобщей справедливости. Он понял, что всё идёт, как идёт, остановить этого нельзя — можно только вскочить или не вскочить на подножку. Ясно было, что ныне дочь исполкомовца уже одним своим рождением предназначена к чистой жизни и не пойдёт работать на фабрику. Невозможно себе было представить, чтобы разжалованный секретарь райкома согласился стать к станку. Нормы на заводах выполняют не те, кто их придумывает, как и в атаку идут не те, кто пишет приказ об атаке.

Собственно, это не было ново для нашей планеты, а только — для революционной страны. И обидно было, что за капитаном Щаговым не признавали права его безразумной службы, права приобщиться к завоёванной именно им жизни. Это право он должен был доказать теперь ещё один раз: в бескровном бою, без выстрелов, не меча гра-

нат — провести своё право через бухгалтерию, закрепить гербовой печатью.

И при всём том — улыбаться.

Щагов так спешил на фронт в сорок первом году, что не позаботился кончить пятого курса и получить диплом. Теперь, после войны, предстояло это наверстать и пробиваться к кандидатскому званию. Специальность его была — теоретическая механика, уйти в неё была у него мысль и до войны. Тогда это было легче. После же войны он застал всеобщую вспышку любви к науке — ко всякой науке, ко всем наукам — после повышения ставок.

Что ж, он размерил свои силы ещё на один долгий поход. Германские трофеи он помалу загонял на базаре. Он не гнался за изменчивой модой на мужские костюмы и ботинки, вызывающе донашивая, в чём демобилизовался: сапоги, диагональные брюки, гимнастёрку английской шерсти с четырьмя планочками орденов и двумя нашивками ранений. Но именно это сохранённое обаяние фронта родило Щагова в глазах Нади с таким же фронтовым капитаном Нержиным.

Уязвимая для каждой неудачи и оскорбления, Надя чувствовала себя девочкой перед бронированной житейской мудростью Щагова, спрашивала его советов. (Но и ему с тем же упорством лгала, что её Глеб без вести пропал на фронте.)

Надя сама не заметила, как и когда она впала во всё это — «лишний» билет в кино, шутливая схватка из-за записной книжки. А сейчас, едва Щагов вошёл в комнату и ещё препирался с Дашей, — она сразу поняла, что пришёл он к ней и что неизбежно случится что-то.

И хотя перед тем она безутешно оплакивала свою разбитую жизнь, — порвав червонец, стояла обновлённая, налитая, готовая к живой жизни — сейчас.

И сердце её не ощущало здесь противоречия.

А Щагов, осадив волнение, вызванное короткой игрой с нею, снова вернулся к медлительной манере держаться.

Теперь он ясно дал этой девочке понять, что она не может рассчитывать выйти за него замуж.

Услышав о невесте, Надя подломленным шагом прошла по комнате, стала тоже у окна и молча рисовала по стеклу пальцем.

Было жаль её. Хотелось прервать молчание и совсем просто, с давно оставленной откровенностью, объяснить: бедная аспиранточка, без связей и без будущего — что могла бы она ему дать? А он имеет справедливое право на свой кусок пирога (он взял бы его иначе, если б талантливых людей у нас не загрызали на полпути). Хотелось поделиться: несмотря на то, что его невеста живёт в праздных условиях, она не очень испорчена. У неё хорошая квартира в богатом закрытом доме, где селят одну знать. На лестнице швейцар, а по лестнице — ковры, где ж теперь это в Союзе? И, главное, вся задача решается разом. А что можно выдумать лучше?

Но он только подумал обо всём этом, не сказал.

А Надя, прислонясь виском к стеклу и глядя в ночь, отозвалась безрадостно:

— Вот и хорошо. У вас невеста. А у меня — муж.

— Без вести пропавший?

— Нет, не пропавший, — прошептала Надя.

(Как опрометчиво она выдавала себя!..)

— Вы надеетесь — он жив?

— Я его видела... Сегодня...

(Она выдавала себя, но пусть не считают её девчёнкой, виснувшей на шею!)

Щагов недолго осознавал сказанное. У него не был женский ход мысли, что Надя брошена. Он знал, что «без вести пропавший» почти всегда значило *перемещённое лицо*, — и если такое лицо перемещалось обратно в Союз, то только за решётку.

Он подступил к Наде и взял её за локоть:

— Глеб?

— Да,— почти беззвучно, совсем безразлично проронила она.

— Он что же? Сидит?

— Да.

— Так-так-так! — освобождённо сказал Щагов. Подумал. И быстро вышел из комнаты.

Стыдом и безнадежностью Надя так была оглушена, что не уловила нового в голосе Щагова.

Пусть — убежал. Она довольна, что всё сказала. Она опять была наедине со своей честной тяжестью.

По-прежнему еле тлел волосок лампочки.

Волоча, как бремя, ноги по полу, Надя пересекла комнату, в кармане шубы нашла вторую папиросу, дотянулась до спичек и закурила. В отвратительной горечи папиросы она нашла удовольствие.

От неумения закашлялась.

На одном из стульев, проходя, различила бесформенно-осевшую шинель Щагова.

Как он из комнаты бросился! До того испугался, что шинель забыл.

Было очень тихо, и из соседней комнаты по радио слышался, слышался... да... листовский этюд фа-минор.

Ах, и она ведь его играла когда-то в юности — но понимала разве?.. Пальцы играли, душа же не отзывалась на это слово — *disperato* — отчаянно...

Прислонившись лбом к оконному переплёту, Надя ладонями раскинутых рук касалась холодных стёкол.

Она стояла как распятая на чёрной крестовине окна.

Была в жизни маленькая тёплая точка — и не стало.

Впрочем, в несколько минут она уже примирилась с этой потерей.

И снова была женой своего мужа.

Она смотрела в темноту, стараясь угадать там трубу тюрьмы Матросская Тишина.

Disperato! Это бессильное отчаяние, в порыве встать с колен и снова падающее! Это настойчивое высокое ребемоль — надорванный женский крик! крик, не находящий разрешения!..

Ряд фонарей уводил в чёрную темноту будущего, до которого дожить не хотелось...

Московское время, объявили после этюда, шесть часов вечера.

Надя совсем забыла о Щагове, а он опять вошёл, без стука.

Он нёс два маленьких стаканчика и бутылку.

— Ну, жена солдата! — бодро, грубо сказал он. — Не унывай. Держи стакан. Была б голова — а счастье будет. Выпьем — за воскресенье мёртвых!

В шесть часов вечера в воскресенье даже на шарашке начинался всеобщий отдых до утра. Никак нельзя было избежать этого досадного перерыва в арестантской работе, потому что в воскресенье *вольнички* дежурили только в одну смену. Это была гнусная традиция, против которой, однако, были бессильны бороться майоры и подполковники, ибо сами они тоже не хотели работать по воскресным вечерам. Только Мамурин-Железная Маска страшился этих пустых вечеров, когда уходили вольные, когда загоняли и запирали всех зэков, которые всё-таки тоже были в известном смысле люди, — и ему оставалось одному ходить по опустевшим коридорам института мимо осургученных и опломбированных дверей, либо томиться в своей келье между умывальником, шкафом и кроватью. Мамурин пытался добиться, чтобы Семёрка работала и по воскресным вечерам, — но не мог

сломить консервативности начальства спецтюрьмы, не желавшего удваивать внутризонных караулов.

И так сложилось, что двадцать восемь десятков арестантов, пирая все разумные доводы и кодексы об арестантском труде,— по воскресным вечерам нагло отдыхали.

Отдых этот был такого свойства, что непривычному человеку показался бы пыткой, придуманной дьяволом. Наружная темнота и особая бдительность воскресных дней не разрешала тюремному начальству в эти часы устраивать прогулки во дворике или киносеансы в сарае. После годовой переписки со всеми высокими инстанциями было также решено, что и музыкальные инструменты типа «баян», «гитара», «балалайка» и «губная гармоника», а тем более прочих укрупнённых типов,— недопустимы на шарашке, так как их совместные звуки могли бы помочь производить подколп в каменном фундаменте. (Оперуполномоченные через стукачей непрерывно выясняли, нет ли у заключённых каких-либо самодельных дудок и пищалок, а за игру на гребешке вызывали в кабинет и составляли особый протокол.) Тем более не могло быть речи о допущении в общежитии тюрьмы радиоприёмников или самых драненьких патефонов.

Правда, заключённым разрешалось пользоваться тюремной библиотекой. Но у спецтюрьмы не было средств для покупки книг и шкафа для книг. А просто назначили Рубина тюремным библиотекарем (он сам напросился, думая захватить хорошие книги) и выдали ему однажды сотню растрёпанных разрозненных томов вроде тургеневской «Муму», «Писем» Стасова, «Истории Рима» Моммзена — и велели их обращать среди арестантов. Арестанты давно теперь все эти книги прочли, или вовсе не хотели читать, а выпрашивали чтива у вольняшек, что и открывало оперуполномоченным богатое поле для сыска.

Для отдыха арестантам предоставлялись десять комнат на двух этажах, два коридора — верхний и нижний, узкая деревянная лестница, соединяющая этажи, и уборная под этой лестницей. Отдых состоял в том, что ээкам разрешалось безо всякого ограничения лежать в своих кроватях (и даже спать, если они могли заснуть под галдёж), сидеть на кроватях (стульев не было), ходить по комнате и из комнаты в комнату хотя бы даже в одном нижнем белье, сколько угодно курить в коридорах, спорить о политике при стукачах и совершенно без стеснений и ограничений пользоваться уборной. (Впрочем те, кто подолгу сидели в тюрьме и ходили «на оправку» дважды в сутки по команде,— могут оценить значение этого вида бессмертной свободы.) Полнота отдыха была в том, что время было своё, а не казённое. И поэтому отдых воспринимался как настоящий.

Отдых арестантов состоял в том, что снаружи запирались тяжёлые железные двери, и никто больше не открывал их, не входил, никого не вызывал и не дёргал. В эти короткие часы внешний мир ни звуком, ни словом, ни образом не мог просочиться внутрь, не мог потревожить ничью душу. В том и был отдых, что весь внешний мир — Вселенная с её звёздами, планета с её материками, столицы с их блистанием и вся держава с её банкетами одних и производственными вахтами других — всё это проваливалось в небытие, превращалось в чёрный океан, почти неразличимый сквозь обрешеченные окна при жёлто-слепом свечении фонарей зоны.

Залитый изнутри никогда не гаснущим электричеством МГБ, двухэтажный ковчег бывшей семинарской церкви, с бортами, сложенными в четыре с половиной кирпича, беззаботно и бесцельно плыл сквозь этот чёрный океан человеческих судеб и заблуждений, оставляя от иллюминаторов мреющие струйки света.

За эту ночь с воскресенья на понедельник могла расколоться Луна, могли воздвигнуться новые Альпы на Украине, океан мог проглотить Японию или начаться всемирный потоп — запертые в ковчеге

арестанты ничего не узнали бы до утренней поверки. Так же не могли их потревожить в эти часы телеграммы от родственников, докучные телефонные звонки, приступ дифтерита у ребёнка или ночной арест.

Те, кто плыли в ковчеге, были невесомы сами и обладали невесомыми мыслями. Они не были голодны и не были сыты. Они не обладали счастьем и потому не испытывали тревоги его потерять. Головы их не были заняты мелкими служебными расчётами, интригами, продвижением, плечи их не были обременены заботами о жилище, топливе, хлебе и одежде для детишек. Любовь, составляющая искони наслаждение и страдание человечества, была бессильна передать им свой трепет или свою агонию. Тюремные сроки их были так длинны, что никто ещё не задумывался о тех годах, когда выйдет на волю. Мужчины, выдающиеся по уму, образованию и опыту жизни, но всегда слишком преданные своим семьям, чтобы оставлять дослуженно себя для друзей, — здесь принадлежали только друзьям.

Свет ярких ламп отражался от белых потолков, от выбеленных стен и тысячами лучиков пронизывал просветлённые головы.

Отсюда, из ковчеге, уверенно прокладывающего путь сквозь тьму, легко озирался извилистый заблудившийся поток проклятой Истории — сразу весь, как с огромной высоты, и подробно, до камешка на дне, будто в него окунались.

В эти часы воскресных вечеров материя и тело не напоминали людям о себе. Дух мужской дружбы и философии парил под парусным сводом потолка.

Может быть, это и было то блаженство, которое тщетно пытались определить и указать все философы древности?

54

В полукруглой комнате второго этажа под высоким сводчатым потолком алтаря было особенно просторно мыслям и весело.

Все двадцать пять человек этой комнаты собрались дружно к шести часам. Одни поскорей разделись до белья, стремясь избавиться от надоевшей тюремной шкуры, и плюхнулись с размаху на свою койку (или, подобно обезьянам, вскарабкались наверх), другие так же плюхнулись, но не снимая комбинезона, кто-то уже стоял наверху, и, размахивая руками, кричал оттуда приятелю через всю комнату, иные ничего не предприняли ещё, а отапгивались и оглядывались, ощущая приятность предстоявших свободных часов — и теряясь, как начать их поприятнее.

Среди таких был Исаак Каган, чёрно-кудратый низенький «директор аккумуляторной», как его называли. У него было особенно хорошее расположение духа от прихода в просторную светлую комнату из тёмной подвальной аккумуляторной с плохой вентиляцией, где он по четырнадцать часов в день копался кротом. Впрочем, он был доволен и этой своей работой в подвале, говоря, что в лагере давно бы уже загнулся (он никогда не уподоблялся хвостунам, гордящимся, что в лагере «жили лучше, чем на воле»).

На воле Исаак Каган, недоучившийся инженер, кладовщик материально-технического снабжения, старался жить незаметной маленькой жизнью и пройти эпоху великих свершений — боком. Он знал, что тихим кладовщиком быть и спокойнее и прибыльнее. В своей замкнутости он таил почти огненную страсть к наживе и ею был занят. Ни к какой политической деятельности его не влекло. Зато, как только умел, он и в кладовой соблюдал законы субботы. Но Госбезопасность избрала почему-то Кагана запрячь в свою колесницу, и стали его тягать в закрытые комнаты и в явочные безобидные места, настаивая, чтоб он стал сексотом. Очень это было отвратно Кагану. Прямоты и смелости такой не было у него (а у кого она была?), что-

бы резануть им в глаза, что это — гадство, но с неистощимым терпением он молчал, мямлил, тянул, уклонялся, ёрзал на стуле — и так-таки не подписал обязательства. Не то, чтобы он совсем не был способен донести. Не дрогнув, донёс бы он на человека, причинившего ему зло или унижение. Но отвращалось сердце его доносить на людей добрых к нему или безразличных.

Однако, в Госбезопасности за это упрямство на него затаили. Это всего на свете не уберёжешься. В кладовой же у него затеяли разговор: кто-то выругал инструмент, кто-то снабжение, кто-то планирование. Исаак и рта не открыл при этом, выписывал себе накладные химическим карандашом. Но стало известно (да наверно, подстроили), друг на друга все указали, кто что говорил, и по десятому пункту получили все по десять лет. Прошёл и Каган пять очных ставок, но никто не доказал, что он хоть слово вымолвил. Была бы 58-я статья поуже — и пришлось бы Кагана выпускать. Но следовательно знал свой последний запас — пункт 12-й той же статьи — *недоносительство*. За недоносительство и припаяли Кагану те же десять астрономических лет.

Из лагеря Каган попал на шарашку благодаря своему выдающемуся остроумию. В трудную минуту, когда его изгнали с поста «заместителя старшего по бараку» и стали гонять на лесоповал, он написал письмо на имя председателя совета министров товарища Сталина о том, что если ему, Исааку Кагану, правительство предоставит возможность, он берётся осуществить управление по радио торпедными катерами.

Расчёт был верен. Ни у кого в правительстве не дрогнуло бы сердце, если бы Каган по-человечески написал, что ему очень-очень плохо и он просит его спасти. Но выдающееся военное изобретение стоило того, чтобы автора немедленно привезти в Москву. Кагана привезли в Марфино, и разные чины с голубыми и синими петлицами приезжали к нему и торопили его воплотить дерзкую техническую идею в готовую конструкцию. Уже получая здесь белый хлеб и масло, Каган, однако, не торопился. С большим хладнокровием он отвечал, что он сам не торпедист и, естественно, нуждается в таковом. За два месяца достали торпедиста (зэка). Но тут Каган резонно возразил, что сам он — не судовой механик и, естественно, нуждается в таковом. Ещё за два месяца привезли и судового механика (зэка). Каган вздохнул и сказал, что не радио является его специальностью. Радио-инженеров в Марфине было много, и одного тотчас прикомандировали к Кагану. Каган собрал их всех вместе и невозмутимо, так что никто не мог бы заподозрить его в насмешке, заявил им: «Ну вот, друзья, когда теперь вас собрали вместе, вы вполне могли бы общими усилиями изобрести управляемые по радио торпедные катера. И не мне лезть советовать вам, специалистам, как это лучше сделать». И, действительно, их троих услали на военно-морскую шарашку, Каган же за выигранное время пристроился в аккумуляторной, и все к нему привыкли.

Сейчас Каган задира лжащего на кровати Рубина — но издали, так чтобы Рубин не мог достать его пинком ноги.

— Лев Григорьич, — говорил он своею не вполне разборчивой вязкой речью, зато и не торопясь. — В вас заметно ослабело сознание общественного долга. Масса жаждет развлечения. Один вы можете его доставить — а уткнулись в книгу.

— Исаак, идите на ... — отмахнулся Рубин. Он уже успел лечь на живот, с лагерной телогрейкой, накинутой на плечи сверх комбинезона (окно между ним и Сологдиным было раскрыто «на Маяковского», оттуда потягивало приятной снежной свежестью) и читал.

— Нет, серьёзно, Лев Григорьич! — не отставал вцепивый Каган. — Всем очень хочется ещё раз послушать вашу талантливую «Ворону и лисицу»:

— А кто на меня куму стукнул? Не вы ли? — огрызнулся Рубин. В прошлый воскресный вечер, веселя публику, Рубин экспромтом сочинил пародию на крыловскую «Ворону и лисицу», полную лагерных терминов и невозможных для женского уха оборотов, за что его пять раз вызывали на «бис» и качали, а в понедельник вызвал майор Мышин и допрашивал о развращении нравственности; по этому поводу отобрано было несколько свидетельских показаний, а от Рубина — подлинник басни и объяснительная записка.

Сегодня после обеда Рубин уже два часа проработал в новой отведенной для него комнате, выбрал типичные для искомого преступника переходы «речевого лада» и «форманты», пропустил их через аппарат видимой речи, развесил сушить мокрые ленты и с первыми догадками и с первыми подозрениями, но без воодушевления к новой работе, наблюдал, как Смолосидов опечатал комнату сургучом. После этого в потоке эзков, как в стаде, возвращающемся в деревню, Рубин пришёл в тюрьму.

Как всегда под подушкой у него, под матрасом, под кроватью и в тумбочке вперемежку с едой, лежало десятка полтора переданных ему в передачах самых интересных (для него одного, потому их и не растаскивали) книг: китайско-французский, латышско-венгерский и русско-санскритский словари (уже два года Рубин трудился над грандиозной, в духе Энгельса и Марра, работой по выводу всех слов всех языков из понятий «рука» и «ручной труд» — он не подозревал, что в минувшую ночь Корифей Языкознания занёс над Марром резак); потом лежали там «Саламандры» Чапека; сборник рассказов весьма прогрессивных (то есть сочувствующих коммунизму) японских писателей; «For Whom the Bell Tolls» (Хемингуэй, как переставшего быть прогрессивным, у нас переводить замялись); роман Эптона Синклера, никогда не переводившийся на русский; и мемуары полковника Лоуренса на немецком, ибо достались в числе трофеев фирмы Лоренц.

В мире было необъятно много книг, самых необходимейших, самых первоочередных, и жадность все их прочесть никогда не давала Рубину возможности написать ни одной своей. Сейчас Рубин готов был глубоко за полночь, вовсе не думая о завтрашнем рабочем дне, только читать и читать. Но к вечеру и остроумие Рубина, и жажда спора и витийства также бывали особенно разогнаны — и надо было совсем немного, чтобы призвать их на служение обществу. Были люди на шарашке, кто не верил Рубину, считая его стукачом (из-за слишком марксистских взглядов, не скрываемых им), — но не было на шарашке человека, который бы не восторгался его затейством.

Воспоминание о «Вороне и лисице», уснащённой хорошо перенатым жаргоном блатных, было так живо, что и теперь вслед за Каганом многие в комнате стали громко требовать от Рубина какой-нибудь новой хохмы. И когда Рубин приподнялся и, мрачный, бородатый, вылез из-под укрытия верхней над ним койки, словно из пещеры, — все бросили свои дела и приготовились слушать. Только Двоетёсов на верхней койке продолжал резать на ногах ногти так, что они далеко отлетали, да Абрамсон под одеялом, не оборачиваясь, читать. В дверях столпились любопытные из других комнат, среди них татарин Булатов в роговых очках резко кричал:

— Просим, Лёва! Просим!

Рубин вовсе не хотел потешать людей, в большинстве ненавидевших или попиравших всё ему дорогое; и он знал, что новая хохма неизбежно значила с понедельника новые неприятности, трёпку нервов, допросы у «Шишкина-Мышкина». Но будучи тем самым героем поговорки, кто для красного словца не пожалеет родного отца, Рубин притворно нахмурился, деловито оглянулся и сказал в наступившей тишине:

— Товарищи! Меня поражает ваша несерьёзность. О какой хохме может идти речь, когда среди нас разгуливают наглые, но всё ещё не выявленные преступники? Никакое общество не может процветать без справедливой судебной системы. Я считаю необходимым начать наш сегодняшний вечер с небольшого судебного процесса. В виде зарядки.

— Правильно!

— А над кем суд?

— Над кем бы то ни было! Всё равно правильно! — раздавались голоса.

— Забавно! Очень забавно! — поощрял Сологдин, усаживаясь поудобнее. Сегодня, как никогда, он заслужил себе отдых, а отдыхать надо с выдумкой.

Осторожный Каган, почувствовав, что им же вызванная затея грозит переступить границы благоразумия, незаметно оттирался назад, сесть на свою койку.

— Над кем суд — это вы узнаете в ходе судебного разбирательства, — объявил Рубин (он сам ещё не придумал). — Я, пожалуй, буду прокурором, поскольку должность прокурора всегда вызвала во мне особенные эмоции. — (Все на шарашке знали, что у Рубина были личные ненавистники-прокуроры, и он уже пять лет единоборствовал со Всесоюзной и Главной Военной прокуратурами.) — Глеб! Ты будешь председатель суда. Сформируй себе быстро тройку — нелюбимую, объективную, ну, словом, вполне послушную твоей воле.

Нержин, сбросив внизу ботинки, сидел у себя на верхней койке. С каждым часом проходившего воскресного дня он всё больше отчуждался от утреннего свидания и всё больше соединялся с привычным арестантским миром. Призыв Рубина нашёл в нём поддержку. Он подтянулся к торцевым перильцам кровати, спустил ноги между прутьями и таким образом оказался на трибуне, возвышенной над комнатою.

— Ну, кто ко мне в заседатели? Залезай!

Арестантов в комнате собралось много, всем хотелось послушать суд, но в заседатели никто не шёл — из осмотрительности или из боязни показаться смешным. По одну сторону от Нержина, тоже наверху, лежал и снова читал утреннюю газету вакуумщик Земеля. Нержин решительно потянул его за газету:

— Улыба! Довольно просвещаться! А то потянет на мировое господство. Подбери ноги. Будь заседателем!

Снизу послышались аплодисменты:

— Просим, Земеля, просим!

Земеля был талая душа и не мог долго сопротивляться. Раздаваясь в улыбке, он свесил через поручни лысеющую голову:

— Избранник народа — высокая честь! Что вы, друзья? Я не учился, я не умею...

Дружный хохот («Все не умеем! Все учимся!») был ему ответом и избранием в заседатели.

По другую сторону от Нержина лежал Руська Доронин. Он разделся, с головой и ногами ушёл под одеяло и ещё подушкой сверху прикрыл своё счастливое упоённое лицо. Ему не хотелось ни слышать, ни видеть, ни чтоб его видели. Только тело его было здесь — мысли же и душа следовали за Кларой, которая ехала сейчас домой. Перед самым уходом она докончила плести корзиночку на ёлку и незаметно подарила её Руське. Эту корзиночку он держал теперь под одеялом и целовал.

Видя, что напрасно было бы шевелить Руську, Нержин оглядывался в поисках второго.

— Амантай! Амантай! — звал он Булатова. — Иди в заседатели.

Очки Булатова задорно блестели.

— Я бы пошёл, да там сесть негде! Я тут у двери, комендантом буду!

Хоробров (он уже успел постричь Абрамсона, и ещё двоих, и стриг теперь посередине комнаты нового клиента, а тот сидел перед ним голый до пояса, чтоб не трудиться потом счищать волосы с белья) крикнул:

— А зачем второго заседателя? Приговор-то уж, небось, в кармане? Катай с одним!

— И то правда,— согласился Нержин.— Зачем дармоеда держать? Но где же обвиняемый? Комендант! Введите обвиняемого! Прошу тишины!

И он постучал большим мундштуком по койке. Разговоры стихали.

— Суд! Суд! — требовали голоса. Публика сидела и стояла.

— Аще взыду на небо — ты там еси, аще сниду во ад — ты там еси,— снизу из-под председателя суда меланхолически подал Потапов.— Аще вселюся в преисподняя моря,— и там десница твоя достигнет мя! — (Потапов прихватил закона божьего в гимназии, и в чёткой инженерной голове его сохранились тексты катехизиса.)

Снизу же, из-под заседателя, послышался отчётливый стук ложечки, размешивающей сахар в стакане.

— Валентуля! — грозно крикнул Нержин.— Сколько раз вам говорено — не стучать ложечкой!

— В подсудимые его! — взвопил Булатов, и несколько услужливых рук тотчас вытянули Пряничкова из полумрака нижней койки на середину комнаты.

— Довольно! — с ожесточением вырывался Пряничков.— Мне надоели прокуроры! Мне надоели ваши суды! Какое право имеет один человек судить другого? Ха-ха! Смешно! Я презираю вас, парниша! — крикнул он председателю суда.— Я... вас!

За то время, что Нержин сколачивал суд, Рубин уже всё придумал. Его тёмно-карие глаза светились блеском находки. Широким жестом он пощадил Пряничкова:

— Отпустите этого птенца! Валентуля с его любовью к мировой справедливости вполне может быть казённым адвокатом. Дайте ему стул!

В каждой шутке бывает неуловимое мгновение, когда она либо становится пошлой и обидной, либо вдруг сплавляется со вдохновением. Рубин, обернувшись себе через плечо одеяло под вид мантии, взлез в носках на тумбочку и обратился к председателю:

— Действительный государственный советник юстиции! Подсудимый от явки в суд уклонился, будем судить заочно. Прошу начинать!

В толпе у дверей стоял и рыжеусый дворник Спиридон. Его лицо, обвислое в щеках, было изранено многими морщинами суровости, но из той же сетки странным образом была вот-вот готова выбиться и весёлость. Исполодбья смотрел он на суд.

За спиной Спиридона с долгим утонченным восковым лицом стоял профессор Челнов в шерстяной шапочке.

Нержин объявил скрипуче:

— Внимание, товарищи! Заседание военного трибунала шарашки Марфино объявляю открытым. Слушается дело... ?

— Ольговича Игоря Святославича... — подсказал прокурор.

Подхватывая замысел, Нержин монотонно-гнусаво как бы прочёл:

— Слушается дело Ольговича Игоря Святославича, князя Новгород-Северского и Путивальского, год рождения... приблизительно... Чёрт возьми, секретарь, почему приблизительно?.. Внимание! Обвинительное заключение, ввиду отсутствия у суда письменного текста, зачтёт прокурор.

Рубин заговорил с такой лёгкостью и складом, будто глаза его действительно скользили по бумаге (его самого судили и пересуживали четыре раза, и судебные формулы запечатлелись в его памяти):

«Обвинительное заключение по следственному делу номер пять миллионов дробь три миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят четыре по обвинению ОЛЬГОВИЧА ИГОРЯ СВЯТОСЛАВИЧА.

Органами государственной безопасности привлечён в качестве обвиняемого по настоящему делу Ольгович И. С. Расследованием установлено, что Ольгович, являясь полководцем доблестной русской армии, в звании князя, в должности командира дружины, оказался подлым изменником Родины. Изменническая деятельность его проявилась в том, что он сам добровольно сдался в плен заклятому врагу нашего народа ныне изобличённому хану Кончаку,— и кроме того сдал в плен сына своего Владимира Игоревича, а также брата и племянника, и всю дружину в полном составе со всем оружием и подотчётным материальным имуществом.

Изменническая деятельность его проявилась также в том, что он, с самого начала поддавшись на удочку провокационного солнечного затмения, подстроенного реакционным духовенством, не возглавил массовую политико-разъяснительную работу в своей дружине, отправлявшейся «шеломами испить воды из Дона»,— не говоря уже об антисанитарном состоянии реки Дон в те годы, до введения двойного хлорирования. Вместо всего этого обвиняемый ограничился, уже в виду половцев, совершенно безответственным призывом к войску:

«Братья, сего есмы искали, а потягнем!»

(следственное дело, том 1, лист 36).

Губительное для нашей Родины значение поражения объединённой новгород-северской-курской-путивальской-рыльской дружины лучше всего охарактеризовано словами великого князя киевского Святослава:

«Дал ми Бог притомити поганя,
но не воздержавши уности»,

(следственное дело, том 1, лист 88).

Ошибкой наивного Святослава (вследствие его классовой слепоты) является, однако, то, что плохую организацию всего похода и дробление русских военных усилий он приписывает лишь «уности», то есть, юности обвиняемого, не понимая, что речь здесь идёт о далеко рассчитанной измене.

Самому преступнику удалось ускользнуть от следствия и суда, но свидетель *Бородин* Александр Порфирьевич, а также свидетель, пожелавший остаться неизвестным, в дальнейшем именуемый как *Автор Слова*, неопровержимыми показаниями изобличают гнусную роль князя И. С. Ольговича не только в момент проведения самой битвы, принятой в невыгодных для русского командования условиях метеорологических:

«Веют ветры, уж наносят стрелы,
На полки их Игоревы сыплют...»,

и тактических:

«Ото всех сторон враги подходят,
Обступают наших отовсюду»,

(там же, том 1, листы 123, 124,
показания Автора Слова),

но и ещё более гнусное поведение его и его княжеского отпрыска в плену. Бытовые условия, в которых они оба содержались в так на-

зывается плену, показывают, что они находились в величайшей милости у хана Кончака, что объективно являлось вознаграждением им от половецкого командования за предательскую сдачу дружины.

Так например, показаниями свидетеля Бородина установлено, что в плену у князя Игоря была своя лошадь и даже не одна:

«Хочешь, возьми коня любого!»

(там же, том 1, лист 233).

Хан Кончак при этом говорил князю Игорю:

«Всё пленником себя ты тут считаешь.

А разве ты живешь как пленник.

а не гость мой?»

(там же, том 1, лист 281)

и ниже:

«Сознайся, разве пленники так живут?»

(там же, том 1, лист 300).

Половецкий хан вскрывает всю циничность своих отношений с князем-изменником:

«За отвагу твою, да за удаль твою

Ты мне, князь, полюбился»

(следственное дело, том 2, лист 5).

Более тщательным следствием было вскрыто, что эти циничные отношения существовали и задолго до сражения на реке Каяле:

«Ты люб мне был всегда»

(там же, лист 14,

показания свидетеля Бородина),

и даже:

«Не врагом бы твоим, а союзником верным,

А другом надёжным, а братом твоим

Мне хотелось бы быть...»

(там же).

Всё это объективизирует обвиняемого как активного пособника хана Кончака, как давнишнего половецкого агента и шпиона.

На основании изложенного обвиняется Ольгович Игорь Святославич, 1151 года рождения, уроженец города Киева, русский, беспартийный, ранее не судимый, гражданин СССР, по специальности полководец, служивший командиром дружины в звании князя, награждённый орденами Варяга 1-й степени, Красного Солнышка и медалью Золотого Щита, в том, что

он совершил гнусную измену Родине, соединённую с диверсией, шпионажем и многолетним преступным сотрудничеством с половецким ханством,

то есть в преступлениях, предусмотренных статьями 58-1-б, 58-6, 58-9 и 58-11 УК РСФСР.

В предъявленных обвинениях Ольгович виновным себя признал, избличается показаниями свидетелей, поэмой и оперой.

Руководствуясь статьей 208-й УПК РСФСР, настоящее дело направлено прокурору для предания обвиняемого суду».

Рубин перевёл дух и торжествуя оглядел зэков. Увлечённый потоком фантазии, он уже не мог остановиться. Смех, перекатывавшийся по койкам и у дверей, подстёгивал его. Он уже сказал более и острее того, что хотел бы при нескольких присутствующих здесь стукачах или при людях, злобно настроенных к власти.

Спиридон под жёсткой седорыжей щёткой волос, растущих у него безо всякой причёски и догляда в сторону лба, ушей и затылка, не засмеялся ни разу. Он хмуро взирал на суд. Пятидесятилетний русский человек, он впервые слышал об этом князе старых времён, попавшем в плен — но в знакомой обстановке суда и непрерываемой самоуверенности прокурора он переживал ещё раз всё, что про-

изошло с ним самим, и угадывал всю несправедливость доводов прокурора и всю кручинушку этого горемычного князя.

— Ввиду отсутствия обвиняемого и ненадобности допроса свидетелей,— всё так же мерно-гнусаво расправлялся Нержин,— переходим к прениям сторон. Слово имеет опять же прокурор.

И покосился на Земелю.

«Конечно, конечно»,— подкивнул на всё согласный заседатель.

— Товарищи судьи!— мрачно воскликнул Рубин.— Мне мало, что остаётся добавить к той цепи страшных обвинений, к тому грязному клубку преступлений, который распутался перед вашими глазами. Во-первых, мне хотелось бы решительно отвести распространённое гнилое мнение, что раненый имеет моральное право сдать в плен. Это в корне не наш взгляд, товарищи! А тем более князь Игорь. Вот говорят, что он был ранен на поле боя. Но кто нам может это доказать теперь, через семьсот шестьдесят пять лет? Сохранилась ли справка о его ранении, подписанная дивизионным военврачом? Во всяком случае, в следственном деле такой справки не подшито, товарищи судьи!..

Амантай Булатов снял очки — и без их задорного мужественно-го блеска глаза его оказались совсем печальными.

Он, и Прянчиков, и Потапов, и ещё многие из столпившихся здесь арестантов были посажены за такую же «измену родине» — за добровольную сдачу в плен.

— Далее,— гремел прокурор,— мне хотелось бы особо оттенить отвратительное поведение обвиняемого в половецком стане. Князь Игорь думает вовсе не о Родине, а о жене:

«Ты одна, голубка-лада,
Ты одна...»

Аналитически это совершенно понятно нам, ибо Ярославна у него — жена молоденькая, вторая, на такую бабу нельзя особенно полагаться, но ведь фактически князь Игорь предстаёт перед нами как шкурник! А для кого плясали половецкие пляски? — спрашиваю я вас. Опять же для него! А его гнусный отпрыск тут же вступает в половую связь с Кончаковной, хотя браки с иностранками нашим подданным категорически запрещены соответствующими компетентными органами! И это в момент наивысшего напряжения советско-половецких отношений, когда...

— Позвольте! — выступил от своей койки кудлатый Каган.— Откуда прокурору известно, что на Руси уже тогда была советская власть?

— Комендант! Выведите этого подкупленного агента! — постучал Нержин. Но Булатов не успел шевельнуться, как Рубин с лёгкостью принял нападение.

— Извольте, я отвечу! Диалектический анализ текстов убеждает нас в этом. Читайте у Автора Слова:

«Веют стяги красные в Путивле».

Кажется, ясно? Благородный князь Владимир Галицкий, начальник Путивльского райвоенкомата, собирает народное ополчение, Скулу и Ерошку, на защиту родного города,— а князь Игорь тем временем рассматривает голые ноги половчанок? Оговорюсь, что все мы весьма сочувствуем этому его занятию, но ведь Кончак же предлагает ему на выбор «любую из красавиц» — так почему ж он, гад, её не берёт? Кто из присутствующих поверит, чтобы человек мог сам отказаться от бабы, а? Вот тут-то и кроется предел цинизма, до конца разоблачающий обвиняемого — это так называемый побег из плена и его «добровольное» возвращение на Родину! Да кто же поверит, что человек, которому предлагали «коня любого и злата» — вдруг добровольно возвращается на родину, а это всё бросает, а? Как это может быть?..

Именно этот, именно этот вопрос задавался на следствии вернувшимся пленникам, и Спиридону задавался этот вопрос: зачем же бы ты вернулся на родину, если б тебя не завербовали?!..

— Тут может быть одно и только одно толкование: князь Игорь был завербован половецкой разведкой и заброшен для разложения Киевского государства! Товарищи судьи! Во мне, как и в вас, кипит благородное негодование. Я гуманно требую — повесить его, сукиного сына! А поскольку смертная казнь отменена — вжарить ему двадцать пять лет и пять по рогам! Кроме того, в частном определении суда: оперу «Князь Игорь» как совершенно аморальную, как популяризирующую среди нашей молодёжи изменнические настроения — со сцены снять! Свидетеля по данному процессу Бородину А. П. привлечь к уголовной ответственности, выбрав меру пресечения — арест. И ещё привлечь к ответственности аристократов: 1) Римского, 2) Корсакова, которые если бы не дописывали этой злополучной оперы, она бы не увидела сцены. Я кончил! — Рубин грузно соскочил с тумбочки. Речь уже тяготила его.

Никто не смеялся.

Пряничков, не ожидая приглашения, поднялся со стула и в глубокой тишине сказал растерянно, тихо:

— *Тан пи, господа! Тан пи!* У нас пещерный век или двадцатый? Что значит — измена? Век ядерного распада! полупроводников! электронного мозга!.. Кто имеет право судить другого человека, господа? Кто имеет право лишать его свободы?

— Простите, это уже — защита? — вежливо выступил профессор Челнов, и все обратились в его сторону. — Я хотел бы прежде всего в порядке прокурорского надзора добавить несколько фактов, упущенных моим достойным коллегой, и...

— Конечно, конечно, Владимир Эрстович! — поддержал Нержин. — Мы всегда за обвинение, мы всегда — против защиты и готовы идти на любую ломку судебного порядка. Просим!

Сдержанная улыбка изгибала губы профессора Челнова. Он говорил совсем тихо — и потому только было его хорошо слышно, что его слушали почтительно. Выблекшие глаза его смотрели как-то мимо присутствующих, будто перед ним перелистывались летописи. Шишачок на его шерстяном колпачке ещё заострял лицо и придавал ему настороженность.

— Я хочу указать, — сказал профессор математики, — что князь Игорь был бы разоблачён ещё до назначения полководцем при первом же заполнении нашей спецанкеты. Его мать была половчанка, дочь половецкого князя. Сам по крови наполовину половец, князь Игорь долгие годы и союзничал с половцами. «Союзником верным и другом надёжным» для Кончака он у же был до похода! В 1180 году, разбитый мономаховичами, он бежал от них в общей лодке с ханом Кончаком! Позже Святослав и Рюрик Ростиславич звали Игоря в большие общерусские походы против половцев — но Игорь уклонился под предлогом гололедицы — «бяшетъ серен велик». Может быть потому, что уже тогда Свобода Кончаковна была просватана за Владимира Игоревича? В рассматриваемом 1185 году, наконец, — кто помог Игорю бежать из плена? Половец же! Половец Овлур, которого Игорь затем «учинил вельможею». А Кончаковна привезла потом Игорю внука... За укрытие этих фактов я предлагал бы привлечь к ответственности ещё и Автора Слова, затем музыкального критика Стасова, проглядевшего изменнические тенденции в опере Бородина, ну и, наконец, графа Мусина-Пушкина, ибо не мог же он быть непричастен к сожжению единственной рукописи Слова? Явно, что кто-то, кому это выгодно, заметал следы.

И Челнов отступил, показывая, что он кончил.

Всё та же слабая улыбка была на его губах.

Молчали.

— Но кто же будет защищать подсудимого? Ведь человек нуждается в защите! — возмутился Исаак Каган.

— Нечего его, гада, защищать! — крикнул Двоетёсов. — Один Бэ — и к стенке!

Сологдин хмурился. Очень смешно было, что говорил Рубин, а знания Челнова он тем более уважал, но князь Игорь был представителем как бы рыцарского, то есть самого славного периода русской истории, — и потому не следовало его даже косвенно использовать для насмешек. У Сологдина образовался неприятный осадок.

— Нет, нет, как хотите, а я выступаю на защиту! — сказал осмелевший Исаак, обводя хитрым взглядом аудиторию. — Товарищи судьи! Как благородный казённый адвокат, я вполне присоединяюсь ко всем доводам государственного обвинителя. — Он тянул и немного шамкал. — Моя совесть подсказывает мне, что князя Игоря не только надо повесить, но и четвертовать. Верно, в нашем гуманном законодательстве вот уже третий год нет смертной казни, и мы вынуждены заменять её. Однако, мне непонятно, почему прокурор так подозрительно мягкосердечен? (Тут надо проверить и прокурора!) Почему по лестнице наказаний он спускается сразу на две ступеньки — и доходит до двадцати пяти лет каторжных работ? Ведь в нашем уголовном кодексе есть наказание, лишь немногим мягче смертной казни, наказание, гораздо более страшное, чем двадцать пять лет каторжных работ.

Исаак медлил, чтоб вызвать тем большее впечатление.

— Какое же, Исаак? — кричали ему нетерпеливо. Тем медленнее, с тем более наивным видом он ответил:

— Статья 20-я, пункт «а».

Сколько сидело их здесь, с богатым тюремным опытом, никто никогда не слышал такой статьи. Докопался дотошный!

— Что ж она гласит? — выкрикивали со всех сторон непристойные предложения. — Вырезать...?

— Почти, почти, — невозмутимо подтверждал Исаак. — Именно, духовно кастрировать. Статья 20-я, пункт «а» — объявить врагом трудящихся и изгнать из пределов СССР! Пусть там, на Западе, хоть подохнет! Я кончил.

И скромно, держа голову набок, маленький, кудлатый, отошёл к своей кровати.

Взрыв хохота потряс комнату.

— Как? Как? — заревел, захлебнулся Хоробров, а клиент его подскочил от рывка машинки. — Изгнать? И есть такой пункт?

— Проси утяжелить! Проси утяжелить наказание! — кричали ему.

Мужик Спиридон улыбался лукаво.

Все разом говорили и разбредались.

Рубин опять лежал на животе, стараясь вникнуть в монголо-финский словарь. Он проклинал свою дурацкую манеру выскакивать, он стыдился сыгранной им роли.

Он хотел, чтоб его ирония коснулась только несправедливых судов, люди же не знали, где остановиться, и насмеялись над самым дорогим — над социализмом.

А Абрамсон, всё так же прижавшись плечом и щекою ко взбитой подушке, глотал и глотал «Монте-Кристо». Он лежал спиной к происходящему в комнате. Никакая комедия суда уже не могла занять его. Он только слегка обернул голову, когда говорил Челнов, потому что подробности оказались для него новы.

За двадцать лет ссылки, пересылок, следственных тюрем, изоляторов, лагерей и шарашек, Абрамсон, когда-то нехрипнувший, легко будоражимый оратор, стал бесчувственен, стал чужд страданиям своим и окружающих.

Разыгранный сейчас в комнате судебный процесс был посвящён судьбе потока сорок пятого-сорок шестого годов. Абрамсон теоретически мог признать трагичность судьбы пленников, но всё же это был только поток, один из многих и не самых замечательных. Пленники любопытны были тем, что повидали многие заморские страны («живые лжесвидетели», как шутил Потапов), но всё же поток их был сер, это были беспомощные жертвы войны, а не люди, которые бы добровольно избрали политическую борьбу путём своей жизни.

Всякий поток эзков в НКВД, как и всякое поколение людей на Земле, имеет свою историю, своих героев.

И трудно одному поколению понять другое.

Абрамсону казалось, что эти люди не шли ни в какое сравнение с теми — с теми исполинами, кто, как он сам, в конце двадцатых годов добровольно избирали енисейскую ссылку вместо того, чтоб отречься от своих слов, сказанных на партсобрании, и остаться в благополучии — такой выбор давался каждому из них. Те люди не могли снести искажения и опозорения революции и готовы были отдать себя для очищения её. Но это «племя младее незнакомое» через тридцать лет после Октября входило в камеру и с мужицким матом за просто повторяло то самое, за что ЧОНовцы стреляли, жгли и топили в гражданскую войну.

И потому Абрамсон, ни к кому лично из пленников не враждебный и ни с кем отдельно из них не спорящий, в общем не принимал этой породы.

Да и вообще Абрамсон (как он сам себя уверял) давно переболел всякими арестантскими спорами, исповедями и рассказами о виденных событиях. Любопытство к тому, что говорят в другом углу камеры, если испытывал он в молодости, то потерял давно. Жить производством он тоже давно отгорел. Жить жизнью семьи он не мог, потому что был иногородний, свиданий ему никогда не давали, а подцензурные письма, приходившие на шарашку, были ещё писавшими их невольню обеднены и высушены от соков живого бытия. Не задерживал он своего внимания и на газетах: смысл всякой газеты становился ему ясен, едва он пробежал её заголовки. Музыкальные передачи он мог слушать в день не более часа, а передачи, состоящих из слов, его нервы вовсе не выносили, как и лживых книг. И хотя внутри себя, где-то там, за семью перегородками, он сохранил не только живой, но самый болезненный интерес к мировым судьбам и к судьбе того учения, которому заклял свою жизнь, — наружно он воспитал себя в полном пренебрежении окружающим. Так вовремя не дострелянный, вовремя не доморенный, вовремя не дотравленный троцкист Абрамсон любил теперь из книг не те, которые жгли правдой, а те, которые забавляли и помогали коротать его нескончаемые тюремные сроки.

...Да, в енисейской тайге в двадцать девятом году они не читали «Монте-Кристо»... На Ангару, в далёкое глухое село Дошаны, куда вёл через тайгу трёхсотвёрстный санный путь, они из мест, ещё на сотню вёрст глуше, собирались под видом встречи Нового года на конференцию ссыльных с обсуждением международного и внутреннего положения страны. Морозы стояли за пятьдесят. Железная «буржуйка» из угла никак не могла обогреть чересчур просторной сибирской избы с разрушенной русской печью (за то изба и была отдана ссыльным). Стены избы промерзали насквозь. Среди ночной тишины время от времени брёвна сруба издавали гулкий треск — как ружейный выстрел.

Докладом о политике партии в деревне конференцию открыл Сатаневич. Он снял шапку, освободив колышайщийся чёрный чуб, но так и остался в полушубке с вечно торчащей из кармана книжечкой английских идиом («врага надо знать»). Сатаневич вообще играл под

лидера. Расстреляли его потом кажется на Воркуте во время забастовки.

В том докладе Сатаневич признавал, что в обуздании консервативного класса крестьянства посредством драконовских сталинских методов — есть рациональное зерно: без такого обуздания эта реакционная стихия хлынет на город и затопит революцию. (Сегодня можно признать, что и несмотря на обуздание, крестьянство всё равно хлынуло на город, затопило его мещанством, затопило даже сам партийный аппарат, подорванный чистками,— и так погубило революцию.)

Но увы, чем страстнее обсуждались доклады, тем больше расстраивалось единство углай кучки ссыльных: выявлялось мнений не два и не три, а столько, сколько людей. Под утро, уставши, официальную часть конференции свернули, не придя к резолюции.

Потом ели и пили из казённой посуды, для убранства обложенной еловыми ветками по грубым выдолбинам и рваным волокнам стола. Оттаявшие ветки пахли снегом и смолой, колали руки. Пили самогон. Поднимая тосты, клялись, что из присутствующих никто никогда не подпишет капитулянтского отречения.

Политической бури в Советском Союзе они ожидали с месяца на месяц!

Потом пели славные революционные песни: «Варшавянку», «Над миром наше знамя реет», «Чёрного барона».

Ещё спорили о чём попало, по мелочам.

Роза, работница с харьковской табачной фабрики, сидела на перине (с Украины привезли её в Сибирь и очень этим гордилась), курила папиросу за папиросой и презрительно встряхивала стриженными кудрями: «Терпеть не могу интеллигенции! Она отвратительна мне во всех своих «тонкостях» и «сложностях». Человеческая психология гораздо проще, чем её хотели изобразить дореволюционные писатели. Наша задача — освободить человечество от духовной перегрузки!»

И как-то дошли до женских украшений. Один из ссыльных — Патрушев, бывший крымский прокурор, к которому как раз незадолго приехала невеста из России, вызывающе воскликнул: «Зачем вы обедняете будущее общество? Почему бы мне не мечтать о том времени, когда каждая девушка сможет носить жемчуга? когда каждый мужчина сможет украсить диадемой голову своей избранницы?»

Какой поднялся шум! С какой яростью захлестали цитатами из Маркса и Плеханова, из Кампанеллы и Фейербаха.

Будущее общество!.. О нём говорили так легко!..

Взошло солнце Нового Девятысот Тридцатого года, и все вышли полюбоваться. Было ядрёное морозное утро со столбами розового дыма прямо вверх, в розовое небо. По белой просторной Ангаре к обсаженной ёлками проруби бабы гнали скот на водопой. Мужиков и лошадей не было — их угнали на лесозаготовки.

И прошло два десятилетия... Отцвела и опала злободневность тогдашних тостов. Расстреляли и тех, кто был твёрд до конца. Расстреляли и тех, кто капитулировал. И только в одинокой голове Абрамсона, уцелевшей под оранжерейным колпаком шарашек, выросло никому не видимым деревом пониманье и память тех лет...

Так глаза Абрамсона смотрели в книгу и не читали.

И тут на край его койки присел Нержин.

Нержин и Абрамсон познакомились года три назад в бутырской камере — той же, где сидел и Потапов. Абрамсон кончал тогда свою первую тюремную десятку, поражал однокамерников ледяным арестантским авторитетом, укоренелым скепсисом в тюремных делах, сам же, скрыто, жил безумной надеждой на близкий возврат к семье.

Разъехались. Абрамсона вскоре-таки по недосмотру освободили — но ровно на столько времени, чтобы семья стронулась с места и пе-

реехала в Стерлитамак, где милиция согласилась прописать Абрамсона. И как только семья переехала, — его посадили, учинили ему единственный допрос: действительно ли это он был в ссылке с 29-го по 34-й год, а с тех пор сидел в тюрьме. И установив, что да, он уже полностью отсидел и отбыл и даже намного пересидел всё приговорённое, — Особое Совещание присудило ему за это ещё десять лет. Руководство же шарашек по большой всеоюзной арестантской картежке узнало о посадке своего старого работника и охотно *выдернуло* его вновь на шарашки. Абрамсон был привезен в Марфино и здесь, как и повсюду в арестантском мире, сразу встретил старых знакомых, в том числе Нержина и Потапова. И когда, встретясь, они стояли и курили на лестнице, Абрамсону казалось, что он не возвращался на год на волю, что он не видел своей семьи, не наградил жену за это время ещё дочерью, что это был сын, безжалостный к арестантскому сердцу, единственная же устойчивая в мире реальность — тюрьма.

Теперь Нержин подсел, чтобы пригласить Абрамсона к именинному столу — решено было праздновать день рождения. Абрамсон запоздало поздравил Нержина и осведомился, косясь из-под очков, — кто будет. От сознания, что придётся натягивать комбинезон, разрушая так чудесно, последовательно, в одном белье проведенное воскресенье, что нужно покидать забавную книгу и идти на какие-то именины, Абрамсон не испытывал ни малейшего удовольствия. Главное, он не надеялся, что приятно проведёт там время, а почти был уверен, что вспыхнет политический спор, и будет он, как всегда бесплоден, небогащающ, но в него нельзя будет не ввязаться, а ввязываться тоже нельзя, потому что свои глубоко-хранимые, столько раз оскорблённые мысли так же невозможно открыть «молодым» арестантам, как показать им свою жену обнажённой.

Нержин перечислил, кто будет. Рубин один был на шарашке настоящего близок Абрамсону, хотя ещё предстояло отчитать его за сегодняшний не достойный истинного коммуниста фарс. Напротив, Сологдина и Пряничкова Абрамсон не любил. Но как ни странно, Рубин и Сологдин считались друзьями — из-за того ли, что вместе лежали на бутырских нарах. Администрация тюрьмы тоже не очень их различала и под ноябрьские праздники вместе гребла на «праздничную изоляцию» в Лефортово.

Делать было нечего, Абрамсон согласился. Ему было объявлено, что пиршество начнётся между кроватями Потапова и Пряничкова через полчаса, как только Андреич кончит приготовление крема.

Между разговором Нержин обнаружил, что читает Абрамсон, и сказал:

— Мне в тюрьме тоже пришлось как-то перечесть «Монте-Кристо», не до конца. Я обратил внимание, что хотя Дюма старается создать ощущение жути, он рисует в замке Иф совершенно патриархальную тюрьму. Не говоря уже о нарушении таких милых подробностей, как ежедневный вынос параши из камеры, о чём Дюма по вольняшечьему недомыслию умалчивает, — разберите, почему Дантес смог убежать? Потому что у них годами не бывало в камерах шмонов, тогда как их полагают производить каждонедельно, и вот результат: подкоп не был обнаружен. Затем у них не меняли приставленных вертухаев — их же следует, как мы знаем из опыта Лубянки, менять каждые два часа, дабы один надзиратель искал упущений у другого. А в замке Иф по суткам в камеру не входят и не заглядывают. Даже глазков у них в камерах не было — так Иф был не тюрьма, а просто морской курорт! В камере считалось возможным оставить металлическую кастрюлю — и Дантес долбал ею пол. Наконец, умершего доверчиво зашивали в мешок, не прожегши его тело в морге калёным железом и не проколов на вахте штыком. Дюма следовало бы сгущать не мрачность, а элементарную методичность.

Нержин никогда не читал книг просто для развлечения. Он искал в книгах союзников или врагов, по каждой книге выносил чётко-разработанный приговор и любил навязывать его другим.

Абрамсон знал за ним эту тяжёлую привычку. Он выслушал его, не поднимая головы с подушки, покойно глядя через квадратные очки.

— Так я приду,— ответил он и, улегшись поудобнее, продолжил чтение.

57

Нержин пошёл помогать Потапову готовить крем. За голодные годы немецкого плена и советских тюрем Потапов установил, что жевательный процесс является в нашей жизни не только не презренным, не постыдным, но одним из самых усладительных, в которых нам и открывается сущность бытия.

...Люблю я час
Определять обе-дом, ча-ем
И у-жи-ном...

— цитировал этот недюжинный в России высоковольтник, отдавший всю жизнь трансформаторам в тысячи ква, ква и ква.

А так как Потапов был из тех инженеров, у которых руки не отстают от головы, то он быстро стал изрядным поваром: в Kriegsgefangenenlager он выпекал оранжевый торт из одной картофельной шелухи, а на шарашках сосредоточился и усовершенствовался по сладостям.

Сейчас он хлопотал над двумя составленными тумбочками в полутёмном проходе между своей кроватью и кроватью Пряничкова — приятный полумрак создавался от того, что верхние матрасы загоразживали свет ламп. Из-за полукруглости комнаты (кровати стояли по радиусам) проход был в начале узок, а к окну расширялся. Огромный, в четыре с половиной кирпича толщиной, подоконник тоже весь использовался Потаповым: там были расставлены консервные банки, пластмассовые коробочки и миски. Потапов священнодействовал, сбивая из сгущённого молока, сгущённого какао и двух яиц (часть даров принёс и всучил Рубин, постоянно получавший из дому передачи и всегда делившийся ими) — нечто, чему не было названия на человеческом языке. Он забурчал на загулявшего Нержина и велел ему изобрести недостающие рюмки (одна была — колпачок от термоса, две — лабораторные химические стаканчики, а две Потапов склеил из промасленной бумаги). Ещё на два бокала Нержин предложил повернуть бритвенные стаканчики и взялся честно отмыть их горячей водой.

В полукруглой комнате установился безмятежный воскресный отдых. Одни присели поболтать на кровати с своим лежащим товарищам, другие читали и по соседству перебрасывались замечаниями, иные лежали бездейственно, положив руки под затылок и установив немигающий взгляд в белый потолок.

Всё смешивалось в одну общую разноголосицу.

Вакуумщик Земеля нежилась на верхней койке он лежал разобранный до кальсон (наверху было жарковато), гладил мохнатую грудь и, улыбаясь своей неизменной беззлобной улыбкой, повествовал мордвину Мишке через два воздушных пролёта:

— Если хочешь знать — всё началось с полкопейки.

— Почему с полкопейки?

— Раньше, году в двадцать шестом, в двадцать восьмом. — ты маленький был, — над каждой кассой висела табличка: «Требуйте сдачу полкопейки!» И монета такая была — полкопейки. Кассирши её без слова отдавали. Вообще на дворе был НЭП, всё равно, что мирное время.

— Войны не было?

— Да не войны, вот чушка! Это до советской власти было, значит, — мирное время. Да... В учреждениях при НЭПе шесть часов ра-

ботали, не как сейчас. И ничего, справлялись. А задержат тебя на пятнадцать минут — уже сверхурочные выписывают. И вот, что, ты думаешь, сперва исчезло? Полкопейки! С неё и началось. Потом — медь исчезла. Потом, в тридцатом году,— серебро, не стало мелких совсем. Не дают сдачу, хоть тресни. С тех пор никак и не наладится. Мелочи нет — стали на рубли считать. Нищий-то уж не копейку Христа ради просит, а требует — «граждане, дайте рубли!». В учреждении как зарплату получать, так сколько там тебе в ведомости копеек указано — даже не спрашивай, смеются: мелочник! А сами — дураки! Полкопейки — это уважение к человеку, а шестьдесят копеек с рубля не сдают — это значит, накакать тебе на голову. За полкопейки не постояли — вот полжизни и потеряли.

В другой стороне, тоже наверху, один арестант отвлёкся от книжки и сказал соседу:

— А дурное было царское правительство! Слышь,— Сашенька, революционерка, восемь суток голодала, чтобы начальник тюрьмы перед ней извинился — и он, остолоп, извинился. А ну пойдй потребуй, чтоб начальник Красной Пресни извинился!

— У нас бы её, дуру, через кишку на третий день накормили, да ещё второй срок бы намотали за провокацию. Где это ты вычитал?

— У Горького.

Лежавший неподалеку Двоетёсов встрепенулся:

— Кто тут Горького читает?— грозным басом спросил он.

— Я.

— На кой?

— А чего читать-то?

— Да пойдй лучше в клозет, посиди с душой! Вот грамотеи, гуманисты развелись, драть вашу вперегрёб.

Внизу под ними шёл извечный камерный спор: *когда лучше садиться*. Постановка вопроса уже фатально предполагала, что тюрьмы не избежать никому. (В тюрьмах вообще склонны преувеличивать число заключённых, и когда на самом деле сидело всего лишь двенадцать-пятнадцать миллионов человек, эски были уверены, что их — двадцать и даже тридцать миллионов. Эски были уверены, что на воле почти не осталось мужчин, кроме власти и МВД.) «Когда лучше садиться» — имелось в виду: в молодости или в преклонные годы? Одни (обычно — молодые) жизнерадостно доказывают в таких случаях, что лучше сесть в молодые годы: здесь успеваешь понять, что значит жить, что в жизни дорого, а что — дерьмо, и уж лет с тридцати пяти, отбухав десятку, человек строит жизнь на разумных основаниях. Человек же, дескать, садящийся к старости, только рвёт на себе волосы, что жил не так, что прожитая жизнь — цепь ошибок, а исправить их уже нельзя. Другие (обычно — пожилые) в таких случаях не менее жизнерадостно доказывают напротив, что садящийся к старости переходит как бы на тихую пенсию или в монастырь, что в лучшие свои годы он брал от жизни всё (в воспоминаниях эсков это «всё» суживается до обладания женским телом, хорошими костюмами, сытной едой и вином), а в лагере со старика много шкур не сдерут. Молодого же, дескать, здесь измочалят и искалечат так, что потом он «и на бабу не захочет».

Так спорили сегодня в полукруглой комнате, и так всегда спорят арестанты, кто — утешая себя, кто — растравляя, но истина никак не вышелушивалась из их аргументов и живых примеров. В воскресенье вечером получалось, что садиться всегда хорошо, а когда вставали в понедельник утром — ясно было, что садиться — всегда плохо.

А ведь и это тоже неверно...

Спор «когда лучше садиться» принадлежал, однако, к тем, которые не раздражают спорщиков, а умиряют их, осеняют философской грустью. Этот спор никогда и нигде не приводил ко взрывам.

Томас Гоббс как-то сказал, что за истину «сумма углов треугольника равна ста восьмидесяти градусам» лилась бы кровь, если бы та истина задевала чьи-либо интересы.

Но Гоббс не знал арестантского характера.

На крайней койке у дверей шёл как раз тот спор, который мог привести к мордобою или кровопролитию, хотя он не задевал ничьих интересов: к электрику пришёл токарь, чтобы скоротать вечерок с приятелем, речь у них зашла сперва почему-то о Сестрорецке, а потом — о печах, которыми отапливаются сестрорецкие дома. Токарь жил в Сестрорецке одну зиму и хорошо помнил, какие там печи. Электрик сам никогда там не был, но шурин его был печником, первоклассным печником, и выкладывал печи именно в Сестрорецке, и он рассказывал как раз всё обратное тому, что помнил токарь. Спор их, начавшийся с простого пререкания, уже дошёл до дрожжи голоса, до личных оскорблений, он уже громкостью затоплял все разговоры в комнате — спорщики переживали обидное бессилие доказать несомненность своей правоты, они тщетно пытались искать третейского суда у окружающих — и вдруг вспомнили, что дворник Спиридон хорошо разбирается в печах и во всяком случае скажет другому из них, что таких несусветных печей не то что в Сестрорецке, а и вообще нигде никогда не бывает. И они быстрым шагом, к удовольствию всей комнаты, ушли к дворнику.

Но в горячности они забыли закрыть за собой дверь — и из коридора ворвался в комнату другой, не менее надрывный, спор — когда правильно встречать вторую половину XX столетия — 1 января 1950 года или 1 января 1951 года? Спор уже, видно, начался давно и упёрся в вопрос: 25 декабря какого именно года родился Христос.

Дверь прихлопнули. Перестала распухать от шума голова, в комнате стало тихо и слышно, как Хоробров рассказывал наверх лысому конструктору:

— Когда наши будут начинать первый полёт на Луну, то перед стартом, около ракеты будет, конечно, митинг. Экипаж ракеты возьмёт на себя обязательство: экономить горючее, перекрыть в полёте максимальную космическую скорость, не останавливать межпланетного корабля для ремонта в пути, а на Луне совершить посадку только на «хорошо» и на «отлично». Из трёх членов экипажа один будет политрук. В пути он будет непрерывно вести среди пилота и штурмана массово-разъяснительную работу о пользе космических рейсов и требовать заметок в стенгазету.

Это услышал Пряничков, который с полотенцем и мылом пробежал по комнате. Он балетным движением подскочил к Хороброву и, таинственно хмурясь, сказал:

— Илья Терентьич! Я могу вас успокоить. Будет не так.

— А как?

Пряничков, как в детективном фильме, приложил палец к губам:

— Первыми на луну полетят — американцы!

Залился колокольчатым детским смехом.

И убежал.

Гравёр сидел на кровати у Сологодина. Они вели затягивающий разговор о женщинах. Гравёр был сорока лет, но при ещё молодом лице почти совсем седой. Это очень красило его.

Сегодня гравёр находился на взлёте. Правда, утром он сделал ошибку: съел свою новеллу, скатанную в комок, хотя, оказалось, мог пронести её через шмон и мог передать жене. Но зато на свидании он узнал, что за эти месяцы жена показала его прошлые новеллы некоторым доверенным людям и все они — в восторге. Конечно, похвалы знакомых и родных могли быть преувеличенными и отчасти несправедливыми, но заклятые! — где ж было добыть справедливые? Худо ли, хорошо ли, но гравёр сохранял для вечности правду — крики души о том, что сделал Сталин с миллионами русских

пленников. И сейчас он был горд, рад, наполнен этим и твёрдо решил продолжать с новеллами дальше! Да и само сегодняшнее свидание прошло у него удачно: преданная ему жена ждала его, хлопотала об его освобождении, и скоро должны были выявиться успешные результаты хлопот.

И, ища выход своему торжеству, он вёл длинный рассказ этому не глупому, но совершенно среднему человеку Сологдину, у которого ни впереди, ни позади ничего не было столь яркого, как у него.

Сологдин лежал на спине врастяжку с опрокинутой пустой книжонкой на груди и отпускал рассказчику немного сверкания своего взгляда. С белокурой бородкой, ясными глазами, высоким лбом, прямыми чертами древне-русского витязя, Сологдин был неестественно, до неприличия хорош собой.

Сегодня он был на взлёте. В себе он слышал пение как бы все-ленской победы — своей победы над целым миром, своего всеилия. Освобождение его было теперь вопросом одного года. Кружительная карьера могла ожидать его вслед за освобождением. Вдобавок, тело его сегодня не томилось по женщине, как всегда, а было успокоено, вызороно от мути.

И, ища выход своему торжеству, он, забавы ради, лениво скользил по извивам чьей-то чужой безразличной для него истории, рассказываемой этим вовсе не глупым, но совершенно средним человеком, у которого ничего подобного не могло случиться, как у Сологодина.

Он часто слушал людей так: будто покровительствуя им и лишь из вежливости стараясь не подать в том виду.

Сперва гравёр рассказывал о двух своих жёнах в России, потом стал вспоминать жизнь в Германии и прелестных немочек, с которыми он был там близок. Он провёл новое для Сологодина сравнение между женщинами русскими и немецкими. Он говорил, что, пожив с теми и другими, предпочитает немочек; что русские женщины слишком самостоятельны, независимы, слишком пристальны в любви — своими недремлющими глазами они всё время изучают возлюбленного, узнают его слабые стороны, то видят в нём недостаточное благородство, то недостаточное мужество, — русскую возлюбленную всё время ощущаешь как равную тебе, и это неудобно; наоборот, немка в руках любимого гнётся как тростиночка, её возлюбленный для неё — бог, он — первый и лучший на земле, вся она отдаётся на его милость, она не смеет мечтать ни о чём, кроме как угодить ему, — и от этого с немками гравёр чувствовал себя более мужчиной, более властелином.

Рубин имел неосторожность выйти в коридор покурить. Но, как каждый прохожий цепляет горох в поле, так все задирали его на шарашке. Отплевавшись от бесполезного спора в коридоре, он пересекал комнату, спеша к своим книгам, но кто-то с нижней койки ухватил его за брюки и спросил:

— Лев Григорьич! А правда, что в Китае письма доносчиков доходят без марок? Это — прогрессивно?

Рубин вырвался, пошёл дальше. Но инженер-энергетик, свесившись с верхней койки, поймал Рубина за воротник комбинезона и стал напористо втолковывать ему окончание их прежнего спора:

— Лев Григорьич! Надо так перестроить совесть человечества, чтобы люди гордились только трудом собственных рук и стыдились быть надсмотрщиками, «руководителями», партийными главарями. Надо добиться, чтобы звание министра скрывалось как профессия ассенизатора: работа министра тоже необходима, но постыдна. Пусть если девушка выйдет за государственного чиновника, это станет укором всей семье! — вот при таком социализме я согласился бы жить!

Рубин освободил воротник, прорвался к своей постели и лёг на живот, снова к словарям.

Семь человек расселись за именинным столом, состоявшим из трёх составленных вместе тумбочек неодинаковой высоты и застеленных куском ярко-зелёной трофейной бумаги, тоже фирмы «Лоренц». Сологдин и Рубин сели на кровать к Потапову, Абрамсон и Кондрашёв — к Прянчикову, а именинник уселся у торца стола, на широком подоконнике. Наверху над ними уже дремал Земеля, остальные соседи были не рядом. Купе между двухэтажными кроватями было как бы отъединено от комнаты.

В середине стола в пластмассовой миске разложен был надин хворост — не виданное на шарашке изделие. Для семерых мужских ртов его казалось до смешного мало. Потом было печенье просто и печенье с намазанным на него кремом и потому называвшееся пирожным. Ещё была сливочная тянучка, полученная кипячением нераспечатанной банки сгущённого молока. А за спиной Нержина в тёмной литровой банке таилось то привлекательное нечто, для чего предназначались бокалы. Это была толика спиртного, вымененная у эков химической лаборатории на кусок «классного» гетинакса. Спирт был разбавлен водой в пропорции один к четырём, а потом закрашен сгущённым какао. Это была коричневая малоалкогольная жидкость, которая, однако, с нетерпением ожидалась.

— А что, господа? — картинно откинувшись и даже в полутьме купе блестя глазами, призвал Сологдин. — Давайте вспомним, кто из нас и когда сидел последний раз за пиршественным столом.

— Я — вчера, с немцами, — буркнул Рубин, не любя пафоса.

Что Сологдин называл иногда обществом *господами*, Рубин понимал как результат его ушибленности двенадцатью годами тюрьмы. Нельзя ж было подумать, что человек на тридцать третьем году революции может произносить это слово серьёзно. От той же ушибленности и понятия Сологодина были извращённые во многом, Рубин старался это всегда помнить и не вспыхивать, хотя слушать приходилось вещи диковатые.

(А для Абрамсона, кстати, так же дико было и то, что Рубин пирует с немцами. У всякого интернационализма есть же разумный предел!)

— Не-ет, — настаивал Сологдин. — Я имею в виду настоящий стол, господа! — Он радовался всякому поводу употребить это гордое обращение. Он полагал, что гораздо большие земельные пространства предоставлены «товарищам», а на узком клочке тюремной земли проглотят «господ» и те, кому это не нравится. — Его признаки — тяжёлая бледноцветная скатерть, вино в графинах из хрустала, ну, и нарядные женщины, конечно!

Ему хотелось посмаковать и отодвинуть начало пира, но Потапов ревнивым проверяющим взглядом хозяйки дома окинул стол и гостей и в своей ворчливой манере перебил:

— Вы ж понимаете, хлопцы, пока

Гроза полуночных дозоров

не накрыл нас с этим зельем, надо переходить к официальной части.

И дал знак Нержину разливать.

Всё же, пока вино разливалось, молчали, и каждый невольно что-то вспомнил.

— Давно, — вздохнул Нержин.

— Вообще, не при-по-ми-на-ю! — отряхнулся Потапов. До войны в круговоротном бешенстве работы он если и вспоминал смутно чью-то один раз женитьбу, — не мог точно сказать, была ли эта женитьба его собственная или то было в гостях.

— Нет, почему же? — оживился Прянчиков. — Авэк *плезир!* Я вам сейчас расскажу. В сорок пятом году в Париже я...

— Подождите, Валентуля, — придержал Потапов. — Итак...?

— За виновника нашего сборища! — громче, чем нужно, произнёс Кондрашёв-Иванов и выпрямился, хотя сидел без того прямо. — Да будет...

Но гости ещё не потянулись к бокалам, как Нержин привстал — у него было чуть простора у окна — и предупредил их тихо:

— Друзья мои! Простите, я нарушу традицию! Я...

Он перевёл дыхание, потому что заволовался. Семь теплот, проступившие в семи парах глаз, что-то спаяли внутри него.

— ...Будем справедливы! Не всё так черно в нашей жизни! Вот именно этого вида счастья — мужского вольного лицейского стола, обмена свободными мыслями без боязни, без укрыва — этого счастья ведь не было у нас на воле?

— Да, собственно, самой-то воли частенько не было, — усмехнулся Абрамсон. Если не считать детства, он-таки провёл на воле меньшую часть жизни.

— Друзья! — увлёкся Нержин. — Мне тридцать один год. Уже меня жизнь и баловала и низвергала. И по закону синусоидальности будут у меня может быть и ещё всплески пустого успеха, ложного величия. Но клянусь вам, я никогда не забуду того истинного величия человека, которое узнал в тюрьме! Я горжусь, что мой сегодняшний скромный юбилей собрал такое отобранное общество. Не будем тяготиться возвышенным тоном. Поднимем тост за дружбу, расцветающую в тюремных склепах!

Бумажные стаканчики беззвучно чокались со стеклянными и пластмассовыми. Потапов виновато усмехнулся, поправил простенькие свои очки и, выделяя слоги, сказал:

— Ви-тий-ством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Ни-ки-ты,
У осторожного И-льи.

Коричневое вино пили медленно, стараясь доведаться до аромата.

— А градус — есть! — одобрил Рубин. — Bravo, Андреич!

— Градус есть, — подтвердил и Сологдин. Он был сегодня в настроении всё хвалить.

Нержин засмеялся:

— Редчайший случай, когда Лев и Митя сходятся во мнениях! Не упомяну другого.

— Нет, почему, Глебчик? А помнишь, как-то на Новый год мы со Львом сошлись, что жене простить измену нельзя, а мужу можно?

Абрамсон устало усмехнулся:

— Увы, кто ж из мужчин на этом не сойдётся?

— А вот этот экземпляр, — Рубин показал на Нержина, — утверждал тогда, что можно простить и женщине, что разницы здесь нет.

— Вы говорили так? — быстро спросил Кондрашёв.

— Ой, пижон! — звонко рассмеялся Пряничков. — Как же можно сравнивать?

— Само устройство тела и способ соединения доказывают, что разница здесь огромная! — воскликнул Сологдин.

— Нет, тут глубже, — опротестовал Рубин. — Тут великий замысел природы. Мужчина довольно равнодушен к качеству женщин, но необъяснимо стремится к количеству. Благодаря этому мало остаётся совсем обоюденных женщин.

— И в этом — благодетельность дон-жуанизма! — приветственно, элегантно поднял руку Сологдин.

— А женщины стремятся к качеству, если хотите! — потряс длинным пальцем Кондрашёв. — Их измена есть поиск качества! — и так улучшается потомство!

— Не вините меня, друзья, — оправдывался Нержин, — ведь когда я рос, над нашими головами трепыхались кумачи с золотыми надписями Равенство! С тех пор, конечно...

— Вот ещё это равенство! — буркнул Сологдин.

— А чем вам не угодило равенство? — напрягся Абрамсон.

— Да потому что нет его во всей живой природе! Ничто и никто не рождается равными, придумали эти дураки... *всезнайки*.— (Надо было догадаться: энциклопедисты.) — Они ж о наследственности понятия не имели! Люди рождаются с духовным — неравенством, волевым — неравенством, способностей — неравенством...

— Имуущественным — неравенством, сословным — неравенством,— в тон ему толкал Абрамсон.

— А где вы видели имуущественное равенство? А где вы его создали? — уже раскалялся Сологдин.— Никогда его и не будет! Оно достижимо только для нищих и для святых!

— С тех пор, конечно,— настаивал Нержин, преграждая огонь спора,— жизнь достаточно была дурня по голове, но тогда казалось: если равны нации, равны люди, то ведь и женщина с мужчиной — во всём?

— Вас никто не винит! — метнул словами и глазами Кондрашёв.— Не спешите сдаваться!

— Этот бред тебе можно простить только за твой юный возраст,— присудил Сологдин. (Он был на шесть лет старше.)

— Теоретически Глебка прав,— стеснённо сказал Рубин.— Я тоже готов сломать сто тысяч копий за равенство мужчины и женщины. Но обнять свою жену после того, как её обнимал другой? — бр-р! биологически не могу!

— Да господа, просто смешно обсуждать! — выкрикнул Пряничков, но ему, как всегда, не дали договорить.

— Лев Григорьевич, есть простой выход,— твёрдо возразил Потапов.— Не обнимайте вы сами никого, кроме вашей жены!

— Ну, знаете...— беспомощно развёл Рубин руками, топя широкую улыбку в пиратской бороде.

Шумно открылась дверь, кто-то вошёл. Потапов и Абрамсон оглянулись. Нет, это был не надзиратель.

— А Карфаген должен быть уничтожен? — кивнул Абрамсон на литровую банку.

— И чем быстрее, тем лучше. Кому охота сидеть в карцере? Викентич, разливайте!

Нержин разлил остаток, скрупулёзно соблюдая равенство объёмов.

— Ну, на этот раз вы разрешите выпить за именинника? — спросил Абрамсон.

— Нет, братцы. Право именинника я использую только, чтобы нарушать традицию. Я... видел сегодня жену. И увидел в ней... всех наших жён, измученных, запуганных, затравленных. Мы терпим потому, что нам деться некуда,—а они? Выпьем — за них, приковавших себя к...

— Да! Какой святой подвиг! — воскликнула Кондрашёв.

Выпили.

И немного помолчали.

— А снег-то! — заметил Потапов.

Все оглянулись. За спиною Нержина, за отуманенными стёклами, не было видно самого снега, но мелькало много чёрных хлопьев — теней от снежинок, отбрасываемых на тюрьму фонарями и прожекторами зоны.

Где-то за завесой этого щедрого снегопада была сейчас и Надя Нержина.

— Даже снег нам суждено видеть не белым, а чёрным! — воскликнул Кондрашёв.

— За дружбу выпили. За любовь выпили. Бессмертно и хорошо,— похвалил Рубин.

— В любви-то я никогда не сомневался. Но, сказать по правде, до фронта и до тюрьмы не верил я в дружбу, особенно такую, когда, знаете... «жизнь свою за други своя». Как-то в обычной жизни — семья есть, а дружбе нет места, а?

— Это распространённое мнение, — отозвался Абрамсон. — Вот часто заказывают по радио песню «Среди долины ровныя». А вслушайтесь в её текст! — гнусное скуление, жалоба мелкой души:

Все други, все приятели
До чёрного лишь дня.

— Возмутительно!! — отпрянул художник. — Как можно один день прожить с такими мыслями? Повеситься надо!

— Верно было бы сказать наоборот: только с чёрного дня и начинаются други.

— Кто ж это написал?

— Мерзляков.

— И фамилья-то! Лёвка, кто такой Мерзляков?

— Поэт. Лет на двадцать старше Пушкина.

— Его биографию ты, конечно, знаешь?

— Профессор московского университета. Перевёл «Освобождённый Иерусалим».

— Скажи, чего Лёвка не знает? Только высшей математики.

— И низшей тоже.

— Но обязательно говорит: «вынесем за скобки», «эти недостатки в квадрате», полагая, что минус в квадрате...

— Господа! Я должен вам привести пример, что Мерзляков прав! — захлёбываясь и торопясь, как ребёнок за столом у взрослых, вступил Пряничков. Он ни в чём не был ниже своих собеседников, соображал мгновенно, был остроумен и привлекал открытостью. Но не было в нём мужской выдержки, внешнего достоинства, от этого он выглядел на пятнадцать лет моложе, и с ним обращались как с подростком. — Ведь это же проверено: нас предаёт именно тот, кто с нами ест из одного котелка! У меня был близкий друг, с которым мы вместе бежали из гитлеровского концлагеря, вместе скрывались от ищеек... Потом я вошёл в семью крупного бизнесмена, а его познакомил с одной французской графиней...

— Да-а-а? — поразился Сологдин. Графские и княжеские титулы сохраняли для него неотразимое очарование.

— Ничего удивительного! Русские пленники женились и на маркизах!

— Да-а-а?

— А когда генерал-полковник Голиков начал свою мошенническую репатриацию, и я, конечно, не только сам не поехал, но и отговаривал всех наших идиотов, — вдруг встречаю этого моего лучшего друга. И представьте: именно он и предал меня! отдал в руки гебистов!

— Какое злодейство! — воскликнул художник.

— А дело было так.

Почти все уже слышали эту историю Пряничкова. Но Сологдин стал расспрашивать, как это пленники женились на графинях.

Рубину было ясно, что весёлый симпатичный Валентуля, с которым на шарашке вполне можно было дружить, был в Европе в сорок пятом году фигурой объективно реакционной, и то, что он называл предательством со стороны друга (то есть, что друг помог Пряничкову против силы вернуться на родину), было не предательством, а патриотическим долгом.

История потянула за собой историю. Потапов вспомнил книжечку, которую вручали каждому репатрианту: «Родина простила — Родина зовёт». В ней прямо было напечатано, что есть распоряжение президиума Верховного Совета не подвергать судебным преследова-

ниям даже тех репатриантов, кто служил в немецкой полиции. Книжечки эти, изящно изданные, со многими иллюстрациями, с туманными намёками на какие-то перестройки в колхозной системе и в общественном строе Союза, отбирались потом во время обыска на границе, а самих репатриантов сажали в воронки и отправляли в контрразведку. Потапов своими глазами читал такую книжечку, и хотя сам он вернулся независимо от всякой книжечки, его особенно надсаждало это мелкое гадкое жульничество огромного государства.

Абрамсон дремал за неподвижными очками. Так он и знал, что будут эти пустые разговоры. Но ведь как-то надо было всю эту ораву загрести назад.

Рубин и Нержин в контрразведках и тюрьмах первого послевоенного года так выварились в потоке пленников, текших из Европы, будто и сами четыре года протаскались в плену, и теперь они мало интересовались репатриантскими рассказами. Тем дружнее на своём конце стола они натолкнули Кондрашёва на разговор об искусстве. Вообще-то Рубин считал Кондрашёва художником малозначительным, человеком не очень серьёзным, утверждения его — слишком внешнеэкономическими и внеисторическими, но в разговорах с ним, сам того не замечая, черпал живой водицы.

Искусство для Кондрашёва не было род занятий, или раздел знаний. Искусство было для него — единственный способ жить. Всё, что было вокруг него — пейзаж, предмет, человеческий характер или окраска, — всё звучало в одной из двадцати четырёх тональностей, и без колебаний Кондрашёв называл эту тональность (Рубину был присвоен «до-минор»). Всё, что струилось вокруг него — человеческий голос, минутное настроение, роман или та же тональность — имели цвет, и без колебаний Кондрашёв называл этот цвет (фа-диез-мажор была синяя с золотом).

Одного состояния никогда не знал Кондрашёв — равнодушия. Зато известны были крайние пристрастия и противострастия его, самые непримиримые суждения. Он был поклонник Рембрандта и ниспровергатель Рафаэля. Почитатель Валентина Серова и лютый враг передвижников. Ничего не умел он воспринимать напополам, а только безгранично восхищаться или безгранично негодовать. Он слышать не хотел о Чехове, от Чайковского отталкивался, сотрясаясь («он душит меня! он отнимает надежду и жизнь!»), — но с хоралами Баха, но с бетховенскими концертами он так сроден был, будто сам их и занёс первый на ноты.

Сейчас Кондрашёва втянули в разговор о том, надо ли в картинах следовать природе или нет.

— Например, вы хотите изобразить окно, открытое летним утром в сад, — отвечал Кондрашёв. Голос его был молод, в волнении переливался и, если закрыть глаза, можно было подумать, что спорит юноша. — Если, честно следуя природе, вы изобразите всё так, как видите, — разве это будет в сё? А пение птиц? А свежесть утра? А эта невидимая, но обливающая вас чистота? Ведь вы-то, рисуя, воспринимаете их, они входят в ваше ощущение летнего утра — как же их сохранить и в картине? как их не выбросить для зрителя? Очевидно, надо их восполнить! — композицией, цветом, ничего другого в вашем распоряжении нет.

— Значит, не просто копировать?

— Конечно, нет! Да вообще, — начинал увлекаться Кондрашёв, — всякий пейзаж (и всякий портрет) начинаешь с того, что любишь натурой и думаешь: ах, как хорошо! ах, как здорово! ах, если бы удалось сделать так, как оно есть! Но углубляешься в работу и вдруг замечаешь: позвольте! позвольте! Да ведь там, в натуре, просто нелепость какая-то, чушь, полное несообразие! — вот в этом месте, и ещё вот в этом! А должно быть вот как! вот как!! И так пишешь! — задорно и победно Кондрашёв смотрел на собеседников.

— Но, батенька, «должно быть» — это опаснейший путь! — протестовал Рубин. — Вы станете делать из живых людей ангелов и дьяволов, что вы, кстати, и делаете. Всё-таки, если пишешь портрет Андрей Андреича Потапова, то это должен быть Потапов.

— А что значит — показать таким, какой он есть? — бунтовал художник. — Внешне — да, он должен быть похож, то есть пропорции лица, разрез глаз, цвет волос. Но не опрометчиво ли считать, что вообще можно знать и видеть действительность именно такую, какова она есть? А особенно — действительность духовную? Кто это — знает и видит?.. И если, глядя на портретируемого, я разгляжу в нём душевные возможности выше тех, которые он до сих пор проявил в жизни — почему мне не осмелиться изобразить их? Помочь человеку найти себя — и возвыситься?!

— Да вы — стопроцентный соцреалист, слушайте! — хлопнул в ладоши Нержин. — Фома просто не знает, с кем он имеет дело!

— Почему я должен преуменьшать его душу?! — грозно блеснул в полутьме Кондрашёв никогда не сдвигающимися с носа очками. — Да я вам больше скажу: не только портретирование, но всякое общение людей, может быть всего-то и важней этой целью: то, что увидит и назовёт один в другом — в этом другом вызывается к жизни!! А?

— Одним словом, — отмахнулся Рубин, — понятия объективности для вас и здесь, как нигде, не существует.

— Да!! Я — необъективен и горжусь этим! — гремел Кондрашёв-Иванов.

— Что-о?? Позвольте, как это? — ошеломился Рубин.

— Так! Так! Горжусь необъективностью! — словно наносил удары Кондрашёв, и только верхняя койка над ним не давала ему размаху. — А вы, Лев Григорьевич, а вы? Вы тоже необъективны, но считаете себя объективным, а это гораздо хуже! Моё преимущество перед вами в том, что я необъективен — и знаю это! И ставлю себе в заслугу! И в этом моё «я»!

— Я — не объективен? — поражался Рубин. — Даже я? Кто же тогда объективен?

— Да никто!! — ликовал художник. — Никто!! Никогда никто не был и никогда никто не будет! Даже всякий акт познания имеет эмоциональную предокраску — разве не так? Истина, которая должна быть последним итогом долгих исследований, — разве эта сумеречная истина не носится перед нами ещё до всяких исследований? Мы берём в руки книгу, автор кажется нам почему-то несимпатичен, — и мы ещё до первой страницы предвидим, что наверное она нам не понравится — и, конечно, она нам не нравится! Вот вы занялись сравнением ста мировых языков, вы только-только обложились словарями, вам ещё на сорок лет работы — но вы уже теперь уверены, что докажете происхождение всех слов от слова «рука». Это — объективность?

Нержин громко расхохотался над Рубиным, очень довольный. Рубин рассмеялся тоже — как было сердиться на этого чистейшего человека!

Кондрашёв не касался политики, но Нержин поспешил её коснуться:

— Ещё один шаг, Ипполит Михалыч! Умоляю вас — ещё один шаг! А — Маркс? Я уверен, что он ещё не начинал никаких экономических анализов, ещё не собрал никаких статистических таблиц, а уже знал, что при капитализме рабочий класс есть абсолютно нищающий, и самая лучшая часть человечества и, значит, ему принадлежит будущее. Руку на сердце, Лёвка, скажешь — не так?

— Дитя моё, — вздохнул Рубин. — Если б нельзя было заранее предвидеть результат...

— Ипполит Михалыч! И на этом они строят свой *прогресс*! Как я ненавижу это бессмысленное слово «прогресс»!

— А вот в искусстве — никакого «прогресса» нет! И быть не может!

— В самом деле! В самом деле, вот здорово! — обрадовался Нержин. — Был в семнадцатом веке Рембрандт — и сегодня Рембрандт, пойдй перепрыгни! А техника семнадцатого века? Она нам сейчас дикарская. Или какие были технические новинки в семидесятих годах прошлого века? Для нас это детская забава. Но в те же годы написана «Анна Каренина». И что ты мне можешь предложить выше?

— Позвольте, позвольте, магистр, — уцепился Рубин. — Так по пущей-то мере в инженерии вы нам прогресс оставляете? Не бессмысленный?

— Паразит! — рассмеялся Глеб. — Это подножка называется.

— Ваш аргумент, Глеб Викентьевич, — вмешался Абрамсон, — можно вывернуть и иначе. Это означает, что учёные и инженеры все эти века делали большие дела — и вот продвинулись. А снобы искусства, видимо, паясничали. А прихлебатели...

— Продавались! — воскликнул Сологдин почему-то с радостью.

И такие полюсы, как они с Абрамсоном, поддавались объединению одной мыслью!

— Bravo, bravo! — кричал и Пряничков. — Парниши! Пижоны! Я ж это самое вам вчера говорил в Акустической! — (Он говорил вчера о преимуществах джаза, но сейчас ему показалось, что Абрамсон выражает именно его мысли.)

— Я, кажется, вас помирю! — лукаво усмехнулся Потапов. — За это столетие был один исторически достоверный случай, когда некий инженер-электрик и некий математик, больно ощущая прорыв в отечественной беллетристике, сочинили вдвоём художественную новеллу. Увы, она осталась незаписанной — у них не было карандаша.

— Андреич! — вскричал Нержин. — И вы могли бы её воссоздать?

— Да понатужась, с вашей помощью. Ведь это был в моей жизни единственный опус. Можно бы и запомнить.

— Занятно, занятно, господа! — оживился и удобнее уселся Сологдин. Очень он любил в тюрьме вот такие придумки.

— Но вы ж понимаете, как учит нас Лев Григорьевич, никакое художественное произведение нельзя понять, не зная истории его создания и социального заказа.

— Вы делаете успехи, Андреич.

— А вы, добрые гости, доедайте пирожное, для кого готовили! История же создания такова: летом тысяча девятьсот сорок шестого года в переполненной до безобразия камере санатория Бу-тюор (такую надпись администрация выбила на мисках, и означала она: БУтырская ТЮРьма), мы лежали с Викентьевичем рядышком сперва под нарами, потом на нарах, задыхались от недостатка воздуха, постанывали от голодухи — и не имели иных занятий, кроме бесед и наблюдений за нравами. И кто-то из нас первый сказал: — А что, если бы...?

— Это вы, Андреич, первый сказали: а что, если бы...? Основной образ, вошедший в название, во всяком случае принадлежал вам.

— А что, если бы...? — сказали мы с Глебом Викентьевичем, — а что вдруг да если бы в нашу камеру...

— Да не томите! Как же вы назвали.

— Ну что ж,

Не мысль гордый свет забавить,

попробуем припомнить вдвоём этот старинный рассказ, а? — глуховато-надтреснутый голос Потапова звучал в манере завязтого чтеца запылённых фолиантов. — Название это было: «Улыбка Будды».

(Продолжение следует)

АЛЕКСАНДР РЕВИЧ

*

ДОМ НА ПЛЮЩИХЕ

Он пел, совершенно позабыв своего соперника и всех нас...

И. С. Тургенев, «Певцы».

Дом на углу, и эркер угловой
восходит башней, а над нею купол
качает в тучах круглой головой,
и снег ее, зеленую, окутал.

Мне мать сказала: «Здесь давным-давно
мы рождество с твоим отцом встречали
под куполом, где светится окно».

На праздник забываются печали,
и в тот декабрь, в тот первый год войны
(Четырнадцатый год был на исходе)
Москва сквозь полог снежной пелены
наперекор войне и непогоде
мерцала огоньками фонарей,
свечами елок окна освещала,
скрипела петлями входных дверей
и на снегу полозьями визжала.

Я с детства помню этот санный бег,
и круп коня, и полость меховую,
полозьев скрип и падающий снег.

Шел снег. Но не об этом я толкую.
Шел первый год той первой мировой,
был праздник в доме с башней угловой,
где собралась ватага в мастерскую
художника, массивного, как шкаф,
веселого гуляки, как Фальстаф,
который затолкал свои полотна —
плоды и брюквы и цветные пятна,
мясистые тела и прочий вздор —
во все углы и вынес в коридор
этюдики, подрамники и сор.

В ту ночь все было шумно и невнятно,
был сбивчивым застольный разговор,
там, в мастерской, в захламленных хоромаш,
немало было и едва знакомых:
кто чей-то зять, кто чей-то друг и сват,
студент-путеец, франт и ретроград,
затем сын купчика и сам не промах,
безрукий прапор с фронта и солдат,
вольноопределяющийся тощий
с витым шнуром вдоль зелени погон,
его уже телячий ждал вагон
и сотни верст в прифронтовые рощи
вблизи Сувалок или у Быдгощи.
Кто знает, что нас ждет в пути земном?

Там за окном в снегу лежала площадь,
летели косо хлопья за окном,
к своей судьбе вслепую шла Россия,
по стыкам рельсов на ходу стуча,

и эти хлопья, белые, косые,
мелькали вдоль фонарного луча
и покрывали, словно саван белый,
безлюдные крестьянские надель
и многолюдье фронтовых траншей.
В сутробах, как в папах до ушей,
по рельсам шли составы, а солдаты —
под пули, под разрывы, под метель,
и огненное зарево заката
маячило за тридевять земель,
а кто-то видел в нем зарю восхода,
но дальний рокот рокового года
не изгонял предновогодний хмель,
и снежная гуляла непогода,
пока не предвещающая ни беды,
ни хлеба с горьким вкусом лебеды.

А за большим столом шумели гости,
встречали смехом шутку в каждом тосте,
под звон стекла плелись обрывки фраз.
За тем столом, скажу вам без утайки,
столкнулись в первый раз сестра хозяйки,
медичка с тихим светом серых глаз,
и худенький солдатик бледнолицый,
былой консерваторец из столицы,
готовый встретиться с шальным свинцом
и стужею передовых позиций.
Так повстречались мать моя с отцом,
беспечные, как школьница и школьник,
но был еще один — с крутым лицом,
скуластый и угрюмый, как раскольник,
безрукий этот прапор фронтовой.
Вы скажете: ах, это треугольник?
Представьте, ждет вас оборот иной.

Глядел безрукий на соседей косо,
стакан сжимая левою рукой,
не замечал ни одного вопроса,
не задавал вопросов в свой черед,
лишь иногда кривил в усмешке рот,
крутил усы, гудел густоголосом,
прося налить иль что-нибудь подать.
Был грубоват — так мне сказала мать, —
был угловат, все время правил сборки
зеленой офицерской гимнастерки
с крестом на ленте слева на груди.

Но что же он оставил позади?
Должно быть, не балы и не парады,
а зарево полночной канонады,
за бруствером болото, редкий лес
с колючкой в три кола наперерез,
свистящие осколками зарницы
во имя государственных амбиций
и тот последний, тот слепящий блеск.
А после были всхлипы тряской гати,
колесный скрип, и снова редкий лес,
и забытье, и белизна кровати,
и вновь по рельсам стук стальных колес,
и переправа через темный Нарев.
А может быть, виденья новых зарев
пред ним вставали, вспышки новых гроз,

и новые бои за переправы,
и новый гром кавалерийской лавы,
и пламя флагов вздыбленной страны,
и черный дым бесславия и славы,
и смерч братоубийственной войны.
А может быть, все было по-другому
предположеньям нашим вопреки:
его тревожила тоска по дому
и боль несуществующей руки.
Никто не знал того, что будет позже,
и не был слышен дальний свист свинца
там, где в тылу справляли праздник Божий
в избе или в залах Зимнего дворца.
И в доме с башней веселились тоже,
игре и танцам не было конца,
потом все стали состязаться в пенье,
кто пел козлом, кто выказал уменье,
но звонче всех был голос у отца,
высокий тенор, на верхах альтино,
когда он пел, то выглядел картинно
и пеньем брал, бывало, за сердца.
Как слышал я, в ту ночь он пел на диво,
кричали: браво! Хлопали ретиво,
он снова пел, ему кричали: бис!
он спел романс, шуточные куплеты,
две арии из модной оперетты,
и вдруг сказал хозяин: «Эй, Борис,
а ну-ка спой им, слышишь, дай им жару!»
Безрукий отпирался, но потом
взял ноту под хозяйскую гитару
и низким голосом наполнил дом.
Он о закате пел, он пел про степи,
и золотился вдалеке ковыль,
бтели колодники, звенели цепи,
дорожную вздымающие пыль.
Был голос с трещинкой и хриловатый,
каких полно в России — пруд пруди,
но занимались за спиной закаты,
и степи простирались впереди,
и небо над землею дым простерло,
и пыль плыла из-под усталых ног,
и слезы перехватывали горло,
и слова выдохнуть никто не мог,
когда вдоль тракта ноги шли босые,
а вдалеке был слышен вечный бой,
когда парила песнею Россия
со всей ее судьбой, со всей бедой.
Еще немало войн пройдет над краем,
прибавится еще немало бед.
Что с прапорщиком стало, мы не знаем,
а мне родиться через восемь лет.
Пред новою грозою стукну в двери,
военною дорогою пройду,
хлебну беду и радость в полной мере
и все, что суждено мне на роду,
и стану тенью сам позавчерашней
и в свой черед исчезну без следа.
Уходит все, лишь дом с высокой башней
стоит пока на месте, как тогда.

ГРИГОРИЙ МЕДВЕДЕВ

*

СЛЕД ИНВЕРСИИ

Рассказ

1

В горизонтальном положении почти непрерывное ощущение прикованности к постели. Будто тебя прижали тяжестью. Большую часть времени мы с Машей лежим. Порою — чудовищная слабость. В голове пустота. В душе тоже...

— О-ё-ёй! — говорит Маша шелестящим голосом. — До чего дожили! Бледные, синие, еле дышим...

Беззвучно смеется. Потом говорит:

— Старый комсомолец Спасеных, поднимите голову!.. Мы ведь с тобой принимали участие в создании советской атомной бомбы... Не так ли?.. А чем кончилось?.. Ты слышишь?..

Я слышал, но меня будто прибили гвоздями к лежаку. Где-то в глубине вяло материлось, дергалось что-то, рвалось говорить. Но тщетно. Голоса моего не слышно. Тело неподвижное, будто мертвое...

Восемь лет назад, большие хронической лучевой болезнью, мы с Машей уехали из атомного центра в глухую приморскую деревушку. Купили небольшой домик... Как ни странно, мы хотели еще пожить. Похватать склеротичной грудью свежий морской воздух, тихо порадоваться морю, солнцу, ночному гулу шторма... Еще где-то все это еле теплилось в нас, хотя странным было наше восприятие окружающего мира. Какое-то сумеречное...

И вот тут, как назло, рядом с нами через год после нашего приезда начали строить атомную электростанцию. Наш домик снесли. Предоставили благоустроенный коттедж и вот... уже пускают первый энергоблок...

По этому поводу в бездетной семье Спасеных замешательство. Впрочем, смута в основном у меня. У Маши сил на смуту не осталось. И самое главное — у обоих у нас не было сил снова менять место жительства.

Маша лежит мертвенно бледная. Смеется неслышно.

— Чему смеешься, Маша?

— Да так... Идиотизму нашего положения...

Я напряженно думаю. Во мне иногда вдруг загорается пламя. Будто очень сильно дуют в топку кислород. Все мечется, очень горячо внутри. Как в ту давнюю пору, когда меня обстреляло нейтронами на заводе обогащения урана... «Горячо! Горячо! Я весь горю!» — кричал я тогда и суматошно носился по помещению, хлопая себя по груди руками, словно бы гася пламя.

Говорят, я был очень красный. Как огонь... Почему я остался жить?.. Да, да, конечно... Я был сильный, тренированный... Комсомолец первого ядерного призыва... Кровь играла...

Временами я схожу с ума. Но это какое-то странное безумие.

— Маша, ты дышишь? — спрашиваю я ее ночью, потом утром.

— Дышу... — очень тихо отвечает Маша.

Да... Мое сумасшествие странное. Схожу с ума, но вроде при своем уме. Странно... Это выражается в том, что я действую как безум-

ный, а думаю, мысленно фиксирую свои действия как человек в здоровом уме. Мозг как бы утратил свои управляющие функции, оставив только созерцательные...

Порою страшная тяжесть. Изуродованная облучением поджелудочная железа выбрасывает в кровь огромные порции инсулина. Сахар в крови падает. И у меня и у Маши...

Пережитое облучение сводит меня с ума. Но чертова атомная станция добавила беспокойства, и это стало случаться чаще...

Я думаю — что же теперь делать? Голова раскалывается от раздумий. Но как это бывало со мной еще в здоровой молодости, идея явилась неожиданно, будто влилась в меня из эфира. Так я ощущал это. Струя идеи. Вот она: «Надо проверить радиоактивный факел... След инверсии факела радиоактивного выброса из вентиляционной трубы атомной станции. Его радиус оседания, радиус захвата...»

Вот оно — сумасшествие! Идея стала навязчивой и увлекла меня, доведя почти до болезненного экстаза. Я ликовал. Артериальное давление было большим. Не менее двухсот. Я это чувствовал, не измеряя. Во время ходьбы меня шатало, но тело казалось очень легким.

Маша лежала ниц. Она казалась расплющенной. Очень плоская спина. Все тело обдавлено, обтянуто слабостью... Мне больно, что я так вижу ее. Я ведь люблю Машу... Но болезнь сделала мои глаза жестокими... Как у старика... Они видят все...

Иногда у нас давление подскакивает сразу у обоих, особенно сердечное. Тогда мы еле ползаем, лежим почти без еды, живем на одних таблетках. Но иногда наша болезнь выдает иное. Растет только верхнее давление. Маша глохнет, иссиня-бледная бегаёт по комнате, с хрустом в суставах спазматически сжимает истонченные руки. И хотя болезнь очень очерстила душу, мне горько видеть ее страдания. Я уговариваю ее лечь.

А мое сумасшествие в такие минуты достигает кульминации...

Но след инверсии не дает мне покоя... Пока еще мысленно я очень легко влезая на столятидесятиметровую вентиляционную трубу и, взмахнув руками, прыгаю и плаыву, скольжу по радиоактивному облаку как с горы. Медленно падает высота. Я так хочу, и так оно и выходит — я спускаюсь на землю далеко-далеко за деревней. Это меня словно бы успокаивает, но уже независимо от своей воли я проделываю этот путь множество раз, чтобы убедиться в правильности своих выводов...

Я сошел с ума. Я это хорошо понял. Неадекватность поведения... Плыть по следу инверсии — большая фантазия. Да, да...

— Куда ты собрался? — спросила Маша.

Она лежала. Прозрачно-бледное лицо. Одышка. У меня тоже. Мы привыкли.

— Я пойду посмотрю, как строят, — сказал я.

— У тебя есть силы? — тихо спросила Маша и, помолчав, добавила: — Скажи, Спасеных, нужны ли такие люди, как мы с тобой?..

— Может быть, мы урок?.. Но кому он нужен?.. — ответил я вопросом на вопрос и ушел.

Давление было за двести. Меня шатало. Но я непременно должен был посмотреть — каким образом можно подойти к вентиляционной трубе атомной станции и как добраться до лестничных скоб, вмонтированных в ее железобетонную плоть...

Последнее время, когда меня приплющивало слабостью к койке, вслед за длившейся часами пустотой... Хотя... Впрочем, это была не совсем пустота, а будто тебя всего изнутри наполнили киселем или желеобразной массой... Оболочка из тонкого мяса и кисель внутри... Смешно, не правда ли? Когда я представил, почувствовал это, я долго смеялся...

Маша спросила:

— Ты смеешься, Спасеных?

Я не ответил, потому что испытывал странное внутреннее сопротивление любому своему действию, не связанному непосредственно с навязчивой идеей. Будто мне душу прибили гвоздями к доске, а вместе с нею и язык.

Я продолжал смеяться. Маша отвернулась к стене. Но на боку было тяжело лежать, и слабость снова придавила ее плашмя, перевернув на живот.

Потом вдруг я увидел странное видение. Оно пришло издалека, из яви. Когда-то я видел фильм, как огромный удав заглатывал козла. Это было отвратительное зрелище. Рот удава растягивался, растягивался, утончался и наконец превращался в тонкую пленку и как мешок наползал на бедного козла...

Когда я лежал ниц и слабость раздавливала меня, а внутренняя тупость, бесчувственность, переходила наконец в мерзкое ощущение заполненности всего моего нутра желеобразной массой, я начинал воображать себя оболочкой. Потом являлся образ удава...

Я стал обволакивать себя, потом Машу... Мне этого казалось мало. Я заглатывал сильно растянувшимся ртом, точь-в-точь как тот удав, всю мебель, потом дом... Но внутренняя сосущая тоска не унималась, и я решил, что, натренировавшись, я рано или поздно проглочу атомную станцию и весь город. Тогда я успокоюсь...

Потом все снова расплавлялось во мне, и я, обессиленный своим безумием, которое вызвано моей лучевой болезнью и которое я трезвым умом наблюдал со стороны, затихал...

Мы жили уколами. Делали друг другу. Обе ягодицы у меня и у Маши густо исколоты и усыпаны черными точками ежедневных инъекций. Когда проводишь по этим корочкам рукой, царапает, будто наждаком.

Перед тем как колоть, я приподнимал ей халат и приспускал трусы. Со странным чувством смотрел я на Машины ягодицы. Они были какие-то неживые, бледно-синие, и черные точечные следы уколов контрастно выделялись. Это было больно видеть. У меня подступал спазм...

— Не смотри,— потусторонне как-то простонала она.

— Я не смотрю, милая, не смотрю...

Укол немного оживлял ее. У нее ненадолго появлялся в глазах теплый блеск...

Но я сошел с ума. И тело теперь само вело меня. А ум, здравый и холодный, наблюдал...

Я подошел к атомной электростанции со стороны леса. Временный дощатый забор со стороны строящегося второго блока местами обвалился, и я свободно прошел на территорию АЭС. Подойдя к вентиляционной трубе, я увидел, что лестничные скобы начинаются высоко, не дотянуться. Я поискал глазами вокруг. Около здания азотно-кислородной станции вдоль стены лежала ржавая железная лестница, сваренная из труб. Я запомнил, где она лежит, сопоставив ее местоположение с крупными предметами...

Я знаю, когда прийти. Когда никто меня не увидит. Когда будет низкая облачность и на высоте пятидесяти метров венттрубы уже не видать... Только бы добраться мне до облачности! А там — меня не достанут! Я проверю границы приземления облака, следа инверсии. Если он приходится на мой дом — крышка! И те крохи жизни, которые остались, вскоре исчезнут. Уколы не помогут... А мы с Машей, как ни странно, цеплялись еще за жизнь. Зачем?.. Я был уже маленький, синюшный, сморщенный старикашка с истонченными гладкими седыми волосами... Мне было сорок шесть лет... А Маша... Порою она вдруг, как вспышка, являлась передо мною молодой, смешливой, краснощекой, рыжеволосой. Как вспышка... И боль давила мое сердце...

Теперь она седая, сухонькая, с гримасой застывшего страдания старушка с редкими иссеченными прямыми волосами. Ей сорок два года...

Иногда после укола, в какие-то мгновения эйфорического оживления Маша шелестящим, еле слышным голосом восклицала:

— Господи! Спасенных! Неужели мы когда-то были молодыми, красноречивыми, сильными?!

Я не отвечаю, а она не повторяет вопрос. Внутри у меня снова тягостная пустота, но я думаю. Пытаюсь думать. Вспоминать. Единственно что я остро ощущаю — это абсолютное нежелание думать и вспоминать. Нежелание! Да! И желеобразное нутро вместо души... Я не помню себя молодым! Я не был молодым. Это тоже, наверное, работа нейтронов, которые меня изрешетили. У меня не было здоровья, никогда не было. Не было радости и любви, не было молодой Маши, не было ее простой и доброй красоты. Ничего не было... Не помню. Полная амнезия. Можно еще только экстраполировать прошлое из настоящего, из этой пустоты и постепенного умирания. Но что из этого выходит? Почти ничего. И поэтому я не ощущаю прошлого. Но Маше об этом не говорю...

Она лежит плоская, неподвижная, иссиня-бледная. Что она ощущает? То же, что и я, или у нее все ярче? Я хочу спросить, но не могу. Будто мой вопрос прибили гвоздями к полу. Нет вопроса... Но что-то еще осталось во мне. Какая-то память. Жалкие обрывки... И вдруг ярко-ярко вспомнил. Внутри стало горячо, как тогда, на диффузионном заводе по обогащению урана. В емкости с электромешалкой, в которой находился раствор солей урана, вдруг произошла голубая вспышка, грохот, меня отбросило, и я почувствовал, что внутренне весь загорелся. Это был самопроизвольный ядерный разгон. Всего одно мгновение. Меня изрешетило нейтронами. А внутренний жар — это было ощущение рвущихся молекулярных связей в тканях тела. В один миг я превратился в скопище свободных радикалов и обрывков хромосом... А потом два года клиники — и в итоге живой труп. Собственно, даже не труп, а кусок космического тела. Я вошел в соприкосновение с космической силой, иссечен ею и чудом сохранил остаток жизни.

Злобы нет. Ни на кого нет злобы. И жалости нет ни к себе, ни к кому-либо вообще. Привычной людской жалости. Какая-то только щемящая боль. Боль при виде любимой Маши... Что с ней стало... Боль при мысли, что подобное несчастье может произойти с другими людьми... Да. Редкие проявления эмоций еще сохранились. Но это были такие крохи, как и сама жизнь, которая во мне теплится...

Безразличие ко всему... Но не совсем, раз я хочу исследовать след инверсии радиоактивного облака из вентиляционной трубы атомной станции. Границы его оседания на землю...

Маша облучалась постепенно, вдыхая радиоактивные вещества внутрь. Это не менее страшно: цезий и стронций в костях. Ее облучение продолжается до сих пор, хотя в клинике из нее часть этих веществ вывели. Мы продолжаем делать это и сейчас. Я колю ей магнезию. Моча от этого мутная, как сыворотка от простокваши...

Но я сошел с ума. Я это сознаю и с усмешкой наблюдаю за собой будто со стороны. Однажды меня посетила мысль о том, что космическая смерть, убивая плоть, оставляет часть разума как своеобразное возмездие. Не отсюда ли такое странное сумасшествие?..

Я уже сделал одну попытку влезть на вентиляционную трубу АЭС и прыгнуть, чтобы проплыть по следу инверсии радиоактивного облака. Но железная лестница оказалась столь тяжелой, что сил у меня хватало только на то, чтобы подтащить ее к основанию железобетонной венттрубы, и все...

Обессиленный, я упал в грязь и долго лежал, испытывая чудовищный озноб. Это сжались сосуды. Давление подпрыгнуло, наверное,

до двухсот сорока. Измазанной в грязи рукой я с трудом достал и дотянул до рта две сосудорасширяющие таблетки. Проглотил тоже с трудом. На зубах хрустела земля. Когда вскоре вслед за тем меня отпустило и слабость навалилась чудовищной тяжестью, я пополз домой. Добирался четыре часа, хотя нормального ходу было двадцать минут. То я полз по-пластунски, то передвигался на коленях, то вставал и шел согнувшись.

Я старался избегать людей. Люди мне были не нужны. Безразличие к людям — это тоже итог моей болезни. Когда кто-то проходил недалеко, я прикидывался пьяным, мычал что-то. Холода земли я не ощущал. Странно, но это было так. Как не ощущал в подобных состояниях и горячего. Маша во время приступов, когда все нутро леденело, давала мне кипяток, но я пил его, как холодную воду...

Я часто задавал себе вопрос: вызываем ли мы с Машей жалость у людей? И твердо отвечал себе: нет! Даже у врачей, у которых мы лечились в клинике, интерес к нам, как мне казалось, был прежде всего чисто этнографический, как к особям иной популяции, представляющим научный интерес. Глаза у врачей были равнодушные, но большей частью брезгливые и отталкивающие. И ни разу даже капли сострадания не увидел я в их глазах, хотя были и деланная ласковость, и цепкое сияние холодных глаз, и кажущаяся заинтересованность в наших судьбах... Но сквозь все это четко просматривалась брезгливость и даже страх... Да! Мы были чужаками среди живых...

В деревне на нас поглядывали вроде бы с жалостью, но и с каким-то оттенком оскорбляющей отчужденности. Нет! Мы не вызывали сочувствия. И не должны были вызывать. Ибо не люди мы были, а нечто полукосмическое. От меня долгое время, как от спектра изотопов, исходило излучение. У Маши была радиоактивная моча...

Вполне возможно, что мы излучали вокруг себя какие-то электромагнитные волны отталкивания и неприязни, чуждые всему живому. Да, именно так. Даже друг к другу у нас была скорее не жалость, а ее уродливое подобие. Мы были не только муж и жена, но и товарищи по несчастью и на краю могилы ловили и поддерживали друг в друге крохи живого...

2

Теперь я был рад, что тяжелая ржавая железная лестница подтянута к основанию вентиляционной трубы атомной электростанции. В следующий раз я приставлю ее к стволу трубы и доберусь до скоб, вмонтированных в ее железобетонный монолит. Лишь бы лестницу не уволокли...

Всю манипуляцию с лестницей я проделывал в полутьме. Кругом еще были неразбериха и свинорой, и я думал, что лестницу не заметят... Но если ее утащат на прежнее место, я все повторю сначала, пока не добьюсь своего...

Я знал, что сошел с ума. Я видел это как бы со стороны, но я знал также, что я должен достичь верхушки вентиляционной трубы на высоте ста пятидесяти метров, прыгнуть оттуда и проплыть по следу инверсии радиоактивного облака...

Маша спросила вдруг:

— Спасеных, а почему мы не протестовали, когда еще были здоровы?

— Против чего?

— Против плохой техники безопасности... Мы были бы здоровы...

— Мы никогда не были здоровы,— ответил я.— Я не помню того...

— Да, ты прав,— сказала Маша.— Я тоже не помню...

Мы уже много лет по-настоящему не близки с ней. Маша всегда покорна, но говорит, что ей все равно. Это похоже на правду. Наслаж-

деня близостью у нее нет. Нет его и у меня. И все же... И тут крохи... Какая-то инерция привычки осталась... Вместо наслаждения все кончается чувством щемящей боли внизу живота. Как при цистите... Врач говорит — это потому, что некроспермия, остался всего лишь жалкий гормон полумертвой предстательной железы...

«Хоть это осталось, и то ладно...» — подумал я тогда.

Но что же означала вся наша жизнь? Не знаю. Скорее это был суррогат жизни. И я и Маша были безразличны к ней. Без кокетства безразличны. Как-то даже она сказала:

— Спасеных, давай примем яд...

— Зачем? — безразлично спросил я.

— Так... — прошелестела она.

Нет! Я не боялся смерти. И Маша не боялась. И так уже почти полностью принадлежали мы к неорганическому миру. Какие-то остатки ощущений и потребностей. Лишь самая малость... Может быть, и земля и камни столько чувствуют...

И все же что-то удерживало нас от последнего шага. Что? Слабое желание хватать ртом воздух? Любопытство? Выводы? Но какие?

Странное состояние реально сознаваемого сумасшествия, самопроизвольное передвижение членов тела под любопытным, но холодным взглядом ущербного, иссеченного нейтронами разума? Навязчивая идея? Да! Пожалуй, с этим можно было согласиться... Еще не хочется переселяться. И с этим можно согласиться... Я должен исследовать след инверсии радиоактивного облака. Если оно опадает далеко за нашей деревней, мы остаемся. Если нет... Тогда... Я не знаю, что тогда...

Я пошел к трубе, когда стемнело. Маша лежала плашмя. Только повернула ко мне голову.

— Ты куда?

Я не ответил. Она сказала:

— Подожди... Почему-то я вспомнила бабушку... В ночь, когда он умирал, недвижно лежа в постели, вдруг поднялся, отстранил всех и пошел босой на улицу. Прошел двести метров... Потом упал и умер...

— Хорошо. — сказал я.

Маша смотрела на меня тусклыми глазами.

Я шел быстро. Воздух был ранневесенний. Я это знал по календарю, но запахов не ощущал. Нейтроны убили способность ощущать запахи.

Я испытывал при ходьбе необычайную легкость, будто был легче перышка. Это означало, что артериальное давление было около двухсот.

«Ничего, — думал я, — легче будет взбираться по железным скобам вентиляционной трубы...»

Я пришел на место. Лестница лежала около основания трубы в грязи. Никто не окликнул, не остановил меня. Лестница была тяжелой и, наверное, холодной, но я не ощущал холода металла. Я приподнял лестницу с одного конца. С верхней стороны на плетях лестницы были приварены стальные крюки из арматуры. Ими можно было зацепиться за что-нибудь, в данном случае за нижнюю скобу.

Я почувствовал, что в груди у меня начались какие-то судорожные взрыдывания. Я догадался, что это так крайне проявляется радость во мне. Я близок к цели!

Я подтянул лестницу, приподнял и зацепил крюками за нижнюю скобу и в следующее мгновение буквально взлетел вверх. Под руками и ногами моими замелькали скобы. Снаружи по всей высоте венттрубы скобы были огорожены защитными обручами, соединенными между собой продольными стальными полосами. Это было страховоч-

ное приспособление от падения, и я передвигался будто внутри дырявого трубопровода.

Я глянул вверх. Красных сигнальных огней видно не было. Стояла низкая рваная облачность. Я рвался к ней. Справа я видел огромный, сияющий огнями железобетонный куб атомной электростанции. Я знал, что когда поднимусь выше здания АЭС, то увижу море. В редковатой еще темноте его можно будет увидеть. Но для этого надо подняться на семьдесят метров вверх...

Вдруг я услышал свист. Протяжный, хлещущий, с усилениями на конце звучания. Я глянул вниз. Там у основания трубы я увидел фигурку человека в так знакомом мне белом лавсане. Меня отделяло от него метров двадцать.

Неожиданно белый человек рванулся вверх по лестнице вслед за мной. Снизу доносился частый звук от ударов его бута о скобы.

— Сто-о-ой! — услышал я его гортанный альтовый крик. — Стой! — И снова хлещущий звук свиста.

Меня будто кто подхватил под мышки и потащил вверх точно на скоростном лифте. Дышалось легко. Тело, казалось, было легче пушинки. «Так и должно быть! — восхищенно думал я. — Мне еще парить на радиоактивном облаке... Еще изучать след инверсии...»

Я оглянулся. Белый человек внизу быстро приближался. Видно было, что он тоже худой и легкий. И очень ловкий. Нас разделяло метров двенадцать. Я прибавил скорости. «Сумасшедший, сумасшедший, а чешешь вверх, как хороший спринтер...» — подумал я, как бы наблюдая за собой со стороны.

И вдруг гортанный альтовый голос совсем рядом:

— Стой, говорят тэбэ! Куда лезешь?! Смотри, какой скорый!.. Стой, говорят тэбэ! Я сказал или нет?! Эй, парень!..

Наблюдая за собой будто со стороны, я понял, что дело дохлое и если я не предприму немедленно что-то чрезвычайное... Я отпустил руки, оттолкнулся ногами от железных скоб и рухнул вниз. Но полета практически не получилось. Между мной и парнем в лавсановой робе оставалось метра полтора. Он, видимо, внимательно следил за мной и, когда я полетел, выпятил зад, и меня заклинило между его задом и стальным обручем защитного ограждения скоб. И тут я почувствовал, что парень сильно схватил меня рукой за щиколотку правой ноги.

— А ну-ка силазь с мене быстро! Силазь, гавару!

Я послушно слез и стал выше его на скобу. Он крепко держал меня за ногу.

— Ти хто такой есть? — спросил парень, и я увидел в темноте в отсветах дальних огней атомного энергоблока его плоское, видимо, смуглое лицо, большие блестящие черные глаза, тревожно глядевшие на меня. — Хочешь исделать нам исчо один нысчастный слючай?! И хто ти такой есть?

— Я человек... — ответил я. Конечно же я ошибался, говоря так.

— Какой же чэловэк в небо лезет ночью? А?.. Чудак ти чэловэк... Опасен ти чэловэк... Пошла за мной вниз! Держу твоя нога...

— А кто вы такой? Простите за вопрос... — спросил я.

— Я Абдулхаков, старший дозиметрист атомной электростанции, а тэпэрь исчо твой спаситель!

«Не спаситель ты...» — думал я со скорбным чувством.

Мы быстро спуścались вниз. Я успел кинуть в рот таблетку, которых в кармане у меня было навалом, чтобы в случае надобности легко было доставать.

Когда мы ступили на землю, я почувствовал, как слабость враз обрушилась на меня. Я еле стоял на ногах. Человек в белом лавсане, стоявший передо мной, был зол. Он тяжело дышал.

— Кто тебе пустил на территорию атомной электростанции?

— Никто.

Он взял меня за плечи, развернул и, придерживая, вывел к дороге. Там меня слегка подтолкнул вперед, и я упал.

Когда я смотрел на этого молодого парня, я знал, что он мое прошлое. Он же, толкая меня в грязь, не знал, что я его будущее. Я услышал его смех. Да, Абдулхаков смеялся.

— Как на трубу лезть, так сильный. А тут тэбэ падает...— Он снова рассмеялся гортанным смехом.— Ну лежи, лежи, если тэбэ интересна грязь лежать... Я приду через двадцать минут, проверю. Будешь издешь — намну шею...

Он удалился.

Я оставался лежать, хотя понимал, что надо уходить. Разум вернулся ко мне. Я был уже не сумасшедший. Я подумал, что парень, конечно, далеко не ушел. Где-нибудь стоит и ждет, наблюдая за мной. Чего он ждет? Когда уйдет его будущее? Нет. Я не уйду... То есть... Будущее его не уйдет. Даже если я сдохну здесь... Никуда и он не уйдет от своего будущего... Они не уйдут, если не одумаются...

А то, что они не научились думать, мне было известно по газетам, которые я изредка просматривал... Но дело, конечно, не в этом парне... Надо брать много выше... Ядерный пепел... Но всех ведь сразу не испепелишь... Останутся миллионы таких, как Маша и я...

Все вдруг опало внутри, будто меня гвоздями прибили к земле. Чудовищная слабость расплющивала. Это взбесившаяся поджелудочная железа выбросила в кровь огромную порцию инсулина...

Я приполз к дому поздно ночью... Маша не спала. Мы вообще почти не спали с тех пор, как хватили ядерного лиха.

Внутренняя отупленность постепенно снова заполняла хилый сосуд моего тела. Маша плакала, приступ слабости не позволял ей действительно помочь мне.

С огромным трудом раздевшись, я заполз на кровать и застыл в положении ниц. Внутри себя я вновь стал ощущать желеобразную аморфную массу, а тело свое — все более утончающейся оболочкой. Я понял, что случившееся было моей последней попыткой активного действия. Теперь пойдет прозябание. Долгое или короткое — не знаю...

Рот мой стал судорожно-искривленно открываться, расплзаться, превращаясь в огромную дыру до тех пор, пока я не начал заглатывать сам себя, потом, я это знал, следует Маша, мебель, мой дом, деревня, город, атомная электростанция... И, расплзаясь по земле, обволакивая ее своей иссеченной нейтронами ядерной плотью, мы напоминали собой удава, заглатывающего невероятно растянувшимся ртом уже не козла, а всю нашу бедную планету...

1980.

ИРИНА ЕМЕЛЬЯНОВА

*

ДОЧЕРИ СВЕТА

Неопалимая Купина —
В чем народная вина?

Н. Клюев, «Погорельщина».

Мне часто хочется прийти в нашу — такую розовую, такую красивую — церковь в Телеграфном переулке и помолиться за них. А может быть, пора и панихиду отслужить? Ведь видела я их последний раз лет двадцать тому назад, и были они тогда уже не молоды. И многие из них, наверное, за эти годы пришли крутыми своими тропками к стопам своего Господа. Я подхожу к кануну, в любое время дня и года трепетным рождественским пирогом переливающимся в левом приделе Меньшиковской уютной и ухоженной церкви, беру из стопки аккуратно нарезанных четвертушек листок бумаги и поднимаю обгрызенный карандаш на веревочке. Тепло, пахнет яблоками и воском, из начищенных окладов спокойно и понимающе смотрят отнюдь не закопченные лики святых. Красивый священник плавными движениями, вздымая волны черного маркизета, благословляет склоненные головы верующих, поздравляет с Христовым воскресением — сегодня суббота, — смотрит ласковыми загадочными восточными глазами. Отец Нифон из Дамаска. Старушки прихожанки, ровесницы, наверное, моих тайшетских подруг, шаркая, тянутся прикладываться к кресту, целуют батюшке смуглую руку, надламывают просфору, аккуратно распределяют мелочь: «на хор», «на ремонт храма», «на новую ризу»... Я опускаю карандаш на стол. Нет, нельзя их здесь поминать. Ведь они не принимали все это — кануны, обедни, маркизет... Ведь они жизнь положили, чтобы не отступать от своего предания, и поминать их по-чужому — не значит ли это их, столько вынесших за свою истину, обидеть еще раз? Нет, лучше я просто помолюсь за них, просто вспомню их словами, которые так же широки, как и объятия рук, раскинутых по краям креста, их — вместят.

Под изумительнейшую «Херувимскую» (как же земны и прозрачны их песни по сравнению с нашим Древним преданием!) я шепчу, вспоминая их обветренные деревенские лица: «Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное...» Да, это подходит, если расшифровать это темное место как «блаженны не взыскающие много мудрости». Куда там. И невежественны, и упрямы, и фанатичны. «Блаженны кроткие...» Нет, это не про них — умеют отстоять свое мнение, и за словом в карман не полезут, и агрессивны в спорах, и сопротивляться — умеют. «Блаженны алчущие и жаждущие правды...» Нет, тоже не про них. У них — чувство превосходства, они уже «в правде», воистину сектантское высокомерие, даже у лучших: «Я-то спасусь, а вот ты...» «Блаженны миротворцы...» Нет, и эти слова не идут у меня с языка. Они жаждут возмездия, в их наивной эсхатологии расправам над гонителями уделено слишком много места. Так неужели же на горе не нашлось для них доброго слова, для них, принесших в жертву женское свое предназначение, оставивших детей и клетушки с ухоженными поросятами и годами мыкающих горе по лагерям? Нет, есть для них слова. Вот они: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах».

Да, темные, равнодушные к «светским» знаниям, сварливые, вздорные порой, такие приземленные, такие, на мой взгляд, «бездуховные» — и все-таки не отрeksiеся. Ни от Бога своего, ни от предания, каким бы неглубоким оно нам ни казалось. И был каждой из них дарован свой звездный час, когда искушал ее сатана — спокойной старостью, «садком вишневым коло хатки...». Вот как нашу дневальную барака худую высокую старуху Стасю с вечно большими зубами и вечными валенками на ногах... Было уже договорено со следователем, что осудит она свое религиозное прошлое, выступит публично на открытом суде, где соберется вся общественность города Станислава, ныне Ивано-Франковска, и из области приедут ведущие атеисты, и по радио будут транслировать этот показательный процесс, и возьмет ее на поруки коллектив детского сада, где работала она (а как они все умели работать!) нянечкой и плакали по ней ребятишки. И ведь два срока были уже позади — ну, те, правда, при культе. И ждала ее дочка, то же самое проделавшая и живущая уже который год без своей «истины» спокойно, и внуки любимые. И радио приехало, и из Львова телевидение, но заплакала Стася и сказала (это при прямой-то передаче!) в последнем слове: «Не, не могу, не могу. Е Бог, и е дьявол, и е их слуги, и гореть вам в геенне огненной, отродья антихристовы». Много ли это? Много, наверное, для нашего времени.

Здесь так поздно светает, что непонятно, утро или вечер.

С трудом открываю глаза, которые еще слепит от вчерашнего перехода по сибирскому снегу. И таким же куском этой сверкающей зимы кажутся мне и чистенький платочек — хусточка, — и румяные, до блеска отмытые щеки, и приветливые голубые глазки сидящей рядом на нарах женщины. Она улыбнулась и заговорила, вернее, запела высоким-высоким голосом — господи, почему у украинских деревенских женщин такие голоса-колокольчики, от которых в ушах звенит, а когда их несколько соберется да еще слов не понимаешь — ну птички присели у лужицы поплескаться...

— Яка дитына малеенька, яка поганенька, яка ззелененька, — ласково пела эта ну прямо гоголевская хохлушечка — ей бы венок да ленты, а она в телогрейке и чудовищных рукавицах.

— А вы за что сюда попали? — спрашиваю я.

— Та за Бога.

Но от меня так легко уже не отделаться. Чем ближе подъезжали мы к Тайшету, где находился наш будущий «политический» лагерь, тем чаще на просьбу что-нибудь почитать дежурный совал в кормушку вместе с «Как закалялась сталь» и трепаные брошюрки с пауками, черными крестами и наганами на обложках: «Под сенью черного креста», «Кого охраняет Башня Стражи», «ЦРУ и «воинство Христово» и тому подобное. На воле я таких не видывала — ясно было, что мы приближаемся к местам, где эти брошюрки — необходимое орудие политической работы. Я их прочитала. И теперь могла выяснить убеждения следника более точно.

— А в бессмертие души вы верите?

Тося (так звали хохлушечку) вздохнула и сказала просто:

— За це сижу.

— А в воскресение мертвых?

— А як же ж!

— И в вечную жизнь на новой земле?

— И в новом Израиле все будем!

Итак, Тося была пятидесятницей.

— А какой у вас срок?

— Десять рокив.

Ох эти десять рокив, щедрой рукой рассыпаемые нашей властью на головы Тосям и Параням за их бессмертные души! Сколько раз слышала я в ответ: «Десять рокив, та за Бога».

Тося (в лагере она работала возчицей) и отвезла нас на санях в зону. И новым продолжением скрипящего снега и праздничной голубизны неба было барачное убранство — горы накрахмаленных подушек, подсиненных простынь, добела оттертого деревянного стола, веселых вышивок на рушничках «Бог есть любовь» по-русски, по-украински, по-немецки.

Пятидесятниц в лагере было немного. Они все умещались в кружок вокруг самой вымытой, самой вышитой, самой белоснежно-подсиненной постели своей негласной руководительницы — красивой Вали, бывшей трактористки. Румяные щеки Вали и ее всегда звенящий в бараке смех, умение отбрить и как-то властно приласкать, ее жизнелюбие долго вводили меня в заблуждение, и я не могла понять, почему эта цветущая женщина остается все время в бараке, не ходит на работу, а ей, словно пчелиной матке, несут эти беленькие рабочие пчелки и вышитые рубашки, и масло из посылок и жужжат около нее, вернее, тонюсенько шебечут до самого отбоя. Но у Вали не было ног. Уже здесь, в Сибири, она попала под сенокосилку. А из больницы — нет, не домой, «сактивировать» такого врага народа кто позволит? — обратно в лагерь и вместе с лагерем по этапам, вот уже шестой год так, а срок — «десять рокив» и «статья активировке не подлежит». Но не унывает. Охи мои и возмущения прерывает, у них на все ведь готов ответ: «Значит, велика моя мера у Господа». И читает — из их поэтической хрестоматии:

Тебе на долю выпал лишь арест,
А ты твердишь, что крест тебе достался лютый.
А если бы тебе голгофский выпал крест
И чаша с горькою цикутой?

Когда в бараке нет немок-бригадирш, латышских полицаек, деятельниц КВЧ, они поют свои песнопения, иногда очень красивые. Мелодически они напоминают старинные романсы, а словарь — странный и современен. Тут и «сломанные струны гитары», и «знамя истины», и «горнило страданья». Кажется, это самодеятельные переводы с английского — секта ведь американского происхождения, и в ее поэзии как-то преломился образный строй песен спиритчуэлс. А вот их лучшая певица, Наташа К., со станции Оловянная Восточно-Сибирской железной дороги. На этих станциях, полустанках, поселках Восточной Сибири еще хранились островочки «веры отцов»; обычно это несколько семей, окруженные стеной вражды в основном пришлого, завербованного, всегда пьяного рабочего люда. Скрывались, таились, старались и детей воспитывать в своей вере... Но не скроешься нынче, не те времена! Наташа работала приемщицей в фотографии, а ее муж, он же брат по вере, — заведующим этой же фотографией. Была лаборатория, где не только проявляли пленки, — тушили свет, по условному стуку впускали своих, пели, обсуждали наступление Нового Израиля и... Накатывало ли на них? Пророчествовали ли? «Ходили в слове», как хлысты? Глядя на Наташу, я готова была в это поверить: она была, конечно, нездорова, одутловата, бледна даже летом, а глаза — черные, всегда блестящие, такие странные на русском курносом лице. Когда она запевала, она бледнела еще больше, а глаза начинали светиться в темноте — становилось жутковато, наивные слова песен испугались напряжением, страстью, самозабвением поющих:

Гаснет ли пламя в борьбе испытанья,
Труден ли станет тернистый твой путь —
Выше и выше держи свое знамя,
Стойким всегда ты за истину будь.
Встретишь ли ненависть сердца жестокого,
Будет ли зависть следить за тобой...—

в этом месте такая мучительная пауза, звук такой высоты, бедные пчелки закатывают глаза — и как вздох облегчения:

Бог не оставит тебя одинокого,
 Если к нему ты прибежешь с мольбой.
 Если ты будешь доволен судьбою,
 Счастье польется широкой рекой,
 Все же молись, дверь закрыв за собою,
 Бог неотступно следит за тобой.
 Если ты верен, молись за остывших,
 Знай, что, когда ты счастливей других —
 Близких, далеких, о Боге забывших,—
 Стань на колени, молись и о них.

Тайшетская метель метит белыми крестами пристанище последних страдалец за веру нашего века, сквозь чисто промытые окна видны «ангелы в небе снежном», на тумбочке около Вали на вышитом рушничке — яйца, белый хлеб, квас, все простое, но аппетитное. Угощают сердечно, ласково. Меня привлекает их уют, милые простые лица, но не только — у них уважение к тайне, притаившаяся мистическая одаренность, они все-таки в гостях на земле, они лишены рационализма и прагматизма сестер по гонениям — более земных, уверенных в себе свидетельниц Иеговы, которых в бараке большинство. Да и по-человечески они ярче, с ними интереснее — проблемы их гораздо больше в области нравственной, чем у поборниц теории «электрических колец» и Армагеддона как результата термоядерной реакции урана.

С Наташей мы приятельствовали — она была полугородская, и как-то ближе мне, да и не такая споровистая в работе, как сельские жительницы, и не развивала у меня комплексов. Мы часто философствовали с ней на грядках, сидя на теплых кучах свекольной ботвы, не обращая внимания на далеко ушедших вперед ловких полодок. Мы не спешили. Во многих вопросах мы совпадали. Но потом, увы, она да и остальные сестры отвернулись от меня. Причиной, как ни смешно, послужило искусство кино.

Фильмы в основном показывали историко-революционные, строго следили за оставшимися в бараке, приходилось чуть ли не зубную боль изображать, чтобы не смотреть лишний раз шедевр мирового киноискусства «Броненосец «Потемкин». Верующие в кино не ходили твердо. Но когда привезли по спецнаряду фильм «Тучи над Борском» (о пятидесятниках), экран установили прямо в нашем бараке, хочешь не хочешь — смотри. Я была знакома с создателями фильма. Мои друзья участвовали в обсуждении сценария. Мне казалось, что фильм тактичный, что, насколько возможно в подцензурных условиях, он выявляет привлекательность религии, особенно в ее гонимых, еретических формах. Там исполнялись подлинные гимны пятидесятников, не скрывалась их своеобразная сила и красота, да и сам сюжет — приход в секту обиженной в миру девушки — был трогательно и, насколько возможно, правдиво изображен. Это был типичный фильм периода «оттепели», когда для человека, понимающего все происходящие условия, за сказанным вставал и второй, недосказанный авторами план. Конечно, так бы фильм не прошел — в конце его пятидесятники пытаются девушку распять, ее спасают, она покидает секту. Но ведь ясно, что это — для цензуры! Одним словом, я уговорила Наташу не отворачиваться, как остальные сестры, а посмотреть, и фильм защищала. Она была возмущена. Она ничего не знала про «оттепель», про подцензурные условия, не понимала, что все-таки что-то «либеральное» в фильм протасили. Она твердила только одно: «Значит, ты думаешь, что у нас распинают людей? Если ты так думаешь, зачем ты к нам приходишь? Тут все ложь!»

Я перестала к ним приходиться. Конечно, они не сравнивали меня с бригадиршей Лайс и, когда я была в бараке, пели и щебетали по-прежнему. Но Наташа уже не заливалась надтреснутым колокольчиком на грядках со свекольной ботвой, а старалась не отставать в про-

полке. А у меня в голове укоризной моей ущербности все время звучала их самая «непримиримая» песня:

Я не хочу полуправды,
Жалких, слепых объяснений,
Я не хочу полутайных
В сердце погасших стремлений.

Я не хочу полуверы,
Я не хочу полуцели,
Пусть разбиваются струны —
Лишь бы недаром звенели.

Я не хочу полужизни,
Жалкой, бесцельной, послушной,
Я не хочу полусмерти,
Тяжкой, несмелой и душной...

И припев:

Если любить — то навеки,
Если принять — то всецело,
Так, чтобы пламенем ярким
Сердце победно горело!

Сугробы намного выше головы, а над головой «в холодной яме января надмирно высятся» непривычные созвездья. Тропка плотно утоптана от барака к цеху, идти даже безветрено, так высока стена снега. Иду на «блатную работенку» в инвалидную бригаду, на слюду.

В цехе, небольшой выбеленной комнате, тепло, потрескивает под ножами расщепляемая слюда, воркует репродуктор: «На внеочередном заседании Совета Безопасности обсуждался проект резолюции, внесенный...» Тихий шелест проносится по склонившимся над работой белым, аккуратно повязанным головкам, каждая, вздыхая, шепчет про себя: «Блажен муж, не идущий на совет нечестивых...» Это свидетельницы Иеговы. Три их главных врага, три чудовища Апокалипсиса — «Религия, Политика и Коммерция». Они ненавидят папу римского, ООН, президентов, председателей райисполкомов, ну и, конечно, Маммону. Они — за всемирное теократическое государство. В лагере их большинство. Ночами (смены ночные), заваленные сугробами, на краю света, они обсуждают, прорабатывают различные пункты своего учения, укрепляясь в вере и разбирая все более явные признаки конца мира. Кроме меня, есть еще одна чужая — субботница Фрося, презираемая ими за «темноту». Идет что-то вроде семинара. В сущности, они закоренелые материалистки, никаких тайн, чудес, пророчеств для них не существует, это все — невежество. Библию знают хорошо, вся она у них разобрана по полочкам на «10 правил». Апокалипсис объяснен «научно»: первая печать — это комета, вторая — электрические кольца, последняя — атомная бомба. И наконец Армагеддон — третья мировая война, где спасутся лишь те, кто в «истине», то есть они. Удивительно, как такая бездуховная вера, лишенная, в сущности, Бога, может и укреплять и вдохновлять на подвиг. А ведь Гитлер преследовал их почти как евреев (они антигосударственны, за что и большевики их гонят), и гноил по лагерям, и топил на баржах (есть такой страшный рассказ об их «святом корабле»). Вот Марийка Т., наш бригадир, пережившая Бухенвальд; вот сморщенная, по годам еще не старая немка Женя III. — она спаслась из Треблинки. И пели там, и гибли в камерах газовых, но не отрекались. А потом, уже после войны, — по советским лагерям за то же самое.

Заглушая радио, тихо поют:

Ликует верный наш народ,
Настал уж юбилейный год...

Это — год Армагеддона.

И потом — уже совсем весело:

Уже я слышу — Страшный суд
Над грешною землей,
И праведников души
Он унесит за собой!

Наш царь уж к нам пришел!

Доклад Парани Т. из деревни Хмельницкой области (щеки — печеные яблоки, а всегда смеется, хотя ни одного зуба) подходит к концу. Сегодня обсуждали «Правило второе» — «Жертва Авраама и возможность искупления». Начинается свободный обмен мнениями.

— Параню, Параню, я тебе спитаю... — подхватывается молоденькая круглоголовая Марийка из молдавского села бывшей Бессарабии. — Сказано в пятой главе послания, что поняли ангелы, когда Господь посылал их свидетельствовать, что дочери человеческие прекрасны, и вошли к ним... Як же це? Вони ж были ангелы...

— Ох, Марийка, яка ты тэмна... Вони вжеж сматерилизовались.

Параня знает много ученых слов. Она сидит третий срок — первый при немцах, второй в сорок восьмом году, когда прочищали Западную Украину, а поскольку была она в Германии (пусть даже в Бухенвальде!) да брат мужа — бандеровец, мужу — расстрел, ей — двадцать пять лет. В пятьдесят шестом, однако, реабилитировали, но в пятьдесят седьмом пришло ей в голову на деревенском базаре проповедовать Армагеддон — и вот новый срок, десятка. Параня человек бывалый, находчивый, за долгую лагерную жизнь она потерлась среди самых разных людей — может и по-немецки отбрить (хотя не любит этот язык) и по-румынски. За словом в карман не полезет.

— А почему вы Хрущева не признаете? — ехидно вмешивается «темная» Фрося. — Он же тоже миротворец.

Параня, не оборачиваясь:

— Вин синспирирован сатаною. Вся земная власть от сатаны. А папа римский — сам живой сатана.

Спрашиваю и я:

— А что станет с нами после смерти?

Параня взглядывает на меня поверх круглых смешных очков.

— Ничего.

— Как ничего? А душа?

— Как душа? Жизнь — это же кровь. Вытекет кровь — умрешь.

Фрося не выдерживает:

— Вы что малой голову дурите? Воскреснем, кого Господь сподобит.

— Не воскреснем, а сматерилизуемся. После нигилизации.

— Что? Что? — возмущается Фрося. — Сама ты коллективизация, темнота немецкая, неуч нерусский.

Последние известия кончились. Теперь передают «Онегина». Читает Виктор Балашов. Любознательная Марийка интересуется шепотом судьбой Пушкина. Я начинаю рассказывать, мямлю что-то про дуэль, про Дантеса, про дуэльные правила. Параня решительно перебивает меня:

— Ну, в общем, он только ружье поднял, как тот, другой, выстрелил.

— Кто другой-то?

— Да Крылов.

Незаметно и неизбежно беседа переходит на столь любимые всеми хозяйственные темы. Ух, сколько рецептов мамалыг и настоек, особенно же — засаливания «огиркив»! И тут снова властно выделяется Параня — она решительно настаивает, что по-настоящему рассол надо сливать три раза. От абсурдности происходящего меня начинает потащивать, потихоньку щиплю себя, чтобы прийти в чувство. На

каком я свете? Может, уже после Армагеддона? Когда Параня солила свои огирки в последний раз? Да и вообще — успела ли она их засолить хоть раз в жизни? Спала ли она хоть раз на своей постели, под своим одеялом, про которое она так здорово рассказывает, как его лучше сметать? И так толково, любовно, с таким знанием дела! Какой добротный человеческий материал — уживчивый, работающий, сноровистый, основательный во всем, порядочный, честнейший... Потеряешь в зоне шпильку или платок носовой — найдут, постирают и положат на нары (никогда не скажут кто, чтобы не думала, что заискивают). Кажется, Толстой сказал, что, чтобы вырастить такой цветок, как настоящий крестьянин, нужно не одно столетие и культурный грунт многих поколений... А вот передо мной перемолотые в бессмысленной лагерной мясорубке последние «грунтовые» всходы. Они и через тридцать лет лагерей еще помнят, что коноплю надо сеять раньше льна. Золотые руки. Последние золотые руки.

На другой день слюду не привозят, и мы идем расчищать снег. У нас с моей напарницей Настуней, также свидетельницей, на двоих одна деревянная лопата. Мы не спешим, несмотря на окрики бригадирши — они никогда не бывают из верующих, всегда либо «лесные сестры», как наша грубая, но добродушная литовка Аницета, либо из полицаек. Аницету мы не боимся. Настуня из Днепропетровска, ей лет сорок, щуплая, как мальчик или старичок, лицо длинное, старообразное, жидкий пучок на макушке. Но сидит все на ней ладно — жилет из портянок подогнан, теплые шапочки из них же, набор рукавичек для разных работ — она бывшая портниха. (Вопрос службы для них, внегосударственных, очень важен — возможно, он в Бруклине, где их центр, и решается. Знаю, что портнихами, нянечками, в каких-то домашних артелях они работали.) Но сколько времени могла Настуня быть портнихой? У нее тоже третий срок, если считать первым трудовой лагерь в Германии, куда угнали их немцы. Там и «пришла к истине». Выжила, хотя давали им по две миски жидкого шпината в день. Там у нее был и «роман» — на той же фабрике работали пленные французы.

— У нас было по одному черному платью, — рассказывает Настуня. — Поэтому я каждый день меняла прически — еще ведь не в истине была, суетилась. И если, когда нас проводили по двору, Жером не успевал подбежать к окну, ему другие передавали, как я сегодня причесана.

Освободили их американцы. Среди них было два негра-«брата». Пели они с ними «Юбилейный год» и праздновали вместе Пасху, единственный у них, кажется, праздник. И вернувшись в Днепропетровск, получила Настуня десять лет за «измену родине», была на Колыме, на лесоповале. И нормы были страшные, но успевала! Бог не оставил, и выжила. И освободили ее по комиссии пятьдесят шестого года, ей оставался год. И освобождавший ее полковник, как рассказывает Настуня, полистал ее дело, голову опустил и покраснел. А потом уже и вызывать для собеседования перестали, просто по репродуктору в зоне передавали — освобождаются с такой-то по такую-то букву, и так каждый день. Из всего колымского многотысячного Настуниного «подразделения» остались не освобожденными всего четырнадцать человек. И среди них наша нынешняя председательница совета коллектива.

Но прожила она с мамой в Днепропетровске только год. Снова Господь послал испытание. Собирались с сестрами и пели, толковали, начались хрущевские гонения на верующих, и снова десять лет. «За принадлежность к изуверской секте». Тайно от сестер Настуня учит французский. Они вообще к новой жизни готовятся очень по-деловому. Во-первых, Армагеддон вот-вот, уже есть математически точные признаки — и сумма цифр года, поделенная на что-то, дает то, что нужно, и затмения, и Генеральная Ассамблея ООН, и имя нынешнего папы. И особенно иступленная нынешняя миролюбивая пропаганда,

которая есть маска Антихриста. Во-вторых, «там» ты будешь тем же, что и здесь. Как же без ремесла, без знаний? Пропадешь. Настуня не верит, как Наташа, что Господь позаботится обо всем, и найдет на нее сверху дух, и поймет она братьев своих из Нью-Орлеана, не уча английский. Нет, Настуня хочет наверняка после Армагеддона понять своего Жерома. Поистине на Бога надейся...

Свернувшись клубочком, лежит она на нарах с маленьким словариком, шевелит губами. Сердце щемит, глядя на нее. Кто ответит за то, что лучшими днями ее жизни остались дни на немецкой фабрике, когда она меняла прически и радовалась, что это кто-то замечает? А ведь она с ее терпением, добросовестностью, ловкостью могла бы быть хорошим врачом, учительницей, духовной настоятельницей. Но она довольна своей судьбой. Бывало и хуже. Она спокойно спит на вышитой наволочке, не голодна, во сне видит своего Жерома. Она — в истине.

Не стало кружевницы Прони,
С коклюшек ускакали кони...

Н. Клюев, «Погорельщина».

Умирает румяная Валя. Нет, это не загар деревенский расцветал на ее щеках, а жар лихорадки, который она долго скрывала, — не хотела в больницу, хотела умереть со своими. Не только ноги перебила ей проклятая сенокосилка — что-то внутри отбила, и уже в прошлом году было ей видение Богородицы, поцеловала ее и сказала: «Приду в Успение». Одно Успение прошло, и целый год звучали Валины песни в бараке, но в эту осень вот уже три дня она не приходит в себя.

Ухаживают за ней белые пчелки, несут правдами и неправдами добытые молоко, масло, мед. Но она только квас пьет, который настаивают они на печке из черных корок, а потом охлаждают в специально вырытых в земле скриньцах. Валя бредит, говорит что-то непонятное. Приходит надзирательница — надо забрать ее в санчасть, а завтра, может быть, будет машина, отвезут на больничный пункт. «Господь не допустит», — уверенно говорит Валя. Ее собирают, укутывают, несут на досках — она очень тяжелая, располневшая от многолетнего лежания. Белым хлыстовским кораблем зияет ее опустевшая кровать, островок, вокруг которого кипела столько лет жизнь маленькой пятидесятиной общины — ее кружки и хусточки, молитвы, рукоделье... Пчелки остаются дежурить в санчасти. Но Господь не попустил — и рано утром пришедшая со смены заключенная фельдшерница шепнула мне, что ночью Валя умерла. Я выхожу во двор. Осеннее сырое утро, еще не было подъема. «Грызет лесной иконостас октябрь — поджарая волчица...» Листьями и лиственничной хвоей замечено все вокруг. А вон, у крыльца санчасти, белеет осиротевший кружок. Лица у них сухие, спокойные, торжественные. Провожают Валу, поют:

Господь Спаситель мой, к тебе взываю я
У ног твоих святых.
Я всю нужду свою слагаю пред тобой
И всю печаль свою...

Ты нежным голосом сказал душе моей:
«Не бойся бурь в пути!
Ты не одна пойдешь, но там же буду я
Всегда с тобой идти.

Я путь твой озарю, чтоб ты не пал в бою,
В молчанье дам ответ,
В час горький поддержку и укажу тебе
На свой кровавый след»

Вечером, возвращаясь с работы, у вахты видим двух приезжих — старуху и мальчика лет двенадцати, они испуганно всматриваются в

темную приближающуюся колонну. Это мать и сын Вали. Как успели они приехать из-под Георгиевска, кто сообщил им? Уж конечно не начальство. У Вали есть и муж, но он ее поделник, отсиживает свой срок на Вихоревке — каменный карьер неподалеку от нашей зоны. Его-то не допустят с ней проститься. Выносят Валин гроб — он обит белым, белый корабль хлыстовский. Сколотили его мужчины с соседнего лагпункта, братья, и обили белой бязью, из которой шьют на фабрике солдатское белье. И уплывает он в разверстые лагерные ворота, уходит за осенний расписной иконостас, все меньше, меньше, уже не белым, но синим пером Алконоста. Поют вслед сестры, самую свою экзотическую песню, которую слышала только раз, на Валиных проводах:

Ниже склонись в мольбе,
 Ближе Господь к тебе,
 Выше твоя колыбель —
 Ближе Господь к тебе.

А поминали Валу не блинами и не кутьей. Не успели закрыться за ней ворота — в зоне объявилось ЧП. Забегали красномордые надзиратели, подъехал на «газике» из «района» начальник отдела, засели в КВЧ, вызывают пчелок, а потом и свидетельниц, а потом и монашек. Ну, те сами не идут, их несут за руки и за ноги. Оказалось — впопыхах, когда уносили ночью Валу в санчасть, не убрали сестры ее вещей, и пришедшая уже после смерти ее наутро надзирательница нашла в ее матраце не только переписанные гимны, но и — о ужас! — Библию американского издания. И началось!

Советались, допытывались, приезжали уже и из «области» — бешее, короткопалые, в толстых шинелях (переход на зимнюю форму одежды уже объявлен). И постановили — в воскресенье произвести повальный шмон под названием *и н в е н т а р и з а ц и я*. Всех обитателей с пожитками выгнать в зону, а в зоне все перерыть, перетрясти матрацы, подушки, перещупать нары, тумбочки, столы. И впускать в зону только после тщательного личного обыска.

Сонные, злые, толпимся со своими жалкими котомками на обочине дороги за запреткой. Овчарки разлеглись, перекрывают дорогу к лесу. Конвойры тоже злые — это сверхнаряд, а они хотели в воскресенье в футбол погонять. Лагерная верхушка — бригадирши, нарядчицы дымят без передышки, матерят «богомолок», из-за которых пропало воскресенье, заваривают в американских термосах швейцарский кофе (Красный Крест). Присели на сырое бревно Валины сестры — спокойные, привычные к инвентаризациям, вяжут, времени не теряют. Последними выгоняют монашек, некоторые — Христовы воительницы, православные Патриарха Тихона — идут сами. Они давно не были на улице — в черном, прогнившем и провонявшем своем бараке, куда и надзиратели-то редко заглядывают, проводят они дни и ночи, не выходя ни в столовую, ни в баню, лишь ночью — некоторые — крадутся в уборную. Их белые отекающие лица стекленеют на морозном легком воздухе. Они толпятся черной стайкой, с черными узелками, пересчитывают их, крестятся на небо, на лес. Вот они, мои православные сестры, за которых могу я свободно помолиться в Меньшиковской церкви вместе с архимандритом Нифоном. Хранительницы русского предания. Теперь начинается самое страшное; есть в этом черном бараке и монашенки высшего пострига, которые не могут повиноваться Антихристу. Это их — спеленатых черных куколок — привозили на подводах и за руки и за ноги, раскачав, бросали на муравьиные кучи, чтобы работали, а они так и лежали до конца смены, и муравьи почти не касались их высохших желтых косточек. Это было когда-то, при культе. Сейчас же я вижу, как раз в месяц их на таких же подводах отвозят в баню, заносят в предбанник, где они и лежат черными мумиями, пока другие моются. На тех же подводах их везут обратно в зону. И на этапы и на поверки сами они не выходят.

Не выходят и на инвентаризацию. Солдаты складывают их — они легкие, перышки — вповалку у запретки. Высохшие их личики кажутся мертвыми. Так и лежат, не шевелясь, как Антихрист положил.

Прекрасное обезнадеживает. Безнадежно прекрасна русская осень с тоской запрокинутых осиновых листочков, этим сизым дымком, сиреневатым паром от стволов и земли. Это не пальмы юга. От этой красоты хочется плакать. Успение. Положение во гроб. Вот лежат они, спеленатые черными пеленами, мои сестры, под сиротливым и каким-то детски простодушным небом. Темнеет фиолетовое нутро леса. «Видение Лица богомазы берут то с хвойных потемок, где теплится трут... Успение — с перышек горлиц в дупле, когда молотба и покой на селе...»

Прошло время обеда. Охрана разожгла костер, нас тоже ласкает его тепло. Искры падают на лоснящуюся шерсть овчарок. Проходит еще час. По красным раздраженным лицам надзирателей понимаю, что ничего не нашли. В открытые ворота видны приземистые силуэты, спящие около барачков: выбрасывают матрацы, подушки. Работы-то потом будет! Кого-то осенила мысль воспользоваться минным щупом. Как черти с кочергами бродят они по зоне, отыскивая «слово Божье». Черноглазая монашка Надя, с которой мы вместе ехали из Тайшета, недавняя ташкентская комсомолочка, обращается ко мне:

— Видала? Они же все в перчатках! А знаешь почему?

— ?

— У них вместо рук копыта! И у Хрущева тоже! Он ведь перчаток никогда не снимает.

Становится веселее. Действительно, раз минным щупом разыскивают, гонят, травят — что? Да Библию, «слово Божье»! Раз бегут, как черти от ладана — и впрямь похожи на чертей! — так, значит, не может не быть того, что гонят они. Они ведь — материалисты. Не Господь ли смотрит с этого неба на действие пещное и на гонимых за имя свое? И вдруг — как молния пробежала! Нашли, нашли щупом железную банку, зарытую около бани, несут, открывают — вытряхивают оттуда книги, журналы, брошюры... «Башня Стражи». Значит, попались свидетельницы Иеговы. Злость, отчаяние, тоска, досада охватывают меня. Подхожу к беззубой Паране, спокойно сидящей в кружке своих и дожевывающей какую-то горбушку. Ведь теперь ее начнут таскать! Ведь четвертый срок могут намотать!

— Что же это? — говорю я ей злобно. — Бог ваш так плохо о вас заботится? Или мало тебе трех сроков?

Параня спокойно отряхивает с колен белые крошки, как-то благостно и даже самодовольно вздыхает.

— С начала сотворения мира так было. Сыны века хитрее сынов света.

Дурные чувства оставляют меня. Приходит какое-то новое, неожиданное, странно гармонирующее с простодушным небом. Я прислушиваюсь к нему, пробую и так и сяк, как бы разминая затекшие от долгой неподвижности ноги, — нет, вроде все в порядке, все действует. Что же это, как теплая вода, смывает с меня раздражение и досаду, ненависть и злобную тоску? Почему вдруг стало легко и даже весело? Во всю ширь красноперого лесного горизонта обступает и омывает меня н е д о у м е н и е. Почему, почему все это? Зачем?

Мы живы, пока удивляемся. Значит, жива. И, торжествуя победу, я развязываю тесемки рюкзака перед усталой надзирательницей. Пошла и моя очередь.

ЛЕОНИД МАРТЫНОВ

(1905—1980)

*

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

Поэзия

Льются
Сквозь разные страны
Чистые воды.

Трубы,
Подъемные краны,
Арки и своды,
Зыбкие их отраженья
В блещущем поле —
Это лишь только мгновенья
Вечности, что ли...

И, набухая от влаги,
Вьются по ветру
Национальные флаги,
Стяги по метру...
О, пароходы и баржи,
Струи Дуная!
Нет, не походные марши
Я вспоминаю.

И вспоминаю не вальсы
Сладостной Вены,
Как ты, Дунай, ни вздымайся,
Бледный от пены.
Я вспоминаю не это,
Все это — сзади,
А вспоминаю поэта —
Скорбного Ади.

Славим, травим, распинаем...
Здесь, над потоком,
Жил он, над самым Дунаем,
В доме высоком.
Глядя тревожно из окон,
Видел поток он,
Видел немеркнувшим оком
Свет над Востоком.

Боже! Со скорбью ли, с грустью,
Только бы с честью
Выплыть к заветному устью
С доброю вестью!
Ади!

Я знаю, что значит
 Это стремление,
 Знаю, где путь этот начат,
 Где разветвления.
 Знаю я все!
 И пустился сам по Дунаю
 В путь, что с другими скрестился.

Знаю я, знаю!
 Преодолев все преграды,
 Все злоключенья,
 Я поднялся к тебе, Ади,
 Против течения!

* * *

Мы все обратно вечности вернем —
 Жизнь, взятую лишь напрокат и даром,
 Но дай мне, небо, с ней покончить днем,
 Срази однажды солнечным ударом!

Угрюмы ночи мягкие слова,
 Боюсь, что там кончается свобода.
 Конечно, есть у ней свои права,
 Но ведь не все ж на свете ей в угоду!

И я могу сказать еще ясней:
 Ее планеты светят, но не греют
 И прямо в ней, и по соседству с ней
 Предательства и заговоры зреют.

Подкрасться легче, если мы заснем,
 И выжидают темноты недаром.
 Так дай мне, небо, жизнь
 покончить днем,
 Срази однажды солнечным ударом!

Публикация Г. СУХОВОЙ-МАРТЫНОВОЙ.



АЛАН ЧЕРЧЕСОВ

*

И БУДЕТ ЛЕТО...

Рассказ

Обычно горы молчали, так что беда подступала внезапно. И тогда людям приходилось заново пробивать тропы, разбирая завалы из камней, снега и грязной земли. Случалось, оттуда доставали изувеченные останки животных и вчерашних путников. Часто их все же опознавали, и чей-то род понимал, что стал беднее.

Потом горы опять молчали, глядя свысока на то, как отчаявшиеся уходят прочь в низину или идут за перевал, где земли было больше. Они шли в батраки и, конечно, знали об этом.

Иные, самые нетерпеливые и бедовые, отправлялись в абреки, промышляя разбоем и рискуя жизнью — своей и тех, кого они грабили. За кровь платили кровью, как платили ею за угнанного коня или поруганную цепь над чьим-то очагом.

От мести бежали тоже, чаще за перевал, срываясь со скудной земли всей семьей, всей фамилией. И почти всегда горы молчали, и никто не ведал, когда они заговорят...

Что-то толкнуло его в бок, и он проснулся. Дед уже спустил ноги на пол, клюка прошуршала по циновке и нащупала точку опоры. Дряблый свет от очага мешал по стенам тени.

— Сын Хамыца все видел. Тот, немой... — сказал младший дядя, и тут он разглядел его — в двух шагах от нар. Новый дед жарко вздохнул, выбросил вперед руку, выхватил у сына ружье и поднес ствол к носу. Потом облегченно прохрипел:

— Слава небу!.. Святой Уастырджи не позволил тебе...

— Слава небу, — отозвался дядя.

Они немного помолчали. Мальчишка крепче вжался в циновку и снова опустил веки.

— Где ты их оставил? — спросил старик.

— У Синей тропы, — сказал дядя. — Только те уже узнали. Батраз его язык разбирает.

— Своди их к реке и спешి сюда.

Мальчишка услышал удаляющиеся шаги, дедова палка ударила его по ребрам.

— Просыпайся.

Он поднял веки. Глаза старика неясно сверкали, как теплая вода в деревянной кадке у ног.

— Поднимай дом. Собери детей. Будете помогать афсин¹.

Мальчишка вскочил, метнулся в центр хадзара, вынул погасшую лучину из подсвечника, разжег ее в очаге, вставил обратно. На женской половине заплескалось движенье. Он оглянулся и поймал кивок старика. Сжал кулаки и закричал что есть мочи. Хадзар наполнился криком и вытолкнул его во двор, в жидковатую темень.

¹ Старшая дома.

Дом проснулся и ответил бедой. Старик, повязывая черкеску, отдавал приказания. Суета гудела, ахала, бормотала, швыряя непрочные тени. Мальчишка хватал заспанные руки братьев и пихал тех к стене, загибая пальцы в счете. Сестренка голосила в люльке, но забирать ее оттуда он пока не стал. Мимо проковыляла афсин, он окликнул ее, но та уже была у кладовой. Старшая невестка, подчиняясь ее знаку, вошла следом. Две другие срывали со стен шкуры и кидали на циновку, где он спал эту ночь. Кто-то задел кадку под ногами, и вода поползла по полу широко и бесшумно. Никто из братьев не заплакал, но на всякий случай мальчишка бросил на них свирепый взгляд. Сам он, тоже босиком, выбежал во двор и рухнул наземь, сбитый жестким плечом. Услышал ругательство и узнал старшего дядю.

— Ну-ка подсоби,— сказал тот, и мальчишка обеими руками вцепился в жернова.

Они подтащили их к забору и там оставили, пока дядя ходил за лошадьми. Седла, мягкие и широкие — не для езды,— уже покоились на спинах, а старший дядя придерживал их руками. Мальчишка прыгнул под навес, отыскал палки, перехваченные посреди сыромятными кожаными полосками, и подал мужчине. Тот затянул подпруги, привязал крест-накрест к седлу палки и перешел к другой лошади.

— Матери скажи — готово...

Мальчишка влетел в дом, подошел к кладовой и, чуть отвернувшись в сторону, позвал:

— Афсин! Оу!.. Афсин!

Старуха неслышно ступила на порог, взяла мальчишку за рубашку и крепкой рукой крутанула к себе.

— Чего уж теперь глаза прячешь? Входи, выносить будем. Остальных тоже веди.

Мальчишка поманил братьев пальцем, а самому маленькому сунул держать лучину.

Погреб оказался большим и прохладным, блики света скользили по нему желтыми шагами. Много было черного.

— Сперва это,— сказала афсин и указала на кожаные мешки с зерном и мукой.

Вчетвером они выволокли мешок во двор и, сопя, обжигаясь дыханьем, доковыляли до забора. Мальчишка подметил, что жернова свисают теперь с седла. Невестки выносили из дома шкуры и постель. Люлька с сестренкой стояла здесь же, во дворе, только чуть в сторонке, у коновязи. Смахнув пот со лба, он двинулся было обратно, но услышал голос деда:

— Иди за волом. Овец погонишь последними.

Старик стоял на пороге прямой и высокий, заслоня влажный свет из хадзара. Он вытянула палец и ткнул им на восток.

— Подбирается...

Дядя поднял голову, проследил глазами и ответил:

— Пятно пока... Как в бурку вырастет — тронемся.

Старик подумал и сказал:

— Батраз его язык разбирает.

Дядя кивнул и тихонько засмеялся:

— Ага, только языком обоза не поймаеть!.. К тому ж таким коротким.

Старик нахмурился, потоптался на месте, потом, не сдержавшись, ударил палкой о порог.

— А с длинным языком куда угодно сбежать легко.

Сын осекся, вобрал голову в плечи и отвернулся, крепя новый выюк. Из хлева было видно, как они молчали. Мальчишка вздохнула и вяло шагнул в глубь помещения, держа перед грудью вспотевшие руки. В потемках он нащупал балку, и мокрая воловья морда уперлась ему в кисть жесткой шерстью. Мальчишка открыл рот и посто-

ял немного не шевелясь. Потом медленно простер вбок левую руку, поймал ремень и размотал узел. Вынул балку и потянул за ремень. Вол не упирался и шел кротко, послушно, так что ноги мальчишки дрожали лишь самую малость. У забора старик сам принял ремень, и они вместе смастерили днище для вьюка. Скарб копился на дворе круглыми пятнами, обирая дом, сарай и пристройку, те делались долгими и чужими. Мальчишка сновал во все стороны, попевая на помощь и жадно вслушиваясь в тугую тяжесть повзрослевших мышц. Краем глаза он замечал, как старший дядя выволок из-под навеса повозку и кинул туда голую холстину, как торопились в деле невестки, перебрасываясь на ходу словами, как негибкие пальцы афсин давили эти слова, цепляясь за мешок, опираясь о скользкую стену, как через забор дед говорил с проснувшимся соседом и даже не звал того во двор, а потом отказался от подмоги и сухо благодарил, и ему отвечали сухие — прочь — шаги соседа, как круче выгибалось светлеющее небо, как гулко пустел дом, как кричал ребенок из люльки, как что-то портилось, портилось кругом, вытекая в бледнеющую ночь и пытаясь в ней удержаться.

А потом он услышал копыта и увидел их. Они вырастали из ночи частыми толчками и приближались к плетню. Их было столько, сколько пальцев на руке. Мальчишка посмотрел на старика, и целое мгновение тот стоял не шелохнувшись в проеме двери, и лицо его казалось гладким, как ладонь. Затем старик вскинулся и спешно зашагал к коням. Мальчишка слотнул слюну и перехватил взгляд афсин. Та не сказала ни слова, хоть смотрела на него, а не туда, где столпились мужчины, дети и даже невестки. Потом отвернулась и направилась в дом. Шла она неровно и неумело будто бы, кинув руки вдоль тела.

Пять и две, сосчитал мальчишка. Больше, чем мужчин в семье. Больше, чем у кого-либо в ауле. Чем даже может быть у одной фамилии. Он поежился и робко приблизился к коновязи.

— Несите,— бросил старик сыновьям, и те споро двинулись к хадзару.

Младший дядя на ходу отряхивал штаны, старший тихонько посмеивался. Женщины усаживали в повозку детей.

— Хорош,— говорил дед, и голос его был непривычно тонок.

Мальчишка глядел на конские зубы, белые и ровные, на крупные блестящие тела, слушал всхрапы и ни о чем не думал. Старик не видел его, как не видел людей за забором, безмолвно следящих за ним и за домом. Он не стыдился их и не стыдился подступающего света, пусть те и слышали его голос, которым до того он никогда не говорил.

Что-то кольнуло мальчишку в бедро, и он переступил на другую ногу, так же неотрывно глядя в конские зубы и теплые в утренних сумерках белки глаз. Он все еще так и не притронулся ни к одному из пяти, хоть и стоял совсем рядом. Кони были высокие, стройные и красивые, и их было столько, сколько пальцев на руке.

Из хадзара дяди вынесли мужчину, завернутого в бурку, тяжелого, как пара мешков с мукой. Они уложили его на землю, потом сходили за попоной и укрыли ею воловью спину, переместив вьюк на лошадь. Потом подняли среднего дядю на руки и привязали его постромками к волу. Видно было, как ходят под буркой локти и дядя шарит глазами по сторонам. Мальчишке свистнули, и он побежал, припадая на одну ногу, к загону для овец. Он откинул дверцу и принялся тормозить блеющее стадо, выталкивая овец наружу и ощущая жаркий запах испугнутого сна. Из дому, держа в руках надочажную цепь, вышла афсин и зашаркала к уже готовому обозу. За забор она не смотрела. Сыновья помогли ей взобраться в бричку и развернули обоз к воротам. Дед позвал младшего дядю, тот подставил ладони, чтобы старик сел на коня, потом наполнил ему рог и протянул. Старик помолился и выпил. За ним выпили дяди. В бедре

по-прежнему кололо, но мальчишка, подпрыгнув, легко пристроился с самого края брички рядом с невестками. Он заметил, что спеленатый мужчина на воловьей спине успел раздвинуть полы бурки и теперь ощупывал постромки бестолковыми руками. Другие дяди уже тоже были на конях, только младший — без седла и без подпруги. Дед выехал вперед и звонко крикнул. Обоз тронулся следом, и остатки тишины отпрянули прочь от него, цепляясь за забор и безмолвие тех, кто за ним ожидал. Из-за гор выбрался рассвет и расстелился по небу щедрой заводью. Стены, тощие и незнакомые, стояли посреди пустоты, сбоку от молчания и шума, в стороне от всего, что было, и всего того, чему уж не бывать. Мальчишка глядел назад на задвигавшиеся фигурки за забором и слушал копыта, перешептывание невесток, непокой детей, кряхтенье мужчины на воловьем хребте и мелкое позвякивание цепи. Он прикрыл глаза и почувал усталость. Обоз бежал по дороге на запад, в спину поддевший рассветом, и топтал свои тусклые тени. Бричка скрипела колесами, дрожала скарбом и телами. Мальчишка чувствовал эту дрожь. Он загадал, что до самого поворота не поднимет век и не посмотрит на афсин. Впереди был десяток дворов. Он знал, что никто в ауле не спит, и решил, что ждать с закрытыми глазами куда легче. Он жмурился, сбивал дыхание, но слов так и не было. На повороте бричка накренилась, и он понял, что дворов больше не будет, а значит, не будет и слов. Аул отгородился от них сплошным забором, сторожившим безмолвие.

Он повернулся к афсин и увидел, что та сидит, опустив голову и стиснув на коленях цепь. Никто из невесток не плакал.

Впереди ехал дед, прямо держа спину и упершись пятками в конский круп. За ним шли обе лошади, одна тяжело навьюченная, другая — чуть легче, но впряженная в бричку. Вол с живой ноткой плелся немного позади и ронял на землю вязкую слюну. Потом были овцы и дяди верхом — младший без седла. Еще два коня покорно шли следом.

— До роши выследил? — спросил старший дядя.

Младший кивнул.

— До Святого куста почти. Только ждать пришлось, покуда сон сморит.

— Оттуда, поди, верст пятнадцать до ихнего аула.

— Кто ж им виноват, — ответил младший. — Никто им не виноват. Сами виноваты.

Старший негромко засмеялся. Они смолкли. Дослушав, мальчишка потер бедро и подумал: отчего разболелось? Задел впотьмах обо что-нибудь. Не заметил даже.

Они подобрались к косогору. Дома внизу заслонили дорога и скалы. Под сырым вылупившимся солнцем река и низина казались красивыми. Глядеть на них ему не хотелось. Он обернулся и взял вожжи, чтобы слегка придержать лошадь, когда обоз покатится по склону. Старик впереди шелкнул языком и прищипорил коня. Потом подождал, деловито насупившись, пока те не подтянулись. Лицо его раскраснелось, а из-под шапки блеснули крупинки пота. Мальчишка бросил вожжи и отвернулся в сторону, но старик передумал и смолчал, спрятав в себе свой испортившийся голос. Дребезжала цепь в руках афсин. Лучше бы завернула ее в холстину, подумал мальчишка. Среднего дядю слышно не было.

В бричке завозились дети, и невестки шикнули на них, но только стало еще громче. Мальчишка спрыгнул наземь, пропустил мимо вола и овец. Старший дядя понял и, подхватив его под мышки, усадил к себе на коня.

— Не так, — сказал мальчишка.

— Без седла не удержишься, — ответил дядя. — И так сойдет.

— До перевала не успеют, — сказал младший дядя. — А за него не сунутся, кровников испугаются. У тех двенадцать мужчин в роду.

— И нас трое. С ним — четверо, — сказал старший и хлопнул мальчишку по плечу. Тот спокойно выдержал их смех. — За пару коней и участок отмерят.

— Больше бы не запросили.

— Не запросят. А запросят — можно и дальше двинуться. Земли там пригожие.

— Попригожей наших. На наших двум воробьям — уже тесно.

Мальчишка чувствовал спиной кинжал и твердый дядин живот. До перевала он никогда прежде не добирался. Его отец бывал там. А до того бывал и дед — тот, настоящий...

Средний дядя снова застонал впереди, но оба брата притворились, что не слышат. Только старший спянул. Афсин перебирала пальцами цепь. Невестки возились с детьми. Мальчишка потер бедро и сказал:

— Сам хочу. Смогу и без седла.

Ему не ответили. Он думал о дороге, что шуршала среди скал и выгибалась темно-серой лентой по камням и земле. Вскоре они выехали к реке, и та долго тянулась под ними, убегая водой назад. Мальчишка задремал. Ни река, ни разговоры не мешали ему.

Когда он очнулся, солнце стояло высоко над головой, наблюдая за ветром и скалами. Он толкнул мужчину в бок.

— Я знаю это место.

Тот кивнул.

— Скоро будет аул, там есть люди нашей фамилии. Я был там с отцом. Я помню.

Младшего дяди рядом не было, и мальчишка увидел, что тот уже далеко впереди, близ старика. Дорога стала уже, и обоз растянулся по ней на добрую сотню шагов. У развилки все остановились. Дед крикнул старшему сыну:

— Мы двинемся в объезд! Ты сам заедешь к Инальку и скажешь, где нас искать. Сделай так, чтобы меньше расспрашивали. У излучины встретимся.

— Хорошо, — ответил тот.

— Я с тобой, — шепнул мальчишка.

— Он со мной переждет, — сказал дядя.

Старик не возражал и тронул коня. Сидя на бричке, скрестив под платком ноги, афсин внимательно смотрела на мальчишку. Они долго не отрывали взглядов, и мальчишка подумал, что она знает о нем то, что ему самому пока невдомек.

Дядя спрыгнул с коня и присел на придорожный камень. Обоз скрылся за носом горы, почти не подняв пыли.

— Теперь мы воры? — спросил мальчишка и удобней устроился в седле.

Дядя распоясал черкеску и расстегнул ворот бешмета.

— Для кого — воры... Для кого — всадники. По мне — может, и к лучшему, что так обернулось. Худая земля, хоть своя, хоть чужая, только спину горбатит. А на ином скакуне плечи сами расправляются.

— Мой отец вором не был, — сказал мальчишка.

— Точно, — ответил дядя. — Его кобыла была старше бабки нашей афсин. А та, поди, лет сто уже к нам не заглядывала...

Он сложил руки на груди и лениво выбросил ноги.

— И дед мой никогда ничего не крал. Мой настоящий дед...

— Известно, не крал. У него коня отродясь не бывало. Сколько помню, волами перебивались.

— Еще лошади...

— Ага. Такие, что полверсты рысью проскачешь, глядь — а в руках одни вожжи остались от тех лошадей... — Он зевнул и мягко потянулся. — Вздремну чуток. Как солнце той горы коснется — разбудишь. Дальше гребня не отъезжай.

— Я тоже вор?

— Конечно, кто ж еще? — сказал мужчина и опустил веки. Он был похож на отца. Только тот был угрюмей и выше. И не был вором. «Он не знал, что вор — это хорошо. А я теперь знаю», — думал мальчишка.

Он ткнул пятками коня, и тот охотно зашагал по дороге, потом перешел на рысь, и они в минуту достигли поворота. В воздухе пыли уже не было, кроме той, что всколыхнули с земли они сами. Мальчишка погладила теплую шерсть. На таком коне можно хоть до перевала лететь. Он подумал, что вором быть легко и приятно.

Он отыскал тропу и, не слезая, пустил коня шагом к реке. Кусты оцарапали черные бока и задели арчита на мальчишских ногах. Конь пил недолго и бесшумно, всхрапнув лишь пару раз, потом привычно, без команды, повернул и ловко вскарабкался по склону.

Мальчишка остался им доволен. Он поднял голову. Солнце подплывало к гребню. Скоро он разбудит дядю, и они двинутся дальше. Только править уже будет дядя, а не он. Но воры они оба. И старик и афсин. Хотя крал их младший сын. А невестки, братья, сестренка в люльке? Они тоже воры? Мальчишка не знал.

Он взял галопом в сторону горы по тому же пути, где полчаса назад прошел обоз. Лицом он слышал ветер, чуял радость и сильное дыханье под собой. Потом поворотил и так же, галопом, вернулся к развилке. Дядя спал, слегка приоткрыв рот, и на отца уже был похож меньше. Глядя на него, мальчишка вздрогнул и что-то понял вдруг, и оттого ему сделалось потно. Он слотнул твердое под небом и вслух сказал:

— Все. И невестки, и братья, и даже сестренка... Да, и сестренка, хоть и в люльке еще.

Он смолк, а вслед подумал: средний дядя тоже. Толстый и хлипкий, как прибрежный ил. Но он — тоже. И отец. И мать. И даже старик, тот, настоящий...

В глазах помутнело, и он крепче вцепился в поводья. Конь поднял морду и оскалился. Мальчишке стало жарко, и он рассеянно и долго вспоминал, глядя на подтертое гребнем солнце...

Конь переступал ногами и мотал головой. «Надо было и мне напиться», — думал мальчишка. — Устал, а до перевала еще добрых полдня. Но те все одно не успеют. Пешие — пятнадцать верст... Ни за что не поспеть. Ворам легче. Им хорошо. Нам хорошо. Вот только пить охота». Дядя спит с открытым ртом, будто пьяный или младенец. Отец не так спал. Как-то иначе. Сняли цепь с очага и оставили на откуп могилы... И никто в ауле не сказал им ни слова.

Он тронул коня, и они медленно скользнули мимо спящего мужчины. Что-то сдавило мальчишке живот, и он ощутил голод. «Я не ел с самого вечера», — подумал он. — Там, в арбе, лежат лепешки. Обоз далеко. Если быстро скакать, нипочто не догонят. Да и не станут догонять: те навстречу спешат, хоть столько верст пешком от Святого куста кого угодно к земле пригнут. Только теперь они снова верхом, в своем ауле лошадей одолжили. Значит, и до нашего добрались. Или вот-вот доберутся».

Он оглянулся. Человек у скалы превратился в темное недвижимое пятно. Мальчишка не стал останавливаться и отъехал еще дальше. Сердце противно жевало в груди его кровь. Он растворил спекшиеся губы и тихо пробормотал:

— Когда далеко — всегда пятно. Все, что есть под небом, пятном становится. Даже горы. Пока глаза не прикроешь — и лица не вспомнить. Потому как и лицо — пятно.

Он оторвал взгляд от лежащего вдали человека, набрал полные легкие воздуха и с силой пнул конские бока. Животное рвануло вниз по дороге, щедро рассыпая копытную дробь и распарывая тугий ветер. Стало громко и легко, и легкость эта металась и звенела, мешая мальчишке поймать легкую мысль. Он скакал во весь опор ту-

да, куда бурлила река, и знал, что его уже не догнать. Он крикнул, выпырыгнув в бесконечность радостный вопль, поймал эхо и поймал ее, ту мысль, и она обожгла ему горло, и он опять крикнул, а потом рассмеялся в гриву коню. «Теперь я настоящий вор,— думал он.— Самый настоящий из всех, какие бывают. И легкость с голодом — в придачу. Дядя должен бы знать, уж он-то должен бы знать — коли вор близко, нельзя поддаваться послабе...»

Он расхохотался. Камни, кусты и вода мелькали перед глазами, торопя время и в бессилии перед ним отступая, размазывая его в одно огромное мгновение. И он, мальчишка, был вброшен в это мгновение и пил его глотками, уголая жажду и обгоняя реку. Воздух был вкусный и свежий, как майский лед у вершины. Ее он увидит первой, едва достигнет Синеи тропы. Он не собьется с дороги. Он ездил по ней еще с отцом. С тем человеком, что не умел красть и не знал, как это хорошо. Солнце еще высоко, и вершина сверкнет на закате красным...

...И вот теперь они молчали в чужом дворе, десять всадников, четверо из которых приходились ему братьями. Он давил в глотке обиду и ярость, в раздражении размышляя о том, что надо бы напоить выдохшуюся кобылу. С ночи они прошагали пятнадцать верст, а потом почти столько же скакали верхом.

— У них здесь нет родственников,— повторял старик, окруженный людьми, челюсть его слегка вздрагивала.— Наш ~~аул~~ за них не в ответе. Да не позволит Уастырджи им далеко уйти!..— добавил он и воздел глаза к небу.

Все здешние мрачно кивнули.

«На наших конях они уйдут куда захотят и даже дальше,— думал Хамыц.— На наших конях они уйдут за перевал».

Во рту стало кисло. Он оглядел братьев и кунаков, но не давал приказа спешиться. Нужно было напоить лошадей и задать им корм, но для того пришлось бы развернуться и съехать к роднику. Он чувствовал, что еще рано. Тишина медленно сушила пот на лицах, оставляя на щеках грязные разводы.

— Будь они прокляты,— сказал он, но тишина отступила лишь самую малость. С досады он подумал о том, что и десять здоровых мужчин могут быть слабыми. Не сильнее своих голосов.— Будь прокляят их род до седьмого колена...

Люди вокруг потупились и переждали с минуту. Потом старик, прислонив ладонь к груди, сказал:

— Милость всевышнего безгранична. Кара его неизбежна. Только человеку не дано торопить. Человеку дано подчиняться и страдать, помогать и утешать. И дано человеку быть гостем и быть хозяином. Мой дом открыт для вас...

Хамыц взглянул в лица братьев и увидел, что лица согласны. Когда нет выхода, бывает застолье. Когда и застолья не видно, значит, и выхода нет. Так говорил он сам. Прежде. Тогда еще он умел так говорить. Он умел это еще день назад.

— Благодарю тебя, хозяин. Покажи, где твой дом...

Младший из братьев спешился и предложил старику свою лошадь. Они выехали за ворота, провожаемые толпой, и у двора старика остановились. Тот первым слез наземь, за ним последовали остальные. Хамыц переложил плеть в левую кисть и только теперь поздоровался за руку со старцем. Они вошли в дом, и хозяин рассадил их за фынгом. Потом сел сам.

Рассеяннo наблюдая за приготовлениями стола, Хамыц слышал боль в ушах и размышлял о том, что будет после. Получалось плохо. Сейчас он просто знал, что допустил ошибку. Он слишком думал о сыне. Он думал о нем больше, чем о семье.

— Там у нас уже есть кровники... За перевалом,— сказал он вслух.

Хозяин понимающе кивнул, и он продолжил:

— Их род богат мужчинами. Их столько, сколько месяцев в году. Уастырджи отвернулся от нас...

Старец поднял наполненный рог и произнес первый тост. Они выпили. Хамыц отщипнул от чурека и положил крошку в рот. Сквозь распахнутую дверь он видел, как режут, а затем свежую барана. Ярость прошла. Чтобы не стошнило, Хамыц взял со стола щепотку зелени. После второго рога хозяин заговорил о предстоящей жатве.

— Да, теплая нынче осень,— отозвался Хамыц и подумал, что сегодня он плохой гость.

Они снова выпили, и он почувствовал, как скопилась жидкость в желудке. Что-то, а с аракой он совладеет.

— Земли у нас маловато,— сказал хозяин.

Пироги поспели, и их поставили в центр стола. Запах жарившегося мяса доносил со двора ошметки дыма от костра. Запах был назойливый и терпкий. Хамыц потянулся за новым пучком зелени. Он взглянул на Батраза и прочел в его глазах вину. Потом отвернулся и подумал: «Так еще хуже. Между нами два года разницы и мой сын. Только брат ни при чем. Просто он не боялся слушать. Это я боялся. Я не слышал собственного сына. Я хотел заставить его говорить и пошел против богов. Батраз ни при чем...»

— На весь аул земли не больше чем снега на июль...— сказал старик.— Но мы привыкли. Нам хватает. Я сведу тебя к их участку. А хадзар их ты уж и так знаешь...

Хамыц поблагодарил. Вслед за ним поблагодарили и братья. Прислуживавший паренек плеснул араки в рога. Поверх пирогов уже дымился шашлык. В помещении было тесно, и время сюда не вменялось. Оно трудилось за порогом и подносило в дом плоды своих дел. Скоро закат прикроет небо и позовет новую ночь. Только ей не сменить предыдущую.

— Поздно уже,— сказал Хамыц.

— Мой дом — твой дом,— отозвался хозяин.

Хамыц покачал головой.

— Дела ждут.

Старец помолчал, но возражать не стал. Потом передал гостю почетный бокал. В комнату вбежал хозяйский сын и, выжидая, замер у стола. После того как Хамыц произнес тост и отпил из рога, старик кивнул и разрешил сыну сказать.

— Мы словили их мальчишку. На кладбище прятался. Сослан с холма заметил. Мы словили его. Он на дворе...

Ярость вернулась и заняла в суставах. Хамыц с трудом отвел в сторону поспешность вместе с пустым рогом и поднялся, как положено, только после хозяина. Они вышли из хадзара.

Мальчишку держали сзади за руки, и он уже не вырывался. Пыли на нем было столько же, сколько и страху.

— Где коня оставил? — спросил Хамыц и подумал, что мальчишка все-таки старше его сына.

Тот смолчал, и тогда человек за спиной с силой потрянул его за плечи.

— У меня нет коня.

Хамыц заставил его поднять ногу и внимательно осмотрел арчита. Затем приказал:

— Снимай.

Мальчишка медленно наклонился и скинул обувку.

— Пятки,— сказал Хамыц.— Покажи пятки.

Тот повиновался, и страху в глазах уже было больше, чем пыли на одежде.

— Отец его умер позапрошлой весной,— сказал старик.— Он был достойным человеком.

— Теперь они вернутся,— сказал Хамыц.

Старик покачал головой.

— Ни отца, ни матери. Под сель угодили. Тем незачем возвращаться. Воры в капкан не попадают. Сходи к тропе,— сказал он сыну.— Приведи коня.

— Они должны вернуться,— сказал Хамыц.— Все же они горцы. Дам им три дня. Трех дней достаточно.

Старик пожал плечами. Мальчишка не сводил с Хамыца глаз. Сумерки заглушили половину отпущенного на сутки света. В стороне дышали угли от костра.

— Через три дня ты убьешь меня? — спросил мальчишка.

— Не здесь,— сказал Хамыц.— Все будет по правилам.

— Небо возвратило тебе коня,— сказал хозяин.

— Одного. Их было пять. И нас пять братьев. Даю им три дня.

— Небо возвратило тебе коня руками мальчишки.

— Верно. Коня я оставляю, а мальчишку отпускаю обратно на небо, если оно не вернет всего, что забрало. Или законы адата не оно нам установило? Не небо?

Старик не ответил. «Я возьму это на душу,— думал Хамыц.— На то я и старший в роду, чтобы брать это на душу. Он все же взрослее моего сына. И одной крови с теми. Я больше не пойду против богов...»

Сквозь узкие щели в сарае он видел, как ссыпают с арбы плитняк. Голова шла кругом, но голод все не убивал его. Он не ел четвертые сутки, и до заката теперь оставалось совсем немного. Он не успеет умереть. Голод обманул его. Он зря старался. Вчера утром он последний раз помочился на каменный угол. Но не пить два дня оказалось тоже слишком мало. Его прирежут, как ягненка в жертвенный час. Он не сможет не кричать.

Дверь заскрипела, и в сарай робко вошел немой. Он постоял на порожке, опасливо примериваясь к расстоянию, которое предстояло одолеть. Мальчишка отвернулся и хотел презрительно сплунуть, но слюна повисла на губах белым сгустком. Он крепче схватился за стену. Слышал, как немой быстро прошагал за спиной, сменил миску и опротясь выскочил вон. Глухо щелкнул засов. Дурак, подумал мальчишка. До сих пор боится. Он вытер рукавом рот и присел на земляной пол. Задетая цепь сыто звякнула.

Главное — смотреть перед собой, тогда меньше кружится. Он снова прикрыл глаза, хоть больше и не верил, что получится. Сперва-то он верил и лежал часами на спине, сложив на груди руки, и уговаривал себя умереть. Иногда ему даже чудилось, что он поймал ее, но смерть всякий раз ускользала, едва он подымал веки, пряталась в потолок, и вместо нее спускался страх. Когда он засыпал, ему снился собственный крик. Сон всегда заканчивался криком, а что было перед тем, припомнить он не мог. Сначала забывал припомнить, а потом уж просто не мог, хоть и пытался. Когда еще руки его были гибкими, он прочно охватывал себя за плечи и давил локтями на грудь. Только дыхание все равно было сильнее. Прошлым днем он подполз к той стене, где торчал крюк, и обмотал шею цепью. Конец ее тогда еще был прикован к его лодыжке, так что пришлось выше подобрать ногу, чтобы влезть в железную петлю. Он долго ждал, пока не свело судорогой икру и не стало совсем холодно, потом ждал еще столько же, убеждая себя сделать это. А когда убедил, кинул ногу вниз. У него почти получилось... Немой все испортил. Он навалился сверху прямо на глаза и стал срывать с него цепь, а сам мальчишка помогал ему бешеными руками. Потом кашель прошел, и он снова мог слышать. Немой жалобно мычал и водил ладонями

по его ногам. Отдышавшись и перестав дергаться, мальчишка смотрел, как руки его подбираются к нему, ближе и ближе. Он смотрел и не мог помешать им. Потом руки впились кольцом тому в шею и нащупали на ней твердую точку. Немой отбивался, ударяя коленями его в пах, но руки все не слушались. Им просто не хватило сил. Уже тогда им не хватило сил, а немой боится до сих пор. Дурак, лениво подумал мальчишка.

Он покосился на миску, в которой парилась еда, но дальше не сделал ни движения. Прилег на землю и устался в потолок, слушая голоса снаружи и размышляя о том, почему немой смолчал. Один из них его язык разбирает. Если б пожаловался, уже бы было позади. Но с самого первого вечера никто в сарай и не заглядывал, не считая того раза, когда вошел Хамыц и разбил цепь на ноге. Дурак немой. Все дураки. И сволочь смерть.

Он что-то припомнил и вновь взглянул на миску. Он смотрел на нее несколько минут, потом ползком приблизился к ней и сдвинул миску в сторону. Блестело лезвие, он не обознался. Мальчишка взяла нож в руки и повертел его перед глазами. Слушая, как сгружают с арбы плитняк, он думал: верхний ярус уже снесли. Должно быть, от дома уцелел один хадзар. Из него они устроят времянку. И будут жать с нашей земли.

У него не хватит сил пустить нож в дело. Да и не того немой хочет. Он не может желать смерти своему отцу. А ему, мальчишке, второго раза не выдержать. Он не убьет себя. Нет, второго раза не снести. Тот просто чокнутый. Он хочет чего-то другого. Только мальчишке не понять. Он устал.

Откинувшись на спину, он полежал немного, дыша как можно реже, чтобы не мутило от запаха из миски. Он больше не верил в то, что станет совсем легким и смерть подберет его, невесомого и покорного, и помчит туда, где он встретит покой, и мать, и отца, и, может быть, деда, и брата с сестренкой — тех, настоящих, кого она, смерть, прибрала давно уже, прежде еще, чем те уяснили, что у них кто-то есть... Он не ел трое суток и еще целый день, но так и не сделался достаточно легким. Он только измучился и устал.

Он услышал, как кто-то скребется в дощатую стенку, и приподнялся на локтях. Потом он понял, но еще колебался, не решаясь двинуться. Он все равно не успеет. И закат уже ближе стены. «Они не простят немому. И я ему не прощу, ведь я не успею. Я уж точно не прощу», — думал мальчишка. Голоса снаружи ничего не знали и были глупыми, как ветер или смех. Как любое из того, что лежит снаружи.

Он встал и неровно пошел туда, где начинались доски. Немой уже не скреб. Он ждал. Мальчишка упал на пол и принялся взрыхлять ножом неподатливую почву. Он не думал о том, что громко. И впервые не думал о еде. С внешней стороны стены вкатилась слабая жидкая струйка. Он переждал, пока земля впитает влагу, размышляя о том, как когда-то душил друга. Он снова взялся за работу, вонзая лезвие в лунку и выгребая оттуда землю. О закате он почти забыл. Яма росла и свежела, как четкий след в сумерки, и была теперь сырой и жирной. Ласково угасал свет сквозь щели, но его это не тревожило.

— Так не бывает, — бормотал мальчишка. — Может быть как угодно, только не так. Иначе он не простит мне.

Он заметил, что порезал ладонь, и опустил руку во взросший холмик. Ранка забилась землей и чуть кровоточила, отдаваясь изнутри частыми толчками. Теперь он копал вбок. Едва ли он слышал дыхание с той стороны. Над ним скатались в вечер плотнеющие тени. Он сменил руку и подобрал ноги, упершись в стенку лбом. «Потом я напьюсь, — подумал он. — Я выпью всю нашу реку от поворота до аула...»

Хамыц глядел в западающее за горизонт небо и ненавидел его. Целый день он желал хотя бы грозы, хотя бы дождя — любого знаменения, но небо опять не помогло ему. Свод бесшумно и непреклонно свершил еще один круговорот и расслоился в желтом сумраке.

От долгого сидения затекла шея, и он потер ее, разгоняя кровь. «Я даже не спросил его, зачем вернулся,— подумал он о мальчишке.— Если, конечно, ему самому это ведомо. Только едва ли он знает. А коли и знает, так вовсе не то, что на деле. Но штука не в нем. И не в его гордости. В ином штука...»

Он сидел на голой коновязи спиной к дому и сараю, сложив меж ног руки и дожидаясь чьего-нибудь оклика. За эти дни из плитняка выросла у забора горка, от которой каждый из братьев старательно отводил глаза. Камни ценой в тридцать верст, туда и обратно, сложили посреди двора могилу — их позору, их же собственными руками,— будто не разумнее было раскидать плитняк прямо там, на месте, а остальное сжечь в первый же день, чтобы — ничего, кроме праха и тлена, ничего, кроме пепла на пяточке земли, вскормившей подлость...

Только ведь месть, покуда не пообвык, завсегда рукам работу ищет. Он опустил голову, слыша спиной присутствие сына. За трое суток он выучился слышать спиной. Его сын часами торчал у сарая, и ни разу он его оттуда не погнал. Вот в чем штука. А потом сам сбил цепь с ноги мальчишки. Цепь была лишь поводом. Батраз сказал ему про нетронутые миски, и он тут же, не откладывая, взял тесак, молоток и направился к сараю. Только он не стал смотреть мальчишке в глаза. Он не смог себя заставить, хоть затем и пришел.

Его сын стоял за спиной, а в остальном было тихо. Тревога уже не копилась, а просто присохла изнутри липкой гарью.

Они похитили не коней. Они похитили надежду. Или то, что в нем было вместо нее. И небо вдобавок подсунуло этого мальчишку и выделило тому на стражу его сына. Оно опять схитрило. Оно всю жизнь с ним хитрило. Потому и сделало хозяином раньше срока, потому снабдило потомством, лишенным речи да и просто человеческого голоса. А после оглушило его самого — настолько, что не слышал собственного сына. Слышал Батраз и слышала мать его ребенка, только та не в счет: мать ведь всегда слышит.

А когда он захотел что-то исправить, оно отняло у него надежду да еще принудило шагать по бескрайней дороге к своему позору с седлом на плечах, и рядом — жирная овца... Оно вернуло ему коня, но так и не вернуло братьям, хоть те не по своей вине потеряли. И теперь он ждет чьего-нибудь оклика.

Он смотрел, как стекает за гору закат, как по следам его крадет-ся ночь, и длинно размышлял.

Вздумал с ним тягаться, и оно, небо, покарало его. Братьев он взял для отвода глаз, сказав, что в крепость дом присмотреть (будто было на что покупать!), а они поначалу не поняли, но ничего не спросили: на то он и старший. Но когда сделали привал в полуверсте от Святого куста, им стало ясно. Быть может, и раньше — иначе зачем им овца, самая жирная в стаде? И зачем бурдюк с аракой? Он вздумал солгать и выбрал будний день, чтобы с рассветом принести богам жертву и просить их спасти сына; и дать ему быстрый язык вместо ленивого; и спасти отца в нем самом; и мужа тоже, ибо за семь лет он перестал быть и мужем, не только отцом. Он долго терпел свое безверие.

Веру он потерял давно. С тех самых пор, как она убила его отца. Его нашли в ближнем дзуаре, в святилище, с перекошенным ядом лицом и раскинутыми по полу руками. Они исцарапали всю землю вокруг, а святые дары откатились к стене. Там же, у стены, отыскивали потом и гнездо — тихую ямку с гладкими краями. Только никакой

змеи там уже не было. Никакой змеи, лишь насмерть отравленная вера в искаженном лице.

Через несколько дней он вернулся туда. Сперва ему не было страшно, и он не спеша обложил дзуар сеном. Вставало утро, ветер дул ему в спину. Он глядел, как занимается пламя, и глотал сладкую слюну. Ему хватило сил запалить все сено, а потом стоять и ждать, когда огонь примется за постройку. Дым чернил пожаром спугнутое небо и бежал за облаками. Хамыцу не было страшно, и он лишь отошел в сторонку, чтоб лучше видеть. Несколько раз что-то треснуло внутри, и он подумал: кости или рога. Костей там много, охотники на жертвы не скупились.

Он досмотрел до самого конца, до тлеющего обугленного острова. Так что теперь нужно было шагнуть да пнуть ногой подпорки. Только он не стал этого делать. Это было страшнее даже, чем поджигать. Ему никогда не было так страшно...

Когда сын родился, сперва Хамыц запрещал себе думать о каре. И даже тогда, когда думали все, и после, когда все смирились. Он ждал два года, но сын так и не заговорил, хотя и не молчал. Это-то хуже другого было. Дом полнился его рваным мычанием из беспомощной глотки и сторонился крошечных суетливых рук. Только он, Хамыц, решил ждать и третий год, но сам перестал говорить с женой и за семь лет ни разу ее не коснулся. Да, он ждал еще семь лет. И когда понял, что то не возмездие ей (не может быть возмездием его мұка!), и понял, что лгал — лгал давно и даже прежде, чем превратился для нее в негомо сам, добровольно, — больше уж молчать не мог и тогда вспомнил про Куст. Разрешил себе про него вспомнить.

Он все же пошел к богам, но — и против богов, потому что — в будний день, обманув сына, жену и братьев, желая сделать все как бы ненароком, невзначай, попутно... Только невзначай не каются... Он ненавидел небо.

А оно предчувствовало, готовилось и знало еще с весны, когда впустило его гостем в дом людей, готовых стать врагами. Когда позволило болтать и хвастаться конями. Когда свело его три дня назад с одним из них на дороге и показало этих коней. Когда Хамыц смотрел в его глаза, а оно, небо, уже знало и не заставило его насторожиться. Оно знало и потому наслало той же ночью пудовый сон на всех шестерых, из-под которого сам он выбрался последним, а первым — сын, немой, но не глухой, видевший и видимый, испуганный и недвижимый, пока тот не убрал ружья и не рванул с поляны в плотную ночь. И даже копыта их не пробудили. Только выстрел, но было поздно. Сын сам взвел курок и сам же выстрелил. А он, Хамыц, вскочил, и не понял, и ударил его наотмашь по лицу, хоть сын был ни при чем. Он как умел боролся с немотой, влитой в него отцовой кровью... Вот в чем штука!..

«Я знаю, — сказал он себе. — Оно хотело, чтобы я смирился раньше. Много раньше. Оно хотело, чтобы я просил тогда еще, в самом начале. Чтобы я стал перед ним на колени и закидал алтарь жертвами. Чтобы принял эту немоту и сдался, а потом умолял небо о милости. И хотело всем показать мою покорность. И чтобы я признал свою кровь порченой. Ему нужно было мое раскаяние. А теперь еще нужен и грех мой. Оно хочет в жертву мальчишку. Дело не в нем и не в конях. Дело во мне».

Он вспотел и трудно дышал, распахнув на груди бешмет и прочно упершись в землю ступнями. Воздух был прохладный и густой, будто вымокшая в ливень бурка. И был темный. Хамыц чувствовал першение в горле и нервный трепет пальцев. Спустя немного он успокоил свои пальцы и обернулся на шаги. Мальчишка двигался, пошатываясь, от сарая к дальнему концу забора. Он был тонкий и прямой, как обглоданная кость, и Хамыц подумал: не дойдет, а коли и дойдет — не перелезет. Он наблюдал, как мальчишка прислонился

к забору, повис на нем, а потом перекинул тело наружу. Сын бежал, воздев в мольбе руки и жалобно скуля на своем языке. «Бедняга, — подумал отец. — Еще не знает, что я уже решил. Пусть без знаменья. Может, опять против неба. Пусть я его буду бояться всю жизнь. Я решил. И да простят меня мои братья!..»

Он подхватил сына на руки, слушая ладонями испуганное сердце и приказывая себе выдержать...

Мальчишка спал всю ночь. Дважды он просыпался и едва успевал выползти за порог, как его тут же выворачивало. Потом он снова возвращался к циновке и укладывался близ немого. Пахло теплом, и, окунаясь в сон, он успевал вспомнить, что стосковался по этому запаху. Он спал до самого утра, а после, опять наевшись до отвала, спал еще и в дороге, лежа на тряской арбе.

Когда он слез у своего хадзара, Хамыц подал ему корзину с едой и снова спросил:

— Не передумал?

Мальчишка отрицательно мотнул головой и спрятал руки за спину.

— Бери, — сказал Хамыц.

— Мы не договаривались, — ответил он.

— Ну так можем договориться, — сказал мужчина. — Бери.

Мальчишка взял корзину и, поразмыслив, сказал:

— К лету верну. И огниво тоже. К лету я раздобуду свое.

Хамыц усмехнулся и кивнул. Из-под холстины он вытащил цепь и тоже протянул мальчишке.

— От моего сына. Тебе ведь нужна цепь?

Тот согласился. Мужчина развернул коня и тронул. Мальчишка крикнул ему вслед:

— Летом я привезу ему овцу в подарок! Ты передай! Я верну корзину и подарю твоему сыну овцу!

Хамыц не оглянулся. Он ехал быстро и был уже у поворота.

— Летом мы опять будем в расчете! — прокричал мальчишка, сложив крыльями ладони у рта.

На улицу высыпали соседи, и он коротко их поприветствовал. Вошел в хадзар, сложил у стены корзину и цепь, достал из-за пазухи нож и бросил рядом, потом уселся на пол, подобрав колени к подбородку. Он оглядел пустой дом, поискал глазами хоть что-нибудь, но ничего не увидел. Изнутри дом был таким же точно, как когда они его покидали. Только лестница теперь вела прямо в небо. «Ладно, — решил мальчишка. — Мне ярус ни к чему. Я и без яруса стерплю».

Он опять задремал, уткнувшись носом в колени, но потом спохватился и встал. Вышел во двор и наскреб по пучкам охапку соломы с разоренных крыш. Потом собрал под навесом ключья шерсти и смастерил себе постель. Очаг он разводить не стал. Как-нибудь перебьется: несколько дней всего. Заняться больше по дому было нечем, и он сходил на улицу, чтобы уж разом закончить все дела. Он подождал за забором, и когда сосед вышел к нему, поздоровался и сказал:

— Мне нужно ружье без патронов.

Сосед молчал, озадаченно теребя бороду, и тогда он добавил:

— Ты дашь мне ружье без патронов и возьмешь взамен урожай с моей земли. Не весь, понятно. Часть сыновья твои сложат в моем амбаре. Седьмую часть зерна. А лучше — помолла. Только сейчас ты дашь мне ружье.

— Зачем тебе? — спросил сосед, и мальчишка сурово взглянул на него.

Они помолчали. Потом мальчишка произнес:

— Я могу предложить и другому.

— Ладно,— сказал сосед,— Пошли в дом.

— Позже,— ответил мальчишка.— Когда досуг будет. Сейчас мне позарез нужно...

— Ружье,— перебил мужчина.— И без патронов.

— Точно,— сказал мальчишка.— С ними, с патронами, возни много. Да и пальнуть всегда охота.

— Но тебе, конечно, недосуг...

— Неси,— сказал мальчишка.

Сосед пожал плечами и направился к хадзару. Мальчишка глядел в раскрытую дверь и злился от чужих взглядов. Он еще не привык. Ему нужно чутье времени. Совсем немного. И тогда он заставит привыкнуть даже их.

Он повертел в руках ружье, оцупал приклад и курок, потом кивнул соседу и пошел к себе в дом. Ружье он прислонил к холодному углу, даже не взглянув на него больше. Затем улегся на тощую постель и почти тут же заснул.

Проснулся он, когда стемнело. Впотьмах пошарил руками в золе очага, нащупал лучину и взялся за огниво. Добыв огонь, он запалил лучину и воткнул ее в золу. Потом откинул крышку с корзины и наскоро перекусил соленым сыром, лепешкой и куском холодного мяса. Он поднял ружье, загасил лучину и вышел из хадзара. Небо было звездное и глубокое. Луна томилась светом меж вершин.

Он зашагал по дороге к нихасу, затем перешел на тропу и двинулся к кладбищу. Шел он тихо, мягко ступая босыми ногами и стараясь не думать о холоде. У самого погоста он остановился и надел арчита. Глаза освоились с темнотой, и он без труда отыскал могилы. Он отложил в сторонку ружье и нежно припал поочередно к каждому камню. Теперь ему было не страшно. Он слушал щекой и грудью прохладу камней, и ночь не мешала ему разговаривать с ними.

Спустя немного он присел на корточки, подпер скулу рукой, пытаясь не жмуриться и упрощая себя быть мужчиной. Но рот уже расплывался по лицу, и ничего с ним поделаться было нельзя. Мальчишка всхлипнул, напрягся, снова всхлипнул, но не совладал с подбородком и разрыдался. Слез было много, кулаки за ними не поспевали. Плач рвал его тело на части и топил в себе разбухший от влаги голос. Мальчишку трясло и метало по земле, а ночь будто сделалась меньше, слабей. Потом все прошло, и он отер рукавом взмокшее лицо. «Я больше не буду,— подумал он.— Да и не я это. Просто те дни из меня вылились. Стоило только вдводем напиться, как они и полились. Это ничего. Это случайно. Теперь я буду ждать. Вся моя работа — ждать столько, сколько надобно».

Он глядел на камни и звезды, размышляя о том, что жизнь вот бродит меж ними, а как умрет — поделится и разбежится по звездам и камням. Ночью с ними можно разговаривать.

— У меня есть друг,— сказал он могилам.— Он тоже немой. Только не такой, как дядя. Тот со страху немой. И от страху толстый, ест и ест. И никто ему ничего не скажет, потому как ничего он и не разберет. Лишь глаза выпучит и прижмется. Как вас обвалом убило, так и онемел. Сам-то выжил, а страху не вынес. Да я видал его. Это когда вас откапывать стали, меня увели, а его-то я видал. Весь в камнях заваленный, наружу одна голова торчит да руки вокруг бегают. Уже тогда язык отнялся. А руки до сих пор бегают, вот только ноги не слушаются... Нет, мой друг не такой... Я ему овцу задолжал. К лету на что-нибудь выменяю.

Он замолчал, оцупал порез на ладони. Тонкий бугорок, будто пучок волос приложили. Трогать его было приятно. Он прислушался, взгляделся во тьму, потянулся за ружьем и, не вставая, спугнул с холма змею прикладом. Потом зевнул и поднялся, чтобы малость взбодриться. «Я привыкну»,— подумал он.

Он почти привык за шесть ночей. Сутки раскололись на две половины, из которых одна начиналась затемно, а другая наступала с рассветом. Возвращаясь ни с чем в потухший от безмолвия дом, он всякий раз находил у дверей кувшин и прикрытую крышкой миску с едой. Он отставлял их в сторону, покуда не опустела корзина, а потом уж брал с собой, не чувствуя ни стыда, ни благодарности. В первое утро он вновь отправился к соседу и сказал, что перепутал: восьмая часть. Восьмая, а не седьмая с каждого помола. Но взамен ему нужен карс да пара-другая циновок на зиму. Так что они снова в расчете. И теперь есть шуба и есть отличная постель. Очага он по-прежнему не разжигал и лишь настрогал лучин в лесу. Пришлось потратить полдня и долго карабкаться босиком по дальней горе, но он берег арчита, а за свои подошвы не беспокоился. Они были твердые и шершавые, все равно как сосновая кора, так что простуда его не взяла. В лесу он решил, что, когда немного высвободится, отловит себе беркута или белку. Сейчас было рано: мужчина разом два дела не делает. Он еще с первым не покончил. Потому, отоспавшись и переждав сумерки, брал он ружье и снова шел к погосту.

Закутавшись в грубый карс и подсев к могилам, он принимался за беседу. Говорить было удобно и тепло. За эти ночи он многое им пересказал и немало вспомнил с ними. Ночью не надо было закрывать глаза. Он видел и так.

Вспоминал и видел, как он, еще малыш, заигрался на ярусной веранде с солнечным лучом, видел, как споткнулся об отцову ногу, как покатился вниз по крыше. Как повис над хадзаром. И снова видел крепко сжатый рот и белое, враз заболевшее лицо. И видел, как зарорал во всю глотку, а глаза на лице сожгли его крик. Отец стоял на его рубахе и не делал ни движения, вцепившись руками в свой пояс. Он стоял так, пока не покрылся мелкими каплями и пока не подоспели те, кто имел право взять на руки его ребенка. А когда они подоспели, капли слились в одну большую и скопились на подбородке. Мальчишку подняли, и отец еще мешал, не сразу сняв сапог с его рубахи, а как снял, двинулся было уйти, но шаг срезался, и он тихо присел на гладкую пологую крышу и потом сказал: «Уберите его». И мальчишку потащили к лестнице, а он все глядел на отца и его спину, ровную, как лед. А потом она переломилась и захлебнулась кашлем. Он кашлял, чтобы убрать с лица белое. Он был настоящим мужчиной, думал теперь мальчишка. Только против обвала разве устоишь! Дядя вон хоть жив остался, а все одно себя потерял. Оттого и руки его собственные признать не могут. Даже умыться не умеют, а когда они с младшим дядей принесут кадку с водой, только препятствуют да толкаются.

Про это он не любил вспоминать, и чаще ему приходило на память что-нибудь другое. Как они ходили с дедом к искореженной вершине или как шила одежду мать, как прятала потом свои пальцы и как никогда не прятала взгляда, как родились брат с сестренкой и как гудит река в дождь, как выползает трава из-под камней или как пахнет ушедшее время...

Глаза у деда — у его настоящего деда — были маленькие и уютные. Они были похожи на проталины в снегу, а иногда — на крохотные гнезда. Дед умел молчать часами, и тогда было видно, что молчание его толковой любой работы. Он сводил его к разбитой горе и показал с вершины реку, что когда-то отравила нижний аул и принудила смерть выстроить для себя склепы. Малые домики без дверей, с одним лишь окном и нишей для пищи. Он сказал, что там теперь только кости и что никто туда не ходит, к той реке. И даже звери. А мальчишка спросил про воздух, и дед ответил, что тот ни при чем. «Если б воздух, то и мы тогда, — сказал дед, — но мы уцелели». Выходит, что река. Она отравила. А спустя двести лет сбесилась и накинута на склепы. Потому так мало, сказал он. Ее об-

вал заставил, сказал он, и она бросила прежнее русло. А пища — так оттого, что надеялись. И потом сказал: «Не бойся, мы не пойдем туда».

Мальчишка помнил все слово в слово и думал ночами о том, что память — то же лицо. Может стареть, но никогда не сотрется полностью. Он вспоминал, как лежала в горячке мать и как нельзя было проникнуть на женскую половину. И как он украдкой приподымал шкуру, но она не замечала его, широко раскидав глаза, а слезы падали на подстилку и рисовали там пятно. Как в тот же вечер уехал в крепость отец, чтобы возвратиться, когда уж боль смешается с памятью. И как утром перед тем он, мальчишка, стоял здесь же, на этом самом месте, и смотрел на тяжелый могильный камень, один на двоих, думая: «Они ничего не поняли. Они родились в один день и в один же час умерли. Они были меньше, чем моя шапка, меньше, чем седло, на котором их привезли. Они и не поняли, что у них кто-то есть. Они просто не успели. Теперь они старше нас всех и даже старше деда».

Но потом дед тоже умер, и они сравнялись в возрасте. А потом сравнялись с ними мать и отец. «Они в земле и в звездах,— размышляла мальчишка, глядя на плиты и завернувшись в тепло.— Я сторожу их и звезды. Я буду ждаться сколько потребуется».

Прошлое пахло землей и солнцем. И многим другим. Оно пахло словами и огнем от очага. Оно не пахло мглой. «Я не знал тогда, что такое ночь,— говорил он.— Я узнал лишь недавно, как она пахнет. Только оно, недавно, еще не сделалось прошлым. Для того надо бы прежде дело докончить. Афсин ведь их все равно заставит. Афсин не похожа на них. Она заставит...»

Так что на шесть сутки он почти привык. Только он не думал, что тот придет один. Он думал, их будет двое. Он увидел его раньше, чем тот приблизился, и потому успел схватиться за ружье. Потом поднялся и почувствовал, как дрожит тело. Человек подошел и сказал:

— Убери.

Мальчишка не послушался и наставил тому дуло в грудь. Он крепко держался за ружье, но оно ходило ходуном в его руках.

— Глупец,— сказал старший дядя.— Убери, не то и впрямь стрельнет.

Мальчишка покачал головой. Человек постоял, что-то прикидывая в уме, потом присел перед ним на корточки.

— Уходи,— сказал мальчишка. Голос прорвался сквозь дрожь и был хриплым и кратким, как скатавшееся в комок время.— Уходи,— повторил он.

Человек размышлял. Потом сказал:

— Ты опозори наш род. Ты не вор. Ты воришка. Сперва ты опустишь эту штуку, потом я задам тебе трепку и уж после возьму в охапку и отвезу за перевал.

— Ты встанешь и уйдешь. Эта земля уже позабыла тебя,— произнес он заготовленные слова.— Ты бросил ее на откуп. Поднимайся и иди,— сказал мальчишка и подумал: это хорошо, что без патронов.

Они помолчали. Он смотрел в дядино лицо и ненавидел их сходство. Мужчина прищурился и сплюнул.

— Порку можно оставить и на потом. Убери ружье.

— Всегда успею,— сказал мальчишка, и в голове пронеслось: «Я готовился к этому шесть дней. Я был уверен. А теперь трясусь со страху. Но должен бояться он. Ведь он не к такому готовился».

— Ладно,— сказал дядя.— Ладно. Если уж так хочешь, можешь и с ним идти. Я не против. Иди с ружьем, коли так хочется.

— Я украл у тебя коня,— сказал мальчишка.— Теперь могу взять себе и второго. Для этого надобно только пальнуть.

Мужчина вскочил и сжал кулаки, но сделал лишь шаг.

— Все! — закричал мальчишка.— Все! Теперь стой!

Он зажал ружье стылými пальцами и думал: «Если подойдет, я ткну ему в лицо железом. Я побегу к реке. Лучше уж я утону».

Дядя опустил руки и глухо выругался. Они долго молчали. Так долго, что у мальчишки устало сердце. Потом он услышал:

— Мы возьмем их с собой... Не сейчас. Позже. По весне мы приедем все вместе и заберем их с собой. Если ты из-за них...

— Они будут лежать здесь,— сказал мальчишка.— Они не воры.

— Глупец,— сказал дядя.— Боги покарают тебя.

— Боги помогут мне. Я не вор. И не батрак.

— Будь ты проклят.

«Еще немножко,— подумал мальчишка.— Совсем малость. Я дотерплю. Это хорошо, что без патронов. Скоро небо забледнеет, и он уйдет». Они молчали до тех пор, пока у мальчишки не унялась дрожь. Руки его запотели, но перехватывать ими ружье он не стал. Дядя сказал:

— Там добрая земля. И князь попался щедрый...

Мальчишка отрицательно замотал головой. Потом сказал:

— Передай афсин, что я ее помню. Это ведь она тебя прислала.

— Она хочет, чтоб ты с нами был.

— Я помню ее. Так и скажи.

— Старик тоже хочет.

Мальчишка смолчал. Звезды стаяли, и с гор задул ветер. Теперь и о свете вспомнит. Ветер вспомнит о свете и прихватит его с собой. Мальчишка не сводил глаз с дядиного лица и видел, что и тот уже ждет и просто нужен повод. Ветер поможет им обоим.

— Зря ты,— сказал мужчина.— Ты слишком мал. Ты думаешь, что это правильно. Ты ошибся. Пошли. Конь заждался.

— Это не мой конь,— сказал мальчишка.— За своего я уже рассчитался. Иди. Тебя увидят. Ты чужак здесь. Сам это выбрал. Я устал держать ружье.

— Ну так опусти.

— Не могу. Ты же знаешь, я не могу его опустить. Клянусь могилами, я этого не сделаю. Иди...

— Могилами жив не будешь,— сказал дядя.— Ты околеешь с голоду.

— Я справлюсь. Скажи афсин, что я справлюсь.

Он смотрел мужчине в лицо, не мигая и будто бы не дыша даже, и видел, как оно белеет перед ним, растекаясь морщинами. «Вот и все,— думал он.— Все же я выдержал. Стерпел. Он больше уж ничего не скажет. Я не знаю, что он может еще сказать. Теперь я за них не в ответе, я перестал быть вором...»

Он вернулся к дому, поднял с порожка миску, кувшин и вошел внутрь. Присел на постель, отложил ружье и сразу принялся за еду. Он съел все, что было в миске, запил из кувшина пивом и растянулся на циновке во весь рост, слушая, как болят мышцы. Он не заснет. Лишь передохнет немного. Солнце пробралось в распахнутую дверь и прилипло к полу желтой полоской. Аул доносил сюда свои проснувшиеся звуки и ни о чем не ведающие слова. Лежать было приятно. Мальчишка вспомнил, что не скинул с плеч карс, но было лень шевельнуться.

Потом он понял, что пора, и тяжело поднялся. Взял с пола цепь и пошел к очагу. Прикрепив ее над золой, сказал молитву и развел огонь. Потом долго смотрел на него, вдыхая жар, отхлебывая из кувшина и думая о том, что в доме теперь есть хозяин. Он подсыпал углей и стал думать о свете, сменившем длинную ночь, и о том, как

долго не было дождя. А после думал про цепь, что сперва его едва не задушила, а затем ждала шесть дней, прежде чем повиснуть над очагом и принять в себя святость. Он думал про то, что она заслужила это.

Потом он сходил за водой, разделся догола, умылся и смочил волосы. Сбил пыль с одежды, тщательно отряхнул арчита и, облачившись заново, надел шапку. Подвязал ремешком нож к талии и вышел на улицу. Он двигался не торопясь вверх по дороге, не обращая внимания на взгляды. Он шел к нихасу, считая шаги и говоря себе, что привыкнет.

Он достиг площадки и постоял немного, выждав, когда смолкнут старики, потом громко поздоровался. Ему кивнули в ответ и теперь вопросительно глядели на него, ничего не понимая. Он сжал зубы, положил руку за пояс и повторил приветствие, только опять никто из них не встал. Тогда он подошел вплотную и спросил самого древнего из них:

— Разве очаг в моем доме погас? Или, может, вы знаете другого хозяина моего дома? А может, это уже и не нихас?..

«Я заставляю их подняться,— думал он, глядя в растерявшиеся лица.— Чего бы это мне ни стоило, я их заставляю...»



ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

*

СТАТЬИ. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

«НО ВСЕ Ж Я ПРОЧНОЕ ЗВЕНО...»

Владислав Ходасевич принадлежит к тем русским поэтам, которые написали свой «Памятник». Восемистишие с этим заглавием датируется 1928 годом, и хотя автору предстояло жить еще одиннадцать лет, стихов он в это последнее десятилетие уже почти не писал, так что и в самом деле «Памятником» поэт сознательно и ответственно завершал свой путь. «Памятник» — редкий вид стихотворений, на который право имеют редкие поэты. Ходасевич знал за собой это право, но памятник он себе поставил мало похожий на классический державинско-пушкинский образец. В этом торжественном жанре он вывел себе неожиданно скромный итог; он отказался от громкого тона и пафоса и оставил нам выверенную и взвешенную, сдержанную и трезвую формулу своей роли и места в поэтической истории:

Во мне конец, во мне начало.
Мной совершенное так мало!
Но все ж я прочное звено:
Мне это счастье дано.

Счастье и гордое и скромное — быть, послужить, остаться прочным звеном. Скромное в своей гордости и гордое в своей скромности. Но — звеном в какой цепи, в какой связи, в какой традиции, если здесь же сказано: «Во мне конец, во мне начало»? Этот вопрос задается стихотворением, и касается он самой сути поэзии Ходасевича и судьбы поэта.

В судьбу входило осознанно избранное литературное одиночество. «Мы же с Цветаевой... выйдя из символизма, ни к чему и ни к кому не пристали, остались навек одиночками, „дикими“!»¹, — вспоминал Ходасевич. В самом деле, именно эти двое среди больших поэтов первой трети XX века до такой степени не связывали свой путь, хотя бы на время, ни с каким художественным и философским направлением эпохи, школами, группами и «цехами». Сам Ходасевич эту свою литературную неприкаянность не раз объяснял промежуточностью рождения и поколения между «начинавшим себя исчерпывать» символизмом и еще не сложившимися новыми течениями. Н. Берберова назвала его «поэтом без своего поколения». Однако он был одного поколения с Городецким и Гумилевым, учредителями петербургского акмеизма, к которому «не пристал», вероятно, не только лишь потому, что был москвичом. С самого вступления в литературу Ходасевич очутился «на перекрестке двух дорог», который затем в его судьбе воспроизводился все заново и по-новому и на котором в конце концов он увидел свой будущий памятник. На перекрестке определялся его одинокий и «дикий» путь. Ходасевич рано почувствовал себя «поэтом-потомком» (Ю. Айхенвальд) — на-

Составление и подготовка текста статей С. Г. БОЧАРОВА и И. П. ХАБАРОВА. Примечания к статьям С. Г. БОЧАРОВА. Публикация архивного материала и комментарии к нему С. И. БОГАТЫРЕВОЙ.

¹ Владислав Ходасевич. Белый коридор. Воспоминания. Нью-Йорк. «Серебряный век». 1982, стр. 13.

чале по отношению к еще живому и современному движению русского символизма, а затем ко всей классической традиции. Ходасевич был навсегда ранен и зачарован символизмом, к которому опоздал родиться. С юности попав в «символическое измерение» (как он рассказывал в своем «Некрополе»), он знал изнутри его соблазны и яды, которые не уставал фиксировать и анализировать, вновь и вновь обращаясь к символизму как главному магниту, до конца дней притягивавшему его критическую и литературно-теоретическую мысль, какая была столь сильной в этом поэте,— но знал и «вечную правду» (по его же слову) символизма, от которой трудно было отграничить грехи и яды. «Сложная, во многом порочная, но в основах своих драгоценная культура»,— писал он в одной из поздних уже статей. В историко-литературной концепции Ходасевича — а такая была им выработана, и она собирает в цельность россыпь пристальных наблюдений в сотнях его критических статей и в эпохальных воспоминаниях — символизм был последней большой культурой, имевшей духовное обоснование, в чем он уже отказывал следующим движениям, в том числе «так называемому акмеизму». В этом последнем видел только литературную школу, символизм был дорог ему как «последовательное мирозерцание». И эта характеристика была решающей в том сложном балансе оценки, которой для Ходасевича подлежал символизм. Философия и эстетика символизма — преображение жизни в творчестве, высокий образ поэта, открытие «реальнейшей» реальности — были серьезной истиной для Ходасевича и связывали для него символизм с классическими ценностями русского XIX столетия. «Для Блока его поэзия была первейшим, реальным духовным подвигом, неотделимым от жизни. Для Гумилева она была формой литературной деятельности» («Некрополь». Брюссель. 1939, стр. 118—119). Если этот графически четкий анализ, проводящий ясные линии разграничений между сложными явлениями и внутри их самих, столь отличающий ум Ходасевича — мемуариста и критика, если этот анализ и не полностью справедлив, «объективен», то лишь потому, что тот перепад от символизма к постсимволистской эпохе, который он пережил как перерыв поэтической цепи, вероятно, более значимый для него, чем перепад от классического века к символизму, и который формировал и собственную его «двуликую» позицию и судьбу,— этот перепад он пережил не нейтрально и «объективно», что навсегда отложилось в его суждениях и оценках непобедимым притяжением к отошедшему символизму и неизменным отталкиванием от акмеизма.

Но он опоздал к символизму, и самое притяжение было обусловлено непреодолимой уже дистанцией. И дистанция эта была неизбежно критической, и даже нередко резко и беспощадно критической. В «Некрополе» Ходасевич выступил свидетелем (впрочем, также не нейтральным и беспристрастным свидетелем, но в то же время и соучастником, по удачному слову Н. Струве²) и историком символистской эпохи. Позиции не только мемуариста-свидетеля, но и историка символизма он ждал и желал от Андрея Белого — об этом мы читаем в статье о «Начале века» Белого, впервые перепечатаваемой в настоящей подборке статей Ходасевича со страниц парижского «Возрождения». Главный упрек Ходасевича Белому тот, что мемуарист эпохи не взял на себя миссию историка драгоценной эпохи, соскользнул из истории символизма в автобиографию. Вряд ли упрек справедлив, потому что вряд ли Белый подходил на роль историка — не только субъективно, по свойствам своей стихийной личности, но и объективно, по своему положению одного из центральных персонажей эпохи, которой историю надо было писать. Это самому Ходасевичу вследствие его исключительной, словно бы на роду написанной и в то же время сознательно выбранной биографически-творческой неукорененности и неангажированности было доступно то совмещение трудносовместимых позиций интимной связанности и критической дистанционности, соучастника и историка, какого напрасно было ему ожидать от Андрея Белого.

(Говоря о статье «Начало века», надо нам оценить вещь пронизательность Ходасевича, задолго до наших дней предвидевшего, что Россия вспомнит имена религиозных мыслителей, персонажей книги Белого, имена, предававшиеся тогда поношению, в том числе специальному поношению в приписанном к книге «Начало века» предисловии Л. Каменева. «И тогда,— писал в 1934 году Ходасевич,— с большим почтением, чем даже нам сейчас кажется, она назовет имена многих людей, которые изображены в книге Андрея Белого». Отдадим сегодня должное этому предсказанию.)

² См.: Никита Струве, «„Некрополь“ В. Ходасевича» («Вестник русского христианского движения», № 127, 1978, стр. 114).

Тема неукорененности и беспочвенности была сподна пережита Ходасевичем как личная тема. Это она породила мощное стихотворение про кормилицу Елену Кузину:

И вот, Россия, «громкая держава»,
Ее сосцы губами теребя,
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклонить тебя.

В Ходасевиче не было русской крови, а выкормлен был он «не матерью, но тульской крестьянкой», с молоком которой высосал мучительную связь с Россией и самое свое бытие в русском языке и в русской поэзии. Высосал, а не получил в прирожденное наследство, какое получают «с молоком матери». Биографический факт поэт возвел в неслыханный символ и сотворил в этом стихотворении свой персональный поэтический миф. Об этом необычайном стихотворении было сказано, что когда-нибудь оно будет выбито на памятнике Ходасевичу³. Эта ассоциация с памятником недаром, особенно если иметь в виду не слишком классический «Памятник» самого Ходасевича. Ибо тот, кто «язык, завещанный веками», не просто обрел как естественный дар, но, как первый в ряду, ему причастился трудным усилием («высосал»), он же в завершающем самосознании представил парадоксальный образ прочного, но одинокого звена, отъединенного от цепи («Во мне конец, во мне начало»). Драму своего положения в современности поэт возвел к физиологическому корню, с такой остротой и таким размахом осмыслив простой по сути, биографический факт. Оказывается, «на перекрестке двух дорог» он уже находился не тогда лишь, когда вступал в литературу в молодые годы, но в самом природном истоке своего бытия — между матерью и тульской крестьянкой, кровью и молоком, кровью и языком, отечеством, культурой, традицией:

И пред твоими слабыми сынами
Еще порой гордиться я могу,
Что сей язык, завещанный веками,
Любовней и ревнивней берегу...

В самом деле: культура символизма была лишь ближним ценностным ориентиром для Ходасевича, который зорко при этом видел ее специфические внутренние инфекции, внутреннее «декадентство». За спиной символизма располагалась классическая традиция, «завещанная веками», миссию хранить которую любовней и ревнивней иных в современности он на себя принял. «В стихотворстве своем Ходасевич защитился от символизма Пушкиным...» — писал Владимир Вейдле⁴, автор бесспорно лучших критических работ о поэте, и он же: «...чувство того совершенно особого отношения, в каком находятся стихи Ходасевича ко всему прошлому русского стиха»⁵. «Классическая роза» была для него единым державинско-пушкинско-баратынско-тютчевско-фетовским наследством, на которое он равнялся через голову современности. Развивая свои ведущие темы, «поэт-потомок» словно бы отступал на шаг и два в глубину поэзии: так, главная тема «Путем зерна» и «Тяжелой Лиры» — тема души-Психеи, «каким-то пламенным чудом» живущей «помимо меня», она очевидно содержит в себе две проекции на экраны двух неравнозначных традиций: сквозь символистское двоемирие стремится укорениться в тютчевском «как бы двойном бытии». Ходасевич пестовал древний символ зерна, в программном стихотворении 23 декабря 1917 года объединив в этом символе заодно со своей душой и свою страну и ее народ как идущие в этот год тем же путем смерти и чаемого воскресения — «путем зерна». Тем же символом озаначалась и поэтическая традиция, которую он при этом видел как бы вне времени, вернее, во временах, превращающихся одно в другое, временах воскресающих: «Видите ли, надо, чтобы наше поэтическое прошлое стало нашим настоящим и — в новой форме — будущим... Вот Робинзон нашел в кармане зерно и посадил его на необитаемом острове — взошла добрая английская пшеница... Вот и с традицией надо, как с зерном». Так он говорил в одном своем парижском интервью. «Пушкин-

³ См.: Юрий Иваск, «Похвала Российской поэзии» («Новый журнал», 1985, № 159, стр. 128).

⁴ Владимир Вейдле. О поэтах и поэзии. Paris. «YMCA-PRESS». 1973. стр. 45.

⁵ В. Вейдле, «Поэзия Ходасевича» («Русская литература», 1989, № 2, стр. 148). Далее цитируется эта статья В. Вейдле, появившаяся в «Современных записках» в 1928 году (т. 34).

ская поэтика» была для него тем вечно возвращающимся каноном русской поэзии, с позиций которого он из эмигрантского уже далека наблюдал совершившееся в советской поэзии 20-х годов и видел по преимуществу разрушительные процессы — разрушение строя русского стиха и русского языка, — приписывая их главным образом работе «бесов» российского футуризма. О вере же своей в неизвестно когда грядущее возрождение классической нормы в статье 1927 года с пушкинским названием «Бесы» говорил в терминах чуда, подобного описанному самим Пушкиным, —

И ветхие кости ослицы встают,
И телом оделись, и рев издают...

Так и в пророчестве Ходасевича: «...разрушенные члены русского языка и русской поэзии вновь срastутся. Будущие поэты не будут писать «под Пушкина», но пушкинская поэтика воскреснет, когда воскреснет Россия».

В критических разговорах о Ходасевиче всегда шла речь о его традиционализме и «классицизме». В то же самое время чуткие критики признавали его поэтом не просто современным, но современнейшим — «самым глубоким современником наших последних десяти лет», писал В. Вейдле в 1928 году (отмерим эти десять лет, чтобы представить себе, в каких исторических рамках формировалось это качество современности поэзии Ходасевича). Зинаида Гиппиус еще точнее и ближе считала время, когда писала о поэте, «принадлежащем нашему часу; и даже, главным образом, узкой и тайной остроте этого часа»⁶.

Сам Ходасевич мерил свою поэзию более крупной категорией в ека, подобно таким поэтам прошлого, как Баратынский и Тютчев, а из современников Ходасевича — Мандельштам. В поэзию этих творцов «век» входит на правах особого рода лица, героя, в соизмеримый контакт с которым вступает поэт. «Век» — это мера той большой, эпохальной, исторической современности, до выражения и осознания которой вырастает поэт.

Одно из поздних стихотворений Ходасевича обращено к друзьям символистской поры, «друзьям погибших лет», для которых он не находит в сердце ни слова, ни звука (по свидетельству Н. Берберовой, было написано «после долгого разговора о символизме и символистах»):

Быть может, умер я, быть может —
Заброшен в новый век,
А тот, который с вами прожит,
Был только волн разбег,

И я, ударившись о камни,
Окровавлен, но жив,
И видится издалека мне,
Как вас несет отлив.

Конечно, пушкинский «Арион» вспоминается сразу («Арион эмиграции» — эта слава, утверждаемая одними, отвергаемая другими, была у него в Париже). Но в отличие от пушкинского новый Арион не поет прежние гимны, он слушает новый век, в который заброшен. «Выйдя из символизма», как сам он считал, Ходасевич ушел далеко во времени от символизма, но он не был среди «преодолевших символизм», по известной формуле. Он ушел в «новый век», не преодолевая, но сохранив известные «заветы символизма» как свои верховные принципы. В новом веке он оказался вписан в то состояние мира, которое было предсказано «одним из драгоценнейших русских поэтов», как называл Блока Ходасевич («Некрополь», стр. 71). «Фигура Ходасевича появилась передо мною... как бы целиком вписанная в холод и мрак грядущих дней» — так вспоминала Н. Берберова первое впечатление («Курсив мой»), а Владимир Набоков переиначивал применительно к наступившей реальности, в посмертной статье о поэте видя его «сквозь холод и мрак наставших дней»⁷. «Быть может, умер я, быть может — брошен в новый век...» В собственных стихах Ходасевич не раз фиксировал перелом, поворот, с которого он родился заново как поэт, и поворотом этим было рождение нового века — война и революция.

Это сам я в год минувший,
В Вожьи бездны соскользнувший.

⁶ «Возрождение», 1927, 15 декабря.

⁷ «Современные записки», 1939, т. 69, стр. 262.

Пересоздал навсегда
Мир, державшийся года,—

стихи 1921 года. «Ходасевич как поэт выношен войною и рожден в дни революции» (В. Вейде). Муза его словно ждала этих больших событий, чтобы дать большого поэта. Третьим определяющим катастрофическим событием стала эмиграция и познание «европейской ночи» между двумя мировыми войнами. В таком историческом горизонте осуществилась поэзия Ходасевича.

«Неслыханные перемены» в мире вошли в нее не только как тематический материал — они забродили в ней, пересоздав ее как поэзию, которая приняла в себя давление нового века как свое кровавое давление. Образ этих перемен «в душе и в мире» у Ходасевича — «пробелы, как бы от пролитых кислот». Тютчевское «как бы» как знак высокой старинной поэтики в применении к ядовитой метафоре, взятой из химического и технического обихода и дающей образ опустошения, вытравления, под который человек XX века может подставить многие ядовитые процессы века, от газовых отравлений в первую мировую войну до нынешних экологических разорений (самый же ядовитый — пролитые кислоты на «углы памяти» нашей), — вот контрапункт поэзии Ходасевича. А исходное нарушенное состояние — классический мир — в предыдущей строке: «Здесь мир стоял, простой и целый...» Время снова вышло из суставов, и стих Ходасевича принял в себя его вывих. «Вывихивая каждую строку», — описывал стихотворец свою работу. Как же, ведь именно это делали его враги в поэзии, футуристы? Но у него иная цель: «Привил-таки классическую розу к советскому дичку». Но все-таки — отчего же путь к этой цели так деформирован и изломан, негармоничен? Да и гибридный результат далековат по смыслу от органического пути зерна. Стих Ходасевича наполнялся этими внутренними современными изломами, никогда не утрачивая при этом классического строя как верховной позиции поэта, как императива, долженствовавшего возобладать над пестрой стихийностью материала. Классический этот строй осуществлялся выбором словаря и метра, и особенно культом ямба, который стал у Ходасевича не только размером — мироощущением (В. Б. Микушевич) — и которому он посвятил свое последнее в жизни стихотворение.

В известной статье «Промежуток» (1924) Юрий Тынянов заявил, обратившись среди других поэтов к Ходасевичу и делая цитатную отсылку к стихотворению про Елену Кузину: «В стих, «завещанный веками», плохо укладываются сегодняшние смыслы». Это не только оценка поэта, это общая позиция, противоположная и даже враждебная позиции Ходасевича. Он любил в своих статьях поминать афоризм, который приписывал Дельвигу, именуя его «правилом Дельвига»: «Ухабистую дорогу не должно изображать ухабистыми стихами». Он именно не хотел соответствия строя и формы стиха «сегодняшним смыслам», что бы значило подчинение им поэта. Напротив, замкнуть «сегодняшние смыслы», которым он глядел все более прямо в лицо, неподобной им поэтикой — в этом была его героическая попытка в отечественной поэзии нашего века. То не была иллюзорная гармонизация дисгармоничного, от «гармонических красот» Ходасевич отказывался:

И в этой жизни мне дороже
Всех гармонических красот —
Дрожь, побежавшая по коже,
Иль ужаса холодный пот...

Он знал правду этого острого человеческого контакта с миром, не подлежащим гармонизации, но своему стиху не позволял уподобиться этой дрожи и этому поту. Он ведь и свой предсмертный стон мечтал облечь в отчетливую оду — вот предельное высказывание эстетики Ходасевича. Не что иное облечь в отчетливую оду как предсмертный стон, и не в мирный упокоительный вздох его облечь, а в отчетливую оду. Можно сказать, что подвиг преодоления здесь доходит до экстремизма и рождает эффект, возможно, не предусмотренный: от пафоса до гротеска здесь только шаг.

Из «тмы гробовой, российской» в начале 20-х годов поэт уходил в «европейскую ночь». Уходил не пустой — с тяжелой лирой в руках, врученной ангелом под штукатурным небом и солнцем в шестнадцать свечей в петербургской комнате с окном на Невский. Комната преобразалась в той первой «Балладе» в черные скалы, современный поэт — в Орфея. Дар преобразования, бывший для Ходасевича главным определением поэта согласно заветам классической и символистской эстетики, которым он был верен, — этот дар никогда не был так силен и свободен в нем, как в пореволю-

ционные российские годы, в период «Тяжелой Лиры», при первом крещении музы катастрофическим новым веком:

А мне тогда в тьме гробовой, российской,
Являлась вестница в цветах,
И лад открылся музический
Мне в сногшибательных ветрах.

Во втором крещении эмиграцией и европейским миром муза утрачивала сияющий облик, а вдохновение делалось заклятым; ангелы вдохновенья, загнанные поэтом «по дьявольским кварталам», измучены: «Измученные ангелы мои!»

Когда в душе все чистое мертво,
Здесь, где разит скотством и тленем,
Живит меня заклятым вдохновеньем
Дыханье века моего.

Это уже на исходе творчества, уже за гранью последней книги стихов «Европейская ночь». Но ведь уже и с первых стихов европейского цикла появился этот новый мотив: «Я полюбил железный скрежет какофонических миров». В одной из статей 30-х годов Ходасевич писал о «медиумизме, который необходим, чтобы свою эпоху почувствовать и воплотить». Медиумизм и преображение — оба дара нужны поэту, и вместе они составляют поэта, но часто они уживаются в нем не мирно, и особенно так бывает с поэтом, возросшим на потрясенной исторической и духовной почве, на какой возрос как поэт Ходасевич. В стихах «Европейской ночи» он приблизился к низинам дикой цивилизованной жизни, каким предстал ему послевоенный (и предвоенный, что он предвидел тоже) западный мир.

В этом состоянии современного мира была для Ходасевича одна основная характеристика; в чем она — мы можем увидеть, обратившись к статьям Ходасевича, ниже печатаемым, точнее, в первую очередь к двум из них: к очерку, открывающему предлагаемую подборку, и статье, ее закрывающей, — «Помпейский ужас» и «Умирание искусства». Один из младших литераторов тогдашнего русского Парижа пишет ныне в воспоминаниях: «Мы с остатками упоения цитировали старого Блока с его мятежами, метелями и масками, восхищаясь пророчеством, а нового зарева над христианской Европой не разглядели вовремя»⁸. Ходасевич разглядел это новое зарево, и именно так — как зарево над христианской Европой. Этот традиционный постоянный эпитет Европы и был той точкой зрения, с которой ее нынешний образ предстал ему — и прозаику и поэту.

Если поставить в связь две названные статьи Ходасевича разных лет, то связью этой словно будет воздвигнута историческая дуга, внутри которой и помещалась для Ходасевича история христианской Европы. К «готическому острию» христианства как выходу и спасению из «помпейского ужаса» приводит в своем завершении первый очерк, умирание же искусства обосновано иссяканием христианской почвы европейской культуры в статье 1938 года. Еще не христианская Европа и уже почти не она («пост-Европа» — подхватывал он словцо П. Муратова) — две эти статьи очерчивают пределы, до которых раздвинулась мысль Ходасевича в европейский последний его период. Образ «европейской ночи» и возник в таком историческом кругозоре. Несколько острых моментов важны Ходасевичу в облике «пост-Европы». Это прежде всего демонизм скрытых сил, движущих современностью, ее пронизанность разного рода незримыми «икс-лучами», как пронизано существо человека и мозг его разят непрерывно сквозь него проходящими радиоголосами:

Встаю расслабленный с постели.
Не с Богом бился я в ночи,—
Но тайно сквозь меня летели
Колочих радио лучи.

Бился в нынешней европейской ночи в отличие от той библейской, в которой Иаков боролся с Богом: эта отрицательная отсылка к вечному прообразу ориентирует сегодняшнее лирическое событие на плане большой истории. Вот где вспомнишь воистину слово З. Гишпиус об узкой и тайной остроте нашего часа, доступной Ходасевичу.

⁸ В. С. Яновский. Поля Елисейские. Книга памяти. Нью-Йорк. «Серебряный век». 1983, стр. 9.

О, если бы вы знали сами,
Европы темные сыны,
Какими вы еще лучами
Неощутимо пронзены!

Затем — отношения художника с веком, ставшие делом творческой жизни и смерти для поэта Ходасевича. Автор статьи «Умирание искусства» описывает эти отношения с помощью простой метафоры: художник вместе со всеми современниками «дышит воздухом» века. Мало того: он глубже своих современников дышит им. Воздух же современности характеризуется иссякновением «религиозного кислорода»; процесс религиозного остывания в новой Европе происходил на протяжении последних столетий, но Ходасевич специально выделяет ближайшую современность — послевоенные два десятилетия, когда «художник, наконец, оказался вполне окружен холодом стратосферической атмосферы, где религиозного кислорода, необходимого его легким, уже почти нет».

А теперь еще раз вспомним: «Живит меня заклятым вдохновением дыханье века моего». Не только он им дышит глубже иных современников, но это дыханье его живит как поэта. «Я полюбил железный скрежет» — полюбил, конечно, особой любовью художника, любовью медиумической, без которой ему не «почувствовать», не «воплотить» свою действительность, какова бы она ни была. Некогда Флобер первый с такой мучительной остротой пережил новую для европейской эстетики задачу — необходимость вжиться и вчувствоваться в отталкивающую буржуазную современность, при человеческом отвращении к ней «полюбить» ее художественно. Автор «Европейской ночи», придя в нее со стороны, шел на подобный опыт, но в далеко продвинувшихся исторических обстоятельствах и на попроще не романного эпоса, но лирической поэзии. В стихах последнего цикла Ходасевич встретился с современным европейским человечеством и сделал попытку войти в плотные слои его бытия как поэт.

В статьях он резко говорил об этом человечестве как о «безбожной массе» (см. «Умирание искусства»). В стихах пытался проникнуть с пристальным вниманием в человеческие портреты отдельных лиц из массы, что позволило В. Вейдле говорить о поздней его поэзии как о поэзии если и не от имени, то «во имя» чужой души Другого человека — простого человека из европейского социального низа: берлинской Марихен за пивную стойкой, старика из жуткого стихотворения «Под землей», портного-солдата Джона Боттома, безрукого, идущего в синама с беременной женой. В последней фразе «Умирания искусства» автор помянул «„среднего европейца“ нашего времени», хуже первобытного дикаря отчужденного от искусства, от религиозного корня искусства. Этот персонаж, конечно, попал в статью Ходасевича из Константина Леонтьева, писавшего еще в 80-е годы прошлого века о «среднем европейце, как идеале и орудии всемирного разрушения». Об «идеале» и «орудии» этом, знающем как духовные ценности кинематограф и спорт, немало сказано Ходасевичем в его статьях. Однако образ «среднего европейца» куда сложнее в стихах «Европейской ночи». Очень не прав был Набоков, когда заявил в рецензии на «Собрание стихов» Ходасевича 1927 года, что «так восхитительна стеклянная прелесть образов» в стихах, дающих картины городской жизни и жалких ее персонажей, что совершенство изображения парализует здесь человеческие чувства, жалость к этим «убогим жителям» — их, по Набокову, не испытываешь, «и это хорошо», заключал он по-набоковски. Набоков не прав, хотя и в самом деле не об обычной сентиментальной гуманности должна идти здесь речь, но и не об одной «стеклянной прелести образов». Скорее уж о работе трагического резца, о трагической светотени, если вспомнить при этом название, какое Андрей Белый дал своей статье о Ходасевиче и каким он сочетал современное и классическое в лике этого поэта, — «Рембрандтова правда в поэзии наших дней». Властное притяжение обыкновенно-страшной реальности — вот что испытывает поэт «Европейской ночи». «Я за ними долго шагал» — так он выслеживал этот новый в его поэзии жизненный пласт (стихотворение «Сквозь ненастный зимний денек...»). Поэт познает в «Европейской ночи» трагическую серьезность существования человека массы как нового субъекта-объекта современной истории (опыт Ходасевича эмигрантской поры — поэта и эссеиста — здесь соотносился с теми размышлениями, на которые наводила новая роль «среднего европейца» в истории XX века таких его мыслителей, как Ортега-и-Гасет с его «Восстанием масс» или Романо Гвардини),

Новый, неизвестный ей прежде демократизм был приобретением поэзии Ходасевича в «Европейской ночи». Но долгого дыхания на этом пути его поэзия не обрела. Наверное, можно сказать, что она надорвалась на этом пути. В «Умирании искусства» — еще раз вспомним эту статью — размышляя над книгой В. Вейдле, Ходасевич писал о «параличе преображающего начала» в европейском искусстве нашего времени. Самого его, вобравшего в поэтические легкие дыхание века, который он признал своим, не мог парализать этот не коснувшийся тоже. Всего более дорогая ему способность преображения не могла не страдать от заката вдохновенья:

Не легкий труд, о Боже правый,
Всю жизнь воссоздавать мечтой
Твой мир, горящий звездной славой
И первозданною красой.

Последние слова последней книги стихов Владислава Ходасевича. Концовка, венчающая стихотворение «Звезды», книгу «Европейская ночь» и в известном важном смысле всю в целом его поэзию.

Видимо, недаром пушкинская статья 1927 года «Девяностая годовщина» (она тоже входит в нашу подборку) заканчивалась на теме нового звука как «признака поэтической жизненности» или его отсутствия как признака близости к поэтической смерти. Нет сомнения, что тема эта волновала самого поэта Ходасевича в тот момент, когда он о ней писал. 1927 — для поэзии Ходасевича это год критический, год завершающего «Собрания стихов» с «Европейской ночью», поставившего вопрос о дальнейшем пути. И вот в статье он ставит рядом два дорогих имени — Пушкина и Блока, одного — идущего на гибель с новыми звуками на устах, и другого — умершего от утраты «звука». Сопоставление это похоже на заклинание судьбы, потому что похоже, что не только о Пушкине, но о себе самом говорил автор статьи, описывая «совсем новые, очень горькие, очень сухие» настроения позднего пушкинского творчества. Это надежда — быть с подобными настроениями и «звуками» на пушкинском пути «зарождения еще какого-то нового периода» в творчестве, а не на блоковском — исчерпанности «звуков» и судьбы. Однако был он скорее уже на пути блоковском.

Вновь мы вспоминаем парадокс его «Памятника» — одинокое, но прочное звено в поэтической эволюции. Шесть протекших десятилетий подтверждают прочную обоснованность этой скромно-гордой самооценки. Ходасевич вошел в историю словесности нашего века, поддержанный в его литературном одиночестве поэзией, завещанной веками, связь с которой он, как звено, держал сознательно и прочно, и жгучей своей современностью, голосом которой он так же сознательно стал, — современностью Ходасевича, не изжитой нами во многом и до сих пор.

С. БОЧАРОВ.

ПОМПЕЙСКИЙ УЖАС

Жить в двух часах от Помпеи шесть месяцев и уехать, не повидав ее, — неприятно, немислимо. А все почему-то откладывал, точно какое-то было предчувствие. Наконец — я решился. А было 13-ое апреля¹, да еще понедельник: день — дважды тяжелый.

В трамвае до Кастелламаре, в поезде до Торре Аннунциата, потом на извозчике. День мутноватый, солнце лишь изредка, но дышится тяжело. Дорога белая, пыльная, сорная. По сторонам — огороды, канавы, какие-то буераки. Иногда — дома из ноздреватого туфа, с плоскими крышами, без карнизов, с незастекленными окнами, — те итальянские дома, которые с первого дня своего рождения кажутся руинами. Все голо, плоско, пыльно, каменно, выжжено солнцем и выедено ветрами: долина помпейская. Какая-то древняя скука носится над дорогой. Кажется, пепел Везувия здесь вьелся во все.

Везувий висится слева, коричнево-ржавый. Вершина его в парах. Почти черные возле кратера, они, высветляясь, рассеиваясь, белесоватым облаком тянутся к юго-востоку.

У входа в Помпею — маленькая площадь, запруженная автомобилями и пролетками. Она замыкается небольшою гостиницей «Hôtel de Suisse». Это бойкое учреждение у ворот мертвого города сразу напоминает те торговли крестами, венками и памятниками, что любят жить возле кладбищ.

От входа ведет к раскопкам закругленная дорожка, опратно посыпанная песком, обсаженная густою зеленью. Здесь, после шумной площади, сразу становится тихо, только поскрипывает песок. И дорожка похожа на кладбищенскую.

По бокам кое-где стоят ситцевые носилки — для тех, кто слишком болен или слишком богат, чтоб ходить пешком. Иногда в глубь дорожки — «туда» — проносят людей. Похоже на кладбище.

Но вот вступаем в ворота: *Porta della marina*. Справа, под сводом, дверь в маленький музей. О, какой ужас! В конторе кладбищенской вам только скажут, кто где лежит, — а здесь покажут нутро могилы, то, что в ней совершается. Здесь собрана часть утвари, найденной при раскопках: блюда, миски, оружие, баночки для румян, дверные замки, статуэтки. И тут же — сами жильцы: слепки людей, засыпанных пеплом. Один, скорченный скелет в лохмотьях, кажет рот, полный зубов; другой накрыл голову тогой — жест последнего отчаяния; третий — голый, лежит на спине раскорякой, в стеклянном гробу. Собака в широком ошейнике, сведена конвульсией, свернулась, как гусеница. Здесь — вскрываются «тайны гроба». Здесь насилуется целомудрие могилы, ее единственное право — право на сокровенность.

Выходим, вступаем в «город». Что-то есть потрясающее в его мертвенной тишине и опрятности. По количеству сохранившихся улиц, площадей, стен, — это отнюдь не груда развалин. Это, действительно, город, но город, с лица которого стерто все временное, случайное, минутное, сорное: Помпея обмыта, убрана, «обряжена», как покойница.

Беззаконные спины домов, обращенные к улицам, почти одинаковы. Видимо, здесь строения были однообразны и при жизни города. Оголенные временем, лишенные облицовки, они теперь разнятся не более, чем могилы на кладбище.

Тесные, но прямые, ровные улицы открывают простейшие перспективы, пересекаются под прямыми углами. Они гораздо прямее, чем улицы современного итальянского городка. На угловых домах прибиты однообразные дощечки с нумерацией районов и кварталов. На каждом доме — особый номер; на перекрестках, у троттуаров, воткнуты на железных стержнях дощечки размером побольше — с названиями улиц: измышление полезное, даже необходимое для ориентации туристов. Но при взгляде на номера и названия, упорно каждый раз вспоминаешь, что воскресший помпейнин именно из-за них тотчас заблудился бы в своем городе: все это примерные, условные обозначения, данные в наше время, по произволу ученых: точь-в-точь, как на кладбище, где живые, ради своих удобств, дают названия улицам мертвецов.

Как посетители кладбища, не сливаясь с его пейзажем, здесь бродят туристы. Птичьими стаями перепархивают кучки молодых пестрых англичанок. Порой, из-за низкой стены, как из-за мавзолея, выглядывает рыжеусая голова немца. Движения у всех растерянные. Только кустоды² и гиды здесь ходят и говорят уверенно. Только для них, как для кладбищенских сторожей и могильщиков, мертвое бытие Помпеи является повседневностью, бытом.

Но все же, при всяческих сходствах Помпеи с кладбищем, все время чувствуется, что есть и какая-то важная, существенная разница. И вдруг начинаешь ее понимать.

Кладбище идиллично. Мир царит там. Тех, кто закончил свой земной путь, мы относим на кладбище, в город покоя и покоя. Что могила для нас? *Parva domus, magna quies**. А в этих вот малых домиках как раз великого покоя и нет. На кладбище — примиренность; здесь — только ужас. Все умерли, но никто ни с чем не примирился. Здесь погребены люди, захваченные смертью не только в середине земного пути, но, можно сказать, с ногой, поднятой для следующего шага. Здесь все умирали в ужасе, в неистовстве, в страсти, в бешенстве. Это в тысячу раз ужаснее, хуже, чем поле сражения. Там умирают тоже насильственной смертью, — но всякий отчасти заранее готов к тому, главное же — видит в том хоть какой-нибудь смысл: на поле сражения одним движет патриотизм, другим — радость подвига, героической позы, третьим — сознание долга, четвертый — на худой конец — идет, потому что ему приказано. Здесь же никто не видал никакого смысла. Погибли в бессмысленном ужасе и, по свидетельству Плиния, многие богохульствовали³, — конечно, именно потому, что сидели, пили, ели, торговали, обмеривали, обвешивали, дрались, обнимались. И вдруг: — А вот, ты сейчас умрешь, не допив, не доев, не дообмерив, не дообвесив, не додравшись, не дообнявшись...

...Когда ж без сил любовники застыли,
И покорил их необорный сон,
На город пали груды серой пыли,
И город был под пеплом погребен.

* Малый дом, великий покой (лат.).

Прошли века — и как из алчной пасти
Мы вырвали былое у земли,
И двое тел, как знак бессмертной страсти,
Нетленными в объятиях нашли.

Поставьте выше памятник священный,
Живое изваянье вечных тел,
Чтоб память не угасла во вселенной
О страсти, перешедшей за предел! 4

Боже, какое бездушное декадентство!.. «Поставьте выше!..» Нет, Бога ради, спрячьте, никому не показывайте, заройте опять!

Здесь смерть прошла, всех скосив, никого не высвободив из земной личины, не очистив от скудной и жалкой страсти. Когда человек умирает в болезни, в изношенности своего тела, — от него постепенно отходят его земные дела, спадает случайное, временное, как заботы, хлопоты, всяческие черты профессии. Спадает маска — обнажается лицо. Умирает не сапожник, не врач, не актер, — а человек, раб Божий. То же и при внезапной смерти, если смысл ее как-нибудь осознан: геройством, жертвой, может быть, даже самоубийством, желанием «вернуть билет». Есть момент очищения, катарсиса, во всех этих смертях. В Помпее не было его. Как были, такими и умерли: не «человеками», а — булочниками, сапожниками, проститутками, актерами. Так и «перешли за предел» — в грязных земных личинах, покрытые потом страха, корысти, страсти. В Помпее на каждом шагу открывается ужас — смерти «без покаяния», превращения в «запредельного» булочника, в «запредельного» содержателя таверны или лупанара.

Поэтому и похожа Помпея не только на кладбище, но и на нечто похуже того: на дом, где ворвавшиеся разбойники разом вырезали жильцов. Люди варили, жарили, ели, дышали луком, — тут их и зарезали. Видим разбросанные остатки еды, рвань одежды, разбитую утварь, следы короткой отчаянной схватки. Жутко, а благоговения нет, как всегда на месте бессмысленной катастрофы.

В Помпее охватывает ужас не перед количеством жертв. Тут современный человек своими рассказами мог бы напугать добрых несколько тысяч Плиниев. Страшно здесь не количество, а качество умираний.

Оттого, что дома и домишки здесь повернулись спиной к улице, — входя внутрь, каждый раз ощущаешь какое-то вороватое чувство: будто ты не вошел, а забрался, закрался в дом. Влезашь — и чудится, будто сейчас вот из этой клетушки или из той, из каково-нибудь колодца, вылезет на свет Божий хозяин, потревоженный тобой. Может быть, тот самый раскоряка, что лежит в стеклянном гробу. Вылезет — и дхнет на тебя, да не адским огнем, — а луком, восемнадцати с половиной вековым луком. Крепкие запахи римской кухни как бы пронесются над Помпеей. Город был маленький, но с достатком; город торговый, ремесленный, деловой; здесь знали цену деньгам и всякому плодородию, эмблемы которого всюду разбросаны в виде разных быков, козлов, свиней, вепрей — и еще более выразительных изображений; много здесь было публичных домов и кабаков, население крепко любило хорошо поесть, попить, выспаться. И погибла Помпея в час ужина.

Здесь очень грубая, жирная, липкая жизнь перешла в такую же грубую не благолепную смерть. И не знаешь, что тягостнее: то ли, что сохранилось получше, или то, что сильнее разрушилось: там явственнее следы душевной жизни, здесь — душевной смерти. Здесь жили и умерли в полутемных, тесных клетушках, без окон, с единственной дверью.

Кажется, мне было бы жутко и противно пройти здесь босиком. А уж рукой к чему-нибудь прикоснуться — нет, ни за что на свете. Был со мной очень странный случай в юности. Придя домой из гимназии, нашел я на подоконнике небольшой круглый сверток. Газета на нем была мятая и дырявая. Я сунул палец в дыру — и отдернул с омерзением и страхом, — жесткие волосы и сухая кожа. У меня на окне лежала... человеческая голова. Да, да — настоящая отрубленная человеческая голова: мумия, привезенная в подарок. Этот случай Помпея напоминала на каждом шагу.

В публичном доме клетушки самые душные, самые тесные. Они очищены не вполне: черные остатки пепла здесь вьелись во все, вероятно — вместе с остатками античной грязи и человеческого пота. Черный, чуть-чуть жирноватый налет на всем: на широких каменных ложах, занимающих каждое — половину полутемного чулана; на тонких перегородках, на косяках дверных дыр, с которых исчезли занавеси (да полно, может быть, их и не было?); в трещинах облупившихся картинок, изображающих т а к и т а к о е, что сразу становится тошно смотреть и трудно дышать; и, наконец, извините, в круглодырной доске отхожего места (совсем тут же, между клетушками), которое не без гордости показывает кустод;

ведь, может быть, это — единственное античное. И когда выберешься на улицу — мнится, вдогонку тебе еще летят возгласы Петрониевых героев: ведь гнусные, нудные, вечно-пошлые, непроглядные, как помпейская ночь, события «Сатирикона» разыгрались немного позднее — но именно в этих самых местах.

И ходя по другим домам, по другим клетушкам, созерцая безвкусную помпейскую живопись, с ее мелочным рисунком и негармонической пестротой клеенки, — каждый раз молишь Бога, чтобы комнат было поменьше, чтобы скорее отдать этот долг культуре и снобизму. И даже то, что получше (например, маленькая, не по-здешнему живая, наумахия⁵ на одной из стен), — не радует. На эту наумахию приятно смотреть; еще приятней — бежать отсюда.

Лишь на минуту, где-то вдали, за решеткой, мелькает мне милый образ Орфея — единственное упоминание о духе в этом городе заживо погребенных. Но мимо — и снова нечем дышать в этом античном сумраке.

В гимназических учебниках — и то пишут, что христианство принесло в мир готическое острие — взлет вывсь. Здесь как-то воочию познаешь эту простую истину. Безвзлетный, косный, приземистый куб помпейского дома — какая безвыходность, какая плотность, какая тоска! И эти миллионнопудовые тяжести, обманчиво-легким пеплом спадающие с рационалистических небес латинского мира, — о, какая безвыходность! Тут веришь и видишь, как велика, вероятно, была в некоторых душах тоска по Спасителю — от духоты, жары, плоти, пепла.

Жарко. Осталось осмотреть еще два-три дома. Перспектива улицы заканчивается громадой Везувия, точно в нее упирается. Я поднимаю глаза — и вижу: на черных, дымовых клубках, играв, вспыхивают лиловые, винного цвета, отсветы. Это — не огонь, это только его отражение на клубках пара. Но — все равно! Там, высоко над Помпеей, дышит драконья пасть. Вспоминается: «Злое пламя земного огня»⁶. И кажется, что земля начинает теплеть под ногами. Бежать отсюда!

О, милый, живой, веселый извозчик, везущий в Каstellамаре! О, милая, живая неископаемая лошадка, бойко мчащаяся, увозящая прытко — с каждой секундой все дальше отсюда!

Извозчик, оказывается, видел меня в Сорренто. Он оборачивается, заводит всякие разговоры о моей национальности, о семейном положении. В другой раз я, быть может, уклонился бы от разговора, притворяясь англичанином. Но сейчас — я напрягаю все свои познания в итальянском языке и отвечаю на все вопросы, чтобы извозчик расположился ко мне и почаще хлопал своим бичом. И так весела, так прекрасна — где-то слева, вдали, высокая белая колокольня.

Печатается по тексту первой публикации в газете «Последние новости» (Париж, 1925, 10 мая). Повторная авторская публикация, под заглавием «Помпея», с небольшими изменениями в тексте, — «Сегодня» (Рига, 1937, 23 июня).

¹ 13 апреля 1925 года, в последние дни полугодичного пребывания Ходасевича и Берберовой у Горького в Сорренто, близ Помпеи, перед отъездом в Париж. Очерк написан (и тут же опубликован) по свежему впечатлению.

² Кустоды (лат. *custodes* — стражи) — смотрители.

³ Из письма Плиния Младшего Корнелию Тациту: «...многие воздевали руки к богам; большинство объясняло, что нигде и никаких богов нет, и для мира это последняя вечная ночь» («Письма Плиния Младшего». М. 1982. стр. 109).

⁴ Из стихотворения В. Я. Врюсова «Помпеянка» (1901); цитируется неточно.

⁵ Наумахия — изображение морской битвы.

⁶ Строка из стихотворения Вл. Соловьева «Вся в лазури сегодня явилась...» (1875).

ДЕВЯНОСТАЯ ГОДОВЩИНА

Пушкин умер в три четверти третьего часа пополудни, в пятницу 29 января 1837 года по старому стилю. По новому это было 10 февраля. Следовательно, сегодня — девяностая годовщина смерти Пушкина. Это, конечно, не юбилейная цифра, — но я ведь и говорю всего лишь о годовщине. А которая она, — в сущности, не все ли равно? Каждый год в этот день какая-то боль в душе, боль странно живая, словно бы от недавней, личной и — как бы сказать? — обидной утраты.

Недавно одна писательница заявила, что она не может примириться со смертью Пушкина, потому что вообще не мирится со смертью поэта, хотя бы дело шло об Орфее. В таком виде это, конечно, звучит по-институтски. Но, несмотря на наивную форму, тут

есть и нечто верное. Со смертью Пушкина и в девяностую годовщину ее как-то «не миришься». Не потому, что он был поэт (и поэты смертны), но потому, что умер таким молодым. Опять же: тридцать семь лет — уж не слишком мало, не юношею был Пушкин, — но ведь так явственно ощущается, что его жизнь оборвалась именно «на середине пути». К этой «середине» он уже непомерно был утомлен — и в то же время так необычайно был полон жизни. И все кажется, будто его зарыли в землю живым.

* * *

«Поэты всегда умирают вовремя, исчерпав себя до конца». Не помню, кто первый это сказал, но знаю, что многим это понравилось, и редкий сноб или снобик не повторял. Еще бы: ведь это и хлестко, и глубокомысленно, и почти «красиво», а главное — не требует доказательств, потому что недоказуемо. В частности, сколько раз приходилось услышать то же самое и о Пушкине: «Высказал все, что в нем было, — и умер. Больше уж ничего бы не написал».

Какой вздор! Совершенно напротив: потому-то утрата и ощущается до сих пор так болезненно, что ни секунды не было основания говорить о «закате» Пушкина.

Как человек он пал жертвой очень глубокой, сложной, отчасти даже запутанной житейской драмы. Точно в романе, множество обстоятельств, самых разнородных, постепенно сплетаясь друг с другом, к концу его жизни затянулись таким узлом, который, говоря объективно, вряд ли уже можно было развязать. Тут все было: и ложное положение при дворе, и запутанные отношения с правительством; была травля со стороны врагов — и колебалась опора в среде друзей; были донельзя трудные денежные обстоятельства; создавалась совершенно невыносимая обстановка в семье: ссора с отцом, полуссора с братом, денежные счета с сестрой и ее мужем, а главное — безвыходность положения в собственном доме: к январю 1837 года слишком замутнились отношения Пушкина с женой, с обеими ее сестрами, с новоявленным родственником Дантесом. Все это, повторяю, так смешалось, что нельзя было уже постепенно и поочередно улаживать отдельные частности: нужно было какое-то универсальное средство, которое разом исправило бы все личные и общественные отношения Пушкина. Такого средства, конечно, не было. Еще раньше он не раз пытался уладить все бегством в деревню, подальше от друзей и врагов, — это оказалось неосуществимым. Пушкин к моменту дуэли с Дантесом был, что называется, загнанный человек. Но, несмотря на отдельные минуты упадка, желания и надежда исправить жизнь были в нем очень сильны, этого забывать нельзя. Пушкин прежде всего хотел бороться. В известном смысле верно, что он «бросился на пулю Дантеса», — но это вовсе не было самоубийством. Наоборот, Пушкин к моменту дуэли был заряжен страшной жизненной силой, толкавшей его или погибнуть, или погубить Дантеса, погубить именно для того, чтобы наладить свою будущую жизнь. Другое дело — что было бы, если бы дуэль окончилась счастливо для Пушкина, если бы пал Дантес, а не он. Весьма позволительно думать, что положение улучшилось бы лишь частично и временно, что обстоятельства и люди, действовавшие против Пушкина, все равно, рано или поздно (и скорее рано, чем поздно), его сгубили бы. Но это лишь догадки, быть может, ошибочные. Как бы то ни было, сам Пушкин считал, что смерть Дантеса устроит, уладит все или хотя бы расчистит путь для улажения. И он шел на дуэль ради грядущих жизненных благ. Он хотел убить Дантеса, чтобы жить самому.

Это с особенной ясностью сказалось в самый момент поединка. Пушкин, в приготовлениях к нему, проявлял сильное нетерпение. Наконец, дуэль началась. Первый выстрел сделал Дантес. Пушкин упал и несколько времени оставался неподвижен, головой в снегу. Наконец, он приподнялся до половины и, опершись левой рукой о землю, стал старательно прицеливаться. Потом выстрелил. Когда Дантес пошатнулся и упал, Пушкин подбросил вверх пистолет и упал, закричав:

— Bravo!

После этого он снова впал в полубморочное состояние, но снова пришел в себя и спросил о Дантесе (разговор происходил по-французски):

— Он убит?

— Нет, но он ранен в руку и в грудь.

— Странно, — ответил Пушкин: — я думал, что мне доставит удовольствие убить его; но чувствую, что нет.

И затем прибавил, перебивая своего собеседника, д'Аршиака:

— Впрочем, это безразлично; если мы оба поправимся, придется начать все сызнова.

Сызнова начинать не пришлось: двое суток спустя Пушкин умер, — «с глубокой жаждой мщения», по верному слову Лермонтова.

Пушкин умер, расчищая себе путь к жизни.

* * *

Как бы ни были тесно связаны жизнь и творчество Пушкина, очевидно все же, что в известном смысле и в известной мере они должны были протекать обособленно. Жизненная кипучесть Пушкина до некоторой степени могла к 1837 году оказаться сильнее его творческих возможностей, и то обстоятельство, что он хотел и «располагал» жить, еще не доказывает, что он не иссяк к этому времени поэтически. Но в том-то и дело, что в сфере творческой ко времени последней дуэли Пушкина все обстояло гораздо благополучнее, чем в сфере житейской.

Несомненно, что приблизительно с конца двадцатых годов критика и публика стали относиться к Пушкину холоднее, чем относились прежде. Последние главы «Онегина», «Граф Нулин», «Полтава», «Повести Белкина» уже не имели того успеха, как более ранние вещи Пушкина. То же надо сказать о третьей и четвертой частях его мелких стихотворений. Кажется, только «Пиковая Дама» оказалась достаточно «в моде» — да и то скорее в свете, нежели у критики. Но что это значит? Разве в действительности «Граф Нулин» слабее «Руслана и Людмилы»? Или «Полтава» хуже «Бахчисарайского фонтана»? Или «Анчар» — неудача в сравнении с действительно неудачным «Нозлем»? Слишком очевидно, что нет. Тут происходило другое. Отчасти Пушкин своими статьями и участием в «Литературной газете» настроил против себя часть критики, отчасти та же критика и публика постепенно начинали искать себе нового кумира, наскучив старым. Само же по себе творчество Пушкина в том объеме, как мы его знаем, со всем дошедшим и не дошедшим до читателей при его жизни, являет зрелище непрерывного и плавного роста, развития. Можно говорить о том, что в позднейших вещах Пушкин слишком перерос вкусы и понимания своих рядовых читателей и рядовой журнальной критики, — это будет верно.

Но мы, успевшие расцениться в его поздних созданиях, должны видеть, что в них нет ни тени, ни намека на упадок. Если угодно — «Медный Всадник» уже совершеннее «Полтавы», «Капитанская дочка» — несомненный шаг вперед по сравнению с еще слишком переводными «Повестями Белкина». Как же и на основании чего же могли бы мы говорить, что к концу жизни Пушкин «высказал себя до конца»? Кривая его творчества оборвана для нас на ее высшей точке. Чтобы утверждать, будто Пушкин в дальнейшем не сказал бы уже ничего нового, и хуже — будто ему предстояло падение или, в лучшем случае, повторение самого себя, — пришлось бы уже вступать в область предположений и гаданий, пришлось бы предположительно вычертить продолжение этой кривой: какова бы она была, если бы Пушкин остался жив?

Что ж, дело это не совсем праздное, особенно потому, что оно может кое-что объяснить в нашем подсознательном ощущении, в том, почему порой кажется, как я говорил, будто Пушкин зарыт в землю живым.

Темп пушкинского развития вовсе не одинаков на всем протяжении его жизни. Ребенком он пугал родителей своей «туповатостью». На первых порах лицейской жизни он ни в науках, ни в ранних поэтических опытах не опережал товарищей: сверстники были порой выше его, и Илличевский имел все основания поправлять стихи Пушкина. Зато со второй половины лицейского периода и тотчас по выходе из Лицея Пушкин совершает как бы резкий прыжок вперед, оставляя далеко за собой товарищей, вроде Дельвига, Илличевского, Кюхельбекера, и становясь в первые ряды «учрежденных» писателей, как тогда выражались. На юге России, а затем в Михайловском, Пушкин явно перерастает и этих. Не один Жуковский, но и Вяземский и другие с той или иной степенью дружелюбия вынуждены признать себя «побежденными учителями». Однако же вскоре после возвращения из ссылки этот стремительный ход опять замедляется. Пушкин уже достигает таких художественных высот, на которых столь же стремительное развитие, как прежде, уже немислимо. Для Пушкина наступает полоса более глубоких раздумий, многие затверженные понятия и воззрения своей юности он принужден пересмотреть. Мне кажется, что именно где-то около 1827 года произошел важный поворот в религиозных взглядах Пушкина, затем постепенно намечаются перемены в его политических настроениях, во взглядах на семью и т. д. и т. д. Теряя в быстроте развития и, быть может, отчасти во внешнем блеске, который всегда в конце концов перестает прельщать «взыскательного художника», — творчество Пушкина во вторую половину его жизни начинает особенно выигрывать во внутренней значительности и глубине.

Когда же мы подходим к последней эпохе его жизни, к истории женатого Пушкина, то мы наблюдаем несомненное зарождение еще какого-то нового периода в его творчестве. Кажется, именно под влиянием тяжелых переживаний тридцатых годов, в силу глубоких трещин, которые легли между Пушкиным и правительством, Пушкиным и обществом, Пушкиным и друзьями, литераторами, наконец — между ним и женой,— в его творчестве появились уже совсем новые, очень горькие, очень сухие, но до тех пор не звучавшие настроения. В Пушкине, до тех пор скорее открытом, нарастало чувство глубокого одиночества, жажда замкнутости, много презрения к тому, что раньше было ему близко, его волновало. В таких стихах, как «Вновь я посетил», «Из Пиндемонте», «19 октября 1836 г.», «Когда за городом задумчив я брожу», «Пора, мой друг, пора» (быть может, эти два отрывка должны были составлять одну пьесу¹), — намечаются и новые чисто художественные приемы. Пушкин превосходит самого себя в стремлении к последней простоте, к беспощадной правдивости и самому решительному реализму.

Та же самая жизненная драма, которая у всех на глазах день за днем приближала человека-Пушкина к могиле, пробуждала в поэте-Пушкине «звуки новые». Самое трагическое в гибели Пушкина — то, что человек, желающий жить, но обстоятельствами влекомый к неминуемой гибели, потянул за собой в могилу художника, находящегося как раз в периоде внутренней перестройки. А мы знаем, что нет ничего в поэтическом смысле более питательного и живительного, чем духовный рост, душевная ломка. Идя на поединок с Дантесом, Пушкин нес в себе живое зерно своего будущего творчества. Если бы он остался жив, он написал бы неслыханное и невиданное в русской литературе. Что-то новое (может быть, тяжкое, горькое, но новое) начинало для него звучать в мире. А ведь именно наличность этого «звука» или его отсутствие — это и есть признак поэтической жизненности или близости к смерти. Недаром Блок, действительно — поэт, сказавший себя полностью, до конца, в последний год жизни так часто жаловался на то, что он «ничего не слышит», «перестал что-то слышать»².

Печатается по единственной публикации в газете «Возрождение» (1927, 10 февраля).

¹ Одна из пушкиноведческих гипотез Ходасевича (изложена в его книге «О Пушкине». — Берлин. 1937, стр. 162—165), не подтверждаемая данными пушкинской текстологии, от источников которой Ходасевич-пушкинист был отрезан в эмиграции.

² Оценивая эту мысль Ходасевича о возможностях поэзии Пушкина и Блока в момент их гибели, надо принять во внимание иной взгляд, высказывавшийся вскоре после смерти Блока таким близким ему человеком, как Н. А. Павлович (разговор с ней был записан А. Белым): «Н. А. Павлович почему-то казалось, что А. А. умер на рубеже огромного периода в своей жизни, что многое в нем где-то в глубине начало заново перестраиваться, но что этого не знали ни его друзья, ни его родственники, ни жена... Ей показалось тогда, что «Возмездие» некий порог: в зависимости от того, как А. А. справится с ходом поэмы, с тоном поэмы, зависит все его будущее...» («Литературное наследство». М. 1982, т. 92, кн. 3, стр. 807—808). В более поздней статье к десятилетию смерти Блока («Ни сны, ни явь») Ходасевич также датировал наступление блоковской «глухоты» прекращением работы над «Возмездием» («Возрождение», 1931, 6 августа).

«НАЧАЛО ВЕКА»

Книга Андрея Белого «Начало века» вышла почти накануне его кончины. Она представляет собою второй том его воспоминаний: первый появился несколько лет тому назад под заглавием «На рубеже двух столетий». В нем говорилось о детских, гимназических и студенческих годах автора. В «Начале века» встречаем мы уже молодого писателя — не Бориса Бугаева, а Андрея Белого. В книге почти пятьсот страниц, но охватывает она весьма небольшой отрезок времени — лишь с 1901 по 1906 (приблизительно) год. Успел ли Белый продвинуться дальше в своих воспоминаниях и суждено ли нам прочесть им написанное, — я не знаю.

Каждый писатель, живущий в СССР и желающий там издать свою книгу, вынужден сам до известной степени приспособить ее к требованиям цензуры и казенного мировоззрения. Но в тех случаях, когда дело касается авторов, подозреваемых в «несозвучности эпохе», таких авторских приспособлений оказывается недостаточно. Советское начальство считает необходимым предпосылать книгам собственные предисловия, в которых нынешнему читателю разъясняется, как ему следует понимать эти книги и как относиться к авторам. Такие предисловия пишутся по «стандартной» схеме: автор-де устарел и не прощещен светом Маркса, Ленина, Сталина, но с его книгой полезно ознакомиться, чтобы «овладеть литературной техникой буржуазных специалистов» (это если книга поэтическая или беллетристическая) или чтобы понять, в чем состояли заблуждения и пороки буржуаз-

ной мысли, общественности, науки (это в тех случаях, когда книга критическая, научная или мемуарная). Такими предисловиями по верованию большевиков книги обезвреживаются, заключенный в них яд идеализма перестает действовать на читателя. Другая цель предисловий — более практическая. «Буржуазные» авторы раскупаются лучше, чем коммунистические. Поэтому коммунистический критик, насильно пристегивая свое предисловие к книге такого автора, обеспечивает себе лучшее распространение и лучший гонорар — за счет чужой популярности. Это в общем похоже на вселение в чужую квартиру. Наконец, такое вселение доставляет автору-коммунисту и некое сердечное удовольствие: приятно почувствовать свое превосходство над тем самым писателем, по сравнению с которым ты некогда был совершенным нулем. Лет двадцать тому назад какой-нибудь Каменев печатал свои марксистские статьи в никому не известных листках. В те времена Андрей Белый всего вероятнее даже о существовании Каменева не знал хорошенько. Теперь Каменев со своим предисловием развалился в книге Андрея Белого, как лакей на барском диване. Теперь он Андрей Белого «разъясняет», отчитывает, похлопывает по плечу, а порой говорит ему наглые дерзости тоном великого авторитета. Авторитет основан на том, конечно, что попробуй Андрей Белый протестовать — его либо заморят голодом, либо отправят в тюрьму. Но Каменев не смущается, даже напротив: хамит, сколько может, чтобы доставить себе наибольшее удовольствие. Делает это он даже не без изобретательности. Его любимый прием — плюнуть во что-нибудь, заведомо дорогое Андрею Белому, но так, чтобы сделать это, как будто и не замечая наносимой обиды. Старую злобу за свое литературное ничтожество перед Андреем Белым Каменев прикрывает поддельной суровостью историка. Эта хамская наглость еще усугубляется тем, что Каменев ее себе разрешил как раз в те месяцы, когда Андрей Белый был поражен смертельной болезнью.

Оставим, однако же, в стороне оценки моральные. Умным человеком Каменева назвать трудно. Но он и не глуп. Несмотря на марксистскую тупость, в обширной своей вступительной статье он затронул ряд существенных тем, возникающих при чтении беловской книги. Поэтому мы отчасти даже воспользуемся его статьей, не потому, что очень хотим с ним полемизировать, а потому, что его замечаниями до некоторой степени подкачивается план наших собственных.

Каменев начинает такими словами: — «С писателем Андреем Белым в 1900—1905 г.г. произошло трагикомическое происшествие: комическое, если взглянуть на него со стороны, трагическое — с точки зрения самого писателя. Трагикомедия эта заключалась в том, что, искренно почитая себя в эти годы участником и одним из руководителей крупного культурно-исторического движения, писатель на самом деле проблуждал весь этот период на самых затхлых задворках истории, культуры и литературы. Эту трагикомедию Белый и описал ныне в своей книге»¹.

Нелепость такого утверждения его в литературной части слишком очевидна. Как ни оценивать символизм, нельзя отрицать, что фактически он был в начале века ведущим литературным движением и становился господствующим. Но, повторяю, полемизировать с Каменевым я не хочу. Гораздо любопытнее та часть его утверждения, которая касается истории и культуры. По его мнению те писатели, художники, профессора, философы, музыканты, среди которых жил и действовал Андрей Белый, потому очутились на затхлых задворках, что, как явствует из воспоминаний Белого, они постепенно преодолевали буржуазный либерализм, но непростительно проглядели то мощное движение, которое уже нарастало и наконец прогремело октябрьской революцией.

Тут, сам того не замечая, Каменев открывает очень любопытную сторону беловских воспоминаний. Каменевскую оценку совершавшегося процесса мы можем отбросить. Самый же процесс определен им совершенно верно, и таким образом книга Белого оказывается воспоминаниями о том, как люди, далеко друг другу неравноценные умом, дарованиями, нравственными качествами, разделяемые к тому же возрастом, положением, первоначальными основами мировоззрений, — делали общую, весьма замечательную, воистину производившую работу. По мнению Каменева преодолеть буржуазный либерализм и в то же время пройти мимо марксизма было скитанием по задворкам и роковым приближением к «неслыханному падению» — к «поповской рясе». «Чем кончили основные персонажи этого якобы бунта против буржуазной культуры, который описывает Белый?» — спрашивает Каменев и с ужасом отвечает: «Бегством в церковь, в Бога, в теософию. Эллис и Соловьев — католические, Булгаков и Флоренский — православные попы; Мережковский, Эрн, Розанов, Гиппиус — проповедники поповства; Бердяев нашел утешение в мечте о реставрации идейного средневековья; сам автор убежал в антропософию». Обзор краткий, страдающий неясностями, но в основных чертах верный и чрезвычайно яркий. Из него явствует, что

задолго до коммунистической революции этими людьми было предчувствовано и поставлено в порядок дня то религиозное возрождение русской интеллигенции, которое ныне открыто совершается в эмиграции и тайно — в советской России. Внутренне преодолевая пороки русской буржуазной культуры и отчасти «декадентскими» сторонами своей деятельности помогая ее распаду, порой враждя между собой, продвигаясь ощупью и нередко сбываясь с дороги, эти люди, главные герои беловских воспоминаний, уже намечали тогда именно путь, по которому должна будет пойти Россия при ликвидации большевизма. Иными словами, они не блуждали по задворкам истории, а далеко опережали ее, заглядывая в очень отдаленное будущее: через голову надвигающегося большевизма — уже в ту эпоху, которая и сейчас еще не настала, которой и сейчас еще только предстоит быть. Весьма возможно, что сроки еще не близки, но, как это ни ужасно для Каменевых, полу-Каменевых и четверть-Каменевых, — Россия вновь станет тою христианской страной, какою она была, или — вернее — какою она хотела, но еще не умела быть. И тогда с большим почитанием, чем даже нам сейчас кажется, она назовет имена многих людей, которые изображены в книге Андрея Белого.

Каменев очень верно подметил, что такие изображения у Белого весьма часто отрицательны и исполнены скрытой или явной злости. Это обстоятельство приводит Каменева в злую, но наивную радость. К общей характеристике воспоминаний Белого мы еще вернемся и тогда попытаемся указать причины той вражды, которая, действительно, очень часто у Белого проявляется по отношению к бывшим друзьям. Некоторые беловские характеристики нам представляются справедливыми, другие — нет. Но и в тех случаях, когда Белый прав, — Каменеву радоваться нечего. Речь ведь идет не о святых. Нам теперь очень ясно, что многие герои беловской книги делали великое и благое дело. Это не мешало им быть людьми слабыми, грешными, какими иные из них остались и по сей день. Однако, роняя себя, они отнюдь не роняли своего дела. Каменев напрасно радуется, полагая, что компрометацией деятелей Белый компрометирует самое дело их. Выставляя пороки своих друзей, Белый только не догадался, забыл или, может быть, не посмел тут же предупредить Каменевых, что если даже эти люди порою бывают малы и мерзки, то не так и не тем, как думают Каменевы, а главное — что в самой своей малости и мерзости они неизмеримо лучше Каменевых и самому Андрею Белому во сто крат милее и ближе². В конечном счете непреходимая черта лежит не между этими людьми и Андреем Белым, а между Белым и Каменевым. С людьми, к которым в книге своей Андрей Белый проявил столько вражды и злобы, он был и остался связан такими узами, о силе и смысле которых Каменев не подозревает. Эти узы имеют, если можно так выразиться, свою диалектику. Те, кого Белый язвит и порой оскорбляет в своей книге, в последнем счете были и остались ему братьями: перед лицом Каменевых. В одном из периодов острой вражды к Мережковскому Блок писал кому-то (не помню сейчас, кому именно), что перед лицом кого-то третьего (опять же — не помню, кого) он готов руку поцеловать Мережковскому³. Я знал Белого так, как Каменев его не знал и не мог знать. Свидетельствую: перед лицом Каменева и Каменевых как раз тому же Мережковскому, о котором к радости Каменева наговорил — наболтал! — он теперь столько дурного и злобного, — Белый, конечно, в любую минуту поцеловал бы обе руки и был бы, конечно, правдив и прав. Зная Белого, я даже позволю себе утверждать, что воскресни он завтра — не только Каменеву, но и никакому вообще «чужому» не позволил бы он радоваться его злобным характеристикам и к ним присоединять свои злобные замечания. Уверен, что с дикою яростью обрушился бы он на многих, кто перед ним посмел бы сказать о том же, например, Мережковском десятую долю того, что сказал он сам. Ярость свою мотивировал бы он тем, что «моя злоба выстрадана, а ваша — нет», что «я браню Мережковского с тех позиций, на которых вы не бывали». Очень жаль, что Белый, большой любитель методологических тонкостей, на сей раз позабыл оговорить, в каком смысле следует понимать его злые характеристики и в какой степени можно их принимать. Еще более жаль, что этого злого бисера наметал он именно сейчас, именно в Москве, перед лицом Каменевых. Признаюсь, наконец, что опубликование этой книги в том виде, как она написана, сейчас представляется мне преждевременным. Такое опубликование было, конечно, тактической ошибкою Белого. Нескольку ниже я попробую объяснить, как он к ней пришел и почему совершил, а сейчас коснусь еще одной особенности его книги из числа отмеченных Каменевым.

«От Белого, — пишет Каменев, — ожидаешь узнать кое-что о существе умственной жизни, о борьбе идей, об их филиации хотя бы только в узкой прослойке русской дореволюционной интеллигенции. А вместо этого в книге находишь паноптикум, музей восковых фигур, не динамику идей, а физиологию их носителей... Прочитав книгу Белого, очень мало

узнаешь по существу о том, какие же собственно мысли, идеи, формулы, лозунги выдвигались и отстаивались его спутниками и противниками, соратниками и врагами... Мы знаем, что все эти люди умели более или менее членораздельно излагать свои мысли. Белый заставляет их высказывать свое мировоззрение не словами, а усами, бородавками, ногами... Персонажи Белого — что бы ни стояло в данный момент в центре их внимания: оценка Гёте или события 9 января, картины Боттичелли или распря между «Весами» и «Новым Путем», — мячут, пришепелявают, извергают слюну, гримасничают, хрюкают, похохатывают, действуют руками, ногами и тазом, но не говорят».

Что касается «музея восковых фигур», — тут Каменев просто повторил стереотипную фразу, не вникая в ее содержание. Персонажи беловских воспоминаний представлены с необычайной жизненностью. Это — движущиеся портреты, нередко шаржированные, но всегда чрезвычайно меткие, сохраняющие глубокое сходство с оригиналами даже в тех случаях, когда каприз или несправедливость явственно обуревают автора. Гораздо более прав Каменев, упрекая Белого в том, что его герои больше пришепелявают, гримасничают и жестикулируют, нежели говорят. Сам Белый объясняет это в своем предисловии тем, что не хотел заставлять их произносить слова вымышленные, а действительно сказанные утрачены его памятью. Однако, мне кажется, что все же он мог бы заставить их выражаться более связно: ведь все равно — диалог, вводимый им в книгу, не представляет собою записи абсолютно точной, стенографической. С другой стороны, совершенно не прав Каменев, ставя Белому в вину то, что из его мемуаров мало можно узнать об идеях действующих лиц. Такую задачу мог бы себе поставить историк или критик — отнюдь не мемуарист. Дело мемуариста — изображение именно людей, а не их мыслей. Именно не диалектика идей, а скорее физиология их носителей составляет предмет всяких литературных воспоминаний. Мемуарист, рассказывая о писателях, философах и т. п. лицах, предполагает их писания и идеи заранее читателю известными. Читатель не должен браться за мемуары, надеясь сим легким способом ознакомиться с теми книгами, которые им не прочитаны. Задача мемуариста — познакомить читателя с теми свойствами исторических лиц, которые не сказались прямо в той сфере творчества, которая сделала их историческими. Поэтому в писаниях мемуариста «физиологические», как выражается Каменев, данные более уместны и по-своему ценны, нежели пересказы идей и книг, — так же, как характеристики личных связей более полезны, чем сопоставления литературных течений. Таким образом, свою задачу мемуариста Белый понял и разрешил правильно. Как историку, можно ему поставить в вину совершенно иные погрешности, к которым мы теперь перейдем.

Чтобы понять психологию Андрея Белого, как автора этой книги, надо припомнить историю того, как возник и эволюционировал замысел «Начала века».

Раннею осенью 1921 года, вскоре после смерти Блока, Белый прочел о нем в Петербурге две лекции: «Философия поэзии Блока» и «Воспоминания о Блоке». Эта вторая имела исключительный успех, и Белого упростили ее прочесть еще раз.

То была его прощальная лекция: публика знала, что он едет в Москву, а оттуда за границу. Проводы ознаменовались настоящими овациями: Белый провозжали не только как его самого, но и как друга Блока. О том, что Белого с Блоком связывало, публика знала и раньше, и вновь слышала в только что прочитанных лекциях. О глубоких и сложных расхождениях между Белым и Блоком было известно лишь небольшому сравнительно кругу людей. Расхождений этих Белый почти не касался в своих воспоминаниях, а если касался, то в самых туманных намеках. Происходило это вовсе не оттого, что он хотел что-либо скрыть, а лишь потому, что, рисуя образ Блока, старался отодвинуть себя на второй план и избежать всякой загробной полемики. Такою позицией Белый даже отчасти сам увлекся, и его воспоминания приняли характер апологии.

Приехав в Москву, он и здесь прочитал свои воспоминания, а затем предоставил их для печати какому-то частному издательству (если не ошибаюсь — «Северные Дни»), в альманахе которого они и были напечатаны уже после того, как Белый выехал за границу. Воспоминания свои он для печати расширил и дополнил. Это была уже вторая их редакция, если не считать отдельных вариантов, которые он всегда вносил в свои чтения.

К концу 1921 года Белый добрался до Берлина. Издательство «Геликон» предложило ему редактировать серию альманахов, получивших название «Эпопея». Память о Блоке была еще свежа, интерес к нему очень велик, и Белый (не знаю — самостоятельно или по чьему-либо совету) решил о нем написать целый труд, в котором сильно расширенные и детализированные воспоминания должны были соединиться с исследованием о творчестве Блока. Он принялся за эту работу, которую и печатал отдельными главами по мере того,

как они писались. Таким образом получилась уже третья редакция воспоминаний о Блоке. От первых двух она должна была отличаться только объемом материала, но не освещением его. Принципиально Белый и на сей раз хотел сохранить апологетический характер воспоминаний, хотя теперь это сделать было ему труднее, потому что, детализируя тему, он очутился уже на границе тех обстоятельств, из-за которых его отношения с Блоком были в корне подточены очень рано: почти что в самом уже начале их быстро возникшей дружбы. Этих обстоятельств Белый и на сей раз не коснулся. По ряду причин он и не вправе был это сделать. Однако теперь, когда воспоминания оказались сильно расширены и когда сам Андрей Белый сделался в них гораздо более деятельным лицом, умолчание о важных событиях, составлявших в сущности самую сердцевину его отношений с Блоком, придало воспоминаниям несколько неправдивый оттенок, который он сам сознавал. В одном разговоре со мной он тогда сказал: «Я пишу, а сам левой рукой удерживаю правую».

Тут надо упомянуть о душевном состоянии Белого во время этой работы. Она совпала с очень тяжелыми событиями в его личной жизни. Белый находился как раз в том надрывном «берлинском» периоде своей жизни, который ознаменовался пьянством и дикими выходками, получившими в эмиграции известность, к сожалению — всеобщую. Если в этом состоянии Белый все-таки удержался от того, чтобы коснуться вовсе запретной стороны дела, то это был лишь самогипноз пьяного, доказывающего, что он может пройти по одной половице. Но в том, что не касалось непосредственно Блока, он себя не гипнотизировал и с «половицы» сорвался сразу. В воспоминаниях о Блоке досталось многим — главным образом потому, что Белый заставил себя быть сугубо осторожным по отношению к памяти Блока и некоторым лицам, здравствующим еще и поныне. Д. С. Мережковский очутился одним из громоотводов.

Между тем, работая над третьей редакцией воспоминаний о Блоке, Белый пришел к новой мысли. Его воспоминания захватывали все более широкие круги людей и событий. Отсюда возник у него замысел: воспоминания о Блоке превратить в воспоминания обо всей литературной эпохе. Это было в конце 1922 года. Белый решил написать два или даже три тома под общим заглавием «Начало века».

Я жил тогда под Берлином⁴. Белый часто приезжал ко мне дня на два, на три, а иногда оставался на целую неделю. Будущий труд, к которому он тотчас же приступил, был одною из самых частых тем в наших беседах. Считаюсь с психологическим (или, лучше, нервическим) состоянием Белого, я настойчиво проводил ту мысль, что, расширив рамки, следует ему чисто мемуарный труд превратить в мемуарно-исторический, то есть, ведя повествование от первого лица, отнюдь не впадать в автобиографию, стараясь добиться того, чтобы главным действующим лицом будущей книги был символизм, а не Андрей Белый. Я рассчитывал, что если Белый постарается не упускать из виду такое задание и сколько-нибудь станет его придерживаться, то и книга приобретет более широкий смысл, и высказывания об отдельных людях станут более объективными. На то, чтобы Белый оказался способен вовсе победить минутные порывы и страстные высказывания, я не рассчитывал, но надеялся, что некоторых результатов мне удастся достигнуть. Казалось, мои старания отчасти готовы были увенчаться успехом. Весною 1922 года первый том «Начала века» был закончен. Объективным показателем того, что Белый к моим настояниям прислушивался, была обширная вступительная глава, в которой, сделав одно мое стихотворение как бы лейт-мотивом, Белый объявлял символизм осью жизни своей вообще и данного труда в частности⁵.

Книга была сдана в издательство, но по техническим причинам выход ее задержался. Продвинув уже довольно далеко работу над вторым томом, Белый в конце 1923 года уехал в Россию. Обстоятельства между тем сложились так, что первый том «Начала века», целиком набранный, не был, однако же, отпечатан. (У меня есть надежда, что корректурные гранки его сохранились и когда-нибудь будут опубликованы.)

Очутившись в России, Белый, видимо, махнул рукою на первую версию «Начала века», которая, в сущности, была уже четвертою версией воспоминаний о Блоке. Можно думать, что появление этой книги было бы для него и не особенно приятно, так как дух ее слишком не согласовался с теми воззрениями, которые обязательны для писателя, живущего в России. Однако со своим замыслом он и теперь не расстался. Дело лишь в том, что «Начало века» вновь и окончательно стало ему представляться не книгою об эпохе, а книгой о нем самом: автобиографией в самом тесном смысле слова. Поэтому-то, решив опять за нее взяться, он «Началу века» предпослал целый новый том, в котором рассказывал об эпохе своего детства и ранней юности. Несколько лет тому назад эта книга вышла под названием: «На рубеже двух столетий». В ней отчасти повторил он то, что художе-

ственно было им ранее рассказано в «Котике Летаеве», в «Преступлении Николая Летаева», в «Крещеном китайце», в «Московском чуде» и в «Москве под ударом». Подчеркиваю, что первоначально у Белого и мысли не было о такой книге. Она понадобилась лишь после того, как «Начало века» из истории символизма в сознании Белого окончательно превратилось в автобиографию.

Такая подмена задания автоматически суживала значение книги и снижала ее ценность. Оправдать эту перемену с точки зрения истории невозможно. Но психологические причины ее, мне кажется, угадать нетрудно.

Поехав в Россию, Белый там, наконец, обрел тот семейственный лад и уют, которого ему так недоставало всю жизнь и которого каждый человек, особенно в немолодые годы, вправе хотеть. Вероятно, и в качестве антропософа нашел он себе подходящее, очень тесное, окружение. Но в литературном смысле оказался он одинок в высшей степени. Это одиночество не только не смягчалось, а напротив, резко и ежеминутно подчеркивалось теми писателями и критиками, которые, то заявляя себя даже «учениками» его, то усиленно говоря о его «историко-литературном» значении, тем самым все дальше отодвигали его из настоящего в прошлое. Он видел себя окруженным «почитателями», внешне перенявшими многое из его литературного опыта, но не принявшими и даже не понявшими ничего, что ему самому было в действительности дорого и что было для него внутренним импульсом всей былой деятельности. Все сколько-нибудь выдающиеся люди, с которыми он по-настоящему был связан (дружбой или враждой или — нередко — сложнейшими узами дружбы и вражды вместе), — либо умерли, либо очутились за рубежом. Это одиночество усугублялось еще одним весьма важным обстоятельством. Основная идея всей его жизни, символизм, и вся литературная эпоха, с которой он связан был неразрывно, эпоха символизма, не будучи, разумеется, серьезно пересмотрены и переоценены, в каждодневной литературной практике советской России подвергались систематическому осуждению, если не надругательству. За примером ходить не далеко: каменевское предисловие к «Началу века» есть лишь один из случаев этого надругательства. К самому Белому относились в лучшем случае не более, как к терпимому осколку нетерпимой эпохи. Эту терпимость (и то весьма относительную) к своей особе приходилось ему покупать ценой двусмысленных заявлений, сводящихся к тому, что и в нем, и в символизме вообще все было вовсе не так враждебно марксизму и большевизму, как думают нынешние «властители дум» — властители в самом буквальном смысле этого слова. Греха таить нечего: иной раз в своих заявлениях Белый заходил слишком далеко, — но это особая, довольно сложная тема, которой касаться сейчас у меня нет времени. Факт тот, что в условиях советской жизни аполлогия символизма, какую должна была быть книга по первоначальному замыслу, — оказывалась неосуществима. Большевики могли допустить не более, как автобиографию Андрея Белого. Он и соскочнул окончательно в автобиографию. Позволил себе сказать так: новые условия жизни толкнули его как раз к тому, от чего я его удерживал.

Перестроив и сузив задание книги, Белый покатился по наклонной плоскости. Нужно думать, что и без того в пятый раз писать об одном и том же было ему скучновато. Прежних текстов у него не было, или они имелись у него не полностью. Масштаб работы ему был неясен, ибо, как явствует из заключительных строк «Начала века», он был не уверен в том, что советские издатели согласятся печатать дальнейшие тома. Внешние условия работы были тоже, надо думать, весьма тяжелы. Наконец, последние корректуры «Начала века» он, судя по датам выхода книги и его кончины, читал, уже будучи тяжело болен. Отсюда — несоразмерность частей, забегания вперед, повторения, стилистический разнобой и прочие чисто литературные недостатки книги, написанной и выпущенной в очевидном состоянии депрессии.

К этой депрессии литературной прибавилась нравственная. Те, кто хорошо знал Белого, не удивятся, если я скажу, что она выразилась в действиях, как будто бы с нею даже не согласуемых. Но именно таков был Белый, что нравственная усталость всегда у него сказывалась в форме поступков и высказываний, по внешности чрезвычайно бурных. Крайняя импульсивность Белого общеизвестна. Она всякий раз становилась тем сильнее, чем более был он ослаблен внутренно.

Одно обстоятельство, с виду незначительное, я думаю, сыграло важнейшую и прискорбнейшую роль в писании «Начала века». Дело в том, что в 1927 году, под редакцией М. А. Бекетовой, были изданы письма Блока к его родным. Естественно, что Белый их прочел: помимо других причин, они были ему полезны для проверки некоторых дат и подробностей. В них он нашел несколько неприятных для себя строк⁶ — жаль, что М. А. Бекетова их не исключила: в качестве тетки Блока она-то ведь хорошо знала Белого. Белый

вышел из себя и уже на все время писания книги потерял всякую способность думать не только о г-же Бекетовой, но и о Блоке. Все, что было тайно-враждебного между ним и Блоком, вырвалось наружу с силою, для историка и мемуариста недопустимо. Не имея возможности, как и прежде, говорить о своих отношениях с Блоком во всем объеме, Белый, очевидно, пришел в совершенную ярость. Книга, возникшая из апологии Блока, превратилась — в памфлет. Утратив способность говорить любовно о Блоке, который в известном смысле был и остался для него дорожее едва ли не всех персонажей его автобиографии, Белый соответственно обрушился и на многих других. Лишь несколько человек избежали его сатирического бича, столь странного в руках историка. Но историком он уже не хотел больше быть. Все неприятности, все обиды, все тяжкие минуты, которые бывают в жизни каждого человека и в которых всегда отчасти виноваты его окружающие, Белый припомнил. Не только каждый грех против него лично, но и каждое расхождение совершенно отвлеченное, — стали под его пером чуть ли не преступлениями: против Белого, против истории, против России, чуть ли не против Бога. Никакого желания понять других у него уже не стало — даже и не хотел он иметь такое желание. Себя, единственно себя, свою житейскую надобность и в лучшем случае идейную привязанность сделал он единственным мерилom людей и событий. В книге его, при всех промахах, осталось немало литературных достоинств. Порою она блистательна. Но как историка, сколько-нибудь способного оценивать события и людей, понимать причины и находить следствия, — Белый себя окончательно зачеркнул.

При всем том: в самом неистовстве своих карикатур (а слишком многие люди в книге его, на радость Каменеву, вышли карикатурами) — Белый и в них дал огромное множество верных, прекрасно и метко схваченных черт. Будущий историк символизма упадет в безнадежную ошибку, если вздумает пользоваться беловскими характеристиками без проверки и пересмотра. Но такую же ошибку он совершит и в том случае, если не станет с этими характеристиками считаться. В людях и событиях, изображенных Белым, было не только то, что показал нам Белый. Но в них было и все то, что показал Белый, лишь в иных пропорциях, в иных соотношениях. Каждому, кто интересуется эпохой символизма, «Начало века» прочесть необходимо. Нужно быть глубоко благодарными Белому за его книгу. Но нельзя без самых существенных поправок принять его характеристики и, к несчастью, надо простить ему немало грехов, которые он в ней совершил. В ней досталось несправедливо не только врагам, но и друзьям, тем, кто глубоко любил его и кого он сам, утверждая это категорически, гораздо более любил, чем может подумать читатель, который вычитает из его книги лишь то, что написано в ней черным по белому.

Печатается по единственной публикации: «Возрождение», 1934, 28 июня и 5 июля.

С Андреем Белым были у Ходасевича годы тесной интимной дружбы, закончившейся ссорой в Берлине 8 сентября 1923 года, перед возвращением Белого в Россию. Но и в дальнейшие годы при отсутствии прямых контактов отношение к Белому было у Ходасевича единственным по своей напряженности, вплоть до последних минут, когда, по рассказам свидетелей, он в предсмертном забытии разговаривал с Белым (см. посвященные памяти Ходасевича номера «Возрождения» — 1939, 16 и 30 июня). Об исключительном значении Белого для Ходасевича писала Н. Н. Берберова в статье-некроле «Памяти Ходасевича»: «Но особенным было его отношение к Андрею Белому: ни личная ссора в Берлине, в 1923 году, ни «горестное вранье» (по выражению Ходасевича) последней книги Белого — ничего не могло уничтожить или исказить ту огромную, вполне безумную, «сильнее смерти» любовь, которую он чувствовал к автору «Петербурга». Это было что-то гораздо большее, нежели любовь поэта к поэту, это был непрерывный восторг, неустанное восхищение, которое дошло всей своей силой до последних бредовых ночей Ходасевича, когда он говорил с Белым сквозь муку своих физических страданий и с ним предвкушал какую-то невероятную встречу» («Современные записки», Париж, 1939, т. 69, стр. 259). Ходасевич много раз писал в эмигрантские годы о Белом, в том числе каждому из томов его мемуарной трилогии посвятив отдельную статью в «Возрождении»: о первом томе («На рубеже двух столетий») писал 29 мая 1930 года, статья о третьем томе («Между двух революций») появилась 27 мая 1938 года и выразительно называлась — «От полуправды к неправде».

¹ Здесь и далее цитируется с небольшими неточностями «Предисловие» Л. Каменева к «Началу века» Андрея Белого (М.—Л. 1933, стр. III—XV).

² Скрытая здесь цитата из письма Пушкина Вяземскому от второй половины ноября 1825 года выведена наружу, уже в применении к самому Белому, в третьей статье Ходасевича о его мемуарах — «От полуправды к неправде»: «И когда мы слышим теперь, как смакуют падение Белого, как радуются — „он мал, как мы, он мерзок, как мы!“ — хочется ответить: „врите, подлецы! он и мал, и мерзок не так, как вы, — иначе!“»

³ См. письмо Влока В. Н. Княжнину от 9 ноября 1912 года (Александр Блок. Собрание сочинений. М.—Л. 1963, т. 8, стр. 405).

⁴ В курортном городке Сааров.

⁶ В целом Ходасевич точно излагает историю возникновения мемуаров Белого. Вступительная статья, о которой он здесь сообщает, нам неизвестна: она до сих пор не разыскана вместе со всем первым томом берлинской редакции «Начала века», пропавшей после отъезда Белого из Берлина (см. примечания А. В. Лаврова к очерку Ходасевича «Андрей Белый». — «Русская литература», 1989, № 1, стр. 133).

⁷ Особенно повлияло на перестройку образа Блока в сознании Белого-мемуариста опубликование в 1928 году блоковских дневников (см. статью С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова в третьей книге блоковского «Литературного наследства». — М. 1982, т. 92, стр. 792, 794). Белый обильно использовал письма Блока к родным для «реалистического» снижения его образа (Андрей Белый, «Начало века», стр. 333—345).

«УМИРАНИЕ ИСКУССТВА»

Общеизвестно, что книги русских писателей-эмигрантов редко находят себе иностранных, в частности — французских, издателей, а если находят, то с великим трудом и не сразу. С книгой В. В. Вейдле «Умирание искусства» случилось обратное: ее французский перевод (под заглавием «Les abeilles d'Aristée») на целый год опередил появление русского подлинника¹.

Если бы мы вздумали просто выписать имена писателей, художников, музыкантов, архитекторов, упоминаемых автором, такой список занял бы, вероятно, целый столбец этого фельетона, а то и больше. Своего читателя Вейдле заставляет совершить целое кругосветное путешествие в области современного искусства. Таким образом, выводы, к которым он, наконец, приходит, отнюдь не покоятся на случайных, разрозненных впечатлениях да на авторской интуиции. К несчастью, они очень широко, обстоятельно и подробно документированы. Говорю — к несчастью, потому что выводы эти нам открывают трагическое состояние всего современного искусства. Еще трагичнее то, что читатель, убежденный доводами автора, невольно задумывается о будущем, но и там не видит того единственного просвета, на который еще надеется или хочет надеяться сам Вейдле. Можно бы сказать, что наш проводник, в противоположность Дантову, заставив припомнить рай и проведя сквозь чистилище, покидает нас в преддверии ада.

Не отсутствие дарований, не упадок мастерства приводит Вейдле к его мрачным выводам. Напротив, он отмечает большое количество высоко одаренных художников во всех областях нынешнего искусства. Что до мастерства — оно порой достигает изощренности совершенной. Дело вообще не в качественном уровне, который принадлежит к явлениям случайным и преходящим. Качественный уровень современной «продукции» во всех областях искусства мог бы быть и ниже, чем он есть, и все-таки могло не быть оснований для той тревоги, которую нам внушает общее состояние современного художества. Его упадок имеет признаки и причины несравненно более глубокие и органические.

Как уже было указано выше, Вейдле анализирует одну за другой все отрасли современного искусства. В каждой из них он, разумеется, обнаруживает процессы, специфические именно для нее. Однако уже в начале книги, на страницах, посвященных современному роману, он устанавливает факт, общий для всех отраслей, парализующий их поочередно. Заключается он в иссякновении того, что по-немецки зовется *Dichtung* и не совсем покрывается русским словом вымысел. Иначе говоря — в иссякновении у художника той мифотворческой способности, благодаря которой действительность преобразуется в искусство. Этот паралич преобразующего начала естественно вызывает в художнике неверие в его собственные возможности, из чего автоматически возникает стремление художника заменить вольный вымысел «более или менее искусно камуфлированной действительностью», то есть биографией или автобиографией, дневником, письмом или иным видом документа, а иногда и собранием документов (так называемый «монтаж», который одно время был широко распространен в советской и в американской литературе; заметим, кстати, что вполне «монтажные» приемы уже лет тридцать тому назад появились в живописи). Непреображенная действительность, становясь тканью произведения, делает его не законченным созданием, а как бы полуфабрикатом и сверх того механизмирует самый процесс творчества. Признаки этой механизации Вейдле обнаруживает даже у лучших мастеров нового романа — у Пруста, Джойса, Германа Броха. Не отрицая их удач, он все же считает такие удачи не более как счастливыми случайностями, чудесными победами таланта над теоретически непреодолимыми заблуждениями.

Иссякновение мифотворческой способности, способности к преобразованию действительности, Вейдле вполне справедливо объясняет упадком религиозного отношения к миру у современных художников. Искусство не есть религия, смешивать их нельзя и не долж-

но, но «всеми своими корнями оно уходит в религию», и если в настоящее время оно гибнет, то это происходит «от длительного отсутствия религиозной одухотворенности, от долгого погружения в рассудочный, неверующий мир», основной принцип которого есть механический детерминизм.

Ряд страниц посвящает Вейдле примерам того, с какими мучительными усилиями современное искусство ищет выхода из своего трагического положения. Быть может, эти страницы — лучшие, самые значительные в его книге. Они исполнены не только знания, пронизательности, ума, но и сильного чувства. Именно они делают особенно убедительным заключительный вывод автора — о том, что искусство может спастись лишь в том случае, если сумеет восстановить свою связь с религией.

Тут мы, однако, подходим к важнейшему обстоятельству, которое, разумеется, отнюдь не ускользнуло от автора «Умирания искусства», но на котором он, может быть, недостаточно остановился.

«В своих произведениях художник отражает свою эпоху». Эта аксиома обростала всяческим вздором на протяжении нескольких десятилетий, но не перестала быть аксиомой. Дело, конечно, не в том, что Онегин отверг любовь Татьяны потому, что был уже человеком капиталистической, а не феодальной поры. Дело в том, что сам Пушкин, который (по крайней мере в первую половину своей литературной жизни) был неверующим, еще дышал воздухом эпохи, которая опять-таки уже не была религиозной в полном смысле слова, но все еще сохраняла известные традиции религиозного мира. Таким образом, Пушкин, не только помимо своих религиозных воззрений, но отчасти и вопреки им, успел еще воспринять то религиозное переживание искусства, без которого никакой талант не дал бы ему возможности стать тем, чем ему суждено было стать.

Пример Пушкина — не только не случайный, не единичный, но напротив — типичный. Не будем слишком строги к девятнадцатому столетию: оно и позже еще сохраняло в себе достаточно если не религиозного жара, то религиозной теплоты, чтобы согреть и сохранить души замечательных художников. Может быть, именно потому Россия, а не Западная Европа, дала Достоевского, Гоголя, Толстого, что воздух ее охлаждался медленнее.

В «Умирании искусства» прекрасно прослежена история постепенного разрыва между искусством и религией. Однако еще лет двадцать пять тому назад, до европейской войны, эта книга вряд ли могла бы появиться, а если б и появилась, то была бы скорее прочтением, нежели изображением действительного, уже существующего положения вещей. Недаром именно послевоенное искусство послужило Вейдле не только главным источником его аргументации, но и непосредственным вдохновителем. Это потому, что только в послевоенные два с половиной десятилетия художник наконец оказался вполне окружен холодом стратосферической атмосферы, где религиозного кислорода, необходимого его легким, уже почти нет.

Огромное большинство современных художников само уже состоит из людей сознательно или бессознательно неверующих (ибо как бывают верующие, не сознающие или не признающие своей веры, так бывают и неверующие, которым кажется, будто они еще веруют; первых становится все меньше, вторых — все больше). Однако и неверующие, и верующие сейчас в равной мере переживают кризис своего искусства, в равной мере испытывают растерянность и одинаково впадают в эстетические заблуждения, характерные для атеистической эпохи. Объяснить это можно лишь тем, что и верующий художник не остается невредим среди общей катастрофы. Он задыхается вместе с неверующим. Как к человеку, к нему, несомненно, еще применима формула Баратынского:

И одной пятой своею
Невредим ты, если ею
На живую веру стал.

Но как художник он все-таки обречен, ему спасения нет. Для того, чтобы найти общий язык с народом, с «массами» (язык, ему совершенно необходимый, несмотря на все басни о башнях из слоновой кости), он вынужден приспособлять свою эстетику к их безбожному мировоззрению, то есть ее разрушать, потому что безбожной эстетики не существует. Книга Вейдле кончается прекрасными словами: «От смерти не выздоравливают. Искусство — не больной, ожидающий врача, а мертвый, чающий воскресения. Оно встанет из гроба в сожигающем свете религиозного прозрения, или, отслужив по нем скорбную панихиду, нам придется его прах предать земле». Понимать эти слова необходимо,

однако, в том смысле, что религиозное прозрение должно совершиться не внутри самого искусства, а прежде всего — в мире, его окружающем.

К сказанному хотелось бы мне еще кое-что добавить. Упадок не только любви (что уж о ней говорить!), но и простого любопытства к искусству сейчас очевиден. Причины его довольно глубоки, они прямо касаются той же религиозной темы. Дело в том, что даже и безбожное искусство все в той или иной мере живет привычками, унаследованными от минувших, религиозных эпох. Эти привычки, которые оно может исказить, но от которых не может отказаться, не соответствуют и естественно не могут соответствовать запросам последовательно безбожной массы, лишенной того художественного опыта, который еще тлеет в сознании безбожного художника (непоследовательного в своем безбожии, поскольку он еще все-таки остается художником). Отсюда — разочарование массы в современном искусстве, ее желание иметь какое-то другое, потому что она еще что-то помнит о нем и не сознает только двух вещей: во-первых — что искусство, которое она хотела бы получить, в действительности неосуществимо, во-вторых — что никакое искусство в сущности ей не нужно до тех пор, пока она сама не научится его созерцать. Созерцание же такое требует предварительного религиозного возрождения. Не только христианин, но и дикарь, умеющий веровать своему размазанному обрубку, восприимчивее к искусству, нежели «средний европеец» нашего времени².

Печатается по единственной публикации: «Возрождение», 1938, 18 ноября.

¹ «Les abeilles d'Aristée. Essai sur le distict actuel des lettres et des arts» («Пчелы Аристея. Очерк современных судеб литературы и искусства»). Paris, 1938; В. Вейдлер. Умирание искусства. Париж. 1937.

² См. вступительную статью к настоящей подборке. «Средний европеец, как идеал и орудие всемирного разрушения» — историко-философское сочинение К. Н. Леонтьева, писавшееся в 70—80-е годы и оставшееся после автора в рукописи; напечатано в 1912 году в шестом томе собрания сочинений К. Н. Леонтьева.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

* * *

У поэта язык, система образов, выбор эпитетов, ритм, характер рифм, инструментовка стиха, словом, все, что зовется манерой и стилем, — есть выражение духовной его личности. Изменение стиля свидетельствует о глубоких изменениях душевных, причем степень перемены в стиле прямо пропорциональна степени перемены внутренней. Поэтому внезапный переход от классицизма к футуризму означал бы внутреннее потрясение прямо-таки катастрофическое, какого, конечно, человек вынести не в силах. Однако N, N₁, N₂, N₃ и т. д. — вынесли и благополучно здравствуют как ни в чем не бывало. Что это значит? Только то, что они никогда не были ни классиками, ни футуристами — ничем. На пресловутом «пароходе футуризма» они едут такими же зайцами, какими были на парусных кораблях классицизма.

* * *

Поэтическое творчество — чудо и тайна. Однако N задает ученикам своим «к след <ующему> разу» написать по стихотворению таким-то и таким-то размером. Какой ужас! Практические занятия по чудотворчеству! Генеральная репетиция литургии!.. Ну, учитель состарился и изверился. Но чего смотрят ученики?

* * *

Z призывал лет 20: «Ей, гряди, Революция!» Накликал — и испугался: нельзя ли назад? Совсем как у Гете — ученик мага:

Стань у печи,
Веник, снова,
Слушай слово
Мудрой речи...!

А веник не слушает, а вода прибывает и уже дошла бедному Z до подмышек.

* * *

Шепотком:

В 1915: «Знаете, Распутин с царицей ходят в баню и оттуда посылают радиogramмы в Берлин. А Николай в это время...» и проч.

В 1917: «Знаете, Керенский перевез T <име> в Зимний дворец и купается в ней в мраморной ванне...» и проч.

В 1919: «Знаете, Ленину явился во сне Гермоген...» и т. д.

Что это значит? Что идея монархии изжита, а холопство — нет.

* * *

Я могу говорить с Z о литературе. Но играть с ним в карты — слуга покорный: тут я хочу иметь дело с порядочными людьми.

* * *

Рисунки Гоголя к последней сцене «Ревизора»² сделаны, конечно, под влиянием Флаксмана³ (или Ф. Толстого⁴, если его рисунки к «Душеньке» старше гоголевского

наброска). Это — Олимп. Левая рука городничего по отнош<ению> к жандарму играет роль фигового листа. И так — это пародия. Персонажи «Ревизора» — внизу, боги — вверху. Опять-таки здесь отразилась основная мысль Гоголя: «Как пошлаость провинциального городишки возвысить»⁵ и проч. (Высокое в низком. «Земные боги»)... [Поискать у Фл<аксмана> и Т<олстого>, нет ли прямого прототипа гоголевского рисунка]. [Пародия — преобразование низкого, обиденного — чертами, заимствованными из изображения предмета высокого и чудесного]. [Стиль несомненен, поискать соответствий в композиции]. [Центр — сердце жанд<арма>]. (Кстати, не крестится ли вольнодумец-судья? «И все пред Бога притекут, обезображенные страхом...»⁶)

* * *

Позор.

Тредьяковский.
Рылеев.
Пушкин.
Лермонтов.
Радищев.

Радищев.
П. Я.
Бестужев.
Герцен.
Огарев.
Полежаев.

Гоголь.
Росточина.
Мицкевич.
Лесков. (Кадетский монастырь): за сочинение чего бы то ни было в прозе — 15 розог, за стихи — 25. Даже за «патриотические».

Мельшин.
Достоевский.
В. Одоевский.
Кюхельбекер.
Бальмонт.
Горький.
Даже Чулковы и Эренбурги.
А сколько еще?

Леонид Семенов!
Боратынский.
Л. Толстой.
Новиков.
Тургенев.

Плещеев
Успенский
Проклятие Мицкевича
Добролюбов
Чернышевский
Помяловск<ий>
Некрасов.
Полонский.
Фофанов?
Щедрин. Княжнин. Капнист.
Писемский.
Островский.

Нет, это явление национальное...

Златовратский.

Суриков. Салт<ыков>—Щедрин. Княжнин. Капнист.
Писемский.
Островский.

Ист<ория>русс<кой> поэзии (м<ожет> б<ыть>, вообще лит<ерату>ры) есть история уничтожения рус<ских> писателей⁷. Кто-то <(> Горнфельд <)>⁸ мне говорит, что почти теми же словами писала об этом Роза Люксембург.

* * *

В русском народе нет положительного национального сознания. (Что еще далеко не делает его космополитическим.) Есть зато резко выраженное негативное: «я, слава Богу, не француз, не поляк, не жид». Все басурманы, все плохи. (А чем мы хороши?) Ох, оттого-то и удаются так хорошо погромы (еврейские, немецкий летом 1915 г. в Москве).

* * *

Царенка Алексея ряздили матросиком и проч.⁹

1921, 5 апр<еля>.

* * *

С Горьким разговор о зажигалках.

Тоже.

* * *

Луначарский — великолепный ттец. (Вечер у Каменева.)¹⁰ Блестящий оратор. Но совсем слабый художник; особенно стихи.

Тоже.

* * *

Три лозунга франц<узской> революции: Свобода, Равенство, Братство. Но фр<анцузская> рев<олюция> фактически осуществила лишь первый, будучи бессильна осуществить 2-й и 3-й. Революция Русская осуществляет 2-й. Равенство, временно зачеркивая 1-й и 3-й. (Диктатура одного класса.) И так, до Братства человечество еще не доросло. Некогда оно будет осуществлено 3-<е>й Великой Революцией, которая ео ipso восстановит и 1-й, и 2-й лозунги. (Вяч<еслав> Иванов.)

10 апр<еля> <1>921.

* * *

Пушкин — творец автономных миров, теург. Он поэтому многосмыслен. Лермонтов тенденциозен и не теургичен. Из Лермонтова не выжмешь ничего, кроме Лермонтова. (Который велик, конечно.)

1921, май.

* * *

Коммунизм — внутри нас¹¹.

1921, 20 мая.

* * *

Обязательно написать автобиографию.

То же.

* * *

Ангарский¹² говорил летом 1920 г <ода>, что мы держимся не своей силой, а вражеской слабостью. Прав. Несчастье контр-революции (или того, что так называется) в слабости физической и моральной: песок сыплется, О Дряхлеи, кончены.

1921, 1.VI.

* * *

Вопрос о роли личности в истории пора пересматривать, особенно этим должны заняться марксисты. Впрочем, Ленин умен и, наверное, на сон грядущий уже почитывает Карлейля¹³.

То же.

* * *

Плоть, мир окружающий: тьма и грубость. Дух, вечность: скука и холод. Что же мы любим? Грань их, смешение, узкую полоску, уже не плоть, еще не дух (или наоборот): т <о> е <сть> — жизнь, трепет этого сочетания, сумерки, зори.

1921, 2.VI.

* * *

В зарубежной печати русской — океан шутовства и пошлости. Там подвизаются Lolo¹⁴ и Аверченки. Им надо есть? Согласен. Но есть тысячи профессий, кроме шутовской... хуже, чем шутовской, ибо позорен не просто нищий уличный шут, а шут «культурный», «литературный». Еще позорнее — шут-эмигрант. Ведь «родина» для Аверченко «священна» и «гибнет». Какие же звуки в их «лире»? — Танго. — Гадко и подло.

1921, 25 мая.

* * *

25 марта, когда хоронили убитых при взятии Кронштадта, палили из пушек. Обыватели радовались (в хвостах у лавок):— Пришла французская эскадра.— Как, по льду? Даже этого не смекнули.

То же.

* * *

Сегодня я поймал за хвост беса смирения. Доведенный уже до последнего, до предела,— вдруг подумал: а ведь мудрее и драгоценнее — смириться, быть покорным и благосклонным ко всем и всему. И сейчас же почувствовал, что это от бессонной ночи, целого дня беготни, от голода и тихого дождичка за окном. Смирение слабого — бес. Смирение сильного — ангел.

8 июня <19>21.

* * *

Даже те, кто понимает и ценит мои стихи, жалеют об архаичности языка их. Это недалековидно. Мои стихи станут общим достоянием все равно только тогда, когда весь наш нынешний язык глубоко устареет, и разница между мной и Маяковским будет видна лишь тончайшему филологу. Боюсь, что и русский и-то язык делается тогда «мертвым», как латынь,— и я всегда буду «для немногих». И то, если меня откапают.

25.VI.<19>21.

* * *

Все мы несвоевременны. Будущее — повальное буржуйство, сперва в капитализме, потом в «кооперативно-крестьянском» американизме, в торжестве техники и общедоступной науки, в безверии и проч. Лет в 400 человечество докатится до коммунизма истинного. Тогда начнется духовное возрождение. А до тех пор — Второе Средневековье. Религия и искусство уйдут в подполье, где не всегда сохраняют чистоту. Будут сатанинские секты — в религии, эстетизм и эротизм — в искусстве. Натуры слабые, но религиозные или художнические по природе, останутся на поверхности. Первые будут создавать новые, компромиссные религии (не сознавая, что кощунствуют), вторые — того же порядка искусство. Совсем слабые, бессознательные, найдут исход для томлений своих в истеризме и самоубийствах (религиозные) или в апашестве (художники). А потом — Ренессанс. А уж за ним — «предсказанное».

25.VI.<19>21 г.

* * *

На это возражат: вы будущее созидаете из элементов прошедшего, только в новых сочетаниях. Ну, конечно. Материалы-то все уж даны давно. Того, кто в 14 в <еке> предсказал бы нашу эпоху, можно было бы укорять в том же самом. А все-таки он был бы прав.

25.VI.<19>21 г.

* * *

Один материал, м <ожет> б <ыть>, будет новый, вроде радия (если радий нов). Это — если наука упрется в Бога, «откроет» Его. Ну, тогда уже и не знаю, как все

пойдет. Тогда все перевернется. «Предсказанное» сбудется, но не так, к <a>к мы нынче можем себе представить.

25.VI.<19>21 г.

* * *

Слова прививаются необычайно быстро. В всякая оппозиция уже называется контр-революцией. Дьякон в Бельском Устье говорит, что Николай II удалил из армии Мих <аила> Александровича «как контр-революционера».

<Бельское> Устье, 9 сент <ября> <19>21 г.

* * *

Тот же дьякон вздыхает:

— А за границей теперь пиво попивают, колбасики разные кушают...

Он же:

— Благоприятнейшая девица Мария Сергеевна. Красоты неопишущей и не ест ничего: вот невеста!

<Бельское> Устье, 9 сент <ября> <19>21 г.

* * *

Чудо-агитатор (где-то в деревне, около Бельского Устья). Он говорил крестьянам 3 года тому назад: Товарищи! Бога выдумали буржуи, чтобы заставить вас сидеть смирно. Бога нет. Следственно — и проч.

Теперь он же говорит: Товарищи! Вы видите, какое кругом озверение: брат на брата, сын на отца. Разруха, бунты. Нет никакого смирения. Разве Бог потерпел бы это? Значит — Бога нет. Можно сказать, «комсофист».

<Бельское> У<стье>, 9 сент <ября> <19>21 г.

* * *

Мастерство, ремесло — скорлупа, внешняя оболочка искусства, м<ожет> б<ыть> его формующая поверхность. В поэзии она тоньше, чем в других искусствах, нечто вроде слизистой оболочки, почти уже именно только поверхность. Поэтому, касаясь ее, тотчас попадаем в живое, чувствительное тело самой поэзии. Вот еще почему невозможны поэтич<еские> студии и почему, когда дело идет о поэзии, неприменима старая аналогия: в музыке — гаммы, в живописи — зарисовки и т. д. (Развить это.)

П<етер>б<ург>, 16.III.<19>22 г.

«Записная книжка» служила Владиславу Ходасевичу в последние месяцы его жизни на родине — была с ним в Петрограде, сопровождала в колонию Дома Искусств «Бельское Устье» и рассталась со своим владельцем в июне 1922 года, когда тот навсегда покинул Россию. С тех пор среди других бумаг Ходасевича она хранилась в архиве моего отца, И. И. Ивичи-Бернштейна. Последняя запись сделана за три месяца до отъезда поэта, первые не датированы. Скорее всего они относятся к концу 1920 года, к тому времени, когда он переехал из Москвы в Петроград: в самом начале мы узнаем Николая Гумилева и «гумилята» в метре N и его учениках. Если предположение верно, то записи велись в течение полутора лет. То было смутное время — время выбора. Отношение Ходасевича к революции еще не сложилось окончательно. Он вглядывается в перемены и оценивает их с присущей ему остротой и трезвостью. Внимание его останавливают равно трагические моменты и комические черточки. Он пытается проникнуть в судьбы мира, науки, языка, касается своих любимых тем: соотношения стиль — личность, форма — содержание, Пушкин — Лермонтов Ощутимы и умолчания. Ходасевич помнит о том, что «Книжка» может попасть в чужие руки, и не всегда откровенен с ней: заменяет имена реальных лиц традиционными N и Z, не доверяет бумаге содержание беседы с Горьким. Возможно, «шрифром для себя» был и рефрен «тоже» — он завершает записи, связанные с событиями тех дней. «Записная книжка» Ходасевича — проза поэта, время глазами поэта. Здесь мало сугубо личного и совсем нет мелочей — даже бытовые зарисовки не остаются просто картинками, а служат поводом для обобщения и предвидения; размышления перерастают в точные формулировки.

Полностью публикуется впервые. Фрагментарно печаталась в альманахе «Глагол 2» («Ардис». 1978, стр. 113—119). Наше прочтение отдельных слов и имен отличается от предложенного «Глаголом».

¹ Строки баллады Гёте «Ученик чародея».

² Существуют серьезные сомнения в том, что рисунки сделаны Гоголем.

³ Флакман Джон (1755—1826) — английский скульптор и гравер.

⁴ Толстой Федор Петрович (1783—1873) — художник-медальер, скульптор, гравер, рисовальщик и живописец.

⁵ Вольный пересказ мысли Н. В. Гоголя, высказанной в одной из заметок к «Мертвым душам». У Гоголя: «...как городское безделье возвести до преобразования безделья мира?»

⁶ А. С. Пушкин, «Подражания Корану», III.

⁷ В апреле 1932 года Ходасевич закончил статью «Кровавая пища», где утверждал, что «в известном смысле историю русской литературы можно назвать историей уничтожения русских писателей» (В. Ходасевич. Избранная проза. Нью-Йорк. 1982,

стр. 232). Зерно статьи — запись, озаглавленная «Позор». В отличие от остальных эта страница исписана вдоль и поперек, в три столбца. Ходасевич вспоминает все новые имена, они не умещаются, их приходится втискивать между строк, писать наискось, сокращать. Записи делались в разное время: меняются чернила, меняется почерк — то достаточно крупный, то бисерный. Возвращаясь к тексту, поэт спешит, не перечитывает записанное прежде — и некоторые фамилии повторяются. Пройдет десять лет — тот же список, слегка измененный, ляжет в основу статьи.

Мельшин Л., П. Я. — псевдонимы Петра Филипповича Якубовича (1860—1911), поэта, прозаика, публициста; в 1887 году он как один из руководителей «Народной воли» был приговорен к смертной казни, замененной каторгой. В. Одоевский — по-видимому, описка: судя по контексту, речь идет о поэте Александре Ивановиче Одоевском (1802—1839), декабристе, отбывшем каторгу и сосланном рядовым на Кавказ по приказу царя. Чулков Георгий Иванович (1879—1939) — поэт и прозаик, в 1899 году был исключен из университета за политическую деятельность, с 1902 по 1904 год находился в ссылке в Сибири. Семенов Леонид Дмитриевич (1880—1917) — поэт, товарищ А. А. Блока по университету, «ушел в народ» и был убит мужиками. «Кадетский монастырь» — у Н. С. Лескова: «...если кадет изобличался в прозаическом авторстве (конечно, смиренного содержания), то ему давали двадцать пять ударов, а если он согрешил стихом, то вдвое». Проклятие Мицкевича — «Проклятье палачам твоим, пророк народный!» (из посвященного К. Рылеву и А. Вестужеву стихотворения А. Мицкевича «Русским друзьям». — «Дяды», часть III).

⁸ Горнфельд Аркадий Георгиевич (1867—1941) — переводчик, критик, литературовед.

⁹ Заготовка к главе III воспоминаний В. Ходасевича «Белый коридор» (1937).

¹⁰ Вечеру у Каменева посвящена глава II «Белого коридора».

¹¹ Ср. «Царствие Божие внутрь вас есть» (Евангелие от Луки, 17, 21).

¹² Ангарский (Клестов) Николай Семенович (1873—1943) — критик и издатель.

¹³ Имеется в виду работа английского историка и философа Т. Карлейля (1795—1881) «Герои, культ героев и героическое в истории» (1841; русский перевод — 1891).

¹⁴ Lolo — Мунштейн Леонид Игоревич (1868—1947), поэт, драматург, переводчик и критик.

ИВАН ЕЛАГИН

(1918—1987)

*

НЕТ В МИРЕ НИЧЕГО ОБЫКНОВЕННОЙ

Последние стихи

Меньше двух лет прошло со дня смерти Ивана Елагина, наступившей его в Питсбурге, США,— стихи его, умноженные миллионными тиражами «Нового мира», «Огонька», «Невы» и других изданий, открыли наконец и широчайшему читателю в СССР еще одного русского поэта. Последняя книга избранных стихотворений И. Елагина — «Тяжелые звезды» — вышла еще при его жизни, в 1986 году, в США. Последняя из подготовленных им самим книг — уже после его смерти, в Германии («Курган», 1987). Следующую его книгу (большой том избранных стихотворений и поэм) выпустит в свет в начале 1991 года московское издательство «Художественная литература».

Поэт писал до последних дней жизни, и сам он, осознавая безнадежность своей болезни, грустно радовался, что жизнь его завершается на стихотворении, навеянном портретом Гоголя работы русского художника и поэта Владимира Шаталова, живущего в Филадельфии. Стихотворение, которым завершается предлагаемая читателям публикация, написано раньше, но по его завещанию было опубликовано в альманахе «Встречи» после смерти поэта. «Встречи» — своего рода «День поэзии» русского зарубежья, альманах, выходящий в Филадельфии ежегодно вот уже много лет под редакцией Валентины Синкевич, поэта и литературоведа. Ее воспоминания о Иване Елагине (это фрагмент из работы о творчестве поэта) мы также предлагаем нашим читателям. В октябре 1989 года Валентина Алексеевна побывала в Москве, была и гостьей в редакции «Нового мира». Благодаря ее помощи, а также с любезного разрешения вдовы поэта Ирины Матвеевой-Елагиной стала возможна эта публикация. В нее вошли стихи И. Елагина, написанные в 80-е годы, по преимуществу в самые последние годы жизни поэта.

.

Довольно. Я лгать себе больше не в силах.
Стою и кусаю от злости губу.
А кровный мой стих, что шумел в моих жилах,
Покоится важно в почетном гробу.

Как друга лицо, что до боли знакомо,
Лицо, что годами я в памяти нес,
И брови густые крутого излома,
И этот несносно заносчивый нос,

Я все узнаю — только каждой морщине
Когда-то сопутствовал жест волевой,
И друг мой всегда был взволнован — а ныне
Он даже не дышит, совсем неживой.

Казалось бы, все то же самое вроде,
Но, видимо, я до сих пор не привык,
Что выглядит мертвым мой стих в переводе
На жесткий и сжатый английский язык.

.

Проходит жизнь своим путем обычным,
И я с годами делаюсь иным,
И что казалось грозным и трагичным,
Мне кажется ничтожным и смешным.

Испуганная пролетает птица.
Гром тишину ломает на куски.
И мне теперь от красоты не спится,
Как не спалось когда-то от тоски.

* * *

Гурьбою по булыжной мостовой
 Сухие листья гнались друг за другом
 Да из-за веток яблони кривой
 Звезда глядела на меня с испугом.

А я припоминал за пядью пядь
 Всю жизнь мою и славил Божью милость,
 И мне хотелось людям рассказать
 О том, что на земле со мной случилось.

И жизнь мою укладывал я в стих
 С паденьями, со взлетами, с грехами,
 Да у меня и не было других
 Причин, чтоб разговаривать стихами.

* * *

Меж небом и землею в коридоре, Камням Европы, все еще священные
 Похожие на поседевших птиц, Америки увидели холмы.
 Мои друзья и я в житейском море
 Качаемся на палубах больниц. Спеша путем подъемов и обвалов,
 Мы чувствуем по холоду в груди,
 А было путешествие отменным, Что никаких других не будет палуб,
 Благоговейно поклонились мы Что гавани остались позади.

* * *

Она задержалась у края стола, Я мог рассказать бы намного
 Она на тарелку сардинку брала. верней
 Она наклонилась вполуборот. Об Анне Карениной, а не о ней.
 Ее вероломный запомнил я рот. Я знаю, что несколько раз для нее
 На сцене лицо загоралось мое, На сцене лицо загоралось мое,
 Однажды в компании, нежно-пьяна, Я знаю, меня не забудет она
 В такси умиленно болтала она. Сидящим с бокалом вина у окна,
 А раз ее видел я в зимнем пальто... Но все это тоже какой-то кусок —
 Пусть все это так, но все это Рука на весу, поседелый висок,
 не то, И временем все, как водой, залито,
 И знает она, что все это не то,
 Я знаю, какие-то это куски Что нам не составить во веки
 Моей ненасытной последней веков
 тоски, Картины единой из разных кусков.

* * *

Они горят оранжево, багрово.
 Их ветер только что с ветвей сорвал.
 Меня ты, осень, обступаешь снова,
 Как пушкинского рыцаря скупого
 Блистающий монетами подвал.

Мне это тоже не досталось даром!
 Пусть не ценою слез или невзгод,
 За эту осень с раскаленно-ярим,
 Кидающимся под ноги пожаром
 Сполна уплачен жизни целый год.

Но незачем жалеть о том, что тратим,
 О том, что каждый миг мы отдаем
 Садам, дроздам, друзьям, стихам, объятьям.
 Что временем за красоту мы платим,
 Пока нам вечность не построит дом.

Чернобыль

Вот она, черная боль,
Атома черная пыль.
Черный от взрыва тополь —
Смертью клубит Чернобыль!

Столпотворенье ветров,
Сдвинут земной покров,
Горы взрыв покоробил —
Полз по земле Чернобыль!

Вот она, черная боль,
И поперек и вдоль
Нашей отчизны вопль:
Что с тобой, Чернобыль?

Вот он, великий взрыв,
Недра земли раскрыв,

Сколько людей угробил?
Братский погост — Чернобыль.

Вот она, черная боль,
То ли знаменье, то ль
Час наш последний пробил!
Адом дымит Чернобыль!

Там, где картофель рос,
В поле забытый воз,
Пара торчит оглобелъ,
Осиротел Чернобыль!

Где ты, в каком краю?
На небесах, в раю?
В недрах земной утробы?
Где ты теперь, Чернобыль?

.

Возьмите любую кровавую драму,
Возьмите и вставьте в дубовую раму.

Народ в лагеря загоняли к якутам,
А рама теперь называется культом.

Когда-нибудь страшные русские были
Представят в музеях, как школы и стили.

Расплещут великую кровь по картинам,
А критики звать ее будут кармином.

— Вот тут пирамиды с египетской тьмою,
А рядом есть зал с Воркутой, с Кольмою.

Мне пушкинский стих показался постылым:
Не все, что проходит, становится милым.

Гоголь ¹

Владимиру Шагалову

Пока что не было и нет
Похожего, подобного,
Вот этот Гоголя портрет —
Он и плита надгробная.

Портрет, что Гоголю под стать,
Он — Гоголева исповедь,
Его в душе воссоздавать,
А не в музее выставить,

Его не только теплота
Высокой кисти трогала,
Но угнездились в нем места
Из переписки Гоголя.

И Гоголь тут — такой, как есть,
Извечный Гоголь, подлинный,

Как птица, насторожен весь,
Как птица, весь нахохленный.

И это Гоголь наших бед,
За ним толпятся избы ведь
И тройка мчит, чтоб целый свет
Из-под копыт забрызгивать,

Или затем, чтоб высечь свет,
Копыта сеют искры ведь!
О Русь, какой ты дашь ответ
На Гоголеву исповедь?

Иль у тебя ответа нет,
Кто грешник, а кто праведник?
Есть только Гоголя портрет.
Он и портрет и памятник.

¹ Последнее стихотворение И. Елагина.

* * *

Здесь чудо все: и люди, и земля,
И звездное шуршание мгновений.
И чудом только смерть назвать нельзя —
Нет в мире ничего обыкновенней.

Публикация И. МАТВЕЕВОЙ-ЕЛАГИНОЙ.
Подготовка текста Е. ВИТКОВСКОГО.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ИВАНА ЕЛАГИНА

Ивана Елагина почти единодушно считали первым среди зарубежных поэтов послевоенного периода. О нем заговорили сразу же после окончания войны — еще в разбомбленной и побежденной Германии. Поэт жил тогда в американской зоне, в лагере для перемещенных лиц под Мюнхеном.

Впервые мы встретились в 1950 году на транспортном военном суденьшке, переправлявшем перемещенных лиц в Америку. Затем много лет подряд мы обычно виделись на поэтических вечерах или у общих знакомых — всегда в большой компании, — иногда на симпозиумах в суеде приездов-отъездов, на университетских обедах среди множества преподавателей и студентов. Лишь однажды выступая в Питтсбурге, я гостила в уютном доме Елагиных, где буквально все стены увешаны картинами двух близких друзей поэта — ныне покойного художника Сергея Бонгарта, которого Елагин знал еще по Киеву, и живущего в Нью-Йорке бывшего ленинградца Сергея Голлербаха. Помню, как тогда, далеко за полночь, Иван Венедиктович читал мне стихи и показывал свои прекрасные переводы американских поэтов. И однажды, когда выступал на славистской конференции в Филадельфии, он остановился у меня в доме.

Тогда впервые я заметила некоторые оттенки его характера: гордость и печаль, уверенность в себе, в своем мастерстве и вместе с тем необыкновенная незащищенность, ранимость, оставшиеся у него до самых последних дней жизни. Поэта могло глубоко задеть какое-нибудь неверное высказывание о его стихах, даже простая типографская ошибка, к которой мы, зарубежные поэты, должны волей-неволей привыкнуть, даже эти глупые опечатки огорчали его непомерно. И необыкновенно радовало внимание к нему, вернее, к его творчеству.

По воле судьбы мне пришлось довольно часто видеть поэта в последние дни его жизни. В отличие от многих в таком положении Елагин не скрывал своей болезни и рад был вниманию, которое все старались ему оказать.

Весть о тяжком и неизлечимом недуге поэта быстро облетела друзей и знакомых Елагина. О недомогании он говорил еще летом 1986 года. Тогда в Норвичском университете я была поражена его усталым видом и значительной потерей веса. Наконец врачи установили точный диагноз: рак поджелудочной железы. Согласно американской медицинской этике они ничего не скрыли от пациента. Он понимал, что положение безнадежно, но терпеливо переносил боли, когда не помогали и наркотические средства. Как-то в разговоре со мной по телефону он даже поблагодарил судьбу за то, что послала ему именно этот быстро текущий вид рака.

Нужно сказать, что Иван Елагин имел верных друзей и сам был верен в дружбе. До самой смерти сохранил он теплые отношения со старыми друзьями. И в страшное время друзья его не оставили: навещали, звонили, всячески пытались помочь, хотя понимали, что в главном помочь бессильны: поэт умирал.

Последней большой радостью для Елагина была книга избранных его стихов «Тяжелые звезды». Поэт давно уже мечтал о таком сборнике и с горечью жаловался, что нет издателя. Увы, даже стихи Елагина издатели отказывались печатать за свой счет. И вот близкие друзья поэта Татьяна и Андрей Фесенко, знавшие его еще по Киеву, решили сделать ему прощальный подарок — издать книгу новых стихов поэта. А Леонид и Агния Ржевские расширили этот добрый замысел, собрав среди друзей и почитателей поэта средства на большую книгу. Составителем сборника был профессор Л. Д. Ржевский. Свой труд он закончил, но книги не увидел — скончался от сердечного приступа накануне выхода «Тяжелых звезд». Потерю долголетнего друга уми-

рающий поэт воспринял очень болезненно. «Умер последний джентльмен», — сказал он мне по телефону.

Некоторые друзья уговаривали Ивана Венедиктовича все же лечиться, что-то советовали, где-то узнавали о каких-то даже «колдовских» средствах. Но он упорно от всего отказывался. И только когда поэтесса Елена Дубровина, работающая в Филадельфийском медицинском институте, проводящем эксперименты в области лечения рака, рассказала ему о новом методе — введении в кровь моноклонных антител, поэт согласился пройти курс лечения в Филадельфии. Здесь врачам удалось спасти четырех больных раком поджелудочной железы.

16 декабря 1986 года художник Владимир Шаталов и я встретили Ивана Венедиктовича в филадельфийском аэропорте. Прилетел он со своей дочерью Еленой Матвеевой, профессиональной сестрой милосердия, трогательно ухаживавшей за больным отцом. Неимоверно исхудавший, с большими страдальческими глазами, в инвалидной коляске, Иван Венедиктович слабо улыбнулся: «Изменился я, не правда ли?» Голос был глухим и тихим. Мучили его не только боли, но и приступы тошноты. Он почти ничего не ел. Но страха перед близкой кончиной или уныния я не заметила. Полушепотом поэт говорил о своей книге «Тяжелые звезды». Она его радовала. Он подписывал ее своим друзьям, очень хотел, чтобы побольше экземпляров попало в Россию: «Ведь больше я уже ничего не напишу». Но поэт ошибся.

Филадельфийские врачи сразу же сказали (но не в глаза пациенту), что пятым, спасенным ими, Иван Елагин не будет. Однако обещали облегчить общее состояние больного. И обещание сдержали. Поэт почувствовал себя гораздо лучше после первого введения моноклонных антител. Здесь, конечно, был большой психологический фактор — появилась хотя и слабая, но все же надежда на выздоровление. Врачи объяснили, что по непонятным причинам все больные чувствуют себя значительно лучше в самом начале курса лечения. Так или иначе, в Филадельфии поэт вдруг почувствовал некое возвращение к жизни. Об этом он говорил по телефону многим друзьям. И даже голос его стал приобретать почти прежний тембр.

За несколько недель до приезда в Филадельфию Иван Елагин прислал мне новое свое стихотворение для редактируемого мною альманаха «Встречи». «Напечатайте это четверостишие только после моей смерти», — попросил он. Когда поэт почувствовал себя лучше, он твердо сказал мне: «Если я выздоровлю — стихотворение не печатайте». Увы, альманах за 1987 год начинался четверостишием Ивана Елагина:

Здесь чудо все: и люди, и земля,
И звездное шуршание мгновений.
И чудом только смерть назвать нельзя —
Нет в мире ничего обыкновенней.

Перед самой кончиной Иван Елагин говорил: «Пора присоединяться к большинству, ведь мертвых больше, чем живых».

Лечение в Филадельфии не требовало длительного госпитального режима, поэтому поэт дольше всего пробыл в доме В. Шаталова, где неустанно за ним ухаживала дочь. Вскоре после приезда в Филадельфию Иван Венедиктович был в состоянии некой эйфории. Именно здесь в последний раз к нему вернулось желание писать стихи. Как он радовался этому!

Друг Елагина Сергей Голлербах написал как-то, что поэт вдохновлял живописца. Действительно это так. И даже на пороге смерти, увидев поразивший его портрет Гоголя кисти В. Шаталова, он написал об этом портрете последнее свое стихотворение, которое еще при жизни поэта было напечатано в «Новом русском слове» рядом с фотографией портрета Гоголя. Удивительно, что в стихотворении, написанном за полтора месяца до смерти, нет ни слезы, ни жалобы. Это гимн поэта писателю и художнику. Высокое их триединство. Иван Венедиктович был счастлив, что в своем семистрофном стихотворении он смог высказать восторг перед произведением ценного им художника. (Портрет Гоголя он попросил поставить на мольберт перед своей кроватью в доме Шаталова.)

В это короткое «доброе время» я наблюдала, как радовало поэта доброе к нему отношение братьев по перу. Несколько раз звонил Бродский. Через американского переводчика Е. Евтушенко профессора Тодда стало известно, что из Москвы позвонит Евтушенко. Елагин очень дорожил знакомством с советским поэтом — ведь это была непосредственная связь с родиной, которую он любил. И Евтушенко ценил и

любил поэзию Елагина, виделся с ним, когда бывал в питсбургских краях, говорил о стихах Елагина на своих выступлениях. (К сожалению, свое обещание Евтушенко не исполнил. Не позвонил.) Помню, в доме Шаталова под тихие звуки классической музыки поэт снова и снова повторял, как хочется ему, чтобы побольше его книг попало в Россию. (О публикациях там тогда еще не было и речи.)

На мой вопрос, кого бы он посоветовал мне напечатать во «Встречах» в разделе «Из зарубежного поэтического наследия», Елагин назвал Ивана Савина. Узнав, что у меня нет книги стихов Савина «Ладанка», он пообещал мне ее прислать

Потом мне рассказывала Елена Матвеева, что за день до смерти отца она увидела, как он, еле держась на ногах, стал искать что-то на полках с книгами. Узнав, что он ищет «Ладанку», она пообещала найти ее и послать мне. Иван Венедиктович все же сам отыскал книгу и дал дочери со словами: «Пошли ее Вале». Здесь было не только дружеское расположение ко мне, но и профессиональное чувство долга, которое многие так ценили в Иване Елагине. Он был требователен не только к другим, но и к себе. Не ошибаясь, присылал «свежие» стихи для первой публикации, всегда вовремя, хотя в случае со «Встречами» публикацию своих стихов авторы ожидают около года.

С Владимиром Шаталовым поэт беседовал о судьбах искусства на Западе. Незадолго до отъезда из Филадельфии он продиктовал дочери записку для художника: «Скажи Володе, что мне сейчас трудно говорить и думать. Но вот что ему завещаю: чтобы в своей концепции искусства он оставил место для Божьей правды и Божьей благодати, т. к. с ними мы обретем свободу, а не станем превращаться в роботов».

Новый, 1987 год Иван Елагин встретил в кругу семьи в Питсбурге. Но в январе он все же снова приехал в Филадельфию на лечение. И тут сразу же стало понятно, что конец очень близок. Понимал это и поэт. Никакой, даже слабой надежды уже не было. «Процесс болезни идет быстрее процесса выздоровления», — заметил он. Однако был доволен, что участвует в серьезном медицинском эксперименте.

Поэт продиктовал дочери объявление о своей смерти. По-прежнему слушал он тихо игравшую классическую музыку, но говорить уже не было сил. Накануне его отъезда в Питсбург я приехала к нему попрощаться. Он лежал неподвижно, с закрытыми глазами, укрытый электрическим одеялом, так как все время зябнул. Вдруг открыв глаза, он спросил меня: «Как фамилия режиссера, хвалившего мои стихи на выступлениях в Бостоне?» «Любимов?» — спросила я «Да, Любимов. Я никак не мог вспомнить его фамилию». И снова закрыл глаза. Это были последние слова, которые я слышала от Ивана Елагина

6 февраля перед посадкой на самолет Иван Венедиктович сказал провожавшему его Владимиру Шаталову, как он рад, что закончил свой творческий путь стихотворением о Гоголе, а не плачем о себе.

Утром через два дня в Питсбурге скончался Иван Елагин. Семья похоронила его в том же городе — к нему он привык за долгие годы. Здесь он жил и здесь он работал.

Тогда, сразу же после смерти поэта, на память снова и снова приходило одно из самых вдохновенно-красивых его стихотворений:

Мне незнакома горечь ностальгии.
Мне нравится чужая сторона.
Из всей — давно оставленной — России
Мне не хватает русского окна.

Оно мне вспоминается доньне,
Когда в душе становится темно, —
Окно с большим крестом посередине,
Вечернее горящее окно.

ВАЛЕНТИНА СИНКЕВИЧ.

Филадельфия.

ПУБЛИЦИСТИКА

Судьбы КПСС и нашей страны на протяжении семи с лишним десятилетий прочно связаны между собой. Хотим мы того или нет, но история КПСС была, есть и остается поныне и историей Советского государства. Потому закономерно, что в поисках первопричин переживаемого сегодня нашим обществом кризиса мы неизбежно сталкиваемся с необходимостью заново переоценить путь, пройденный КПСС, переосмыслить итоги этого пути. М. С. Горбачев писал в статье «Социалистическая идея и революционная перестройка»:

«Мы не можем отказаться от нашей истории. Именно в прошлом — истоки многих наших сегодняшних проблем. Весь опыт социализма — и героический и трагический — представляет собой достояние человечества. Весь его требуется глубоко изучать и осмысливать. В этом случае не только победы, но и потери наши будут не напрасными, мы будем лучше понимать, какие опасности ждут нас впереди и как нам избежать их... КПСС тоже возвращается к истокам и принципам революции... чтобы в полной мере принять на себя ответственность за дело революции, за ее обещания, свершения и долги».

В материалах политологов и публицистов А. Авторханова и А. Кивы, предлагаемых вниманию читателей, проблема взаимоотношений партии и государства исследуется именно с точки зрения той величайшей ответственности, что неизбежно ложится на плечи каждому, принимающему на себя бремя власти. Быть может, отдельные авторские суждения и оценки могут показаться излишне категоричными и субъективными. Не обязательно разделяя их, но учитывая чрезвычайно важный, принципиальный характер настоящего разговора, редакция не сочла возможным корректировать позиции его участников.

Несколько слов об авторах.

А. Авторханов — доктор политических наук. Живет в Западной Германии. Автор ряда работ по истории СССР и КПСС. Наибольшую известность ему принесли книги «Технология власти» (Мюнхен. 1959), «Stalin and Soviet Communist Party» (New York. 1959), «The Communist Party Apparatus» (Chicago. 1966), «Загадка смерти Сталина» (Западный Берлин. 1976) и двухтомный труд «Происхождение партократии» (Франкфурт-на-Майне. 1973). Одну из стержневых и, на наш взгляд, наиболее интересных глав из этой работы мы и публикуем с небольшими сокращениями, согласованными с автором.

Алексей Кива — доктор исторических наук. Его перу принадлежат книги «Страны социалистической ориентации. Основные тенденции развития» (М. 1978), «Капитализм или социализм. О путях социального прогресса освободившихся стран» (М. 1983), «Национально-освободительные движения. Теория и практика» (М. 1989), а также ряд статей по политике и социологии, опубликованных в советской и зарубежной периодике.

А. АВТОРХАНОВ

*

Х СЪЕЗД И ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ПАРТИИ

В 1921 год Советская Россия вступила уже в условиях полного внутреннего и внешнего мира. Последние силы белого движения в Крыму, силы генерала Врангеля, были разгромлены в середине ноября 1920 года...

Х съезд партии происходил 8—16 марта 1921 года. В съезде участвовали 694 делегата с решающим и 296 человек с совещательным голосом (вся партия 732 521 человек). Пар-

© 1989 А. Avtorkhanov.

Автор предоставляет «Новому миру» и издательскому центру «Новый мир» в лице старшего редактора отдела публицистики С. Николаева право распоряжаться всеми своими публикациями на территории СССР.

тийный историк замечает: «Коренным вопросом съезда был вопрос о переходе к новой экономической политике» («Десятый съезд РКП(б). Стенографический отчет». М. 1963, стр. VIII. В дальнейшем при ссылке автора на это издание после цитат будут в скобках указаны страницы). Так трактуется главное значение X съезда не только в советской, но и в западной литературе. Выражение «новая экономическая политика», или «нэп», вообще не присутствует ни в докладах Ленина, ни в решениях съезда. Говорили и приняли решение об одном хотя и важном, но все же частном вопросе экономической политики: о переходе от продовольственной разверстки, при которой у крестьян реквизируют все продовольственные, сырьевые и фуражные излишки, к продовольственному налогу, при котором они обязаны сдавать государству только определенную заранее долю хлеба. Остатки они могут менять на изделия промышленности. Но в решении особо подчеркнуто: «Обмен допускается в пределах местного хозяйственного оборота» (609).

Это, первоначально частное, налоговое мероприятие X съезда было после съезда расширено до рамок нэпа — до поворота во всей экономической политике как в деревне, так и в городе. Случилось это опять-таки не добровольно и не по экономическим соображениям, а вынужденно и по политическим соображениям, чтобы спастись от гибели под ударами новой рабоче-крестьянской революции, в данном случае уже против большевиков («За Советы, но без коммунистов» — таков был лозунг новой революции).

Ленин только констатировал этот факт, когда на IV конгрессе Коминтерна 13 ноября 1922 года говорил: «...в 1921 году, после того, как мы преодолели важнейший этап гражданской войны... мы наткнулись на большую, — я полагаю, на самую большую, — внутренний политический кризис Советской России, который привел к недовольству не только значительной части крестьянства, но и рабочих» (В. И. Ленин. Сочинения. Издание четвертое, т. 33, стр. 383). Ленин признал, по существу, что режим «военного коммунизма» был попыткой непосредственного перехода к социализму. Но «большие массы крестьянства... были против нас», некоторые открыто восставали, другие уходили в банды, третьи просто ворчали, как сибирские крестьяне, которые, по словам делегата X съезда Пахомова, говорили: «Поменяли Колчака на губчека — получай придачу» (430).

Ленин говорил, как он только теперь понял, что «если мы окажемся не в состоянии произвести отступление... то нам угрожает гибель» (В. И. Ленин. Сочинения. Издание четвертое, т. 33, стр. 384). Поэтому-то Ленин новую экономическую политику рассматривал как временное отступление, как «передышку», как тактический маневр. Он был предельно откровенен, когда, выступая на собрании 17 октября 1921 года, говорил: «Мы думали, что по коммунистическому велению будет выполняться производство и распределение... Если мы эту задачу пробовали решить прямоком, так сказать, лобовой атакой, то потерпели неудачу... Не удалась лобовая атака, перейдем в обход, будем действовать осадой и сапой» (там же, стр. 47).

Обо всем этом на X съезде Ленин не говорил, потому что не собирался делать поворот в экономической политике, ограничившись введением нормального налога и обмена «в пределах местного хозяйственного оборота». Крестьянское восстание в Тамбове, матросское восстание в Кронштадте, волнение рабочих в Петрограде и Петроградской губернии, объявленных на осадном положении, массовое недовольство и забастовки рабочих Москвы, угрожающая реакция на эти события в самых отдаленных губерниях России убедили Ленина, что лавирование с «налогом» не достигнет цели, а потому он должен был объявить во всеуслышание: нэп — «всерьез и надолго».

Ко всему этому добавлялась и исключительная напряженность внутривнутрипартийной жизни. Отражая настроение и недовольство народа, партийная масса выдвигала из своей среды бесчисленные оппозиции против официальной линии. Недаром среди восставших кронштадтских матросов были и активные коммунисты: по данным на X съезд 30 процентов кронштадтских коммунистов участвовали в восстании, а 40 процентов объявили себя «нейтральными» (253).

Если бы решалась судьба режима во всероссийском масштабе, то, вероятно, соотношение сил внутри всей партии было бы такое же. Поэтому коренным вопросом X съезда был не нэп, который тогда Ленин и не думал объявлять, а вопрос, вообще не стоявший на официальной повестке дня: введение в партии осадного положения с провозглашением всеобщей чистки.

X съезд партии был первым съездом в истории большевизма, на котором Ленин резко порвал со старой традицией, с «неписанным правом» членов партии иметь свое мнение, составлять группы со своими платформами, расходящимися с официальной линией ЦК. Но сам Ленин провел весь съезд от имени и под знаменем его собственной, легально существ-

вовавшей в ЦК с ноября 1920 года фракции Ленина — Зиновьева — Сталина, или фракции «десяти», со своей собственной платформой «десяти» (из них только 8 человек были членами ЦК), тогда как другая фракция в ЦК, группа Троцкого — Бухарина (тоже 8 членов ЦК), легально никогда не оформлялась и на съезде как фракция не выступала. Более того, Ленин во время съезда устраивал частные фракционные совещания «сторонников „платформы десяти“ X съезда» (639), чтобы обеспечить принятие нужных ему решений. Выборами президиума съезда, как потом и выборами ЦК, руководила (намечала и выдвигала кандидатов в члены ЦК) та же фракция «десяти» (714).

В президиум съезда от фракции «десяти» вошли 5 человек (Ленин, Зиновьев, Каменев, Сталин, Томский) и еще 5 их сторонников, от бывшей группы Троцкого — Бухарина эти двое плюс Раковский.

Считаясь с большим влиянием «рабочей оппозиции» в профсоюзах и чтобы предупредить создание блока между группами «децистов» и «рабочей оппозиции», фракция Ленина включила в состав президиума двух представителей «рабочей оппозиции» — Шляпникова и Перепечко, но отвела предложение о включении туда и представителя «демократического централизма» — Сапронова, хотя на прошлом съезде его выбирали в президиум как представителя определенного течения.

На повестке дня съезда стояли вопросы: 1) отчет ЦК (Ленин и Крестинский) и ЦКК (Сольц); 2) о Главполитпросвете, пропаганде и агитации (Преображенский); 3) национальный вопрос (Сталин и Сафаров); 4) профсоюзы (Зиновьев, содокладчики Троцкий и Шляпников); 5) партийное строительство (Бухарин); 6) о замене продразверстки продналогом (Ленин); 7) Советская Россия в капиталистическом окружении (Каменев); 8) отчет представителей РКП(б) в Коминтерне (Зиновьев); 9) выборы ЦК, ЦКК и Ревизионной комиссии.

Таким образом, как уже указывалось, коренной вопрос съезда о судьбе всей партии — вопрос о «единстве партии» и «анархо-синдикалистском уклоне» — в повестку дня съезда вообще не был включен. Тактический маневр Ленина был ясен: поскольку повестка дня съезда публиковалась за месяц до его начала, Ленин хотел предупредить дискуссию в партии по столь «взрывчатой» теме, куда более «взрывчатой», чем тема о профсоюзах. Искусственно подобранный состав съезда, обеспечивающий большинство для фракции «десяти», считался гарантией принятия желательного решения, когда Ленин огласит в подходящий момент работы съезда свои готовые проекты. Вопреки существующему установленному порядку ЦК не только не обсуждал этих проектов Ленина, но даже не знакомился с ними, кроме, разумеется, членов фракции «десяти», то есть меньшинства ЦК.

Политический отчет ЦК, который всегда делал сам Ленин, никогда не бывал отчетом в собственном смысле этого слова. Ленин просто обосновывал политику ЦК и правительства и давал установки на будущее. Ленин свой доклад заранее не писал, а говорил, пользуясь лишь тезисами или заметками.

Ленин заявил на съезде, что «ставка на международную революцию не значит — расчет на определенный срок», и поэтому сейчас задача в том, чтобы «диктатуру пролетариата удержать» как базу грядущей коммунистической революции на Западе. Важнейшим инструментом Советской России по организации коммунистической революции на Западе Ленин признал Коминтерн и решения его II конгресса.

Перейдя ко внутренней политике, Ленин назвал «дискуссию о профсоюзах» «совершенно непозволительной» роскошью, а допущение этой дискуссии — ошибкой. Ленин сказал, что во время этой дискуссии ЦК получал так много платформ, что он, Ленин, не успевал их читать. Обилие платформ и словоохотливость партии он оценил как наличие «полуанархического уклона» в партии. Платформу «рабочей оппозиции», лидеры которой сидели в президиуме рядом с Лениным, он назвал воплощением «явно синдикалистского уклона». Хотя ни один делегат съезда еще не выступал по поводу платформы «рабочей оппозиции», Ленин предупреждающе заявил: «И это не мое личное мнение, а мнение громадного большинства присутствующих» (27). Это было лучшее доказательство того, что Ленин основательно поработал над организацией съезда (в значительной мере этим объяснялось, что X съезд, назначенный еще 12 декабря 1920 года на 6 февраля 1921 года, был отсрочен на месяц — до 6 марта 1921 года).

Извлекая выводы из свободы споров и дискуссий внутри партии, Ленин сказал: «...мы должны на съезде прямо сказать: споров об уклонах мы не допустим, мы должны поставить точку... превратить это в обязательство для партии, в закон» (28).

Восстание в Кронштадте, поскольку ему сочувствовало не только крестьянство, но и значительная часть рабочего класса, Ленин оценил как движение куда более опасное, «чем Деникин, Юденич и Колчак, сложенные вместе». Программа кронштадтского вос-

стания — свобода торговли, свобода слова, печати, партий, свобода выборов, даже советская власть, но без коммунистов — по Ленину, могла стать программой международного востания, если партия не примет драконовских мер против повстанцев, сочетая эти меры с уступками крестьянству, дав ему возможность известной свободы в местном обороте. Ленин предупредил съезд, что кронштадтское «настроение сказалось на пролетариате очень широко. Оно сказалось на предприятиях Москвы, оно сказалось на предприятиях в целом ряде пунктов провинции»... Ведь накануне Кронштадта забастовки были и в Петрограде и в Москве.

Кончая свой доклад, Ленин впервые после прихода к власти признал, что пролетариат отныне не может считаться опорной базой диктатуры партии. Его аргумент: «Когда в Москве были беспартийные собрания (рабочих.— А. А.), ясно было, что из демократии, свободы они делают лозунг, ведущий к свержению Советской власти» (39). Поэтому-то Ленин еще в профсоюзной дискуссии, до Кронштадта, понял, что «диктатура пролетариата» — слишком серьезная вещь, чтобы ее можно было доверить самому пролетариату, ее может осуществить только партия. Для этого партия должна быть единой и проводить в жизнь официальную единую линию своего руководящего центра. Уже во вступительном слове Ленин объяснил, почему вредны дискуссии и споры. Он указал, что враги большевиков думают так: «...если дискуссия — значит споры, если споры — значит раздоры, если раздоры — значит коммунисты ослабели: напирай, лови момент, пользуйся их ослаблением!» (2). Отсюда Ленин делал вывод, что всякая оппозиция против ЦК — это объективная помощь мелкобуржуазной контрреволюции.

Доводы Ленина не убедили ни «рабочую оппозицию», ни оппозицию «демократического централизма». Лидеры обеих оппозиций выступили с резкой критикой официальной политики ЦК. Правда, Ленин одной своей цели добился: он не только предупредил образование объединенного блока двух оппозиций на съезде, но и столкнул их друг с другом. Лидер «рабочей оппозиции» Шляпников констатировал, что «в партии нет органической связи между членами партии и руководящими органами ее» и что методы работы партии, унаследованные от гражданской войны, отталкивают от партии «широкие группы пролетариата». «Рабочая оппозиция», «стоящая очень близко к широким кругам пролетариев», предупреждала ЦК «об опасности отрыва от масс». Обращаясь к существу доклада Ленина, Шляпников сказал: «И те ярлыки, экивоки, инсинуации, которые раздаются здесь по нашему адресу, нас не смущают. Мы знаем себя и хорошо знаем, с кем имеем дело... путь, на который встал т. Ленин, не приведет нас к желанному всеми единству». Шляпников укорял Ленина, что он опрометчиво обвиняет пролетариат в мелкобуржуазной контрреволюции: «По мнению докладчика (Ленина.— А. А.) выходит, что мелкобуржуазная стихия оказывается в красе и гордости революции, в Кронштадте. Влиянию ж поддается не кто иной, как питерский пролетариат... который еще недавно служил рекламой как раз для т. Зиновьева и других, заявлявших, что питерский пролетариат свободен от всякой оппозиции, и особенно от „рабочей оппозиции“».

Шляпников сказал, что «органическая болезнь» партии — это оторванность партцентров от партийных масс и всего партаппарата — от рабочих масс. В результате всего этого — недовольство рабочих и восстание «красы и гордости революции» — матросов, рабочих и коммунистов Кронштадта. Поэтому, сказал Шляпников, «клеить нас бездоказательно синдикалистами, анархистами — недостойно! Связать же нас с теми или иными восстаниями или недовольством, которое сейчас журчит в рабочих кварталах, не только бессмысленно, но неборосовестно и демагогично» (73). Шляпников добавил, что причины недовольства рабочих «нас ведут не к «рабочей оппозиции», а к Кремлю» (73).

Касаясь внутривнутрипартийного режима Ленина, Шляпников сказал: «Методы партийной работы также нуждаются в коренном изменении. Необходимо немедленно покончить с единоличием в партийной работе, прекратить ставку на уполномоченных. Центральный Комитет все время ведет борьбу с местами при помощи назначенства и уполномоченных» (75).

Выступив вслед за Шляпниковым, один из лидеров «децистов», Осинский, поддержал Ленина в обвинениях по адресу «рабочей оппозиции». Осинский сказал, что «синдикализм у нас безусловно имеется. Синдикализм выражается практически в неподчинении мест центру», но тут же обвинил Ленина в заигрывании с этими синдикалистами. Проповедуя на словах единство, на деле Ленин подрывает его: «...вот блестящий образец: открытие съезда. Сапронов, которого вчера выкинули из президиума, был представителем оппозиционного течения раньше, на VIII и IX съездах...» В то же время Ленин комбинировал и вводит в президиум двух представителей «рабочей оппозиции». ЦК как бы говорит «рабочей оппозиции»: «...выдержишь ли ты экзамен? Если ты выдержишь экзамен, то мы с тобой ком-

бинацию продолжаем, если же нет, то союз разрывается, и мы будем тебя бить».

Но основной удар Осинского пришелся по «рабочей оппозиции», которую он оценил как «крикливую» и «злорадствующую» оппозицию (78). Ближайшая цель Ленина — вбить клин между двумя оппозициями — была достигнута с самого начала работы съезда.

Милонов (руководитель Самарской губернской парторганизации) указал, что до сих пор в партии боролись три группировки: «...группировка ЦК, группировка «демократического централизма» и группировка «рабочей оппозиции»; из этих трех группировок только «рабочая оппозиция» социально близка к рабочим, и поэтому она пользуется доверием рабочего класса. Критикуя анализ Ленина, он сказал: «Ленин ставит вопрос так: крестьянство настроено мелкобуржуазно, оно не с нами... рабочий класс подпадает под мелкобуржуазное влияние... разных мелкобуржуазных анархических элементов... на что же может опираться сейчас Коммунистическая партия?.. нельзя же опираться на одно советское и партийное чиновничество?»

В чем причина общего кризиса доверия пролетариата к партии? Милонов ответил, что партия перестает быть рабочей партией (85). Милонов нашел психологическое объяснение тому, почему Ленин приклеил ярлык синдикализма «рабочей оппозиции». Он сказал: «Тов. Ленин здесь так категорически, можно сказать, «административным порядком», без всяких доказательств наклеил «рабочей оппозиции» ярлычок синдикализма. Психологически это понять не трудно. Тов. Ленин — председатель СНК, он руководит нашей советской политикой. Очевидно, что всякое движение, откуда бы оно ни исходило, мешающее этой работе управления, и воспринимается как движение мелкобуржуазное и как движение чрезвычайно вредное» (83).

Рязанов, выступления которого на съездах были всегда оригинальны и остроумны, сравнил призыв Ленина к единству с таким же призывом Пугачева к его вечно сорвавшимся помощникам. Он сказал: «...и речь докладчика (Ленина.— А. А.) и речь... самарского товарища (Милонова.— А. А.) невольно напомнили мне... одного из наших предшественников XVIII столетия — т. Пугачева. Когда начались «фракционные» разногласия... Пугачев обратился к своим соратникам с прочувствованным словом: „Господа енералы, полно вам ссориться. Не беда, если б и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладной, беда, если наши кобели между собой перегрызутся. Ну, помиритесь!“» Рязанов считал, что ЦК, «упорно борясь, иногда без всякого смысла, с оппозициями», сам же «культивирует, выращивает... «рабочую оппозицию» (85—86), но забыл добавить, что «культивирует» только временно, как противовес «интеллигентной» оппозиции «децистов». Полную ясность в эту тактику Ленина внесло выступление представителя «рабочей оппозиции» Перепечко. Он цитировал в своей речи документ, официально предоставленный аппаратом ЦК в распоряжение Шляпникова. Документ этот — стенограмма речи Осинского в Туле на губернской партконференции. В этой речи Осинский якобы сказал: «„И вот... говорят о самостоятельности рабочих масс, когда интеллигенция с величайшей наугуд тянет голодный, усталый рабочий класс. Она есть передовой авангард, который тянет всех, и в это время разговаривать о самостоятельности масс — это называется: на похоронах в дудочку играть“ (Осинский с места: «Ничего подобного! Это искаженная стенограмма!») Если, товарищи, это — подделка, то надо предать суду тех, кто представил сюда эту стенограмму» (91). Перепечко обвинил «децистов» в том, что они другой программы не имеют, кроме желания выдвинуть Сапронова и Осинского в состав «авангарда партии». «Рабочая оппозиция» имеет программу, заключающуюся в том, что «роль пролетариата... не должна сводиться к роли простого объекта, с которым делают что угодно» (92).

«Децист» Рафаил напомнил Ленину, что «роскошь» дискуссии была не в том, что она была разрешена, а в той форме, которую ей придали с разрешения Ленина такие члены фракции «десяти», как «архибешеный демократ» Зиновьев. Рафаил обвинил ЦК в устройстве «всероссийской склоки» под видом профсоюзной дискуссии (99).

Коллонтай, автор брошюры «Рабочая оппозиция», цитируя сторонника ЦК Смилгу, сказала, что «былой тип идейного работника у нас исчез... сейчас появились управляющие и управляемые, стоящие — одни наверху, другие — внизу». Она обвинила ЦК в продолжении политики репрессий против инакомыслящих коммунистов. В решениях IX сентябрьской конференции 1920 года сказано: «Какие бы то ни было репрессии против товарищей за то, что они являются инакомыслящими по тем или иным вопросам, решенным партией, недопустимы» («Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». М. 1953, ч. 1, стр. 509). Напомнив это решение, Коллонтай спрашивала: «Почему постановление сентябрьской конференции, чтобы перестали отсылать в отдаленные места наших инакомыслящих, с точки зрения ЦК, товарищей, почему на де-

ле оно не проводится в жизнь? Мы знаем, что закулисно ведется определенная оценка товарищей, расценка их, кого оставить, а кого убрать подальше...» (101).

Поскольку такие прения ничего хорошего не обещали ЦК, президиум съезда поспешил закрыть их, хотя успели выступить только 11 человек по трем важнейшим докладам.

Заключительное слово Ленина было весьма агрессивно. Настолько агрессивно, что он угрожал «рабочей оппозиции» не только исключением из партии, но и винтовкой. Объяснить это можно было только одним: для Ленина был страшен не Кронштадт вне партии, а «рабочая оппозиция» внутри партии. Рабочий класс, от имени которого действовал Ленин, открыто аплодировал оппозиции. Если не раздавить эту оппозицию сейчас же, на этом же съезде, угроза потери власти ЦК в пользу «рабочей оппозиции» становилась реальной. Ленин начал заключительное слово с того, что как будто ничего не произошло, и, видно, потому «съезд так быстро закрыл эти прения, что удивительно бессодержательно говорили, и почти что только одни представители „рабочей оппозиции“».

В дальнейшем продолжении речи Ленина все же выяснилось, что не так уж «бессодержательны» были речи оппозиции в глазах Ленина. «Рабочую оппозицию» Ленин связал с Кронштадтом. Он сказал: «Я утверждаю, что между идеями и лозунгами этой мелкобуржуазной, анархической контрреволюции и лозунгами «рабочей оппозиции» есть связь».

В чем же эта связь? «Рабочая оппозиция» требует, чтобы «организация управления народным хозяйством принадлежала всероссийскому съезду производителей», а Ленин говорит, что «диктатура пролетариата невозможна иначе, как через коммунистическую партию» (118). Ленин считает, что «теперь «дискутировать винтовками» гораздо лучше, чем тезисами... для оппозиции теперь конец, крышка... Если же они будут продолжать играть в оппозицию, тогда партия должна их из партии исключить» (118, 119).

Касаясь критики Шляпникова в адрес своего заместителя Цюрупы, которого Шляпников требовал отдать под суд за то, что его наркомат гноит картошку в то время, когда рабочие голодают, Ленин вообще потерял контроль над собою. Он сказал: «...почему не предадут суду Шляпникова за такие выступления?.. или же мы на собрании кронштадтского типа? А это — кронштадтская фраза анархического духа, на которую отвечают винтовкой» (123).

Это выступление убедило всех, что отныне партия дошла до той грани, за которой Ленин намерен разговаривать со всяким инакомыслящим в партии — винтовкой.

После заключительного слова Ленина по отчету ЦК были внесены три резолюции; одну от имени сторонников ЦК внес Ярославский. В ней было сказано, что съезд «признает внутреннюю и внешнюю политику ЦК в общем и целом правильной», отмечался недостаток единства в самом ЦК, предлагалось для «полной устойчивости» партийного центра ввести в ЦК «организаторов, выдвинувшихся в массовой партийной работе». В общем, резолюция была составлена в менее решительных тонах, чем доклады Ленина, чтобы дать возможность оппозиционным группам голосовать за нее. Но оппозиции внесли собственные резолюции по отчету ЦК. От имени группы «децистов» Бубнов предложил резолюцию, в которой отмечалось, что ошибки ЦК «были усилены благодаря бюрократизации аппарата пролетарской диктатуры и в особенности его верхушек», проводился курс на «чрезмерную централизацию», сам ЦК «распался на группы и стал ареной фракционной склоки», резолюция требовала «проведения во внутрипартийном строительстве принципа демократического централизма и пролетарской демократии». От имени группы «рабочей оппозиции» Медведев предложил резолюцию, в которой отмечалось, что ЦК не проводил в жизнь решения VIII съезда о чистке партии от чуждых элементов, «не проводил... принципов рабочей демократии, ответственности и отчетности руководящих органов перед низами партии и широкой гласности суждений... Центральный Комитет не провел орабочивания советских руководящих органов как в центре, так и на местах», «политика ЦК... имела ряд уклонов в сторону недоверия к творческим силам рабочего класса». «Рабочая оппозиция» считала, что только ликвидацией этих недостатков, а также созданием контакта партии «через Советы и профсоюзы с широкими пролетарскими и полупролетарскими массами» можно восстановить доверие между ЦК и партией и восстановить «действительное и полное единство партии».

Результаты голосования по резолюциям: резолюция Ярославского собрала 514 голов, резолюция «децистов» — 47, резолюция «рабочей оппозиции» — 45 (137).

Когда начали вносить поправки или дополнения к резолюции Ярославского, выяснилась любопытная деталь: делегат Хатаевич предложил дополнить резолюцию новым пунктом о недопустимости всякой оппозиции, как этого требовал Ленин. Председательствующий Каменев отвел это дополнение ссылкой на то, что речь об этом пойдет, когда будут

обсуждаться резолюции по пунктам повестки дня — именно «о профсоюзах» и «партийном строительстве»; значит, проекты резолюций Ленина об «анархо-синдикализме» и «О единстве партии» делегатам съезда еще не были известны, но что и Каменев не ссылается на них — это, вероятно, умышленное умолчание, пока не будут произведены выборы нового ЦК. Но об этих резолюциях уже ходили слухи, что показало выступление Смилги по тезисам ЦК о партийном строительстве (311)...

Доклад о партийном строительстве от имени ЦК сделал Бухарин. Его тезисы, одобренные комиссией ЦК в составе Бухарина, Сталина, Серебрякова, а также его доклад охватывали почти весь круг вопросов внутрипартийной жизни, по которым уже шла дискуссия. Бухарин констатировал, что марксизм не признает незыблемых организационных форм, формы меняются в зависимости от условий и времени. В военное время партия была милитаризована, что выразилось «в крайнем организационном централизме и в свертывании коллективных органов партийной организации». Сейчас, после гражданской войны, условия изменились, и поэтому партия переходит к осуществлению «рабочей демократии». Что надо понимать под этим термином, тезисы Бухарина объясняли так: «Под рабочей внутрипартийной демократией разумеется такая организационная форма, которая обеспечивает всем членам партии... активное участие в жизни партии, в обсуждении всех вопросов, выдвигаемых перед ней, в решении этих вопросов... Форма рабочей демократии исключает всякое назначение как систему, а находит свое выражение в широкой выборности всех учреждений снизу доверху, в их подотчетности и подконтрольности и т. д.». Объявлялась «полная свобода внутрипартийной критики». Подтверждался «курс на уравнительность в области материального положения членов партии». ЦК должен был ежемесячно давать отчет партии в своей работе. Число членов ЦК увеличилось до 25 человек. ЦК должен был собираться на пленарное заседание не менее одного раза в два месяца. Для текущей организационной и политической работы сохранялись Оргбюро и Политбюро ЦК (645—650).

На тезисах Бухарина лежал явный отпечаток конкуренции с оппозициями по части обещания и «рабочей демократии» и «демократического централизма». После угроз винтовкой Ленина доклад Бухарина звучал как призыв к примирению. Был ли его окончательный текст (и тон!) согласован с Лениным, трудно сказать. Бухарин являлся наиболее подходящим членом ЦК, чтобы выпустить его на арену в момент острейшего партийного кризиса как примирителя. Ведь это Ленин говорил о Бухарине: «Мы знаем всю мягкость тов. Бухарина, одно из свойств, за которое его так любят и не могут не любить. Мы знаем, что его не раз звали в шутку: „мягкий воск“» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 42, стр. 242).

Как бы миролюбиво ни звучал доклад Бухарина, все-таки обе оппозиции выставили своих содокладчиков (чтобы выставить на съезде содокладчиков, надо было собрать среди делегатов 40 подписей; хотя оппозиция не успела их собрать, съезд все же решил разрешить им делать содоклады — это был уже явно примирительный жест съезда). Содокладчиком от «рабочей оппозиции» выступил Игнатов. Его выступление было более чем умеренным. Он потребовал очистить партию от чиновников и карьеристов, от «нерабочих и некрестьянских элементов», оставив только тех из них, что «целиком стали на точку зрения рабочего класса». Чтобы «партия сама по себе не перерождалась благодаря тому, что она находится у власти», он предложил, чтобы «все члены партии регулярно отбывали определенный срок на заводах и фабриках». Он добавил: «„Мы знаем хорошо, что и в армии обстановка неравенства сказывается еще более ярко и выпукло“. (Г о л о с: „Это демагогия“. Ш у м.)» Игнатов ответил на реплику: «Тут никакой демагогии нет, это можно фактами доказать сколько угодно. Всякий, кто был в армии, знает, что в отношении равенства коммунизм не соблюдается ни в армии, ни здесь в тылу». (Игнатов был членом партии с 1912 года и одним из руководителей московского восстания 1917 года.) Только в проведении «рабочей демократии» не на словах, как до сих пор, а на деле Игнатов видел выход из нынешнего кризиса партии.

Содокладчик от группы «демократического централизма» Максимовский (член партии с 1903 года, член Бюро Московского губкома, заведующий распределением ЦК партии) считал, что кризис партийного центра является одновременно и кризисом советского центра. Руководители партии и правительства механически переносят в гражданское общество и партию приемы руководства, которые были хороши на войне. Он сказал: «На фронте хорошо, вместо обсуждения какого-нибудь вопроса на партийном собрании, просто произнести боевую горячую речь, затем проголосовать резолюцию, пропеть «Интернационал» и броситься в бой... А у нас эти военные формы в самой резкой формулировке переносили в область гражданской работы... Вот как стоял вопрос и как стоит он сейчас по отношению

к формам демократизма». Максимовский видел все зло партийного и государственного самоуправления в том, что партийный аппарат «строился на принципе бюрократической централизации». Видя разложение в центрах, разочарованные коммунисты «кричат о том, что надо бросить все, что партия есть труп... они находят ненужной Коммунистическую партию», ее нужно распустить. Максимовский доказывал, что для существующей «бюрократической системы нужен не сознательный коммунист, а нужен послушный исполнитель, нужен чиновник, который слушает приказы сверху». Оратор указал, что Бухарин не достигнет своей цели, сформулированной в тезисе «съезд целиком подтверждает курс на уравнительность в области материального положения членов партии», пока процветает бюрократия. Оратор спрашивал: «Почему существуют... привилегии? Потому что существует бюрократия!..» Он предложил превратить Оргбюро и Политбюро в «простые исполнительные комиссии».

Максимовский закончил содоклад предложением «создать действительно настоящее сплочение, связанное с свободным обсуждением внутри партии разных вопросов, созданием свободы мнений для отдельных товарищей и групп в нашей партии» (252).

Медведев от «рабочей оппозиции» указал, что «многое, что предлагает т. Бухарин, он списал с наших тезисов. Но когда нас стали обстреливать из тяжелых орудий насчет синдикализма, то тогда он спрятался в кусты». На это Бухарин ответил, что он не считает стыдным считать оппозицию правой в том, в чем она действительно права, и поэтому взял многое из ее платформы (329).

Но одно предложение не хотели принять ни Бухарин, ни ЦК, а его «рабочая оппозиция» считала очень важным. Она доказывала, что если Коммунистическая партия на деле является пролетарской партией и она претендует на знание нужд и чаяний рабочего класса, то каждый коммунист от вождей до рядовых чиновников должен ежегодно не менее трех месяцев отбывать трудовую повинность на заводе, фабрике, руднике, на железной дороге. Вот если будет установлен такой порядок, тогда вся партия станет на платформу «рабочей оппозиции» (272). Один военный-делегат потребовал, чтобы каждый коммунист не менее трех месяцев в год провел в казарме как простой солдат. Эти предложения Бухарин назвал смехотворными, таким же смехотворным он назвал и другое практическое предложение оппозиции — на руководящую должность выбирать только таких коммунистов, которые когда-либо занимались физическим трудом (325). Бухарин разъяснил, что, например, если советский нарком иностранных дел Чичерин проведет три месяца на заводе, три месяца в казарме, то ему придется еще три месяца провести в санатории и только три месяца заниматься дипломатией.

При голосовании тезисы Бухарина получили 369 голосов, тезисы «рабочей оппозиции» — 23, тезисы «децистов» — 9. Так как при редактировании тезисов Бухарина в комиссии, куда вошли и представители обеих оппозиций, были учтены и некоторые поправки оппозиций (например, считать участие в субботниках обязательным для всех коммунистов, откомандирование к станку и плугу чиновников, которые долго были на государственной и партийной работе), то оппозиции не голосовали против.

Дискуссия о профсоюзах на X съезде уже не носила того бурного характера, как накануне съезда. Вероятно, сказалось влияние кронштадтского восстания, которое одинаково напугало все фракции — группу «десяти», группу Троцкого — Бухарина, «рабочую оппозицию» и «децистов». Охлаждающе подействовало и предупреждение Ленина, что дальше он намерен дискутировать винтовкой. Троцкий писал, что «восстания в Кронштадте и Тамбовской губернии ворвались в дискуссию последним предостережением... Спор о профсоюзах сразу потерял всякое значение. На съезде Ленин не принимал в этом споре никакого участия, предоставив Зиновьеву забавляться гильзой расстрелянного патрона...» (Л. Троцкий, «Моя жизнь», ч. II, стр. 201).

Замечание о неучастии Ленина в дискуссии неточно, как мы увидим дальше, но основной доклад по платформе «десяти» сделал именно Зиновьев. Зиновьев повторил уже известные старые аргументы «десяти». Он указал, что вопреки утверждению Троцкого о специфическом профсоюзном кризисе страна переживает общий кризис революции и что этот кризис есть результат нарушения взаимоотношений рабочего класса с крестьянством. Поэтому «съезд единодушно настроен в пользу целого ряда уступок крестьянству». Зиновьев отвел требование «рабочей оппозиции» о передаче экономической власти «всероссийскому съезду производителей» — это означало бы, по Зиновьеву (то есть по Ленину), передать всю власть в руки беспартийных рабочих и крестьян, добрую часть которых на съезде составят меньшевики и черносотенцы.

Содокладчик Троцкий напомнил Зиновьеву (то есть Ленину), что он этот общий кри-

хис революции предвидел еще год назад, когда внес в ЦК «письменное предложение... которое почти буква в букву совпадает с тем предложением о замене разверстки продовольственным налогом, которое вы теперь будете обсуждать и принимать. Я был обвинен во фритредерстве, в стремлении к свободе торговли — и получил 4 голоса в Центральном Комитете... остальные члены ЦК, во главе с т. Лениным, обвиняли меня во фритредерстве... Я доказывал, что необходимо создать... стимул, стремление к улучшению крестьянского хозяйства, что может быть сделано... путем уступок экономического характера». Троцкий вернул Зиновьеву его основное обвинение: «Коренной вопрос об отношении рабочего государства к крестьянству поворачивается острым концом не против меня, а скорее против той группы, в которую входит т. Зиновьев» (350).

Выступив в прениях, Бухарин указал на противоречие, которое существует между двумя лидерами «десяти» по самому главному вопросу: Ленин говорит, что между группой «десяти» и группой Троцкого в вопросе о демократии никакой разницы нет, а Зиновьев заявляет, что суть разногласий заключается в демократии. Бухарин спрашивал: «Кто же прав? Ведь они оба подписали одну и ту же платформу» («десяти»). Зиновьев в заключительном слове ответил на это... ссылками на противоречие также между Троцким и Бухариным.

Ленин критиковал Троцкого не за его практику администрирования в пресловутом в то время «Цектрানে» (ЦК профсоюза транспортных рабочих, который, как и Комиссариат транспорта, Троцкий возглавлял по совместительству), а за форму и огласку расправы. Ленин считал ошибкой Троцкого, что он поставил вопрос о «перетряхивании» профсоюзов слишком открыто, даже грубо (что ЦК партии должен чистить профсоюзы). Ленин сказал, что когда «ошибку начинают защищать, то это делается источником политической опасности».

Ленин сделал неожиданное отступление от своего первоначального непримиримого отношения к «рабочей оппозиции». Он сказал, что если бы мы не сделали из настроений «рабочей оппозиции» максимально возможного в смысле демократии, то «мы бы пришли к политическому краху... И сейчас, поскольку «рабочая оппозиция» защищала демократию, поскольку она ставила здоровые требования, мы сделаем максимум для сближения с нею» (379, 380).

Такой крутой поворот в тактике Ленина по отношению к «рабочей оппозиции» был вызван отрицательной реакцией на его резкие атаки среди профсоюзных делегатов съезда. Кроме того, Ленин учитывал, что продолжающееся восстание кронштадтцев может в любое время перебраться в рабочий Петроград и Москву. В этом случае помощь «рабочей оппозиции» могла бы оказаться для Ленина жизненно важной (на съезде уже приводились примеры, когда Московский комитет партии для успокоения бастующих рабочих Москвы намеренно пользовался услугами ораторов из «рабочей оппозиции»). Вместе с тем дальнейшее существование «рабочей оппозиции» как организованной, обособленной группы грозило опасностью для самой диктатуры партии. Роль истинного авангарда пролетариата начала перемещаться от партии к «рабочей оппозиции». Поэтому Ленин, продолжая политику разложения оппозиции, был готов принять «ее здоровые требования» и даже включить в будущей ЦК ее лидеров, но уже в качестве не оппозиционеров, а сторонников его политики.

При голосовании платформа «десяти» получила 336 голосов, платформа Троцкого — Бухарина 50 голосов. На комиссии, созданной съездом по согласованию резолюций о профсоюзах, группа «десяти» и сторонники Троцкого — Бухарина нашли общий язык. Была принята общая резолюция. «Рабочая оппозиция» голосовала против нее.

Выборы в ЦК и ЦКК происходили до решения главного вопроса съезда — о введении в партии осадного положения — в резолюциях Ленина «Об анархо-синдикалистском уклоне» и «О единстве партии». Когда на заседании съезда 13 марта Бухарин предложил включить в резолюцию по партийному строительству пункт о единстве партии и запрещении фракционных группировок, то председательствующий Каменев впервые сообщил съезду, что по этим вопросам Ленин намерен предложить съезду специальные резолюции. В силу этого отпадает предложение Бухарина.

Для обсуждения как этих резолюций, так и выдвижения кандидатур в ЦК Ленин предложил в записке Каменеву срочно созвать частное совещание сторонников «платформы десяти» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 43, стр. 506). 13 марта член ЦК и член группы «десяти» Артем открыто объявил на вечернем заседании съезда, что все сторонники платформы «десяти» должны остаться для частного совещания. Протокол этого совещания, конечно, не велся, ибо, с точки зрения устава партии, оно было нелегаль-

ным. Но по некоторым записям Ленина, а также по примечаниям Института марксизма-ленинизма к Сочинениям Ленина можно восстановить общую картину совещания. В «Конспекте выступления на совещании сторонников „платформы десяти” у Ленина перечислены некоторые пункты, по которым он выступал. В числе этих пунктов имеются, например, такие:

4. решение съезда, принципиально осуждающее синдикалистский, анархический уклон рабочей оппозиции;

5. решение съезда против оставления фракций;

6. угроза исключить из партии;

8. проникнуть, изучить, обследовать, разведать;

9. ряд ораторов (на съезде) для проведения этой линии выбрать тотчас;

10. бюро «платформы 10» выбрать;

12. следующее совещание в день приезда питерцев (и Зиновьева) (см.: В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 43, стр. 378).

Обсуждались также и кандидатуры будущих членов и кандидатов ЦК и ЦКК. Список членов и кандидатов ЦК и ЦКК от имени группы платформы «десяти» приведен в приложении к протоколу X съезда. Там намечено членами ЦК 23 человека и оставлено два места «рабочей оппозиции».

Из старых членов ЦК исключены 5 троцкистов (Андреев, Смирнов, Крестинский, Серебряков и Преображенский, последние три — секретари ЦК), зато впервые включены в члены ЦК наиболее усердные сторонники платформы «десяти» (Ворошилов, Молотов, Михайлов, Ярославский, Тунтул, Фрунзе, Комаров, Петровский) (714).

Официальный комментатор откровенно пишет, что Ленин составил список нового ЦК с таким расчетом, чтобы сторонники «платформы 10» на объединенном пленуме ЦК и ЦКК составляли две трети голосов (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 43, стр. 460, примечание 125). Две трети голосов Ленину были нужны, так как по проекту его резолюции «О единстве партии» именно такое число голосов требовалось для исключения любого члена ЦК из партии.

Все кандидаты в ЦК и ЦКК, намеченные на частном совещании «десяти», были избраны, с добавлением двух представителей «рабочей оппозиции» в члены ЦК — Шляпникова и Кутузова, и одного представителя ее в кандидаты ЦК — Киселева. От группы «демократического централизма» в кандидаты ЦК был избран Осинский. Сам состав нового ЦК был расширен. Было избрано 25 членов и 15 кандидатов. Центральная Контрольная Комиссия была избрана в составе 7 человек. Выборы производились, как обычно, при тайной подаче голосов, но в выборах участвовали не все 694 делегата X съезда, так как 140 делегатов были направлены в Кронштадт для руководства подавлением восстания, а самарская и саратовская делегации уехали со съезда преждевременно ввиду политического неблагополучия в обеих губерниях. Поэтому в выборах участвовали только 479 делегатов.

Интересно распределение этих голосов среди старых членов ЦК. Ленин единственный, кто получил все 479 голосов. Потом идут Радек — 475, Томский — 472, Калинин — 470, Рудзутак — 467, Сталин — 458, Рыков — 458, Троцкий — 452, Бухарин — 447, Дзержинский — 438, Раковский — 430, Зиновьев — 423, Каменев — 406, Артем — 283 (новые члены: Комаров, Молотов, Михайлов, Ярославский, Орджоникидзе, Петровский, Фрунзе, Ворошилов, Кутузов, Шляпников, Тунтул).

Из-за отводов Ленина другие старые члены ЦК были забаллотированы. Чем Ленин мотивировал отводы, из партийной литературы неизвестно. Поскольку забаллотированными оказались только одни сторонники группы Троцкого — Бухарина, а избранные новые члены ЦК все были сторонниками группы «десяти», то причина отвода ясна. Ленин хотел обеспечить себе компактное большинство в ЦК. Станным и необъяснимым кажется только факт столь легкой капитуляции Троцкого и Бухарина перед очевидной, действительно фракционной комбинацией группы «десяти» по созданию нового ЦК.

Поскольку в группе «десяти» тон задавали Сталин и Зиновьев (конечно, под покровительством Ленина), то новые члены ЦК были в первую очередь их ставленники, объединившиеся вокруг Сталина и Зиновьева на почве борьбы против Троцкого. Сталинско-зиновьевское ядро, которое еще до смерти Ленина, на XIII партконференции, составит заговор и против Ленина и против Троцкого, организационно сплотилось именно на X съезде партии. В этом ядре преобладали сторонники Сталина. Достаточно упомянуть только верных оруженосцев Сталина в будущем, которые сейчас были впервые избраны в члены ЦК, — Молотова, Ворошилова, Орджоникидзе, Ярославского.

Самый главный, воистину судьбоносный вопрос партии, а значит, и Советского госу-

дарства — быть или не быть свободе мнений внутри партии — был решен в последний день съезда в самое рекордное время: за час или два до его закрытия. В протоколе съезда в 618 страниц этот вопрос «О единстве партии» занимает только 27 страниц. Причем группа «десяти» ссылкой на нехватку времени так торопила съезд, что прений фактически не было. Почему же нет времени для обсуждения столь важного вопроса, объяснения не давалось. «Десятка» даже хотела закончить съезд еще 15 марта, но так как на этом заседании председательствовал единомышленник Троцкого Раковский, то эта спешка не удалась. Но Каменев (из «десятки»), к которому перешло председательствование вечером 15 марта, заявил: «Мы отклонили решение кончить съезд сегодня, но, я думаю, вы согласитесь с тем, что завтра обязательно нужно кончить наши работы» (491).

Но вот на следующий день, 16 марта, в последние часы работы съезда ему предложили две резолюции: 1) «О единстве партии»; 2) «О синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии». Они были представлены Лениным. Для обоснования обеих резолюций Ленин сказал только вводное слово. Он считал, что его резолюции настолько бесспорны, что по ним делать доклады нет надобности. Основные пункты этих резолюций были следующие:

1) «О единстве партии» — а) съезд поручает ЦК «провести полное уничтожение всякой фракционности» и недопущение групп по платформам, но бороться и «за расширение демократизма», «за чистку партии»; б) «немедленно распустить все... образовавшиеся на той или иной платформе группы» (за неисполнение — исключение из партии); в) «чтобы осуществить строгую дисциплину... съезд дает ЦК полномочия применять в случае(-ях) нарушения дисциплины... все меры партийных взысканий вплоть до исключения из партии» (но чтобы исключить из партии члена ЦК, надо получить две трети голосов всех членов и кандидатов ЦК и ЦКК);

2) «О синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии» (речь идет о группе «рабочей оппозиции») — а) съезд считает, что не сам пролетариат с его многими профессионалистскими предрассудками, то есть не профсоюзы, а только Коммунистическая партия может осуществлять диктатуру пролетариата; б) съезд считает, что вопреки «рабочей оппозиции» сами «производители» (рабочие) не могут управлять народным хозяйством, такое требование есть «анархо-синдикализм», ибо это значит отдать экономику страны беспартийной стихии, — управлять должна только партия; в) признать пропаганду идей «рабочей оппозиции» несовместимой с принадлежностью к Российской Коммунистической партии (574—576).

Режиссеры съезда ограничили прения по поводу этих резолюций. Было дано слово одному оратору из сторонников «демократического централизма» и трем представителям «рабочей оппозиции». Никто из сторонников группы «десяти» (Ленина) не выступил в прениях, так как принятие резолюций Ленина уже было предreshено на частном совещании «десятки» и было обеспечено заранее большинство съезда. Наиболее важные аргументы против резолюций Ленина у представителей оппозиций были такие: Каменский («демократический централизм») сказал, что, конечно, дисциплину надо соблюдать, но у нас ее нарушали не оппозиции, а ЦК; что касается резолюции Ленина «О единстве партии», то, по мнению Каменского, «есть два вида единства: единство по существу и единство по форме», но Ленин как раз предлагает единство по форме. Каменский напомнил, что два съезда — VII и VIII съезды Советов — от имени государства провозгласили, что «демократический централизм» есть основа основ государства. Стенограмма съезда на этом месте замечает: «С м е х».

Самый убийственный аргумент Каменского, который заставил Ленина отступить: «Здесь указывается, что признаки фракционности проявились... как у группы так называемой «рабочей оппозиции», так и у группы «демократического централизма». Но, товарищи, если вы хотите говорить, то говорите до конца. Гораздо больше шума, гораздо больше литературы, выступлений было у сторонников платформы «десяти». Одно из двух: либо здесь не нужно перечислять групп, либо извольте перечислять все» (524—525).

Ленин исключил из своего проекта упоминание о группах «децистов» и «рабочей оппозиции», чтобы не признать фракционности группы «десяти».

Каменский возражал и против четвертого пункта резолюции, где сказано, что всякий выступающий с критикой должен учитывать опасное положение партии среди окружающих ее врагов, но допустимы выступления в «Дискуссионном листке» или в «сборниках», если они не опасны для партии. Каменский спрашивал: «...как же мы будем вести такие дискуссии, если мы не знаем, какие мысли будут признаны совершенно опасными... ибо не надо забывать, что всегда может стать вопрос об изгнании из партии».

Каменский предлагал выкинуть и седьмой пункт резолюции, который давал право ЦК при наличии двух третей голосов исключить из партии даже члена ЦК, избранного съездом. Каменский аргументировал, что группа «десяти», уже обеспечив себя в ЦК и ЦКК двумя третями голосов, в любое время может расправиться с любым негодным ей течением партийной мысли в ЦК (525—526).

Лидер «рабочей оппозиции» Медведев посвятил свое выступление резолюции «О единстве партии». Он сказал, что наем Ленина на то, что громадное большинство съезда примет его обе резолюции, не вызывает сомнения, ибо классовый состав партии, как и съезда, с преобладанием мелкобуржуазных слоев, «вполне объясняет, что иначе и быть не может». Резолюция Ленина «О единстве партии» не разрешает, а усугубляет существующий «жесточкий внутривнутрипартийный кризис». Ленин вводит формальное единство, обеспечиваемое «возвещением карательных мер» к инакомыслящим. Ленин не свел даже концы с концами. В то время как в тезисах ЦК о партийном строительстве признается право за каждым членом партии иметь свое суждение, хотя и не согласное с мнением ЦК, Ленин теперь его отнимает. Ленин говорит, что «критика должна идти через соответствующие руководящие органы», другими словами: чтобы критиковать партаппарат, надо иметь его санкцию! «Такая критика делу не поможет... резолюция, внесенная т. Лениным, в своих карательных намерениях опасна именно для единства партии».

Чтобы предупредить партию от несчастья в виде «еще более жесткого кризиса» из-за злоупотребления резолюцией Ленина, Медведев предложил свою собственную резолюцию. В этой резолюции констатировалась «политика уклонов руководящих партийных органов в сторону недоверия к творческим силам рабочего класса, породившая недоверие рабочих масс к партии», и предлагалось очистить партию от «карьеристских, чиновничьих групп», «неуклонно... от низу до верху и во всех областях» деятельности партии проводить «принципы рабочей демократии», бороться на деле с партийным и государственным бюрократизмом; всем руководящим партийным органам, членам партии вменялось в обязанность «со всей решительностью бороться против всяких попыток применять какие бы то ни было прямые или прикрытые репрессии по отношению к инакомыслящим членам партии.» Вместе с тем резолюция предлагала запрещение фракций и внутри ЦК с явным намеком на фракцию «десяти» самого Ленина (526—530).

Другой лидер «рабочей оппозиции», Шляпников, занялся анализом второй резолюции Ленина — о «синдикализме». Его критика Ленина была убедительна, позиция — мужественна, тон — беспрецедентно резкий на партийном съезде. Уже с первых слов Шляпников заявил: «Владимир Ильич вам прочел лекцию о том, каким образом не может быть достигнуто единство. Ничего более демагогического и клеветнического, чем эта резолюция, я не видел и не слышал в своей жизни, за 20 лет пребывания в партии».

Шляпников напомнил второй пункт резолюции Ленина о «синдикализме», в котором «рабочая оппозиция» рисуется как «скопище меньшевиков и всякого рода белогвардейщины». Шляпников призвал съезд посмотреть «на подписи под нашими тезисами, а также список товарищей, которые были на частном совещании» (на нем присутствовали только делегаты X съезда с дореволюционным стажем.— А. А.), чтобы убедиться в ложности такой квалификации. Он указал, что из 41 единомышленника «рабочей оппозиции», участвовавшего на этом совещании, 16 человек вступили в партию до 1905 года, а остальные 25 — до войны: «...среди них нет ни одного меньшевика, нет ни одного, который отрекся от своей партии» (тех и других было много именно среди сторонников «десяти»). Ленин тут же выбросил весь этот раскритикованный Шляпниковым абзац.

Шляпников сделал от имени «рабочей оппозиции» заявление по поводу резолюции Ленина «О синдикалистском и анархистском уклоне»: «1) внесенная резолюция носит явно демагогический и недопустимый характер, вводит... раскол и натравливает мелкобуржуазные, чиновные элементы партии на рабочую часть; 2) точка зрения «рабочей оппозиции» по профдвижению и организации народного хозяйства диаметрально противоположна анархизму и синдикализму, так как «рабочая оппозиция» не противопоставляет экономикку политике, не отрицает политической борьбы, не отрицает ни диктатуры пролетариата, ни руководящей роли партии, ни значения Советов как органа власти...» 3) «рабочая оппозиция» предлагает осуществить советскую систему в деле управления народным хозяйством» через «съезд производителей, объединенных в профессиональные и производственные союзы, которые избирают центральный орган», «в противовес всепоглощающему бюрократизму» (531). Шляпников добавил: «Самой собой разумеется, что раз вы здесь наклеиваете на меня ярлык «анархист-синдикалист»... я не могу быть авторитетным членом ЦК и заявляю вам о своей отставке» (532).

Игнатов («рабочая оппозиция») указал Ленину, что своими резолюциями он «закрывает возможность обсуждения внутри партии каких бы то ни было вопросов», прекращает «всякую живую мысль внутри партии», резолюция сводится не к созданию единства, а к «натравливанию одной части партии на другую» (535).

Как бы особняком стояла речь Карла Радека, который не примыкал ни к одной из групп в ЦК. Человек с явно авантюристическими наклонностями, начитанный нищенанец и макиавеллист, ленинец и троцкист, космополит в пяти национальных лицах (смотря по обстоятельствам он признавал себя немцем, австрийцем, поляком, евреем, русским), Радек был редким талантом политического конъюнктиуризма. Будучи членом партии большевиков только с 1917 года, по числу полученных голосов на выборах в ЦК он стоял на втором месте, после Ленина, далеко впереди не только Зиновьева и Каменева, но и Троцкого и Сталина.

Его речь была двусмысленная. Если резолюцию о «синдикализме» Радек безоговорочно одобрял как направленную против определенной группы, то резолюцию «О единстве» он одобрял при оговорках, которые надо признать пророческими. Он сказал: «...когда я слышал на частном совещании, как товарищи говорили о новом праве, которое дается ЦК, Контрольной комиссии и кандидатам, — в известный момент решать вопрос об исключении из ЦК и т. д., — у меня было чувство, будто здесь устанавливается правило, которое неизвестно еще против кого может обернуться... Голосуя за эту резолюцию, я чувствовал, что она может обратиться и против нас, и, несмотря на это, я стою за резолюцию» (533, 534). Сталин потом докажет, как глубоко прав оказался Радек.

Президиум прекратил прения после четырех ораторов. В заключительном слове Ленин был настроен более миролюбиво. Он сказал, что не все плохо у «рабочей оппозиции», некоторые ее предложения о чистке, о бюрократизме полезны и поэтому он их включил в свою резолюцию. Включение представителей «рабочей оппозиции» и «децистов» в ЦК показывает, что партия выражает им доверие, а сам ЦК подчеркивает свое желание быть «справедливым». Что же касается седьмого пункта об исключении членов ЦК из партии, то, говорил Ленин, во-первых, этот пункт не будет опубликован, а во-вторых, он убежден, что его никогда не придется применять (то и другое не оправдалось: пункт седьмой был применен к Шляпникову уже в августе 1921 года, но для его исключения из ЦК не хватило одного голоса; а опубликован был седьмой пункт негласным триумvirатом из Политбюро — Зиновьевым, Каменевым и Сталиным — против Ленина (скрыто) и Троцкого (открыто) на XIII партконференции в январе 1924 года). Ленин предложил утвердить его резолюции, отклонив резолюции оппозиции, а также отклонить и отставку Шляпникова. Съезд принял эти предложения. Ленин предложил по обоим его резолюциям произвести поименное голосование. Большинство голосов они были приняты.

Принятие этих резолюций ознаменовало наступление новой эпохи в истории большевизма. Отныне иерархия партаппарата окончательно выводилась из-под контроля партии, она делалась самодовлеющей и суверенной силой, а партия превращалась в послушную, дисциплинированную, не рассуждающую исполнительницу воли своего аппарата.

Хотя по уставу выборность партийных чиновников партийной организацией формально сохранялась, но фактическим законом кадровой политики сделалось назначение всех ступеней партаппаратной пирамиды: на высшем уровне пирамиды состав пленума ЦК назначал исполнительные органы аппарата ЦК (сначала Политбюро, а потом, при Сталине, Секретариат ЦК), аппарат ЦК назначал и руководителей партийных комитетов союзных республик, краев и областей, а эти последние в свою очередь назначали руководителей городских и районных партийных организаций. Горкомы и райкомы назначали секретарей первичных парторганизаций. Приказы этих назначений на партийном языке назывались рекомендациями кандидатур вышестоящим органом нижестоящей организации, но отклонение такой «рекомендации» оценивалось как «антипартийный акт» с последующей чисткой всей организации.

Чистка партии от инакомыслящих превратилась после принятия резолюции Ленина «О единстве партии» в легальное оружие партаппарата по расправе с потенциальными «врагами народа».

Все нормы такой внутрипартийной жизни были заложены Лениным. Разница только та, что при Ленине чистки были периодическими, а при Сталине они стали перманентными. Так было введено в партии «осадное положение», которое продолжается по сей день. Оно и создало новую «партию в партии» — иерархию партаппаратчиков...

КРИЗИС «ЖАНРА»

1

Плубокий, всеобъемлющий кризис — экономический, политический, социальный, духовный — терзает нашу страну. Терзает давно. Видно, с тех самых пор, как потерял свою конвертируемость рубль, был опрокинут нэп, а форсированная индустриализация и преступная коллективизация привели к массовому голоду, резкому снижению жизненного уровня трудящихся. С тех пор, как диспропорции в нашем народном хозяйстве стали обычным явлением, нормой жизни и сформировали общество всеобщего дефицита. С тех пор, как утвердилась тоталитарная система, труд стал принудительным и жизнь человека потеряла самоценность. С тех пор, как началось разрушение культуры, тоталитаризм стал душить духовность, а на смену свободному, истинному творчеству пришло идеологическое мифотворчество. Какие бы слова мы сейчас ни говорили в адрес утвердившегося у нас в минувшие десятилетия режима, они не смогут передать меру испытаний, выпавших на долю народа, масштабы их трагических последствий для будущих поколений.

Думаю, не правы те, кто обвиняет наше нынешнее руководство в том, что оно начало перестройку, не имея ее четкой концепции. Будем реалистами. Во что упиралась проблема выработки концепции? Только ли в тактические соображения, обусловленные соотношением сил в тогдашних Политбюро и ЦК? Не только. Сразу же встали вопросы стратегического характера, связанные с концепцией социализма. Со всем нашим теоретическим наследием. С нашим социально-психологическим климатом. Общество в целом не было готово сразу же выйти на правильное понимание ситуации в стране, причин, породивших кризис (или, как говорили тогда, предкризис), трезво оценить состояние теории и практики социализма в национальных рамках и в мировом масштабе. Мало было осознать, что наши беды в основе своей выросли из ошибочных установок доктрины, сформировавшейся в иных исторических условиях. Надо было об этом сказать во всеуслышание, да еще добиться понимания. Это целая революция в представлениях советских людей о нашем классическом наследии, о социализме, о месте в мире нашей страны и общества (долгое время выдаваемого отечественными идеологами-пропагандистами за светлый идеал человечества), революция, пожалуй, более глубокая, нежели смена «военного коммунизма» нэпом. Тогда новый строй просуществовал лишь чуть больше трех лет, а сейчас — более семидесяти. В этом смысле положение Советского Союза оказалось гораздо сложнее, чем Китая, Венгрии или Польши, да и любой другой страны с аналогичной моделью.

Вспоминается, как обществоведы набросились на М. Шатрова за «искажение» истории революции, потом на Ю. Афанасьева, осмелившегося утверждать, что мы построили не тот социализм. Историки и политологи еще долго ходили, да и сегодня все еще ходят вокруг да около существа проблемы, утверждая, что мы классиков в чем-то неправильно поняли, где-то извратили, догматизировали их положения. Трудно отважиться и спросить: а верно ли само учение применительно к нашим условиям, не несет ли оно в себе элементов утопизма? И вообще мыслимо ли, чтобы учение об обществе, сформировавшееся в основных чертах в середине прошлого века, когда научно-технический прогресс определял паровой двигатель; когда бедственное положение пролетариата было лишь этапом в развитии строя, только еще раскрывавшего свои возможности; когда представления о социальном идеале, добре и зле, вся система моральных и нравственных устоев формировались на базе еще очень низкого (только казавшегося высоким на фоне застоя докапиталистических обществ) уровня производительных сил, в условиях преобладающей в обществе невысокой грамотности, бедности, — мыслимо ли, чтобы это учение отвечало реалиям рубежа XXI века, второй фазы НТР, условиям «общества всеобщего потребления», имеющего принципиально иную социальную структуру, иные социальные мотивации, иные представления о свободе и демократии, иные нравственные ориентиры? И под силу ли человеку, каким бы ни был он ясновидящим, не только указать генеральное направление общественно-го прогресса, но и наметить контуры будущего мира, пути и средства его построения?

А ведь из «ортодоксального марксизма» идут все наши основные представления о социализме и коммунизме. Вот, например, какую традиционно радужную и утопичную картину движения общества по социалистическому пути рисуют авторы Философского энци-

клопедического словаря: «Пролетариат берет власть в свои руки и превращает средства производства в общественную собственность. Анархия в производстве заменяется планомерной организацией производства в масштабе всего общества. Начинается непрерывное, постоянно ускоряющееся, безграничное развитие производительных сил. На этой основе исчезает калечащее человека разделение труда. Все члены общества принимают участие в производительном труде. Труд превращается из тяжелого бремени в первую жизненную потребность. Исчезает противоположность между умственным и физическим трудом, между городом и деревней. Уничтожаются классовые различия, и отмирает государство. Изменяется форма семьи. Воспитание соединяется с трудом. Исчезает религия. Люди становятся действительно и сознательно господами общества, а вследствие этого и господами природы. Человечество совершает скачок из царства необходимости в царство свободы».

Нет нужды доказывать: несмотря на то, что открытия классиков внесли весомый вклад в развитие общественных наук, значительная часть высказанных ими положений об обществе будущего ныне представляется несостоятельной. Общественное развитие пошло иным путем. Однако из лона марксизма вырос реальный социализм, который уже оказал позитивное влияние на ход мировой истории, как бы мы его ни характеризовали и ни оценивали с точки зрения развития нашей собственной страны. Из лона марксизма выросла и социал-демократия, которая, находясь у власти во многих развитых странах, немало сделала для улучшения материальных и социальных условий трудящихся. Именно в первую очередь благодаря социал-демократии в капиталистических странах активно идет процесс социализации, который объективно будет способствовать сближению двух мировых общественных систем, преодолению их конфронтации. А это последнее стало бы трудноценным благом для нашей страны, которую конфронтация и сопутствующая ей гонка вооружений буквально разоряют.

Мы ищем истоки наших бед. Идем от простого ко все более сложному в постижении случившегося с нами. Поиск причин несоответствия советской модели социализма тому идеалу, ради достижения которого совершалась революция, лишь исключительно в сталинизме нас уже не удовлетворяет. Слишком упрощенная трактовка, слишком мало она объясняет.

Допустим на минуту, что в трагедии нашего народа, прошлых и нынешних бедах страны виноват только Сталин. Но вот Сталина не стало, к руководству страной пришли другие люди. И что произошло? Наступила короткая хрущевская «оттепель», с которой связаны развенчание культа личности Сталина, освобождение из тюрем и лагерей миллионов ни в чем не повинных людей, обращение нашего государства к однажды провозглашенным, а затем надолго забытым принципам мирного сосуществования со всем остальным человечеством, оживление экономической деятельности страны. Но ведь одновременно не кто иной, как Н. С. Хрущев продолжал разорять сельское хозяйство (пусть и не такими варварскими методами, как его предшественники), уничтожать памятники культуры (разрушение многих храмов), санкционировать борьбу против новых тенденций в культуре и искусстве. К тому же этот смелый, решительный, даровитый от природы, но малообразованный и плохо воспитанный человек, впитавший в себя идеи вульгарного социализма, вознамерился за двадцать лет построить в стране коммунизм, при котором удовлетворяются лишь «разумные потребности».

Конечно, всегда можно сказать, что созданная Сталиным система продолжала функционировать по собственной логике, а Хрущев был всего лишь ее порождением. Отчасти это так. Но ведь «злой гений» Сталина недолго властвовал в социалистических странах Европы, а беды во многом те же. Опять можно сослаться на воцарение в этих странах его последователей. Ну а Югославия, чья общественная модель формировалась в период острой конфронтации со сталинизмом? Там-то почему кризис? И тот же бюрократизм? И та же низкая эффективность общественного сектора? Мы можем и здесь найти оправдательные причины. Только продуктивен ли такой подход? А не кризис ли это самого «жанра»? Боятся сказать всю правду, когда страна стоит на грани катастрофы, безразлично. А горькая правда состоит в том, что основы исповедуемой нами семьдесят лет доктрины разрушены жизнью, логикой мирового общественного развития, ход которого основоположники научного социализма не могли предвидеть. Каждое новое поколение должно было бы на свой лад, в соответствии с изменившимися условиями решать вопрос о социально-политическом устройстве. И если оно в принципе принимало существующие устои, ему следовало достраивать здание, фундамент которого заложил Ленин, и развивать теорию, созданную Марксом и Энгельсом. Но этого-то, как мы знаем, в нашей стране и не случилось. Так было положено начало инволюционному развитию общества, а советский марксизм

потерял ценность научной теории. Все надо продумывать заново: формы собственности, политического устройства, демократии, место и роль Коммунистической партии в обществе, состоятельность принципа однопартийности.

Беда прежнего «реального» социализма в том, что он оказался не способен уловить и отразить дух времени. В высокоразвитых странах вопрос о куске хлеба давно уже решен. Уходят в прошлое узко понимаемые марксистские представления о социальной справедливости, свободе, возможностях удовлетворения первичных потребностей человека. В повестку дня развитого мира встали потребности более высокого порядка: возможность более полного волеизъявления, самовыражения, беспрепятственной смены места жительства, заграничных путешествий, стремление к труду, приносящему не только материальное, но и моральное удовлетворение. Конечно, и здесь люди требуют и добиваются повышения зарплаты, сокращения рабочей недели, увеличения продолжительности отпусков, совершенствования системы социального обеспечения. Но это уже движение от высокого жизненного уровня к еще более высокому. И оно беспредельно.

Возник не предвиденный классиками феномен: люди, почитавшие себя марксистами, долго и упорно двигались против течения, выступали против прогресса.

Поскольку реальный социализм — это не какой-то особый социум, сам себе устанавливающий законы развития, как многие думали ранее, а часть единой мировой цивилизации, причем меньшая, более отсталая и слабая часть (ракеты не в счет), то зарождающиеся в несравнимо более экономически сильном капиталистическом мире новые прогрессивные тенденции в общественной эволюции неизбежно будут оказывать мощное воздействие на социалистический мир. И вообще более устоявшаяся и сильная общественная система так или иначе непременно втягивает в свою орбиту более слабую, навязывая ей в конечном счете свои правила игры. Следовало бы уже давно понять, что демократия не бывает буржуазной или социалистической, как ошибочно считалось ранее и как до сих пор говорят щеголяющие своим социальным невежеством деятели. Она категория общечеловеческая. В нашу же эпоху демократия превратилась в важнейший инструмент прогресса. Причем инструмент гораздо более эффективный, чем классовая борьба, и потому ее вытесняющий. Во всяком случае, в цивилизованном мире, где акцент давно сместились с конфронтации, противоборства в сторону учета взаимных процессов, поисков компромисса.

А у нас? Сомнительные с точки зрения нравственности, гуманности, социальной справедливости в ее общечеловеческом понимании многие революционные лозунги и призывы вроде «кто был никем, тот станет всем», «грабь награбленное!», «бей буржуев!», культивирование классовой ненависти, непримиримости к «врагам народа» глубоко внедрились в сознание общества. Именно здесь надо искать первопричину нынешнего озлобления, ненависти, непримиримости, нежелания искать компромиссные решения острых национальных, социальных и иных проблем. Тяжелое экономическое положение лишь усугубляет эту тенденцию. Что же удивительного в том, что и сейчас по-прежнему торжествуют пресловутая дихотомия «большинство — меньшинство» (по существу, стенка на стенку) и принцип конфронтации, наиболее отчетливо проявляющийся при столкновении двух крайностей: одни все хотят поставить дыбом на манер 1917 года, другие хотят сохранить все как есть. И те и другие провоцируют столкновения. Не дай бог какой-то из сторон изменит чувство реализма и ответственности в острых, социально взрывоопасных ситуациях — и она сделает ставку на насилие. Легко проследить, с чего начинались вооруженные столкновения в Ливане, но трудно понять их нынешнюю логику, когда на глазах всего мира идет самоистребление нации, разорение некогда процветавшей страны.

2

Лишенное полноты информации, изолированное от внешнего мира общество в условиях тоталитаризма не в состоянии реалистично оценивать все то, что с ним происходит, сопоставлять свои успехи с достижениями других стран, реально соотносить свои действия с мировым общественным мнением. И когда у людей раскрываются глаза в случае крушения или демонтажа тоталитарных конструкций, многие приходят в шоковое состояние. Здание некогда целостного мира рушится, и обнаруживается, сколь много обмана, лжи и лицемерия было в его основании, как несовершенны были его проект, строительный материал, сами строители.

Немалое число людей не хочет расставаться с мифами, терять былую душевную комфортность. Много таких, которые до сих пор сбиты с толку, не понимают, откуда пришла беда, и начинают задавать вопрос за вопросом. Нужен предельно откровенный разговор. Оттягивать его больше нельзя. Непроясненность некоторых общих вопросов тормо-

зит решение, пожалуй, самой сложной задачи нашей перестройки — оздоровления экономики, придания рационального характера ее развитию. Когда в Верховном Совете СССР обсуждался вопрос о собственности, глава нашего правительства резко ответил тем, кто считает необходимым признание частной собственности как одного из секторов зарождающейся многоукладной экономики: надо сначала узнать, что думает по этому поводу народ, который, дескать, однажды — в 1917 году — уже высказал свое отношение к собственности.

Когда-нибудь нам придется признать роковую ошибку ликвидации института частной собственности без четких представлений о том, будет ли новая форма собственности, которую мы произвольно нарекли общественной, лучше прежней служить интересам человека. Западные социал-демократы тоже не раз пытались национализировать ключевые отрасли экономики, и каждый раз у них все заканчивалось провалом, а их партии терпели поражение на очередных выборах. Но вот шведская социал-демократия пошла, что называется, другим путем. Оставив средства производства в руках их хозяев, она начала проводить очень гибкое государственное регулирование, разумную налоговую политику в интересах трудящихся, сделав акцент не на владении механизмом производства, а на распределении национального продукта, на выработке, как мы теперь говорим, сильной социальной политики. Кто выиграл, кто проиграл — очевидно.

Негоже нам без конца повторять одну и ту же ошибку. Подсчитано, что с начала коллективизации принципы организации работы аграрного сектора тасовались около 40 раз, а по-настоящему хорошего мяса и масла в отечественных магазинах как не было, так и нет. И откуда у нас эта идея фикс: делать не так, как другие, не полагаться на мировой опыт, а изобретать велосипед? Что это как не синдром отсталого общества, которое боится признаться в своей отсталости и начинает выдавать убогие теоретические схемы, примитивные формы бытия за нечто особое, исключительное, наиболее прогрессивное, за вершину общественного развития. Ведь, если разобраться, наша государственная собственность — это не шаг вперед, а два шага назад по сравнению с теми формами собственности, которые существуют в развитых странах. Мало того что она нас плохо кормит и одевает. Она еще поставила общество в полную зависимость от бюрократии. Выгонят с работы, дадут волчий билет — и, считай, пропал. Такая зависимость человека от власти была разве только в рабовладельческом обществе. Давно замечено, как не хотят уходить на пенсию наши руководители, отставшие от времени, потерявшие работоспособность. На Западе государственный деятель или высокопоставленный чиновник часто спокойно оставляют свой пост или государственную службу, уходят в бизнес, юриспруденцию, университет и т. д., сохраняя прежний уровень жизни, социальный статус, известность. Не требующие особого представления читателю Киссинджер и Жезинский не утратили своего авторитета и места в обществе, после того как ушли с высоких государственных постов (правда, тут огромную роль играет еще и сам характер общества, характер его политической культуры, а не только собственности). У нас же ушел со своего поста какой-нибудь крупный политический или общественный деятель — и канул в Лету.

В ходе своего естественно-исторического развития всякое общество в принципе должно пройти через развитый институт частной собственности, «священной и неприкосновенной». Этот лозунг буржуазных революций явился величайшим завоеванием политической мысли, показателем высокого уровня развития мировой цивилизации. В нем нашли отражение объективные потребности дальнейшего поступательного развития человечества.

Институт частной собственности необходим для защиты производителя от бюрократического произвола власти, подчас неразумно стремящейся зарезать курицу, несущую золотые яйца, и создания максимально благоприятных условий для развития в человеке тех качеств, которые делают его высококлассным производителем материальных, да и духовных благ. Ни общинная, ни государственная, ни какая другая собственность не в состоянии привить человеку таких качеств.

Есть и еще один очень важный момент. Нигилистическое отношение к институту частной собственности перерастает в нигилистическое отношение к любой собственности, включая социалистическую, создает атмосферу, благоприятную для массового воровства, корыстных преступлений, способствует при определенных условиях бурному развитию теневой экономики. Весь этот букет как раз и украшает наш государственный стол.

У «человека с улицы» на Западе социализм чаще всего ассоциируется с отсутствием демократии, нарушением прав свобод человека, с бедностью и хроническим отсутствием товаров. В странах, где потерпели крах тоталитарные режимы, называвшие себя социалистическими, большинство людей с ужасом вспоминают о прошлом. Неужели еще нужны какие-то доказательства несостоятельности сложившихся у нас форм собственности?

Сейчас много говорится о возможности срыва перестройки. Отчего это может произойти? Из-за сопротивления многомиллионной армии бюрократии? Такая опасность безусловно существует. Но бюрократия наша по высшему — «гамбургскому» — счету в массе своей нищая. Она держится за рычаги командно-административной системы скорее по инерции, по привычке, в силу необходимости, из-за отсутствия альтернативных возможностей. В рационально организованном обществе ее жизненный уровень был бы намного выше. Не меньшую, а скорее даже большую опасность для перестройки представляет сегодня нарастание популизма люмпенского толка, усиление у части населения агрессивной зависти, непримиримости, озлобленности ко всем тем, кто «много» зарабатывает, пользуется какими-то привилегиями... При определенных условиях это может привести к срыву экономической реформы под флагом борьбы за социальную справедливость, против «буржуазного перерождения», за «истинный социализм» и т. д. А дальше известно что: голодные бунты, кровь, экономический крах. Если перестройка не состоится, то случится это прежде всего оттого, что у нас не хватит ума, воли, настойчивости отбросить дискредитировавшие себя за более чем семьдесят лет формы собственности, преодолеть давление люмпенства, требующего уравнивания всех в бедности. Преодолев этап инфляции, обострения социальных конфликтов, в конечном итоге мы должны вступить на дорогу нормального хозяйствования на основе проверенных мировым опытом рыночных отношений при эффективном государственном регулировании, прогрессивной социальной политике. Полумеры в перестройке экономики уже съели у нас пять лет, и чего мы добились? Лишь ухудшения ситуации. Но срыв перестройки будет означать не конец демократии, как думают многие. Сама логика развития техники и технологий, включенность экономики в систему мирохозяйственных связей потребуют демократических форм правления, и никакой антидемократический режим в этих условиях долго просуществовать не сможет. Один за другим ушли в небытие авторитарно-тоталитарные и иные антидемократические режимы в Испании, Португалии, Греции, Аргентине, Филиппинах, в ряде других стран. Размываются антидемократические режимы в Чили, Пакистане и т. д. Это генеральная тенденция, и еще ни одному диктатору ее не удалось преодолеть. Крах нынешних реформ будет означать конец социализма в нашей стране. Об этом следует сказать открыто.

Мы хотели ускорить общественный прогресс, покончив с частной собственностью, сделав ставку на плановое ведение хозяйства. Но экономический, как и весь общественный, процесс носит объективный характер и моделировать его трудно: человеку не дано до конца постичь его логику, учесть и основные закономерности и случайные тенденции, а также вырастающую естественным путем взаимозависимость между различными компонентами сложного народнохозяйственного механизма. Экономика, развивающаяся по директивному плану, не бывает полноценной. Диспропорции заложены уже в самом принципе жесткого централизованного планирования.

Если рассматривать общественный процесс в системе координат мы — они, получается очень любопытная картина. До 1917 года мы, как известно, были в русле общемирового процесса. Потом резко повернули в другую сторону, встав на путь тотального огосударствления собственности. Они продолжали движение по прежнему маршруту, основываясь на частной собственности. А потом в острой борьбе с ними мы не заметили, как у них появились новые тенденции. Стал набирать силу процесс диффузии (рассредоточения) собственности. Это проявилось в быстром росте акционерной, кооперативной, коммунальной, коллективной и других ее форм. В последние десятилетия наблюдается стремительное развитие мелкой собственности. Все это и есть процесс демократизации собственности. (Мы можем взять развитую страну капиталистического мира любой модели — скажем, Швецию, США, Японию, Израиль — и везде обнаружим два сходных процесса: децентрализацию собственности, ее диффузию, демократизацию, с одной стороны, и процесс социализации — с другой.) У нас же в то же самое время укреплялась прямо противоположная тенденция: монополизация собственности, бюрократизация ее управления, отчуждение от нее трудящихся. Причем мы далеко превзошли Запад по масштабам монополизации, глубине отчуждения работника от средств производства, степени его эксплуатации. Как же так? Хотели одного, а вышло другое. Это и говорит о том, что развитие экономики носит объективный характер, она как бы следует своему «генетическому коду» и не очень-то считается с характером производственных отношений, с чьей бы то ни было «железной волей». Следовало бы понять, что самый лучший тип развития есть естественноисторический и политическая воля хороша, когда она содействует такому развитию, а не пытается им манипулировать.

Мы раньше Запада встали на путь широкой системы создания социальной инфраструктуры, но потом надорвались, ибо взяли непосильную ношу. Запад легко нас обогнал и оставил далеко позади. И застой — это не только результат ошибок, но и следствие того, что общество надорвалось. Да и много другого нового, рождавшегося в нашем обществе после Октября, превращалось в убогое подобие задуманного в условиях отсталого социально-экономического базиса, политической и культурной неразвитости большей части населения. Трудно форсировать общественный процесс, тем более перепрыгивая через многие его естественные ступени.

К новым формам собственности Запад шел долго, от этапа к этапу, нарабатывая опыт, организационные навыки, совершенствуя коммерческие и социальные связи... Жизнеспособные формы хозяйствования формируются в лоне общества, его экономической структуры, они не декретируются, не пересаживаются, как рассада, на иную экономическую, социальную и психологическую почву. Мы же начали с другого конца, и вряд ли нам удастся миновать естественные фазы развития. Сначала нам придется вернуться назад, восстановить и поднять на более высокий уровень многие навыки, которые мы утратили, познать, что такое настоящий рынок, конкуренция, риск разорения, прочувствовать, что такое обязательность в отношениях с партнерами, а потом уже двигаться в русле общемирового развития. Но за это время Запад еще дальше уйдет вперед. Поэтому правы те, кто говорит: надо смириться, если мы не будем ни первыми, ни вторыми, ни даже третьими, не надо больше никого догонять! Надо наконец просто жить. По возможности по-человечески и уже сегодня. А не только ради эфемерного «светлого будущего», которого так и не дождались несколько поколений советских людей.

Всему миру ясно, что наша модель социализма потерпела банкротство. И в первую очередь потому, что она не сумела решить вопрос о собственности. Страна пришла в упадок, а мы уподобляемся героине романа английского писателя У. Теккерея «Ярмарка тщеславия». Она безумно любит своего избранника, но он оказался на редкость легкомысленным, ненадежным, на каждом шагу изменяет девушке, а потом и вовсе о ней забывает. А героиня все его ждет и любит. Читателя в конце концов начинает раздражать ее слепая любовь без малейших шансов на взаимность. Любовь должна быть взаимной. Иначе говоря, не только мы должны любить социализм, но и он нас. Пока же, как едко заметил сатирик, строй наш прекрасен во всех отношениях, у него только один недостаток — людям живется плохо...

3

Предпринимаемые в последнее время нашим руководством попытки выработать оптимальный вариант выхода страны из экономического тупика можно образно сопоставить с поведением всадника, сбившегося с дороги в сильную пургу. Опытный, умный всадник отпустит вожжи, лошадь сама найдет путь. Неумный же будет шпорить и шпорить свою выбивающуюся из сил лошадку, направляя ее, как ему кажется, по правильному маршруту, и в конечном итоге и ее загонит, и сам замерзнет... Кто же в нашем обществе возьмет на себя роль мудрого всадника? Съезд народных депутатов? Верховный Совет СССР? Местные Советы? Несмотря на то, что в состав Верховного Совета вошло много не подготовленных к работе на высоком государственном уровне людей, наш парламент оказался вполне работоспособным, хотя, понятно, он еще только набирается опыта. Ключевым же элементом политической системы пока все еще остается КПСС. Она-то и призвана, по замыслу инициаторов перестройки, стать консолидирующей силой общества. Очевидно, однако, что партия к этой роли не готова. Приходится лишь удивляться поведению в критических ситуациях иных партийных органов, продолжающих ориентироваться на конфронтацию, на грубое давление, на использование спецвойск МВД. Такими методами общество, в котором реально существуют различные социально-профессиональные и иные слои, прослойки, группировки со своими специфическими интересами, серьезными противоречиями различного характера, нельзя консолидировать. Можно лишь еще больше усугублять кризис. Нужен серьезный разговор о партии, которого у нас, по существу, еще никогда не было. И не в кулуарах или закрытых совещаниях, а в обществе. Разговор открытый, открытый, честный. Был бы партаппарат более требовательным к себе, более самокритичным, более скромным, не являл бы он сегодня во многих своих звеньях растерянную политическую организацию, не знающую, как вести себя в новых условиях, вокруг каких задач консолидировать общество. Но способен ли аппарат быть таким?

В ловко пущенном кем-то в оборот словосочетании «нападки на партию» слышался угрожающий окрик из прошлого. Неужели же мы такой забытый народ, что за все должны благодарить власть предержащих? Будем же последовательными. Вина за все то,

что случилось с нашей страной и ее народом, прежде всего ложится на правящую (и единственную!) партию. Она определяла стратегию развития, она формировала все звенья управления сверху донизу. Партия ответственна за все, что делалось в нашей стране после ее прихода к власти. Иная постановка вопроса просто безнравственна.

Дело, конечно, не в плохой работе каждого отдельно взятого коммуниста. Те же работники партаппарата нередко трудятся много, с полной отдачей, порой на износ. Но ведь результаты-то этой работы для общества зачастую просто разрушительные. Дело в системе, в несовершенстве, порочности ее модели.

Жесткая, сродни армейской, партийная дисциплина при однопартийной системе, принцип назначенства если и допустимы, то лишь в экстремальной обстановке. В нормальных же условиях назначенство неизбежно прорастает приятельскими, свойскими, родственными, клановыми, иными корпоративными отношениями, более ориентируется не на способности, компетентность, нравственные качества того или иного работника, а на его личную преданность вышестоящему и в конечном итоге приводит к обеднению интеллектуального и морального потенциала кадров. Те, кто пришел к власти в соответствии со сталинскими критериями подбора руководящих кадров и уцелели, делали погоду в политике еще многие десятилетия. Это была их власть. По своим способностям и духовным качествам они ей полностью отвечали. Уничтожение богатейшего культурного наследия страны, создававшегося многими столетиями, ненависть к высокой духовности, неприязненное отношение к таланту, культуре, интеллигентности, недоверие к науке, стремление подменить ее разного рода эрзацами характеризуют их как дорвавшихся до неограниченной власти агрессивных невежд.

Подобное в истории уже случалось. Когда варвары завоевывали страну с высокой цивилизацией, они, будучи не в состоянии до нее дотянуться, либо ее разрушали, либо низводили до своего уровня. Такова и общая черта революций, в которых активное участие принимают задавленные нищетой низы, тяготеющие к решению крупнейших вопросов жизни и смерти страны на собственный лад, как говорил Маркс — «по-плебейски». В этом есть своя железная логика, как и в послереволюционном резком снижении общего уровня культуры и науки, снижении, обусловленном спешным формированием новой элиты из низов общества. Но если такая элита укрепляется, то потом уже как бы автоматически идет воспроизводство ее примерно на том же уровне: все, что не усреднено, оригинально, нетрадиционно, выбраковывается. Утверждается принцип отрицательного отбора. Приход к руководству партией посредственного и безнравственного Брежнева — драма для страны, а во всех отношениях серого, бездарного Черненко — ее финал. Это уже позор для всех коммунистов. Но в то же время это и закономерный результат антидемократизма в партии, торжество института назначенства.

Впрочем, назначенство — только следствие. Порок коренится уже в самом монопольном положении партии, в том, что она устранила всех своих конкурентов и критиков и тем самым лишила себя условий для нормального развития, которое невозможно без борьбы, без столкновений мнений, без естественного отбора в ходе комплектования ее руководящих звеньев.

Закрытость работы партийных аппаратов, в особенности высших, планомерное интенсивное раздувание официальной пропагандой культа партийной верхушки и самой партии в духе идолопоклонства, языческого фанатизма было направлено на то, чтобы выработать в массах стереотип бездумного, апологетического отношения к партии, вывести ее из-под критики, оставить ее деятельность вне серьезного научного анализа.

Противоестественным для партии, созданной во имя борьбы за интересы трудящихся, явилось закрепление в конституции ее статуса в качестве правящей на веки вечные. Оставим в стороне признанные нормы международного права, партийную этику. Не будем касаться и того, что такой подход отдает духом нашего исторически недавнего монархического прошлого... Принципиальная ошибка состоит в следующем: вместо того чтобы каждый раз доказывать трудящимся правоту своей политики и соответственно повышать уровень работы по всем направлениям, партия могла почивать на лаврах, будучи заранее уверенной, что она опять придет к власти. Ссылки на то, что в октябре 1917 года партия завоевала право быть правящей, отдают политической демагогией худшего толка. (И партия тогда была другая, и общество другое, и мир другим.)

Ведь от внесения в конституцию положения о вечно правящей партии до провозглашения ее лидера пожизненным руководителем государства, а сына, дочери или жены лидера наследниками его поста — один шаг. Не отсюда ли берет начало, с точки зрения социальной психологии, практика пожизненного пребывания на своих постах наших партийных и государственных лидеров?

Стиль работы партии складывался и формировался в чрезвычайных условиях подпольной деятельности, подготовки и осуществления революции, в годы гражданской войны и «военного коммунизма». Но что значит постоянно сохранять в партии и обществе дух «чрезвычайки»? Это аномалия. Нормально жить в таких условиях человек долго не может. И если экстремальные условия искусственно затягиваются на многие десятилетия, а партия в лице своего аппарата все приказывает, наказывает, страшает, исключает из своих рядов непослушных, активно прибегает к помощи репрессивных органов, это приводит к страшным последствиям.

Личность стала редким явлением в обществе, где отдельный человек рассматривался всего лишь как элемент социальной организации, коллектива, как объект целенаправленных действий сверху. Террор, несвобода, вечные дефициты, жалкий быт, ставшее нормой унижение человеческого достоинства гражданина перед лицом тупого бюрократизма, бездушная казенщины сделали свое дело: человек перестал уважать себя. Но перестав уважать себя, он перестал уважать и других. Что более всего поражает наших соотечественников в западных странах? Не столько даже высокий жизненный уровень, изобилие товаров и качественных услуг, сколько сами люди. В условиях достатка, высокоорганизованного быта, досуга и при отсутствии бюрократического хамства, полицейского произвола гуманизируются отношения в обществе: люди становятся спокойнее, мягче, добрее, отзывчивее. И, разумеется, цивилизованнее...

Трудно, но необходимо признать тот факт, что физический и моральный террор, произвол и беззакония, приведшие в итоге общество к тяжелейшему социально-экономическому кризису, духовной деградации, вершились в Советском государстве от имени и во имя самой партии, которая в свое время устами Ленина провозгласила себя умом, честью и совестью эпохи и которая родилась на свет как защитница интересов угнетенных...

И все же партия пока еще сохраняет шансы стать — конечно, уже на новых, сугубо демократических началах — действительно консолидирующей и примиряющей силой нашего раздираемого внутренними распрями и конфликтами общества. Но для этого ей жизненно необходимо прежде всего ускорить процесс демократизации собственной структуры, внутреннего размежевания.

Безусловно, выборы партийных руководителей должны проходить не келейно, в узком кругу членов бюро или ЦК, а на конкурсной основе, путем прямых выборов, при участии всех коммунистов, входящих в ту или иную партийную организацию. Партии как воздух нужны свежие силы, не успевшие повариться в котле сталинско-брежневского аппаратного бюрократизма, не выработавшие в себе трусливо-схоластического мышления и прямолинейно-догматической психологии, не свыкшиеся с иррациональным характером многих сторон деятельности партаппарата. Кадровое обновление — ключевой вопрос перестройки партии. Без его успешного, эффективного решения КПСС просто не сумеет вести работу политическими методами, не сможет соответствовать требованиям времени, не займет достойного места в сегодняшнем стремительно обновляющемся и преобразующемся мире.

Между прочим, в обществе сразу же заметили, что многие народные депутаты, избранные на конкурсной основе, выгодно отличаются от партийных секретарей, традиционно выбираемых на должности аппаратом: и уровень образования у первых повыше, и мыслить они умеют острее и глубже, да и сам масштаб личности у них зачастую покрупнее, познавательней. Здесь нет ничего удивительного. В массе своей партийные руководители — это вчерашние хозяйственники, привыкшие иметь дело с цифрами, заданиями по плану и валу, с отчетами и рапортами, но не со сложными процессами, происходящими в современном обществе. Наше хозяйство, как известно, — далеко не лучшая школа для формирования динамичных, мудрых и гибких не то что политических лидеров, но даже управленцев. А между тем, например, в Белоруссии специалисты народного хозяйства среди первых секретарей горкомов и райкомов до самого последнего времени составляли 95,6, среди вторых — 75,2 процента («Советская культура», 17.10.89).

Очень актуальной сегодня остается и проблема обновления идейно-теоретических основ партии, приведение их в соответствие с жизненными реалиями, освобождение от былых мифов и догм немалой части партийцев, особенно старшего поколения, привыкших едва ли не автоматически мыслить и оперировать ритуальными идеологическими клише, такими, скажем, как «основополагающие ценности социализма», «классовые позиции», «коренные интересы трудящихся».

Социализм — это не абстракция, у него есть определенный экономический строй, социальная организация общества, политическая система. Основа всякого социального строя — способ производства с присущими ему формами собственности. Пока мы не можем

сказать, что дискредитировавшим себя формам собственности — государственной и колхозной — найдена замена, адекватная уровню развития сегодняшних производительных сил. Экономические отношения опосредуют все другие отношения в обществе, формируют его социально-классовую структуру, преломляются в его надстроечных институтах. Это по Марксу. Если мы не сумеем создать новый хозяйственный механизм, хотя бы сопоставимый по своей эффективности с капиталистической экономикой (оставим, оставим пока в стороне вопрос о превосходстве!), — считайте, что социализм как новый общественный строй не состоялся. (И тогда всякие разговоры о социалистических идеалах будут лишь прикрывать чьи-то эгоистические, корпоративные, сословные интересы и одновременно свидетельствовать о нашей малограмотности, утопичности нашего подхода к общественному развитию.)

Удержаться на плаву, спасти страну от разорения, а социалистический идеал от полного и уже окончательного краха возможно единственно с помощью решительного и последовательного перехода к экономическим методам хозяйствования, рыночным отношениям (со всеми сопутствующими им явлениями — выбраковкой слабых звеньев производственного цикла, банкротствами нерентабельных предприятий, безработицей, риском разорения). Не обойтись нам и без отчетливо выраженной имущественной и социальной — по труду! — дифференциации (пока не изменится нынешняя уродливая социальная структура советского общества, основание пирамиды которого составляют не зажиточные слои населения, как на Западе, а люди, живущие на грани бедности либо уже перешедшие за эту грань). Добросовестный, квалифицированный, осмысленный и производительный труд, большой выбор товаров хорошего качества в магазинах, расширение личных свобод и резкое улучшение социального положения людей, искоренение воровства и коррупции, высокий материальный уровень и не менее высокое качество жизни народа должны стать результатом кардинальной социально-экономической реформы, а заодно и подтверждением истинности, жизнестойкости исповедуемых нами более семидесяти лет идеалов.

Но вот состоится ли обновление, удастся ли реформация, если в массовом сознании, а вернее в подсознании, еще столь живучи симпатии к сталинскому казарменно-уравнительному социализму и неприязнь, а то и ненависть, к так называемым рвачам, к тем, кто гонится за «длинным рублем», кто «чересчур много вкальвает» и «чересчур много зарабатывает», у кого «кулацкие замашки» и «буржуйские настроения»? Что ж, если публицисты, экономисты, политологи не сумеют разъяснить людям, воспитанным в психологии уравниательства, а их — не станем тешить себя иллюзиями — далеко не меньшинство, всю губительность для судеб страны и социализма их воззрений (и вытекающих из них действий), нам без сомнения гарантированы полунищенское (впоследствии и нищенское) существование, полная внешняя изоляция — вспомним пример Албании, — окончательная государственная и духовная деградация.

Так обстоит дело с «социалистическими идеалами». Очистить от мистического налета предстоит и такие понятия, как «классовые позиции», «интересы рабочего класса».

Когда Сталин пришел к власти и установил единоличную, безраздельную диктатуру, тогда полностью сформировался и утвердился класс советской бюрократии, отчуждающий трудящихся и от власти, и от собственности на средства производства. Это отчуждение сохранилось и даже усилилось в годы застоя. Не преодолено оно радикальным образом и поныне. Закономерно возникает вопрос: о позициях какого класса идет речь?

О классовых позициях неизменно говорили Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко. Политика разная, а слова одни и те же. Да и сейчас за словами «классовая позиция» скрывается нередко разное содержание. Уточним: под пролетарской классовой позицией классики научного социализма понимали позицию самого передового, по их представлениям, класса общества, объективные интересы которого, как они считали, совпадают с объективными интересами всех трудящихся классов общества. Реализация на практике классовых интересов пролетариата, по идее, должна была открыть широчайший простор прогрессу общества, привести к невиданному расцвету его материальных и духовных сил. Но зачем теперь-то продолжать делать ставку на постулаты, не выдержавшие проверки исторической практикой? И потом, разве не затаскали, не истрепали, не опошили понятия «интересы рабочего класса» и «классовые позиции» те, кто в собственных корыстных целях долгие годы демагогически, как заклинания, повторял их?

Интересы какого класса отстаивали руководители времен Хрущева, которые в 1962 году отдали приказ о расстреле рабочих Новочеркасска, протестовавших против ухудшения условий жизни? Рабочего класса?

Чьими интересами руководствовались те райкомовские, горкомовские, обкомовские и иные аппаратные работники, когда вне очереди получали роскошные квартиры, строили все новые и новые загородные дачи, «охотничьи домики», санатории, дома отдыха, сооружали помпезные здания под свои штаб-квартиры, в то время как многие рабочие семьи ютились в бараках, тесных квартирах без удобств, жили в микрорайонах, непосредственно примыкающих к металлургическим, химическим и другим крупным предприятиям, дышали отравленным воздухом?

В чем состояла «классовая позиция» руководящих работников Донбасса и Кузбасса, предпочитавших не видеть ужасающих условий труда и быта горняков?

Партбюрократы в очередной раз вспомнили об «интересах рабочих», начали противопоставлять их интересам интеллигенции, когда стали проигрывать своим соперникам в ходе выборов в народные депутаты. То есть когда возникла реальная угроза потери власти, когда стало очевидно, что тот самый рабочий класс, именем которого клялись в одинаковой мере и сталинисты, и брежневцы, проводившие антирабочую политику, может проголосовать против ограниченных, чванливых, некомпетентных, не страдающих от избытка нравственности партийных деятелей. Под словами «интересы рабочего класса» аппаратчики скорее всего привыкли понимать интересы тонкой прослойки псевдорбочей аристократии — прирученных, обласканных «номенклатурных рабочих», которые выдвигались аппаратом на различные престижные должности, достаточно широко пользовались благами и привилегиями. Их «мнением», их «позицией» всегда прикрывалась бюрократия, когда подвергала репрессиям и гонениям хоть сколько-нибудь независимых, свободомыслящих людей. Устами этих предателей подлинных интересов рабочего класса, как назвал их драматург А. Гельман, оправдывались беззакония Сталина, нападки Хрущева на творческую интеллигенцию, расправа брежневцев с инакомыслящими. «Рабочий класс требует предать смертной казне врагов народа», «рабочий класс не понимает абстрактного искусства», «рабочий класс решительно осуждает всякого рода отщепенцев» (вроде Солженицына, Сахарова и других) — вот изобретенные аппаратом лозунги, которые с лакейским пафосом повторяли «номенклатурные рабочие».

Не мудрено, что у части интеллигенции появилось пренебрежительное, если не сказать — презрительное, отношение к рабочим как замороженным, аморфным и послушным проводникам воли аппарата. Поэтому когда во время недавних забастовок шахтеры проявили и высокую сознательность и высокую организованность (к тому же еще и посрамили «номенклатурных рабочих», заявив на всю страну, что те не выражают их интересов), для многих это стало откровением.

К слову, о забастовках. В настоящий момент они и впрямь обходятся стране слишком дорого. Тем не менее трудно согласиться и с позицией Е. К. Лигачева, который, выступая по телевидению в начале сентября 1989 года, осудил участие коммунистов в забастовочном движении. Как же еще коммунисты-горняки могли защитить и свои интересы, и интересы беспартийных горняков, если к ним наплевательски относились различные ведомства? Да и допустимо ли коммунистам, претендующим на авангардную роль в обществе, находиться в стороне от борьбы за реальные, а не надуманные интересы рабочего класса?..

Начавшийся вместе с перестройкой процесс демифологизации многих сторон и аспектов жизни Советского государства за минувшие семьдесят с небольшим лет пока еще явно недостаточно затронул КПСС, проблемы, связанные с ее местом в современном обществе, вопросы внутрипартийного строительства. Какой, скажем, должна стать структура партии, если взять во внимание то очевидное обстоятельство, что среди 20 миллионов сегодняшних ее членов люди самых разнообразных, не совпадающих политических взглядов, мировоззренческих позиций, ценностных ориентаций?

Большевистская партия создавалась Лениным как партия единомышленников. При выходе из подполья после Февральской революции она насчитывала в своих рядах примерно 24 тысячи членов. С тех пор ситуация кардинальным образом изменилась. Когда в сталинские или брежневские времена о многомиллионной партии говорили как о монолите, это была демагогия. (Исключение можно сделать разве только для периода войны.) Тем более не может она быть однородной сегодня.

В 60—70-е годы КПСС пополнилась огромным числом случайных людей, вступивших в ее ряды не по принципиальным, а по иным соображениям: карьерным, материальным, служебным и т. д. Не стоит видеть в каждом из них лишь беспринципного рвача, откровенного карьериста, охочего до престижной и прибыльной должности. Для многих членство

в партии явилось вынужденным компромиссом — без партбилета невозможно было плодотворно заниматься некоторыми видами деятельности. Но факт остается фактом: тезис о единстве партийных рядов окончательно утратил смысл.

Партия многолика. И многоликость эта непременно должна иметь отражение в ее новой организационной структуре: образование внутри партии различных секций, групп, фракций (дело не в названии) стало бы закономерным, нормальным и здоровым явлением. 20 миллионов человек не могут быть едины в своих взглядах, устремлениях, помыслах. От мифов надо избавляться. Без прозрения у нас нет будущего. Та роль, которую отводила партии марксистско-ленинская теория — способствовать созданию великого гуманистического бесклассового общества, — осталась несыгранной. Партия не сумела обеспечить формирование экономически жизнеспособного, социально справедливого, свободного, гуманного государства, государства, служащего примером для подражания. Она позволила Сталину утвердить свою абсолютную власть, не помешала ему творить геноцид (напротив, она активно в нем участвовала, его освящала); не сумела партия и предотвратить приход к власти неосталинистов в 60-е годы после «падения» Хрущева, а затем, в период «развитого социализма», она своим авторитетом подкрепила постыдную вакханалию брежневщины, приведшую страну на грань национальной катастрофы. В нынешних же условиях монополия партии на власть практически уже невозможна. Партия хочет остаться серьезной политической силой в обществе? Но и для этого ей требуется коренное обновление. Тактика запретов, оргвыводов, взысканий, обращение к репрессивным органам для пресечения всякой не санкционированной сверху активности — это прямой путь к повторению тбилисской трагедии, к дальнейшей потере авторитета и влияния в массах. Партии придется примириться с тем непреложным фактом, что движение от монополизма к плюрализму носит объективный характер. Это стало особенно очевидно на фоне событий, происходящих в настоящее время в странах Восточной Европы. Догмат об исторически сложившейся однопартийной системе устарел (и сама партия, скажем откровенно, весьма неудовлетворительным руководством страной в последние десятилетия такой вывод как нельзя лучше подтвердила). Решения февральского Пленума ЦК КПСС должны стать поворотным пунктом в истории нашей страны. И в истории Коммунистической партии. Похоже, что груз исторической ответственности, довлеющей над партией, не позволит ей ни исчезнуть, ни раствориться в общедемократическом движении, ни сменить свои основополагающие ценности. Но, как мне кажется, этого и не требуется. Если под последними понимать не догмы, не тексты, а глубинную тягу народа к социальной справедливости, к «жизни по правде», то политическое движение, основанное на этих принципах, найдет отклик в обществе. Партия, обновившись, радикально сменив руководство и аппаратный слой (это условие необходимое), может принести обществу немалую пользу, особенно на нынешнем этапе, пока новый политический ландшафт не укоренился и не отлился в устойчивых и определенных формах. При благоприятном ходе преобразований через несколько лет мы будем иметь гибкую, демократическую, современную парламентскую партию, политическую наследницу нынешней КПСС.

Сколь бы ни были велики наши претензии к руководству страны, к партии, сейчас, может быть, как никогда за многие прошедшие десятилетия от всех нас требуется высочайшая ответственность: ни в коем случае нельзя обострять отношения в обществе — они и так обострены до предела. Нельзя требовать невозможного. Нельзя полагаться на силу при решении естественно возникающих противоречий, проявлять несдержанность, давать волю эмоциям, стремиться получить все и сразу. Будем реалистами — М. С. Горбачев и его команда не могут в одночасье устранить все то негативное, что накапливалось в обществе десятилетиями, преподнести на блюде новые, совершенные хозяйственные и политические механизмы. И пора бы уже себе ясно представлять: нет объективных условий для быстрого изменения положения к лучшему. Надо отбросить всякие ультралевые призывы к формированию перемен. Что такое революция? Ликвидация привилегий? Новый передел? Революция — это прежде всего устранение препятствий на пути общественного прогресса. И чем плавнее, спокойнее, «эволюционнее» она протекает, тем больше выигрывает общество. Под красными флагами популизма сравнительно легко собрать людей в бедной стране (как это и было уже в нашей истории) и вызвать страшные социальные катаклизмы. Но на основе популизма нельзя создать жизнеспособную экономику, современное устойчивое и процветающее государство.



КОНСЕНСУС

Современный мир «богат» конфликтами — и международными, как, например, арабо-израильский, и внутригосударственными, подобными тем, что происходят сейчас в Ольстере и в Нагорном Карабахе. Подобные конфликты можно разрешить лишь путем достижения общего согласия враждующих сторон. Не случайно создатели Организации Объединенных Наций предусмотрели в Уставе ООН правило единогласия великих держав при решении важных вопросов в Совете Безопасности. Ведь совершенно очевидно, что только силой можно навязать решение великой державе, если она с ним не согласна. Задача же ООН как раз заключается в поддержании мира, то есть в разрешении противоречий и, стало быть, в поиске согласия. Поэтому неудивительно, что решение вопросов методом консенсуса (или соглашения) стало впервые осуществляться именно в ООН. Предложение, которое не вызывает возражений, считается принятым без голосования, поскольку в общепризнанном смысле голосование предполагает выступления против. Принцип консенсуса подобное исключает. Такое решение будет безусловно конструктивно, прежде всего потому, что все силы договаривающихся будут направлены на его выполнение, а не на борьбу со своими противниками.

Если проанализировать всю деятельность ООН (с момента основания этой организации), то становится понятно, что причиной неэффективности многих резолюций Генеральной Ассамблеи было принятие их механическим большинством голосов.

Сегодня все больше членов ООН приходят к пониманию, что метод консенсуса является в современных условиях единственно разумным способом достижения эффективных решений. Об этом свидетельствует статистика. Так, если на 13-й сессии Генеральной Ассамблеи единогласно и с помощью консенсуса было принято всего 39 из 112 резолюций (35 процентов), то на 40-й сессии уже 184 из 259 резолюций (70 процентов).

Стремление любого человеческого общества к конструктивному согласию плодотворно на всех уровнях. Допустим, жители одного дома разделились на группы, имеющие разные проекты благоустройства двора. В случае, если каждая группа настаивает на выполнении своего проекта без учета других, между ними наверняка предстоит долгая и изнурительная борьба. Пока поборники строительства гаражей станут сражаться со сторонниками строительства детской площадки, двор будет оставаться голым и не приспособленным ни для детей, ни для автомобилей, более того, опасным для всех: автомобили опасны для играющих детей, а действия детей, которым негде и не во что играть, могут оказаться опасными для автомобилей. Благоустроить такой двор можно только с общего согласия жильцов. Ведь в случае победы одной из сторон борьба не прекратится, поскольку *status quo* в этом случае будет основываться на постоянном ущемлении чужих прав. Но если жители дома захотят, чтобы двор был действительно удобным для всех, они постараются принять решение, устраивающее каждого. Может быть, построят и гараж и детскую площадку. А может, учитывая и мнение тех, кто любит тишину, засадят двор деревьями, а гараж и детскую площадку выстроят на некотором отдалении от двора, объединившись с жителями других домов. Этот простой пример показывает, что в основе консенсуальной системы лежит направленность на положительный результат.

Демократическое общество является обществом равных возможностей. Общественное мнение складывается из мнений всех членов общества. При решении любого вопроса должны быть выявлены, обсуждены, рассмотрены и учтены все существующие точки зрения.

Система голосования, основанная лишь на принципе механического подсчета голосов за и против, способствует расколу общества на две половины и обуславливает постоянную конфронтацию между ними. Основным недостатком этой системы является фактическое игнорирование мнения меньшинства. Диктат большинства — это нарушение одного из основных законов демократии, закона справедливости. Ведь задача демократии состоит в преобразовании различных волеизъявлений граждан в единую волю общества, волю, которая должна являть собой составляющую частных волей, а не ориентироваться на преобладающую и наиболее сильную из них. Неограниченная власть большинства может иметь не менее опасные последствия, чем единовластие, диктаторский режим. Нельзя забывать, что Гитлер пришел к власти парламентским путем.

Так называемых зажиточных русских крестьян, уничтоженных во время коллективизации, было меньшинство. Меньшинство, которое составляло 10—13 миллионов человек!

Католики в Ольстере тоже, как известно, составляют меньшинство. Они, однако, активно борются с протестантским большинством. Так активно, что жертвы с обеих сторон исчисляются сотнями, если не тысячами, человеческих жизней. Политическая агрессивность католического меньшинства объясняется его стремлением защитить собственные интересы. Сегодняшняя ситуация в Нагорном Карабахе — еще один пример противоречия, которое нельзя разрешить по принципу большинства. И в этом случае насилие порождено страхом остаться в меньшинстве и быть уничтоженным. Но ведь если у человека нет боязни, что его проблемы не будут приняты в расчет, он наверное согласится учитывать и проблемы соседа.

Консенсус обладает и еще одним существенным и неоспоримым преимуществом перед всеми остальными способами разрешать социально-политические противоречия и конфликты: он не только способствует прямому воздействию общественного мнения на политические процессы, но и формирует само общественное мнение. Поскольку для современного общества характерны, с одной стороны, дифференциация интересов, а с другой — переплетение интересов различных социальных групп, при системе принятия решений на основании диктата большинства оба указанных фактора действуют дестабилизирующе. Они вызывают в обществе междоусобицы, ведут к формированию крайних мнений и созданию противоборствующих блоков. Напротив, установка на общее согласие формирует новое, современное сознание, которому чужды предвзятость и непримиримость. Если в средние века феодальные междоусобицы ослабляли государство и ликвидировать их могла только абсолютная верховная власть, то общественные междоусобицы XX века возможно устранить только при подлинном народовластии. Но в отличие от первобытного народовластия, в основе которого лежало равенство интересов, основой нынешних демократий должно стать равенство прав при многообразии интересов. Достигнуть этого можно, только создав систему, где ни один реально существующий интерес, ни одно устремление не будут формально уничтожены, ибо за ними стоят чаяния определенной, пусть и небольшой, части общества. Основным законом консенсуса является признание чужих интересов как гарантии для осуществления интересов собственных. В этом заключается его гуманизм.

Можно определить общественный прогресс как движение к устранению отрицания. Современные демократии в отличие от демократии античной уже не основываются на теории неограниченной власти государства, предусматривающей полное поглощение интересов отдельных граждан государственными интересами. Принципом буржуазных демократий нового времени стало ограничение государственной власти и утверждение прав и свобод личности.

Жан Жак Руссо считал самой справедливой формой государственного устройства демократию, при которой законы будут представлять собой решения не простого большинства, а всех членов государственного сообщества. Однако великий мыслитель, не признававший свободу личности, предполагал существование консенсуса и терпимости как порядка, установленного верховной властью. В современном обществе консенсус должен основываться на свободе личности, на признании ее ценности и ее интересов. Развитие прав личности, осуществляемых посредством права гражданина на свободное волеизъявление, объективно приводит к необходимости сосуществования интересов. Консенсус гарантирует реализацию права личности через право гражданина.

Правительства современных развитых государств, пришедшие к власти в результате поддержки большинства, в своей деятельности не могут не учитывать интересы меньшинства. Центристская политика многих западных правительств свидетельствует о возрастающей взаимозависимости действующих в обществе сил. Пренебрежение потребностями определенных общественных групп в государственной политике неизбежно ведет к дисгармонии внутри общества и к потере правительством поддержки большинства. Так, во Франции после победы Ф. Миттерана на президентских выборах 1981 года пришедшее к власти правительство левых сил стало проводить политику национализации крупных предприятий. Однако в 1986 году блок левых сил распался, и правительство социалистов было вынуждено объявить о денационализации многих национализированных предприятий. К такой же дисгармонии приводит предоставление экономической самостоятельности кооперативам в СССР при отсутствии такой самостоятельности у государственных предприятий. Результатом создавшегося дисбаланса в настоящее время являются определенные ограничения деятельности кооперативов.

Подобные противоречивые и непоследовательные действия правительств вызваны отсутствием в современных политических системах механизма, гарантирующего отражение существующих общественных интересов в решениях, принятых на любом уровне.

Консенсуальная система предполагает решение социальных и политических конфликтов только демократическим путем. Использование метода консенсуса при голосовании практически исключает возможность установления диктатуры как личностной, так и групповой. Например, если местный представительный орган из 25 депутатов выбирает консенсусом президиум из 5 человек, существует 6 миллионов возможных вариантов последствий таких выборов, а вероятность установления авторитарной власти при этом составляет одну пятидесятитысячную. При большем количестве избирателей такая вероятность имеет тенденцию к значительному уменьшению. Вместе с тем консенсус является гарантией межнационального и международного мира, поскольку не дает возможности сильным нациям и государствам игнорировать интересы малых стран и народов.

Настало время, когда взаимозависимость в окружающем нас мире настоятельно требует общего согласия. Об этом говорит и мировая экологическая ситуация. Вопросы воздействия на природную среду нельзя решить без согласия всех заинтересованных членов мирового сообщества, потому что в настоящее время любой экологический вопрос имеет всемирное значение. Сибирская тайга сегодня снабжает кислородом всех жителей Земли, а каждый человек, пользуясь аэрозолем, в известной мере приближает мировую катастрофу. Никакая экологическая проблема не может решаться по принципу за и против не только потому, что трудности наших соседей завтра могут коснуться и нас самих, но и потому, что за каждым оставшимся в меньшинстве человеком стоят судьбы его потомков. Например, вопрос о строительстве ядерной станции в том или ином районе СССР не может решаться большинством даже в представительных органах на республиканском и тем более на всесоюзном уровне, поскольку наиболее заинтересованные в этой проблеме граждане неминуемо окажутся в меньшинстве. А при решении такого вопроса на местном уровне в представительном органе или всенародным голосованием метод консенсуса представляется единственной реальной гарантией от совершения непоправимых ошибок.

Демократия подразумевает, что обществом управляет общее мнение. Плурализм гарантирует право каждого на собственную точку зрения. Консенсус предоставляет возможность определения общего мнения, сложенного из всех точек зрения.

Демократический процесс принятия решений состоит из нескольких этапов:

- 1) возникновение и постановка проблемы;
- 2) обсуждение проблемы;
- 3) выявление всех существующих мнений;
- 4) выбор метода принятия решения;
- 5) принятие решения.

Такая схема применима и к системе выборов в представительные органы, и к решению вопросов в различных органах и организациях, и при непосредственной демократии.

Для полного осуществления демократии в обществе необходимо, чтобы на всех этапах решения вопроса граждане имели возможность свободного выражения собственного мнения. При существующих демократических системах процесс свободного волеизъявления значительно затруднен.

Поскольку партии обладают преимущественным правом выдвижения кандидатов, избиратели имеют возможность выразить свою поддержку только определенной партии. Но, с другой стороны, внутри самих партий существуют серьезные разногласия по различным вопросам. Поэтому кандидат часто выражает только одно из течений в партии. В США начиная с 70-х годов процесс персонализации предвыборной борьбы привел к стиранию различий между партийными программами в сознании избирателей. В то же время внутри каждой партии стали возникать существенные расхождения во взглядах. Например, в 80-е годы позиции двух известных республиканцев, Андерсона и Рейгана, были диаметрально противоположными по всем политическим вопросам. Избиратели, поддерживающие демократов, столкнулись со сложностями определения истинной платформы демократической партии, представляемой либералом Э. Кеннеди и умеренным консерватором Дж. Картером.

Характерным примером существующей в западных обществах тенденции к созданию политических мифов может служить президентская кампания 1980 года в США. Кандидаты в своих телевизионных выступлениях практически не касались вопросов своей программы,

пытаясь завоевать большинство избирателей личным обаянием и беспощадной критикой противника.

Американский журналист Р. Бартли обвинял организаторов президентской кампании 1980 года в отношении к избирателям как к детям, в стремлении манипулировать общественным мнением при помощи создания дугих политических образов и агрессивных нападок на противника («Wall Street Journal», 28 October, 1980). Возможность давления на общественное мнение возникает при мажоритарной системе в связи с необходимостью любой ценой завоевать большинство.

С другой стороны, при мажоритарной системе партиям приходится блокироваться во время выборов, и избиратели вынуждены следовать за партией, которую они поддерживают. Независимо от избирательной системы в представительных органах при принятии решений большинством голосов партиями создаются блоки. Такие блоки существуют во всех многопартийных парламентах при создании правительства («правительственные коалиции»). В результате депутаты, а тем более члены правительства, не являются выразителями общего мнения граждан. Более того, часто они не представляют даже большинства.

Дж. Вашингтон, отец-основатель американской государственности, выступал против политических партий как выразителей противоречий в обществе. «Они только будоражат общество необоснованными спорами», — говорил он. Но установление системы голосования по принципу за и против обусловило разделение общества и привело к созданию в США двухпартийной системы как модели демократии. Поскольку в Соединенных Штатах в большинстве случаев коллегия выборщиков избирает президента из двух кандидатов, стал возможен казус 1796 года, когда Адамс победил на выборах, так как за него проголосовали два выборщика из штатов, поддерживавших Джефферсона. Тогда на политическую арену и вышли партии, выдвинувшие списки выборщиков для поддержки своего кандидата. В результате этой системы лишь дважды в нашем веке (Гардинг в 1920 и Рузвельт в 1936 году) победитель на президентских выборах получал более 60 процентов голосов избирателей.

В Великобритании в 1964 году лейбористская партия, набрав 44 процента голосов избирателей, получила 50,3 процента мест в парламенте и вновь пришла к власти.

В современных западных демократиях решения, выносимые высшими партийными инстанциями в соответствии с принятыми правилами, определяют состав правительства или участие в правительственной коалиции. Например, в ФРГ осенью 1982 года выход свободной демократической партии из коалиции с социал-демократами и образование новой коалиции СДП с блоком ХДС/ХСС привели к смене правительства. В Великобритании лидер победившей на выборах в палату общин партии почти автоматически становится премьер-министром. Таким образом, влияние избирателей на политику правительства, на процесс принятия политических решений не является определяющим.

Неудивительно, что во многих западных странах обнаружился кризис партийной системы. В США с начала 70-х годов почти половина избирателей голосуют независимо, помимо списков кандидатов партий. За последнее время наблюдается возрастание абсентеизма избирателей (уклонение от участия в выборах). В 1988 году на президентских выборах США за Буша проголосовали только 26,6 процента избирателей, а за Дукакиса — 23 процента. Большинство граждан США не выразили своего мнения. В 80-е годы стали уклоняться от участия в выборах и избиратели ФРГ, особенно те, которые традиционно голосовали за СДПГ. Не находя альтернативы в программе ХДС/ХСС, бывшие избиратели социал-демократической партии Германии воздерживаются от голосования. Не имея возможности эффективно выразить свое мнение помимо партий, граждане перестают участвовать в процессе принятия решений, когда политика существующих партий их не устраивает.

Один из недостатков двухпартийных и даже многопартийных систем заключается в том, что партия сама выбирает своих кандидатов. Обычно избиратели не имеют возможности выбирать между кандидатами внутри партий, то есть оказывать влияние на стратегию партий. (Это верно для мажоритарных и даже для некоторых пропорциональных систем.) Так, в 1969 году в ФРГ СвДП разделилась по вопросу о коалиции с СДПГ. Избиратели не смогли повлиять на решение вопроса о вступлении в коалицию, поскольку не имели возможности выбирать между кандидатами, представлявшими разные точки зрения.

Партии как общественные организации граждан, имеющих общие социально-классовые и политические интересы, являются безусловно формой демократического волеизъявления. Но партии, институализированные в механизм государства, представляют уже отступление от демократии. Для обеспечения истинной свободы волеизъявления граждан необходимы, во-первых, гарантированная доступность информации о всех происходящих

в обществе процессах и, во-вторых, гарантированная возможность непосредственного волеизъявления. Последнее не означает отрицания права партий на существование, напротив, объединение в партии является одной из форм выражения свободного мнения граждан наряду с созданием других организаций. Но никакие организации не должны иметь иных преимуществ, кроме политической поддержки граждан.

Возникновение так называемых новых партий в странах Запада существенно повлияло на традиционную концепцию демократии. «Новые социальные движения» — женское, экологическое, молодежное — не относятся к определенным классам и социальным группам и выступают против таких общественных явлений, которые не сводятся к отношениям между классами. Появление «альтернативных» движений побудило многих западных политологов 80-х годов писать о кризисе социал-демократии в западных странах, где у власти находились социал-демократические партии (ФРГ, Швеция). Многие избиратели, не удовлетворенные политикой правящих партий, отдают свои голоса в поддержку «новых» партий и движений. Однако при существующей системе, основывающейся на фактической двухпартийности общества, кандидаты малых партий, так же как и независимые кандидаты, не имеют возможности широко использовать средства массовой информации для пропаганды своих идей. Скажем, во время президентской избирательной кампании 1980 года в США Дж. Картер и Р. Рейган израсходовали около 18 миллионов долларов только на телевизионную рекламу. Небольшая партия вряд ли располагает подобными средствами. Манипуляция общественным мнением, осуществляемая крупными партиями, приводит к тому, что программы малых партий вообще не доходят до широкого круга избирателей. Политической ареной завладевают чередующиеся у власти крупные партии.

Характерной чертой современного государства становятся, с одной стороны, растущая раздробленность «политического спроса», а с другой — усиление роли административного аппарата. Чем более узкий и корпоративный характер носят требования отдельных групп населения, тем труднее государству принимать общеобязательные решения. При существующей политической системе принятие решений традиционной системой за и против становится все менее эффективным. Некоторые западные государства ищут пути решения проблемы вне политических структур. Система «социального партнерства» в Австрии, Нидерландах, Швеции создана для достижения сотрудничества между представителями различных объединений по принципу неокорпоративизма. Различные неокорпоративные теории — «кооперативная политика, неократия» — ставят своей задачей создание механизма согласования интересов. Но раздробление интересов по цеховому признаку ведет не к согласованности, а к разъединению. На современном уровне общественного развития цеховая система может оказаться более пагубной, чем в средние века. Обособление интересов неизбежно приводит к возникновению «групп давления», или лобби, которые стремятся навязать обществу уже не мнение большинства, но мнение меньшинства. В США предпринимательские корпорации используют эффективные методы давления на конгресс и правительство. Речь идет о многочисленных лоббистских организациях, обеспечивающих прохождение через конгресс законопроектов, выгодных тем или иным «группам давления». Число только официально зарегистрированных лоббистских организаций составляет многие сотни. Лоббисты приобрели столь заметное влияние на работу Федерального представительного органа, что их иногда называют третьей палатой американского конгресса.

«Отцы-основатели» конституции США выступали против «групп давления», считая их выразителями эгоистических интересов. В XX веке деятельность «групп давления» стала регулироваться законодательно, были введены положения об обязательной регистрации.

Творцы американской конституции рассчитывали, что система разделения власти будет надежной гарантией от чрезмерного влияния лоббистских организаций. Но в настоящее время растущая специализация органов государственного управления в сочетании со специализированными комитетами конгресса привела к тому, что «группы давления» могут оказывать существенное влияние на принятие решений по различным вопросам.

Бюрократизация и специализация способствуют росту влияния «групп давления». Все группы предпринимателей имеют своих представителей в органах власти. Достаточно сильным в США является нефтяное лобби. Сенатор Р. Лонг, чья семья вложила крупные средства в нефтяную промышленность, в 70-е годы являлся председателем финансового комитета конгресса и способствовал принятию законопроектов, защищающих права нефтяных магнатов. А вот сенатор Л. Олдс в 1949 году был снят с поста председателя комитета по федеральным энергоресурсам, поскольку активно выступал за государственное регулирование цен на нефть и газ. Так, одним из основных методов «групп давления» стал контроль над административными постами.

Второй, также весьма распространенный, способ — это финансовая поддержка кандидатов, защищающих интересы лоббистской организации. (Хотя законодательство предусматривает ограничения на прямые вложения в избирательную кампанию средств «групп давления», существует неограниченная возможность непрямого вложения средств или поддержки кандидатов.) И третьей формой давления является прямое влияние на принятие решений в различных государственных органах. Опыт вновь избранного Верховного Совета СССР показал, насколько пагубной может оказаться защита корпоративных интересов при решении общегосударственных проблем. Все мы могли наблюдать, как представители различных ведомств делили между собой государственный бюджет СССР. В результате он был увеличен на 5 миллиардов рублей и было предусмотрено сохранение дефицита в 95 миллиардов рублей. Но самое главное то, что в связи с ведомственным давлением не была существенно изменена сама структура бюджета, что настоятельно диктуется потребностями экономического состояния страны.

Безусловно, деятельность лоббистских организаций нарушает демократический принцип равных возможностей, поскольку наиболее влиятельной оказывается наиболее богатая группировка. Хотя появившиеся в последнее время в западных странах группы потребителей и группы по охране окружающей среды и способствуют определенной нейтрализации групп предпринимателей, но все же они не располагают ни достаточными средствами, ни достаточным влиянием, чтобы эффективно противостоять предпринимательским лобби.

Подобная ситуация существует и в Советском Союзе. Долгая борьба общественных организаций с Минводхозом в связи со строительством водохранилищ и поворотом рек еще далеко не закончена. Помимо рычагов давления, которыми располагают организации такого рода, они обладают еще возможностями монополизировать информацию. Характерной является ситуация с ядерной энергетикой. Всем известно, как упорно скрывались реальные последствия чернобыльской аварии. Только в результате огромных усилий общественности стало возможно сделать их достоянием гласности. Но строительство ядерных станций в густонаселенных и экологически опасных районах продолжается. Вместо правдивой информации Министерство атомной энергетики предлагает заинтересованным гражданам брошюру «Экологическая безопасность человека и ядерная энергетика. Противники ядерной энергетики». «Противникам» доступ к информации закрыт. Можно только предполагать, какие средства используют ведомства для осуществления своих интересов. Налицо чисто лоббистская деятельность, усугубленная тем, что в СССР в отличие от западных стран такая деятельность не контролируется и не регламентируется.

Как видно, и западные системы демократии не гарантируют полной свободы волеизъявления на всех этапах принятия решений. Недостатки существующих демократических систем проистекают из принципа большинства и необходимости голосовать только за или против.

В Советском Союзе в настоящее время идет процесс демократизации. Советское государство пока еще не имеет демократического опыта. Чтобы его приобрести, приходится обращаться к странам, таким опытом обладающим, то есть к традиционным западным демократиям. Прошедшие в 1989 году выборы народных депутатов продемонстрировали, с одной стороны, благоприятный рост политической активности граждан, получивших реальную возможность выбора между несколькими кандидатами. Но, с другой стороны, все недостатки системы большинства обнаружились как в ходе самих выборов, так и в последующей деятельности Верховного Совета СССР.

В западных странах дисбаланс между властью и общественным мнением корректируется общей политической культурой, создавшей механизмы воздействия гражданского общества на политику государства. В Советском Союзе такая культура пока не сформировалась. Роль общественного мнения в принятии решений слишком мала, а голос меньшинства зачастую остается не услышанным. Если западные правительства, представляющие победившее большинство, в своей политике обязаны учитывать интересы всей нации, то в СССР принятая большинством платформа проводится в жизнь неукоснительно, независимо от того, что в обществе происходят сложные процессы, этой платформой не охватываемые. Неумение пользоваться преимуществами традиционной демократии делает недостатки мажоритарной системы в СССР куда более ощутимыми, чем в странах Запада.

Интересно и бесполезно для будущего проанализировать опыт весенних 1989 года выборов народных депутатов СССР. На основании данных по Москве можно отметить, что в некоторых округах один из кандидатов получил подавляющее большинство голосов (что и при существующей системе демонстрирует высокий уровень общего согласия). Но в не-

которых округах по результатам первого тура истинная популярность депутатов не была выявлена. Например, в Гагаринском округе, где приняли участие 12 кандидатов, 32 процента избирателей распределили свои голоса между 10 кандидатами, каждый из которых набрал от 1 до 9 процентов голосов. Если бы избиратели имели возможность проставить в избирательном бюллетене свои предпочтения (преференции), то результаты были бы ясны уже в первом туре. Тот из вышедших во второй тур кандидатов, который набрал бы наибольшее количество вторых предпочтений и наименьшее количество последних, был бы самым консенсуальным. А в данном случае мнение 32 процентов избирателей осталось невыявленным. Может быть, они отдали бы свои вторые предпочтения одному из 10 кандидатов.

Мажоритарная система таит в себе еще одну опасность. Это возможность прямых столкновений между сторонниками двух кандидатов. В тех районах, где кандидаты вышли во второй тур, наблюдалось резкое изменение в характере предвыборной борьбы. Во втором туре конфронтация между сторонниками двух кандидатов была такой острой, что люди стали смотреть друг на друга как на противников. Относительное большинство во втором туре выборов не составило большинства избирателей. Значит, интересы более половины населения района оказались не представлены в законодательном органе страны, и результаты избирательной кампании оставили этих граждан в убеждении, что они потерпели поражение.

Советскому государству, только начинающему создавать институты демократии, совершенно необязательно заимствовать те западные механизмы, которые уже обнаружили свое несовершенство. Демократии надо учиться, но учеба — это осмысление чужого опыта, извлечение из него полезных уроков. Советский Союз пережил длительный период антидемократических выборов, когда процесс голосования сводился к формальному, механическому ритуалу опускания бюллетеня в урну. Но граждане, строящие демократическое общество, не могут не осознавать, что, вычеркивая из бюллетеня фамилии кандидатов, они тем самым отказывают в праве на существование их идеям и их программам, за которыми стоят интересы определенной группы людей. Сама установка на полное неприятие чьей-то точки зрения не соответствует демократическому сознанию. Более того, если бы избиратели оценивали программы кандидатов с точки зрения их конструктивности, то вряд ли все положения программы всех кандидатов, кроме одного, были бы неприемлемы для каждого голосующего. В этом смысле осуществлению интересов избирателей и развитию демократии в СССР более способствовало бы не вычеркивание имен кандидатов, а расстановка их в бюллетенях по местам, соответствующим предпочтениям каждого избирателя.

Ныне существующий Верховный Совет, избранный непрямым голосованием, очевидно, не представляет даже большинства населения СССР. Ведь при выборах членов Верховного Совета на Съезде народных депутатов делегаты, оставшиеся в меньшинстве, представляют большинство избирателей своих округов. Значит, интересы избирателей этих округов вообще не представлены в Верховном Совете.

Нельзя считать удовлетворительным и сам процесс принятия решений в высшем законодательном органе страны. Во время обсуждения высказываются различные точки зрения. Вносится много конструктивных предложений. Если даже они и ставятся на голосование (а это не всегда так), то большинство, голосуя против, устраняет предложения, как будто их и не существовало. (А ведь за этими предложениями стоят избиратели, чьи интересы защищают депутаты.) Депутаты, оказывающиеся в меньшинстве, не имеют никакой реальной возможности влиять на процесс принятия решения. Полная бесправность меньшинства в Верховном Совете искажает истинную картину состояния общественного сознания, не способствует отражению интересов граждан в политике, проводимой государством.

Не вполне демократичной представляется роль Председателя Президиума Верховного Совета. Задача председателя демократического законодательного органа должна состоять в представлении всех точек зрения, сложившихся у депутатов, а никак не в управлении этим органом посредством большинства. Однако М. С. Горбачев и А. И. Лукьянов скорее выполняют вторую функцию, никак не проводя установку на выработку общего, приемлемого для всех решения. Хотелось бы видеть в лице Председателя активного согласителя, помогающего депутатам осознать и учесть все существующие мнения. При консенсуальных системах такая роль председателя предопределена самим демократическим механизмом.

Гарантировать свободное волеизъявление граждан в процессе принятия политических решений может лишь создание системы консенсуса на политическом уровне. Гарантией от раскола общества на две противоборствующие партии и от давления определенных

групповых интересов на политику государственных органов станет учет влияния каждого волеизъявления на основании уровня его согласованности. Авторитет партии и любой другой общественной организации будет зависеть от того, является ли ее политика результатом согласованного мнения ее членов, однако конкретное волеизъявление каждого гражданина не должно определяться ни его партийным авторитетом, ни мощью представляемой им корпорации. Необходимость учета всех существующих мнений открывает каждому члену общества путь от корпоративной замкнутости в сторону общего согласованного мнения.

Гарантирована должна быть и открытость волеизъявления на всех этапах принятия решения. На этапе постановки проблемы каждый член общества должен иметь доступ к средствам массовой информации для выражения своих взглядов. При обсуждении проблемы необходимо обеспечить полную свободу собраний, но структура обсуждения может базироваться только на праве конструктивного предложения. Любой человек имеет право высказать свое положительное мнение. Отрицательные заявления, выступления против чье-либо мнения в обсуждении не допускаются, поскольку все существующие мнения должны быть учтены, а свое отношение к ним каждый гражданин выразит в процессе голосования. Это не значит, что аргументы против какого-либо предложения вообще не имеют права на существование. Например, если стоит вопрос о химических удобрениях, то выступающий против их использования должен аргументировать свою позицию собственной программой развития сельского хозяйства без химических удобрений и тем самым показать свое несогласие с другими точками зрения. Но в данном случае обсуждается метод решения проблемы, а не позиции определенных лиц. Предложение не использовать химические удобрения является выражением мнения по существу проблемы, поэтому является положительным.

Если при выдвижении кандидатов в выборные органы сторонники одного кандидата будут выступать с критикой другого, это не будет конструктивным предложением. Но если, поддерживая программу одного кандидата и приводя аргументы в ее защиту, выступающие тем самым ставят под сомнение программу другого кандидата (или определенные ее положения), их предложения будут считаться конструктивными. В процессе такого обсуждения происходит общее ознакомление с существующими мнениями и решение проблемы идет по пути согласования.

Важным следствием такой системы станет невозможность манипулирования пристрастиями масс для создания популярных имиджей кандидатов. (Здесь следует оговориться, что все сказанное вовсе не исключает ответственности депутата, как и каждого гражданина, за свою деятельность. Депутаты и другие политические деятели несут правовую и политическую ответственность за свои поступки.)

На этапе выявления всех существующих мнений во время выборов в представительные органы перестает быть необходимой система партийного выдвижения кандидатур, система партийных списков и т. д. (хотя партии, как и другие общественные организации и отдельные лица, будут иметь право на выдвижение своих кандидатов)

Механизм выявления мнений должен основываться на системе классификации. При обсуждении вопроса все выраженные мнения классифицируются по равноценным блокам мнений с условием, что каждое выраженное мнение будет учтено и войдет в определенный блок. При выдвижении кандидатов классификацию желательно проводить в первую очередь на основании программ. Сторонники каждого кандидата поддерживают его не по причине партийной принадлежности или цеховой солидарности, а ввиду согласованности его программы с интересами его сторонников.

Методом принятия решения является консенсуальное голосование, которое предполагает наличие нескольких кандидатов или предложений и осуществляется путем проставления предпочтений от первой до последней с учетом всех кандидатов или предложений.

Теперь обратимся к принципам организации консенсуса в демократическом обществе. Дабы не быть голословными, рассмотрим в качестве примера возможное решение вопроса о собственности на землю методом консенсуса. Допустим, в ходе обсуждения было заявлено десять предложений:

- 1) земля передается в собственность республике;
- 2) земля передается в собственность местных Советов;
- 3) земля передается в собственность колхозов;
- 4) земля принадлежит государству и может быть приобретена в собственность советскими гражданами или организациями;
- 5) земля может быть приобретена в собственность только советскими гражданами;
- 6) земля может быть взята советскими гражданами или организациями в аренду у государства;
- 7) земля может быть приобретена в собственность советскими гражданами или организациями или арендована ими у государства, но в ограниченном размере;

8) земля может быть приобретена в собственность только советскими организациями;

9) земля может быть арендована у государства советскими или зарубежными организациями;

10) земля может быть приобретена в собственность или арендована советскими или зарубежными гражданами или организациями.

По такому сложному и важному вопросу, как вопрос о земле, некоторые из существующих предложений окажутся совершенно неконсенсуальными. Но возможно, что высокий уровень консенсуса получит не одно, а несколько предложений. Поэтому при анализе результатов следует взять за основу само консенсуальное предложение. Те предложения, которые получили высокий уровень консенсуса и не противоречат основному предложению, могут быть включены в окончательное решение. Например, мы получаем следующие результаты:

Предложения	Уровень консенсуса
1	50 процентов
2	60 »
3	35 »
4	65 »
5	55 »
6	70 »
7	70 »
8	55 »
9	60 »
10	30 »

В этом случае два предложения имеют уровень консенсуса в 70 процентов. Поскольку они дополняют друг друга, то решением вопроса должно стать объединенное предложение, то есть:

«Земля может быть взята советскими гражданами или организациями в аренду у государства, а также приобретена ими в собственность, но в ограниченном размере».

Таков механизм консенсуса. Если предложения недостаточно консенсуальны, значит, они не отражают интересов всего общества и не должны проводиться в жизнь. Хотя в будущем возможно изменение общественного мнения, которое через консенсусный механизм получит свое отражение в государственной политике.

Уровень консенсуса — это степень согласованности предложения. Консенсусное мнение есть среднее мнение. Подобно тому как существует средний возраст и средний рост, существует и центр общественного мнения. При вычислении среднего роста учитываются и самые высокие и самые низкие — рост каждого принят во внимание. Средний рост вычисляется в сантиметрах, средний возраст в годах. Однако единицы общественного мнения не существует. Поэтому центр общественного мнения может быть выявлен только путем согласования. Уровень консенсуса показывает, насколько данное предложение согласовано, то есть приближено к общему мнению. Центр общественного мнения характеризуется тем, что против него никто не выступает. Это точка общего согласия. Далее интересы граждан расходятся в разные стороны. Но на этой точке мнения всех сходятся. Если методом принятия решений в обществе будет метод согласования, то уровень консенсуса будет иметь тенденцию к повышению.

При принятии самого консенсуального решения полярные точки зрения объективно перестают существовать. Сфера согласования сужается и смещается к центру. Более того, при отсутствии жестокой борьбы мнений с использованием различных силовых приемов для навязывания победившей точки зрения сам центр общественного мнения будет двигаться в сторону прогресса.

Механизм консенсуса — это не только новая система голосования, но и новый подход к решению общественных проблем. Консенсус — это универсальный демократический принцип, объективно обусловленный потребностями современного общественного сознания в свободном развитии всех форм политической активности и их гармоническом взаимодействии при решении внутригосударственных и международных проблем.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

НАТАЛИЯ ВОВСИ-МИХОЭЛС

*

МОЙ ОТЕЦ — СОЛОМОН МИХОЭЛС

Воспоминания о жизни и гибели

Дорогие читатели!

Перед вами главы из моих воспоминаний, отобранные специально для «Нового мира».

Основная задача, которую я перед собой ставила, — передать ушедшее глазами и памятью того времени, ибо сегодняшнее видение, как мне кажется, нередко искажает истинный смысл событий.

Возможно, из-за сокращений, продиктованных дефицитом журнальной площади, кое-что останется не совсем ясным моим молодым современникам, но, надеюсь, в ближайшие годы советский читатель сможет прочесть книгу «Мой отец — Соломон Михоэлс», изданную в полном варианте.

Для меня важно, что первая публикация глав из книги состоится именно в этом журнале, традиционно чтимом повсюду.

Иерусалим — Москва, 1989.

Н. МИХОЭЛС.

Начало

В голодном и заснеженном Петрограде восемнадцатого года молодой режиссер — ученик Макса Рейнхардта — Алексей Грановский задумал создать еврейскую театральную студию.

Идея была новая и весьма оригинальная — никогда прежде еврейский театр не имел школы.

На призыв откликнулись и любители и профессиональные актеры. Однако профессиональных актеров Грановский решил не брать. Несмотря на то, что среди них несомненно попадались самобытные таланты, украшавшие яркими звездами небо-склоны еврейских местечек, однако убогий репертуар, полное отсутствие культуры и заштампованное амплуа помешали бы Грановскому создать тот новый театр, о котором он мечтал.

Надо сказать, что А. Грановский, человек европейской культуры и воспитания, о еврейской культуре и литературе имел довольно смутное представление. Поэтому я затрудняюсь сказать, что именно послужило толчком к идее создания еврейской студии. Но абстрактная поначалу идея постепенно стала обретать конкретные формы.

К этому времени Шлема Вовси, выпускник юридического факультета, готовился к дипломной работе и подрабатывал преподаванием математики на Высших женских курсах.

Проходя как-то дождливым осенним днем по Невскому, он вдруг услышал, что кто-то его окликнул. Это оказался знакомый по одному из драматических кружков, каких было много в те годы. Они поболтали немножко, и, между прочим, приятель рассказал о наборе в еврейскую театральную студию. После этой встречи папа провел бессонную ночь, терзаясь сомнениями. Может ли он позволить себе снова сесть за школьную скамью — ведь ему уже двадцать восемь лет, у него семья, еще немного, и он закончит университет и приобретет профессию, которой не постыдился бы и отец-лесопромышленник...

А наутро он пошел по указанному адресу и в тот же день стал учеником Первой еврейской театральной студии.

В отличие от руководителя студии А. Грановского Шлема Вовси был весь насквозь пропитан духом и культурой своего народа, и он стал знакомить Грановского с ее традициями, литературой и драматургией.

Экспериментальный период, с которого начинала свою работу студия, закончился в двадцатом году. В то же самое время в Москве также возникла театральная студия, которой не хватало сильного руководителя. Когда до Москвы стали доходить слухи об интересных экспериментах режиссера Грановского, в Петроград направился Абрам Маркович Эфрос, один из руководителей московской студии, человек необыкновенной эрудиции, крупнейший литературовед, переводчик и искусствовед. Вот как он вспоминает о своей первой встрече с Грановским и папой.

— Почему же это еврейский театр? — спросил я Грановского.

— Но ведь мы играем на еврейском языке! — ответил мне он. — А в Москве думают, этого мало?

— Да, — ответил я, — мы представляем себе все иначе...

— Вот как! — воскликнул Грановский и, поколебавшись, добавил: — Мне хочется познать вас с моим премьером... Он — настоящий, правда, со мной он играет в «послушание», но иногда отваживается противоречить мне и тогда кротким голосом говорит такие вещи, которые меня бесят. Теперь я вижу, что они в чем-то переключаются с московскими... Позовите Вовси! — крикнул он в дверь и, обратившись ко мне, добавил: — Это его фамилия. Для сцены он выбрал себе псевдоним Михоэлс, по имени отца.

В комнату вошел не первой молодости человек, видимо, около тридцати лет — низкорослый, худощавый, на редкость некрасивый, с отвисающей губой и приплюснутым, хотя и с горбинкой, носом, с редкими уже волосами на высоком лбу и торчащими на висках вихрами, с живым, но точно бы искусственно погашенным взглядом. На его повадках лежала печать нарочитой сдержанности.

— Вы меня звали, Алексей Михайлович?.. — сказал он в самом деле кротким голосом.

— Вот хочу тебя представить московскому гостю... Поговори с ним, изложи свою точку зрения на еврейский театр.

— У меня нет своей точки зрения, — негромко и чуть-чуть упрямо ответил Михоэлс. — У нас есть в аша точка зрения.

Грановский засмеялся:

— Смотри, Соломон, вот мы решим что-нибудь, и придется тебе выполнять.

У Михоэлса вдруг дрогнули усмешкой уголки губ, и с невыразимым очарованием юмора и теплоты он произнес стереотипное:

— Что ж. Вы — наши отцы, мы — ваши дети.

«Экое обаяние в этом уроде, — внезапно подумал я. — Пожалуй, он и в самом деле интересен на сцене. Он и в «послушание» играет, как роль ведет... Во всяком случае, незаурядно!»

Переговоры увенчались успехом. Было решено, что Грановский перейдет в Москву вместе с ядром своей группы, с тем чтобы и лучшая часть московской группы вошла в театр под его руководством.

С переездом в Москву начался новый период в жизни Михоэлса.

У меня сохранилось несколько документов того времени. Из них следует, что, едва начав работу, он уже взял на себя ответственность за существование театра. Вот командировочное удостоверение, напечатанное на грубой, пожелтевшей не от времени, а от качества бумаге, где сказано, что для подготовки переезда театра из Петрограда в Москву в Петроград направляется член управления театра заведующий сценической частью Соломон Михайлович Вовси. <...>

В Москве студия объединилась с недавно возникшей московской еврейской группой, и там отец впервые встретился со своим будущим неизменным партнером Вениамином Зускиным. С этого момента возник Московский государственный еврейский театр, просуществовавший до сорок девятого года.

Как-то я нашла папино выступление, относящееся к двадцать шестому году, в котором он рассказывает о бродячих еврейских труппах.

«Прошлое еврейского актера, — пишет он, — столь же мрачно, как и прошлое его зрителя. Строгий и жестокий быт долгое время препятствовал их встрече, актера и зрителя. Но вот, наконец, лет пятьдесят назад эта встреча состоялась. Их духовный мир был одинаково низок. Сценический материал — убог... Актер, только-только отделившийся от зрителя, мало чем отличался от него и техникой и умением лицедей-

ствовать. Правда, появился у актера платежеспособный зритель — то была сытый лавочник, обыватель, мещанин... Мещанин у всех народов один и тот же. Он сделался его хозяином, его этическим законодателем. Он искал в своем театре успокоения и самоутверждения. И актер пел ему...»

Отец был убежден, что новому еврейскому театру уготована другая судьба, и он не ошибся — ни такого ослепительного взлета, ни такого трагического финала не знала ни одна еврейская сцена.

В январе двадцатого года состоялось официальное открытие Московского государственного еврейского Камерного театра. Он расположился в небольшом трехэтажном особнячке в Чернышевском переулке (позже улица Станкевича), принадлежавшем до революции какому-то купцу.

На втором этаже помещались сцена и зрительный зал, а первый и третий этажи были предоставлены для общежития актеров. Стены и потолок крохотного зрительного зала были расписаны Марком Шагалом — одним из самых одаренных молодых художников того времени.

Ставили «Три еврейские изюминки», как назвал Грановский три одноактные пьесы Шолом-Алейхема. Какая жалость, что нет записи прелестной миниатюры «Мазлов»! До чего же трогательный, наивный и мудрый был Реб Алтер Михозэлс в длинном капоте и нелепом картузике, разрисованном какими-то букашками по прихоти Шагала, оформлявшего спектакль.

А. Эфрос вспоминает, что «...в день премьеры перед самым выходом Михозэлса на сцену Шагал вцепился ему в плечо и иступленно тыкал в него кистью, как в манекен, ставил на костюме какие-то точки и выписывал на картузе никакими биноклями не различимых птичек и свинок, несмотря на кроткие уговоры Михозэлса и повторные, тревожные звонки со сцены...»

Когда я была у Марка Захаровича Шагала в Ницце, он рассказывал мне об этой их совместной работе. Во время одной из репетиций Шагал сам разрисовывал лицо Реб Алтера, долго что-то придумывал, а потом вдруг заявил: «Михозэлс, мне мешает ваш правый глаз!» Сначала папа растерялся, но прошло некоторое время, и однажды, приехав навестить заболевшего Шагала в Малаховку под Москвой, совершенно неожиданно, по словам Шагала, Михозэлс прямо с порога воскликнул: «Понял!», и глаз был уменьшен в соответствии с замыслом художника.

Уж не знаю, что имел в виду Шагал и что понял папа, но, действительно, между ними сразу установилось какое-то буквально телепатическое взаимопонимание.

Так начинал Шагал свое творческое содружество с Михозэлсом. Вместе с ним в театре работали такие художники, как Натан Альтман, Роберт Фальк, Исаак Рабинович и, наконец, приглашенный Михозэлсом для оформления Лира и оставшийся при театре до конца его дней Александр Тышлер.

В двадцать первом году театр переехал на Малую Бронную, куда были перевезены все панно Шагала, и просуществовал там до конца, то есть до весны сорок девятого года. Но актеры еще многие годы жили в общежитии на Станкевича. В первые годы своего существования театр жил действительно «одной семьей», как писал Михозэлс. Актеры были молоды, семьями никто еще не обзавелся, и каждый занимал по одной комнате. Комнат этих в длинном коридоре было двенадцать. Коридор переходил в нескладную переднюю, ведущую в большую грязную кухню. За кухней помещался коридорчик, по одной стороне которого — три, похожие на каюты, узкие комнатухи. Эта-то квартирка за кухней, предназначавшаяся, по всей вероятности, для прислуги бывшего владельца дома, и была отдана моим родителям.

На кухне, уставленной двенадцатью фанерными шкафчиками, каких теперь уж давно нет, с утра до глубокой ночи жужжали примусы, распространявшие острый, разъедающий глаза запах керосина. Из-за копоти и жира дневной свет почти не проникал в два маленьких окошка, и почти круглые сутки высоко под потолком тускло мерцала электрическая лампочка. Дверь там почему-то отсутствовала, и кухонный чад и гул постоянно наполняли нашу квартиру, там мы прожили до тридцать пятого года.

Коллектив, о котором в дальнейшем писали как об одном из самых талантливых и ярких театральных коллективов Москвы, состоял в своем большинстве из людей, приехавших из украинских и польских еврейских местечек. За небольшим исключением это были малообразованные, темные люди, которых объединяла любовь к театру и преданность его руководителю А. Грановскому.

Зускин — партнер, друг, близнец

Самым одаренным и ярким в московской группе был совсем еще молодой Вениамин Зускин, который пришел в студию из Горного института. Они прошли с отцом всю их театральную жизнь, а наша домашняя жизнь тесно переплеталась с жизнью Зускина и его семьи. <...>

В своих воспоминаниях «Наш Михоэлс» Зускин, или Зуса, как все его звали, пишет: «...И вот начинается спектакль для самих себя. Я играю своих дедушку и бабушку, рассказываю о всевозможных событиях их жизни. Михоэлс подхватывает. Теперь он — дед, а я — бабушка. Мы импровизируем и не можем остановиться. Затем Михоэлс мастерски перевоплощается в своего дядю Шимона.

Эта импровизированная игра незабываема. Эта игра блистала находками и детской непосредственностью и была для С. Михоэлса, а для меня тем более, сплошным удовольствием и даже необходимостью. Из таких шуток получались интересные вещи. Например, репетируа «Путешествие Вениамина III», сцену, в которой Вениамин и Сендерл, усталые и голодные, ложатся спать на твердых скамьях и охают при этом, мы вспоминали, как мы однажды вместе изображали моих деда и бабушку, как они ложились спать на скрипучих кроватях...»

Я так и вижу, как они беседуют в ночной тишине на зускинской кухне и, как самые настоящие дети, забывают, что уже поздно, что завтра рано вставать, что оба провели длинный, тяжелый день... Как мне жаль, что я почти никогда не присутствовала на этих импровизированных ночных представлениях! Правда, в дальнейшем мне посчастливилось неоднократно наблюдать их «игры». <...>

Зускин покорял каждого своим обаянием. Костюм на нем выглядел всегда элегантно (чем он весьма отличался от Михоэлса, на котором вещи сразу теряли свою новизну, брюки пузырились на коленях, а пиджак выглядел как с чужого плеча). Он был намного выше отца и на девять лет его моложе. Но независимо от разницы в возрасте их отношения складывались как отношения старшего к младшему, учителя — к ученику. Это сказывалось даже в обращении: Зускин папе — «Соломон Михайлович» и «вы», а папа ему — «Зуса» и «ты».

Они были разными по темпераменту, юмору, отношению к людям и подходу к роли. Михоэлс исходил из философской концепции образа, изнутри анализируя причины поступков своего будущего героя. Зускин же отталкивался прежде всего от внешних деталей, именно они подсказывали ему характер и поведение персонажей, которых предстояло сыграть. Но эти различия в подходе не только не мешали их совместной работе, а скорее помогали и дополняли друг друга.

Отец сказал как-то, что «каждый человек, как цветок для пчелы, заключает в себе капельку особого меда для зускинского улья».

Зускин отбирал в человеке трогательное и смешное. Глаза его жадно впивались в собеседника, и, как только он подмечал смешную, комичную черточку, в них вспыхивали насмешливые огоньки.

В двадцать втором году состоялась премьера «Колдуньи» по Гольдфадену. По традиции гольдфаденовского театра роль Бобе-Яхне было поручена мужчине. Зускин играл Колдунью. Его Бобе-Яхне была старой страшной каргой, высохшей от жадности и злости. Чем бесноватее она становилась, тем сильнее причмокивала, притоптывала, пришептывала.

В еврейском местечке Поневеже, где он вырос, как видно, попадались такие старухи, и Зускин сумел вложить в эту первую роль весь свой талант, наблюдательность и обаяние. Он наделил Колдунью жутким крючковатым носом, густыми, нависшими седыми бровями. А рот тонкой щелью прорезал от уха до уха. Зуса сам мне рассказывал, что однажды меня, совсем еще маленькую, привели к нему за кулисы поздороваться, а я разревелась и потребовала, чтобы меня немедленно увели домой.

Эта роль, сыгранная Зускиным в возрасте двадцати трех лет, сразу принесла ему широкую известность и любовь зрителя. Однако большому успеху Зускина в «Колдунье» предшествовал тяжелый и мучительный труд. Вот что он сам пишет об этом периоде в тех же воспоминаниях: «Вспоминаю зиму двадцать второго года. Я уже полгода на сцене! На сердце у меня нелегко. В еврейскую театральную школу в Москве я приехал учиться с далекого Урала. В студии я учился всего несколько месяцев, меня сразу же приняли в театр и дали роль в спектакле Шолом-Алейхема. Я все думал о том, что от меня требовал режиссер, день и ночь репетировал. Режиссер велел

мне кричать — я кричал до хрипоты. Требовал разных движений — я с утра до ночи занимался физическими упражнениями. Но внутренне я оставался холоден, я ничего не понимал, я не понимал, как актер подходит к роли. Я решил, что актер из меня не получится и я должен уйти из театра. С такими мрачными мыслями я носился долгое время. Однажды после спектакля забрался в уголок фойе. Долго я так сидел, углубившись в свои мысли. Вдруг кто-то положил руку мне на голову. Я поднял глаза — передо мной стоял Михозэл.

«Давно я слежу за тобой,— обратился он ко мне.— Скажи, что с тобой происходит? Расскажи, что тебя волнует?..» Я излил перед ним всю горечь, накопившуюся на душе.

Михозэл очень внимательно меня выслушал, взял за руки, посадил возле себя, и мы долго беседовали. За эту ночь я прошел университет актерского мастерства. На конкретных примерах моей работы Соломон Михайлович показал мне мои ошибки, объяснил, как их избежать, разъяснил общие принципы актерского мастерства, обещал взять надо мной опеку. С этого момента началась моя актерская жизнь». <«...»>

Когда он появлялся на сцене, зрителей сразу же очаровывали зускинский ладность, четкость его пластики, простота и выразительность, мелодика речи, которые отличали его работу. Никто не мог догадаться, сколько мучительного труда вложено в эту роль.

Увидеть смешное и довести смешное до гротеска — в этом заключалась природа его, зускинского, юмора.

У папы же юмор являлся скорее мировоззрением, жизненной позицией. Смешное он видел в несообразности ситуации. А юмор, по его мнению, это уже оценка ситуации, вернее, этой несообразности. В жизни он улавливал комичное в самой драматической ситуации. Обращая юмор в первую очередь на себя, он мог одним словом или даже интонацией разрядить самую напряженную обстановку.

Почти в каждом образе, за исключением, пожалуй, Лира, трагическую ситуацию он решал комическими средствами, снимая, таким образом, излишний драматизм и сентиментальность. По его собственному признанию, жанр трагикомедии был ему ближе всего. <«...»>

Несмотря на разный подход к роли, разное понимание юмора, Зускин и Михозэл были непревзойденными, неповторимыми партнерами.

Им обоим чрезвычайно посчастливилось. Зускин встретил партнера, для которого чувство второго человека было врожденным, а Михозэл нашел в Зускине продолжение своего брата-близнеца, которого надо защищать, ограждать от грубого вмешательства жизни. И смерть их, как и жизнь, была подтверждением их судьбы «близнецов». <«...»>

Путешествие Вениамина III

В двадцать седьмом году Фальк приступил к оформлению спектакля «Путешествие Вениамина III» по Менделе Мойхер-Сфориму.

История Вениамина такова: в еврейском местечке живут два бедняка — Вениамин и Сендерл. Мечтатели и чудаки. Вениамин рвется совершить паломничество в страну счастья и справедливости, о которой он где-то слышал. Но, когда он пытается рассказать о своей мечте, люди над ним только смеются. Один лишь Сендерл слушает его, верит ему и готов его сопровождать. Однажды ночью тайком от жен они покидают опустылевшую Тунеядовку, отправляются искать заветную страну. Они плутают по незнакомым дорогам, их обворовывают, и, оставшись без гроша, Вениамин и Сендерл засыпают, вконец измученные, на голых лавках жалкой харчевни. Во сне они видят, будто попали в благословенную страну, просыпаются... и обнаруживают, что не покидали свою Тунеядовку.

Я помню два ветхих домика, расположенных по обеим сторонам сцены, крыши которых разрисованы клопами и тараканами, скамеечки под каждым окошком, а вдали на горизонте поднимается огромная желтая луна.

Заснув на скамейках, путешественники видят сон, что они уже попали в обетованную страну. Теперь над домиками вместо березок высятся пальмы, а толпа бедняков, встреченных по дороге, превратилась в полководцев и воинов, одетых в фантастические костюмы.

По поводу грима у папы с художником Фальком было много споров. На эскизе Фалька Вениамин был рыжий. «А я думаю, что у него седая борода и волос под ермолкой вообще не видно»,— упорствовал Михозэл и потихоньку от Фалька приклеил себе седую бородку. «Да, должен признаться, вы правы, Соломон Михайлович»,— со

своей кроткой улыбкой ответил Фальк. Костюм Михоэлс просил сделать так, чтобы «было тесно в плечах, будто хочется полететь, а крылья обрезаны».

Эти «подрезанные крылья» ощущались во всем его облике — в полусогнутых, почти прижатых к бедрам руках, которые беспомощно вскидывались, когда он говорил, в осторожной, неуверенной поступи, в испуганно-любопытном взгляде, устремленном в «очарованную даль».

Сендерл — Зускин был как бы логическим продолжением образа Вениамина — Михоэлса. Только графически образ его был решен иначе: Вениамин — активное начало, носитель идеи, устремленной ввысь. Вертикаль. Сендерл — преданный, покорный, подчиняющийся, пассивный. Весь вниз, виширь, горизонтальная линия. Они действительно сумели добиться этого эффекта — высокий в жизни Зускин смотрелся низкорослым широким Сендерлом рядом с вытянутым вверх Вениамином.

Идея идентичности этих двух образов, подрезанных крыльев, как символа неосуществимости поэтической мечты, целиком принадлежала Михоэлсу. Не случайно он так часто в своих беседах с актерами возвращался к вопросу «авторства» актера. Подхода к роли, он прежде всего искал ее образное воплощение, адекватное выраженному словами замыслу автора.

«Изможденный, худой, почти прозрачный, с продолговатым лицом подвижника — мечтателя и фантаста, беспокойный и задумчивый, смешной и трогательный, трагичный и нелепый, затхлый человек средневекового гетто и свободный гражданин Вселенной, Вениамин Михоэлса представляет собой вершину театрального истолкования еврейской классики», — писал известный театральный критик того времени Павел Новицкий.

Когда я слушаю старенькую, заезженную пластинку «Дуэт Вениамина и Сендерла», передо мной, как на кинолентке, разворачиваются сценки из спектакля. Вот они появляются вдвоем, приставив ладонь козырьком ко лбу, как бы глядяваясь в незнакомую, влекущую даль, — один в черном драненьком, узковатом в плечах капоте, в ермолке, с задранной вверх реденькой, перевязанной веревочкой — «чтоб не трепалась в пути» — бородкой. Другой — в сером, мешковатом, по-бабьи подвязанном балахоне, на кривых ногах, доверчиво идущий за другом. Это был один образ в двух его аспектах — Вениамин воплощал дух, а Сендерл-баба — плоть наивного мечтателя. Приключения их жизни были глупы и ничтожны, а приключения Души — возвышенны и трагичны.

Я пытаюсь пересказать роль. Но можно ли пересказать картину, музыку, стихотворение? Ведь произведения живописи, музыка, поэзия остаются в веках, а актерский труд умирает вместе с актером, как бы велик он ни был.

По свидетельствам театральных критиков тех лет, «наутро, после премьеры «Вениамина», Михоэлс проснулся знаменитым». Он стал настоящим любимцем публики. Евреи и не евреи потянулись в ГОСЕТ. Спектакль приходили смотреть по многу раз. С этого момента Михоэлс в значительной мере определил интерес к театру и его успех. Однако во внутренней субординации это еще ничего не меняло. Грановский продолжал все так же властно вести театр, а Михоэлс все так же послушничал. Но установилось некое неписаное, но твердое распределение ролей: театром руководил Грановский, актерами — Михоэлс.

Этот спектакль был триумфом Михоэлса и Зускина. Неповторимый дуэт, продолжавшийся до их трагического конца, нашел в «Вениамине» свое наивысшее воплощение. <...>

«Лир»

Тридцать четвертый год проходил под знаком подготовки к «Лиру».

Как художественный руководитель театра, Михоэлс не имел времени посвящать себя работе над одним только спектаклем. «Лир» требовал огромной подготовительной работы, «строительных лесов», по его выражению, занявшей в общей сложности больше двух лет. За это время были сделаны две постановки — «Мера строгости» Д. Бергельсона и «Миллионер, дантист и бедняк» — водевиль французского драматурга Лябиша, который ставил Леон Муссиак, режиссер из Франции.

Прочтя пьесу, отец с наслаждением, буквально купаясь в находках, проиграл нам дома всю роль Бедняка, но роль эта понравилась Зускину, и Михоэлс, как старший, уступил. В спектакле он играл Дантиста.

Жан Ришар Блок, побывавший на спектакле, написал: «...Замечательный артист Михоэлс создает из Дантиста Гредана образ, не раз соприкасающийся в своей выразительности с лучшими образами Чаплина».

А я как сейчас вижу эпизод, где влюбленный Бедняк — Зускин хочет броситься в Сену от несчастной любви, и во всей грациозной нелепости его фигуры, в его пластике и обаянии было действительно что-то от Чапаина.

От периода подготовки к «Лиру» мне запомнились бесконечные переговоры с режиссерами, художниками, репетиции, репетиции и репетиции. Я уже писала, что до определенного времени ни у нас, ни у папы жизни вне театра не было. Мы жили каждой его удачей и неудачей, каждой находкой в роли и мизансцене.

Репетиции «Лиры» двигались медленно и трудно. Путь Михозэса — человека и актера — к «Королю Лиру» Шекспира был драматичен, долг и неслучаен. Он пришел к Шекспиру через трагический опыт собственной жизни, жизни своего народа, страны, в которой он жил, родился и работал.

Его исполнение роли короля Лиры называли мудрым. Таким оно и было.

«Мне казалось, что путь Лиры в трагедии идет не от старости к смерти, а от старой, изношенной, статичной идеологии к обновленной, бурной и гораздо более молодой», — писал отец в своей большой статье «Моя работа над „Королем Лиром“». Статья эта дает некоторое представление о том гигантском труде, который проделал Михозэс в этой постановке. Я считаю необходимым привести несколько отрывков из этой статьи.

«...Исходная точка моей концепции трагедии заключалась в том, что король созвал дочерей, явился к ним с уже заранее обдуманым намерением. Легкость, с которой он отказывается от своей великой власти, привела меня к выводу, что для Лиры многие общепринятые ценности обесценились, что он обрел какое-то новое философское понимание жизни. Уже самый факт, что он решил платить за лесть, доказывает, что слова любви он ни во что не ставит.

Трагедия для меня начинается не там, где Лира выгоняет Гонерилию. Трагедия начинается там, где Лир выгоняет Корделию, то есть в первом акте...»

Я смотрела спектакль больше ста раз. Знала его наизусть. Но самое первое впечатление от выхода короля осталось на всю жизнь как одно из сильнейших потрясений.

Под звуки церемониального марша торжественно шествуют придворные. Внезапно музыка обрывается. В полной тишине откуда-то сбоку незаметно появляется старый Король. Сгорбившись, запахнувшись по-домашнему в мантию, как в простой плащ, Лир направляется к трону с опущенной головой, ни на кого не глядя.

На троне уже восседает Шут. Лир ласково-небрежно стаскивает его за ухо, поднимает наконец глаза и обводит взглядом склоненные головы придворных. Впервые можно увидеть его лицо. Без грима. Без традиционной бороды. Лицо владыки и скептика.

Легким движением пальцев пересчитывает Король собравшихся. Он не видит Корделию, которая спряталась за спинкой трона, но вот она появляется, и раздается его дробный старческий смешок. Этот смешок был одним из лейтмотивов Лиры. Он повторяется неоднократно на протяжении спектакля.

«Я, правда, сперва смутился: можно ли начать огромную трагедию выдающегося произведения Шекспира с мелкого, ничего не обозначающего дряблого смеха. Но я решил, что в конечном счете этот вопрос имеет чисто формальное внешнее значение. Мне кажется, что важно вначале ни в коем случае не дать зрителю почувствовать, что с Лиром произойдет трагедия. Надо зрителю показать совершенно безоблачное небо, чтобы тем острее он увидел потом грозовые тучи на этом небе.

Этот дряблый смех Лиры также затем превратится в трагедии в лейтмотив. <...>

В самый напряженный момент внутренней жизни Лиры, в час его тяжелых невзгод, вдруг раздается этот легкий смех. Отчего? Оттого, что теперь, когда все былые убеждения развеяны, все былые ценности разрушены, Лир вспоминает о единственной бесспорной ценности, добытой им за всю прожитую жизнь, — о Корделии.

В заключительной сцене Лир последний вздох свой кончает этим смешком. Но смех здесь уже не беззаботный, как в первом акте. Теперь даже трудно решить — смех это или рыдание».

Незадолго до премьеры актеры вернулись с репетиции какие-то непривычно притихшие. Вид они имели весьма потрясенный. На кухне не гремели сковородки, не несло супом, не переругивались актерские жены. Было тихо, как в церкви.

Хотя я не пропустила почти ни одного спектакля «Лиры», я по сей день жалею, что не присутствовала на той репетиции. В тот день папа впервые сыграл сцену смерти Лиры.

Когда он вернулся домой, по его радостному и лукавому выражению лица — «показал я им сегодня, где раки зимуют!» — я поняла, что он доволен репетицией.

Спустя несколько дней, перед началом генеральной репетиции в театре, ощущался тот не передаваемый словами радостный подъем, то общее возбуждение, которое и есть, по-видимому, предчувствие большого события. Только папа хмурился и ворчал: «Рано радоваться... нечего делить шкуру неубитого медведя...» — и прочие заклятия. Ибо это и в самом деле были заклятия — папа был до ужаса суеверен и боялся «сглаза». На самом деле он, как и все — от рабочих сцены до постановщика спектакля С. Радлова, — знал, что «Лир получился».

В последней сцене, которая всегда одинаково потрясала, Лир появляется с мертвой Корделией на руках и, обходя стоящих в безмолвии воинов, трижды тихо произносит: «Горе, горе, горе», затем бережно опускает на землю тело мертвой дочери со словами: «Собака, лошадь, мышь — они живут, а ты, ты не живешь, не дышишь! Дитя мое!» На мгновение отвернувшись от нее, он издает тихий протяжный стон. Потом, как бы вспоминая пройденную жизнь, отрывисто напевает песенку, которую пел обычно, возвращаясь с охоты, — два-три такта, — и песенка переходит в смех, похожий на мучительный стон. Он ложится на землю рядом с Корделией, прикладывает палец к ее губам, едва слышно повторяет: «Уста... уста... видите?» — и умирает. По концепции Михоэлса последние слова Лира означают, что из этих уст он впервые услышал правду.

Сцена ошеломляла. Пока медленно опускался занавес, в зале стояла мертвая тишина, и, лишь когда актеры выходили на поклон, зал разражался оглушительными аплодисментами. И так проходили все спектакли, начиная от генеральной репетиции и кончая последним спектаклем «Короля Лира» 18 января 1944 года.

Зато, как я ни пытаюсь вспомнить премьеру и вообще какие-нибудь подробности, связанные с этим днем, в памяти полный провал. Напряжение и волнение были столь велики, что день, как бы, целиком выпал из моей памяти.

1935 год был годом Шекспира. Многие московские театры подготовили такие незабываемые спектакли, как «Отелло» в Малом театре с Остужевым в главной роли или «Ромео и Джульетта» в Театре Революции с ученицей Мейерхольда М. Бабановой в роли Джульетты. Но, по общему признанию, Лир в исполнении Михоэлса представлял собой явление, равного которому не было.

О постановке «Лира» в ГОСЕТе и об игре Михоэлса написано бесчисленное количество статей и исследований. Однако нигде не упоминается такое своеобразное явление, как зрители-«болевельщики», смотревшие спектакль столько раз, сколько он шел в Москве. Посмотрев его однажды, они уже не могли усидеть дома, зная, что вечером на Малой Бронной Михоэлс играет Лира.

Одной из таких «болевельщиц» была Лидия Туммерман. Она и ее муж — крупный ученый Лев Абрамович Туммерман — были арестованы в декабре сорок седьмого года за «участие в сионистской организации» и за содействие «главному агенту Джойнта Михоэлсу». Произошло это еще при жизни отца, который и не подозревал (а может, подозревал?), что на него заводится дело, по которому будут сидеть десятки сотен людей, а его самого бандитски убьют темной ночью на улице чужого города...

Не пропустила ни одного спектакля и Вера Тарасова. Она сделала тогда множество зарисовок, которые помогают сейчас восстановить отдельные мизансцены спектакля. На одном из своих офортов художница сделала трогательную надпись: «Дорогой Соломон Михайлович! Большое спасибо Вам за ту радость, почти счастье, которое я испытываю каждый раз, когда смотрю у Вас Лира. 1.2.36».

Лева Шнапер, или «лейб-хирург», как звал его папа, в самом деле хирург в одном из отделений Боткинской больницы, раз и навсегда объявил, что он — постоянный дежурный на спектаклях ГОСЕТа, но «если не идет Лир, то я дежурю в больнице». «Дежурных врачей», а тем более хирургов, в театре никогда не было, но Левушка Шнапер исправно приходил «дежурить» на каждый спектакль.

Раз его присутствие оказалось более чем необходимо. На одном из спектаклей в сцене, где Лир под победные звуки фанфар возвращается с охоты, слуга подает ему зайца, которому Лир отрезает ухо. Нож был настоящий, и вдруг я увидела, как папа промахнулся и вместо зайца полоснул со всей силы ножом по собственному пальцу. Кровь закапала на пол. До конца картины оставалось еще много времени, я сидела близко и, конечно, уже ничего, кроме этого окровавленного пальца, не ви-

дела, но когда Лир со своими придворными наконец удалился, за кулисами его уже ждал «лейб-медик», который немедленно наложил повязку королю.

Так и увековечен Михозлс — Лир с перевязанным пальцем в пятиминутном фильме, сделанном для заграницы по заказу Гордона Крэга.

На одном из первых спектаклей я обратила внимание на сидящего у самых дверей породистого седого господина. От прочей публики он явно отличался чем-то неуловимым, как пишет Бугаков про Воланда, «словом, иностранец». Господин этот оказался великий и прославленный Гордон Крэг — английский режиссер и шекспировед.

В первом же антракте я встретила его в гримерной отца. Крэг взволнованно говорил с папой, не без помощи переводчика, разумеется. Отец стоял явно смущенный и растроганный похвалами знаменитого англичанина. Назавтра во всех газетах появилась статья Крэга о «Лире».

«...Подлинной неожиданностью, без всякого преувеличения потрясением оказалась для меня «Король Лир»! Должен сказать, что эта пьеса является для меня самой близкой и любимой из всего шекспировского репертуара. Поэтому я шел в театр на спектакль с нескрываемым недоверием. Я даже попросил Михозлса, чтобы мне было оставлено такое место, с которого я мог бы подняться и уйти, когда мне заблагорассудится. Но вот я в партере. Я понял сокровенный смысл жеста руки актера Михозлса во второй сцене первого акта, и я понял также, что с такого спектакля уходить нельзя. Со времен моего учителя великого Ирвинга я не припомню актерского исполнения, которое потрясло бы меня так глубоко до основания, как Михозлс своим исполнением Лира. Я не умею и не люблю говорить комплименты даже там, где имею на это достаточно оснований.

Но какие бы похвалы ни были сказаны в адрес актера Михозлса, это не будет преувеличением. Теперь мне ясно, почему в Англии нет настоящего Шекспира в театре. Потому что там нет такого актера, как Михозлс».

Гордон Крэг в числе прочих иностранных гостей был приглашен на шекспировский фестиваль, проходивший в Москве в апреле 1935 года. После первого посещения «Лира» он тоже стал «болельщиком» и не пропустил ни одного спектакля, а по возвращении в Англию прислал Михозлсу приглашение исполнить на идиш роль Короля Лира в шекспировском театре «Глобус».

Однако приглашение отец так и не получил. Кто-то за него ответил, что Михозлс, к сожалению, болен и приехать не может. Мы же узнали обо всем этом из личного письма Крэга к папе, по чистому недосмотру дошедшему до адресата, в котором Крэг сожалеет о его «болезни» и их несостоявшейся совместной работе.

Вместо того чтобы отпустить Михозлса в Англию, было решено сделать маленький киномонтаж — отрывок изгнания Кента, проход пленного Короля с Корделией и сцена смерти.<...>

Тридцать седьмой год

Наступил тридцать седьмой год. Увлекательные беседы во время наших ночных посиделок стали прерываться тяжелыми паузами — прислушивались к каждому неожиданному шороху на лестнице. Толпа гостей заметно поредела, и, когда папа общал по телефону «мы идем», ни о каких двадцати четырех, и даже двенадцати, тарелках не могло быть и речи. В эти годы мы почти не ложились спать — отец не уходил к себе вниз, боясь, что за ним придут и нам не удастся попрощаться.

Мы сидели, ужинали и разговаривали, как обычно, но обострившийся слух наш был постоянно прикован к входной двери, и при каждом ее стуке мгновенно воцарялось молчание.

Каждый день приносил известия о все новых и новых арестах друзей и знакомых. Напряжение усиливалось, попытки поддержать непринужденную застольную беседу терпели фиаско, повисали в воздухе, оборвавшись на полуслове.

Как-то за довольно ранним ужином, протекавшим в тягостном молчании, папа потребовал бумагу и стал что-то деловито писать. Через пару минут он положил перед нами листок и попросил каждого расписаться. Бумага гласила:

«Сей ужин съеден в ночь на 24 октября 1937 года. Настоящим выносим сердечную благодарность Нине (моя сестра), которая своим кашлем оживляла шумную беседу за столом во время ужина».

Но иногда нервы сдавали, и при очередном стуке двери часа в три ночи папа звал меня в коридор и, весь как бы напряженившись, произносил: «Ну вот, кажется, идут...»

В один из таких вечеров он попросил меня не отречься от него, если его заберут. «Да что ты, папа», — с ужасом выдохнула я и уткнулась ему в плечо. Так мы и стояли у входной двери в ожидании стука или звонка. Но тогда его время еще не пришло.

Эта чудовищная папина просьба «не отречься» от него не была случайностью. И уж меньше всего он мог предположить, что я могу так поступить. Но отречение от близких становилось реальным фактом биографии многих незрелых умов. <...>

Я училась тогда в седьмом классе, и всех нас из пионеров переводили в комсомол. Перевод делался автоматически, с соблюдением единственной формальности — от каждого требовалось заявление с просьбой о приеме его в комсомол.

Как раз в эти дни мы решили всем классом собраться на квартире одного мальчика, родители которого были арестованы.

Назавтра меня вызвал к себе секретарь школьной комсомольской организации: — Вот ты, — сказал он мне, — в комсомол собираешься, а у тебя все друзья — дети репрессированных родителей. Ты сначала подбери себе друзей, а потом мне тебя и в комсомол примем. — И он протянул мне мое заявление.

— Я не выбираю себе друзей по этому признаку, — ответила я и, порвав заявление, вышла из кабинета.

И тут лишь я поняла, что наделала. Шутка ли сказать — порвать заявление в комсомол!

Надо немедленно бежать к папе! Меня охватила настоящая паника, колени дрожали, ноги были ватные, я с трудом тащилась на Малую Бронную. Страх был так велик, так всепоглощающ, что в первые минуты я чувствовала, что в голове все помутилось, мысли путаются и даже такой само собой разумеющийся вопрос — кто же донес на меня? — не пришел в голову. Узнала я это много лет спустя от своей соученицы.

Путь до Малой Бронной показался мне бесконечным. То я видела, как меня в наручниках тащат вниз по лестнице, то мне рисовался арест отца, которого обвиняют в нелояльном воспитании дочери, и я начинала трястись, что меня еще, чего доброго, оставят на свободе, а заберут как раз его.

Добравшись кое-как до театра, я первым делом осмотрелась, нет ли поблизости «черного ворона». Машины не было, а в окне кабинета я заметила пауку. Целого и невредимого!

Когда, задыхаясь, я влетела к нему в кабинет, то после совершения традиционного поцелуйного обряда — так уж у нас было заведено — он спросил, что со мной стряслось.

Я молча показала то ли на стенку, то ли на телефон — знакомый каждому советскому человеку условный знак, означающий, что кто-то может услышать.

Папа понимающе кивнул, и мы вышли из театра.

— Мы пойдем в кафе, там меня ждут Тышлер и Левидов. А по дороге ты мне все расскажешь.

Мы медленно шли по Горького в «Националь». Я в сотый раз рассказывала, папа просил повторить, «что он сказал», а «что ты сказала», «неужели взяла и порвала?», и, улыбаясь, удовлетворенно кивал головой.

Усевшись за столик с Тышлером и Левидовым и заказав кофе с коньяком, он обратился к своим друзьям со словами:

— Давайте выпьем за мою дочь. Она совершила сегодня акт гражданского мужества.

Все торжественно выпили. Я сияла от гордости.

Однако в чем состоял этот «акт», он никому, даже Асе (вторая папина жена), не рассказал. Время вынуждало к скрытности. Кто смел открыто высказывать свои взгляды? даже жене? даже детям?

В те годы мы отдавали дань времени тем, что не ложились спать в ожидании ареста. Спустя десять лет, в сорок седьмом году, отец не таясь (не потому что можно было, а потому что уже иначе не мог), открыто протестовал против Нининого вступления в комсомол. Один из аргументов меня потряс: «Ты еще поплачешься за это!» Что значит поплачешься? Однако и это пророчество отца сбылось.

В 1953 году после сообщения ТАСС об «убийцах в белых халатах» ее изгнали из комсомола за «активное сокрытие антигосударственной деятельности отца». Решение вынесли на высочайшем форуме — собрании городского комитета комсомола,

так как более низкие инстанции не хотели «с этим связываться». Мы были парии, «неприкасаемые».

У Надежды Мандельштам я прочла, что лето тридцать седьмого года они с Осипом Эмильевичем жили «на деньги, полученные от Катаева, Жени Петрова и Михозаса».

Этого я не знала, но в принципе, как ни старался отец скрыть от нас свое отношение к происходящему, его поведение говорило само за себя.

Зимой 1937 года сняли с должности директора ГОСЕТа Иду Лашевич.

Ида Владимировна была женой известного коммуниста, севшего по обвинению в меньшевизме, ревизионизме, троцкизме и прочих смертных грехах. Кругленькая, розовощекая, суматошная Ида Владимировна тоже была коммунисткой, что и способствовало ее назначению на место директора театра — не члены партии не могли занимать подобную должность.

Отец уже прекрасно понимал, что механизм срабатывает по неизменной схеме: «увольнение — исключение из партии — арест», поэтому в день, когда уволили Иду Лашевич, отец вернулся из театра сумрачный и молчаливый. Наспех поужинав, он сказал, что уходит и не знает, когда вернется.

Пришел он около четырех утра. На следующий день повторилось то же самое.

Так продолжалось больше недели: чернее тучи уходил он после спектакля и возвращался лишь под утро. Я ничего не спрашивала.

А спустя дней десять он тихо сообщил мне: «Взяли Иду Лашевич. После того как я ушел». И тут он рассказал мне, что сразу после ее увольнения он отправился к ней домой. Лашевичи жили в доме правительства на улице Серафимовича. Купив папиросы и водку, отец явился к ней со словами: «Я пришел к вам как мужчина к мужчине. Будем коротать ночи за приятной беседой, попивая и покуривая».

«Я боялся,— рассказывал отец,— что за ней придут, когда она будет совсем одна. Ведь это так страшно — уходить одному. Недаром говорят: на миру и смерть красна. Но мой расчет оказался неверным — я считал, что после четырех уже не приходят, а ее забрали в шесть утра. <...>

«Тевье-молочник»

Было решено сделать спектакль «Тевье-молочник» по Шолом-Алейхему в инсценировке Добрушина и Ойслендера.

Между постановками «Лира» и «Тевье», где папа сыграл последнюю свою роль, прошло три года. В «Тевье» отец был и постановщиком и актером. На протяжении всего репетиционного периода роль Тевье исполнял другой актер. Помню, как папа, вернувшись домой, с тоской говорил: «У меня на сцене сразу четыре невежды — два действующих лица и два исполнителя». Сам же он вступил в спектакль только перед премьерой.

Многие критики утверждают, что Тевье в его исполнении не уступает Лиру. Вспоминается фраза из статьи театрального критика Бачелиса: «...Кажется... кажется... Михозас в Тевье доходит до гениальности».

В отличие от предыдущих постановок Шолом-Алейхема «Тевье» был решен реалистически, но по традиции ГОСЕТа строился на музыкальных лейтмотивах, которые органически вплетались в драматическую ткань спектакля.

Основным лейтмотивом «Тевье» была песенка «Мир задает извечный вопрос».

Однако несмотря на требования тех лет — спектакль был поставлен в 1938 году,— ни постановкой, ни игрой отец не давал ответа на этот вопрос. В финальном эпизоде Тевье изгоняют из насиженного гнезда, и он, бережно захватив табуретку, уцелевшую от его дома, уходит под мелодию той же песни. Сцена заливается ярким светом. Несмотря на кажущуюся оптимистичность, сцена эта производила глубоко трагическое впечатление.

Тевье-молочник, как я уже говорила,— последняя роль, которую отцу удалось сыграть. Он мечтал показать «Ричарда Третьего» Шекспира — роль была почти готова. Он ставил пьесу Бергельсона «Давид Реубени», где должен был играть главную роль... Но судьба решила иначе...

Один из крупных театральных критиков того времени Павел Новицкий считал, что образ Тевье — самое значительное, что создал Михозас. «...И таким гордым, мужественным, пытливым, сохранившим в страдании внутреннюю свободу и человеческое достоинство, изображает Тевье Михозас! — пишет Новицкий.— В этом образе он

сознательно, в результате всех своих творческих и философских исканий, поставил грандиозную проблему народа, захотел изобразить великодушие, талантливость, сердечную глубину, насмешливый, скептический и патетический ум, страстный темперамент, чуткость, неисчерпаемую жизнеспособность и воинствующий оптимизм еврейского народа. Таким показал Тевье-молочника Михоэлс, он сыграл народ, сыграл мужество, гордость и бессмертие народа».

Новицкий был одним из трех «подруг», которые могли часами сидеть у папы, не проронив ни слова. Другими двумя были Фальк и Завадский. Почему отец называл этих больших, отнюдь не женственных людей «подругами», трудно сказать. Так они и остались при нашем доме в качестве «подруг» — подруга Завадский, подруга Новицкий и подруга Фальк.

Павел Иванович Новицкий приходил с отцом, терпеливо пережидая телефонные звонки, прерывавшие их серьезный разговор.

Он отнеслся к Михоэлсу с каким-то бережным почтением. Дружба их началась с того, что Новицкий задумал написать о папе большую статью. Они подолгу беседовали на самые разнообразные темы — папу трудно было заставить говорить о себе, зато о своей работе он мог рассказывать до бесконечности.

Новицкому, собственно, как и Фальку, хотелось разгадать глубоко спрятанное «я» Михоэлса. И потому в портрете, данном Новицким, звучит никем и никогда не упоминаемая крамольная тема одиночества — ведь по всем канонам советский человек одиноким чувствовать себя не может.

«Меня беспокоит горечь его улыбки и затаенная древняя печаль его глаз. Хочется подойти к нему, раздвинуть его плечи и тихо сказать: «К чему так много печали? Она порабощает ваш дух и парализует вашу волю». Но я не говорю этих слов Михоэлсу. Я веду с ним другой, смежный разговор. Меня интересует природа его скепсиса.

— Действительность не отрицается, но выдвигается другой принцип, что горю и радости одна цена... Признание этого принципа означает трагическое безразличие к миру, обреченность человека. Когда пошатнулся ваш конкретный мир, вы ухватились за астрономо-биологический мир, который нельзя было осязать. Но ведь это значит, что вы конкретному человеческому миру сказали «нет». Ведь это и есть одиночество.

Михоэлс смотрит на меня с сожалением и досадой.

— Скепсис,— говорит он,— был временным явлением. Когда мир шатался, в этот момент скепсис был выходом. Скепсис не есть явросприятие, обязательное для каждого. Человек не рад скепсису, его не влечет к нему никакое благо. Жизнь сама предлагает ему в тяжелую минуту скепсис, чтобы он не погиб. Одиночества не надо бояться, одиночество существует всегда. В творчестве, в поисках, в размышлениях, в усилении мысли, в страдании разве человек не одинок?»

Свою глубокую интересную статью о Михоэлсе Новицкий заканчивает словами: «Тевье требует продолжения». Но продолжению не суждено было осуществиться. <...>

Первые дни войны

«Блуждающие звезды» — последняя постановка мирного времени. Премьера состоялась в Ленинграде, после чего театр отправился на гастроли в Харьков. Это было в мае. Войну объявили, как известно, 22 июня 1941 года. Не буду останавливаться на событиях этого дня — об этом написаны тома.

По радио прозвучали слова Молотова о «внезапном нападении коварного врага». «Внезапным» оно было только для населения, так как Сталина неоднократно предупреждали о намерениях немцев, но, будучи человеком непоследовательным в своей подозрительности, он предпочел довериться Гитлеру.

Буквально через несколько минут после объявления войны позвонил из Харькова отец и сказал, что он немедленно выезжает домой, а труппе театра билеты заказаны на 23-е. Действительно, на завтра мы уже встречали его, с удивлением констатируя, что в расписании поездов пока что наблюдается идеальный порядок.

Но актеры, выехавшие на следующий день, добирались уже целую неделю. «Идеальный порядок» не продержался и суток.

Как кустарно и безалаберно готовилась Москва к обороне! К домам подвозили мешки с песком, и жильцы должны были переправлять его на крыши. В нашем доме этим делом заправляла темпераментная общественница «мадам Мессершмитт», заслужившая это прозвище благодаря своему поразительному сходству с немецким бомбардировщиком. Она командовала всеми жильцами. Михоэлс, напив чей-то фартук, су-

етливо крутился возле нее, безбожно путая все распоряжения, пока не выводил ее окончательно из терпения. Когда наконец «мадам Мессершмитт» удалялась, взбешенная его бестолковостью, папа с облегчением говорил: «Ну вот. А теперь поработаем», — и мы, выстроившись цепочкой по всей лестнице, передавали друг другу ведра с песком. Отец стоял внизу и приговаривал на рабочий манер: «Раз-два, взяли! Еще взяли!» Через полчаса он объявлял перекур и, усевшись на ступеньках, изображал то подвыпившего работника, то болтающую старуху, попеременно втягивая в игру нервно веселившихся жильцов, радых любой возможности хоть на миг отвлечься от надвигающегося кошмара. Правда, в первые дни войны Москву еще не бомбили. Немцы, верные себе, строго соблюдали порядок и в этом. Они начали войну двадцать второго июня. Ровно через месяц — двадцать второго июля — с наступлением темноты объявили первую воздушную тревогу. И с этого дня уже каждый вечер ровно в десять часов раздавался вой сирены. Любопытно, что подобную же педантичность проявил позже и Сталин (ведь и учителю порой есть что позамышлять у ученика): тринадцатого января сорок восьмого года по его приказу был убит Михоэлс; тринадцатого января пятьдесят третьего года Михоэлс был объявлен «буржуазным националистом» и «агентом Джойнта». Впрочем, пристрастие маньяков к точным датам — предмет отдельного исследования.

Штатный пожарник ГОСЕТа возглавлял отряд противовоздушной обороны в нашем театре. Отец записался в боевую группу, состоявшую из молодых, еще не мобилизованных актеров. Однако после первой же бомбежки пожарник решительно запротестовал: «Вам, Соломон Михайлович, полагается более важный пост» — и отстранил его от работы. Тогда он принялся ходить по инстанциям с просьбой отправить его на фронт в числе ополченцев — людей, не прошедших военную подготовку. Там, конечно, ответили, что «найдут ему другое применение».

Внешне он был необычайно подтянут. Брился два раза в день. Одевался с не свойственной ему тщательностью. Своей твердостью, собранностью и юмором он поддерживал и растерянных, охваченных паникой актеров, и своих многочисленных братьев, и всех нас. Но сам он, несомненно, был в не меньшей растерянности, чем остальные, хотя в первые два месяца войны, что мы провели вместе, он даже с нами не позволял себе «расшнуровываться».

Между тем, пока им не нашли «другого применения», они с Зусой назначили сами себя пожарниками нашего дома. Их снабдили страшными колпаками и варежками, в которых полагалось бегать на крышу гасить зажигалки в случае воздушной тревоги. В ожидании бомбежки папа с Зусой усаживались на лестничной площадке, куда мы выносили маленький столик с черным кофе, и коротали время в неторопливой беседе.

— Вася, а Вася,— спрашивал задумчиво Михоэлс, перевоплотившись временно в водопроводчика,— что там с канализацией? Спускает кран аль не спускает?

— Да это ж, Петь, от напору зависеть,— вдохновлялся Зускин.

Нередко их «профессиональная беседа» прерывалась воем сирен, и тогда, напяливая на ходу колпаки и варежки, оба бросались на крышу, тушить зажигалки. Однако сразу после отбоя, вернувшись на свои места, они возобновляли разговор, вернее уже не они, а неподражаемые Петя с Васей — то слесари, то дворники, то водопроводчики.

Но в конце июля — начале августа бомбежки участились и длились до рассвета. Папа заставлял нас спускаться в бомбоубежище, где мы изнывали от духоты и страха. Нину же вообще невозможно было туда загнать.

Тогда отец решил спускаться с нами в метро, куда уже стали ходить целыми семьями. Отправлялись заблаговременно, пока не стемнело. Мы шли на станцию «Охотный ряд» недалеко от Красной площади. Москвичи тащили за собой свой скарб: кто узелок, кто чемодан, а кто самовар.

Лежали на железнодорожных путях, подложив под голову одеяло, коврик, а то и просто газету. Отца многие узнавали, подходили побеседовать и обсудить вопрос, занимавший всех,— об исходе войны.

Михоэлс вежливо поднимался со своего неудобного ложа, отвечал что-нибудь неопределенное вроде «поживем — увидим» или «надеюсь, все это скоро кончится» — да и что он в самом деле мог знать? — и снова укладывался на свою газету. В конце концов все это превратилось в довольно утомительную игру.

Писатель В. Лидин в книге «Люди и встречи» вспоминает:

«Москва была темна, просторна и тревожна. Только недавно диктор возвестил: «Граждане, угроза воздушного нападения миновала». Мы стояли в темноте Охотного ряда, глядявываясь в невидимую улицу Горького.

— Когда снова откроются театры, надо будет начать с чего-нибудь шумного, веселого, чтобы люди встряхнулись! У меня от этих синих лампочек начинается радикулит,— кивнула Михоэлс в сторону вестибюля гостиницы «Москва», и, взявшись рукой за поясницу и изображая, что именно от синего света у него начинается радикулит, он простился со мной и заковылял в сторону гостиницы».

Эвакуация

В середине августа вышел указ вывезти из Москвы всех детей до пятнадцати лет. Папа принялся судорожно рыскать по карте, висевшей у нас с первого дня войны, в поисках безопасного места, стараясь припомнить хоть каких-то знакомых, к которым нас можно было бы отправить. Наконец остановились на Свердловске — там жил дирижер Моргуляя, работавший в двадцатые годы в нашем театре.

Надо было торопиться. Каждый день приходили из каких-то комиссий проверять, имеются ли еще дети в квартире. (У нас всегда что-нибудь проверяли.)

Приказ касался, разумеется, только Нины, но я понимала, что папа не пустит ее без меня.

Накануне отъезда мы сидели внизу. Смеркалось. В небе висели аэростаты, похожие не то на рыб, не то на огромные варежки. Папа, держа наши руки в своих, тихо уговаривал нас, а заодно и себя, что для него спокойнее сознавать, что мы в безопасности, что, как только представится возможность, он вызовет нас или придет сам, кляся прекратить дежурства на крыше, обещал спускаться в бомбоубежище и так далее... Позже мы узнали, что все свои обещания он честно выполнил. Однако в возможность обещанной им скорой встречи он сам вряд ли верил и был растерян и напуган предстоящим расставанием не меньше нас. <...>

Мы с Ниной мало что соображали. Помню только, как папа вдруг исчез и появился с пачкой папирос «Казбек», которую мне торжественно вручил. Очевидно, признавая за мной право «официально» курить, папа имел в виду поддержать во мне ощущение собственной взрослости и солидности, которое облегчило бы расставание.

И вот теплушка медленно трогается. Папа соскакивает на ходу. Мы расстаемся неизвестно на какой срок...

Когда мы увидимся? Что будет с ним? С нами без него? <...>

Ташкент. Театр для себя

И вот мы в Ташкенте. Смерд, грязь. Городская площадь кишит голодными детьми, тощими котами, спящими повсюду, ободранными беженцами; и все это залито ослепительным светом южного солнца. Мы впервые видим пальмы и верблюдов, слышим вопли ослов. А люди лежат, ползают, собирают объедки, стонут, умирают на фоне этих ярких красок восточного города. Нас, приехавших с синими отмороженными ногами с пятидесятиградусного мороза (из Свердловска мы с Ниной прибыли к отцу), совершенно ошеломило это сочетание нищеты и сказочного Востока.

Пешком через весь Ташкент отправились мы в дом, где нам предстояло прожить большую часть войны.

<...> Наша семья занимала теперь одну небольшую комнату, и в этой непривычной тесноте создавалась неповторимая атмосфера близости и даже какого-то своеобразного домашнего уюта.

<...> Мы жили в большом «казенном» доме, который ташкентские власти отдали на время эвакуации ученым. Среди них были историки Виппер и Струве, академики Ушаков и Каблуков, писатель Александр Дейч и известный экономист Левина, и многие другие виднейшие деятели науки и культуры. Жизнь их протекала в привычных для войны заботах и тихом кабинетном труде.

И поэтому наша комната, куда непрерывно приходили люди, где жизнь только начиналась после двенадцати ночи, когда папа возвращался из театра, вызывала у благочестивых академиков жгучий интерес. «Они заглядывают к нам, как в грех»,— любил говорить отец.

А у нас и впрямь, как у грешников в аду, вечно шипела на плитке раскаленная сковорода, на которой в немислимой вони кунжутного масла жарилась картошка. Ни

такой жуткой картошки, ни такого растения — кунжут, ни такого черного масла я никогда больше не встречала.

После целого дня напряженной и утомительной работы отец возвращался домой в неизменном сопровождении кучки голодных и веселых друзей, и начинался пир, длившийся до трех-четырёх утра. И хотя картошка была несъедобна, комнату наполнял чад, сквозь который едва пробивался слабый свет лампочки, до чего же было вкусно и хорошо! Усталость и напряжение, в которых проходил день, требовали разрядки. И тут начинались игры.

Так как в Ташкенте Зускины жили далеко, то отцу явно недоставало партнера. Осип Наумович Абдулов с полным пониманием отнесся к этой слабости Михоэлса и с удовольствием включался в любую игру.

То, повязав щеку платком, он отправлялся с папой к известному пианисту Гольденвейзеру одолжить водки — «может, сжалится». То, увидев как-то в окне старого узбека, ночного сторожа, они пошли договариваться с ним «отправиться вместе в Мекку». Их фантазия и изобретательность были неисчерпаемы, и каждый день Михоэлс с Абдуловым придумывали что-то новое.

И хотя война была одинаково для всех тяжелым, голодным и страшным временем, Михоэлс умел совершенно сознательно «впасть в беспечность» и заразить нас. А я на опыте всей дальнейшей жизни убедилась, что в те минуты, когда от нас уже ничего не зависит и мы не в силах что-либо изменить, ничто так не спасает, как легкомыслие. Впрочем, папе игры были необходимы в первую очередь как разрядка при той ответственности и нагрузке, которую он взял на себя.

Однажды мы попытались сосчитать, сколько у него должностей. Папа, вооружившись карандашом и бумагой, записывал под диктовку: 1) руководитель Государственного еврейского театра; 2) художественный руководитель Узбекского оперного театра; 3) председатель еврейского антифашистского комитета; 4) член театральной секции Комитета по Стаалинским премиям; 5) профессор, педагог театральной студии; 6) режиссер-постановщик Узбекского драматического театра и так далее. Мне трудно восстановить сейчас в памяти полный список папиных официальных ролей, но, добавив к этому «муж», «отец» и «брат» — должности, к которым отец относился с не меньшей ответственностью, — получалось что-то около двадцати.

Если учесть, что жара стояла изнурительная, транспорт в пору войны работал с серьезными перебоями, а расстояния, которые приходилось Михоэлсу преодолевать, разрываясь между репетициями, заседаниями, комиссиями и спектаклями, были огромными, просто непонятно, как он вообще что-то успевал.

И вот по чьему-то распоряжению была прикомандирована к отцу старая кляча с бричкой и древним узбеком-возницей, который ежедневно ранним розовым восточным утром возвещал о своем прибытии стуком кнута в дверь: «Сулейман! Моя пришла!» Так начинался день.

Отец водружался на бричку, и кляча медленно тащила через весь город.

Среди евреев молниеносно распространился слух, что «Михоэлса можно застать по дороге». В итоге к концу пути он уже обрастал толпой.

С какими только просьбами к нему не обращались! То мамаша, волоча за руку упирающегося мальчика, умоляла отца достать струну «ля», без которой ее Боренька не может продолжать занятия на скрипке; то озабоченный муж просил договориться о роддоме, чтобы жена рожала «в приличных условиях»; то просили помочь устроиться на работу; то увеличить норму продовольственной карточки и так далее. Многие подходили, чтобы поведать Михоэлсу свою историю, попросить помочь разыскать близких.

Кончилось тем, что «просители» подарили ему самодельную чернильницу-непроливайку и ручку из лучины с перышком, привязанным суровой ниткой. С тех пор он прямо на ходу записывал имена и просьбы. Недаром отец говорил о себе: «Я обвешан судьбами».

Одного только мы никак не могли понять — как он с его темпераментом и нетерпеливостью мог выносить такое медленное передвижение? Случалось, что бричка неожиданно подкатывала к нашему дому в середине дня, и тут уж папа «брал реванш» — стремительно, почти бегом он взлетал по широкой лестнице, и мы, услышав его шаги, выбегали навстречу.

Я прочитала у Надежды Мандельштам, что Мандельштам считал работу актера и работу поэта «профессиями-антиподами». Однако актер, подобный Михоэлсу, который ставит себе задачей проникнуть в тайну своего «я» («...в своих работах я только

пытаюсь раскрыть себя...», — пишет он в одном из выступлений), во многом уподобляется поэту, ищущему «разгадку жизни своей», по определению Мандельштама. Разница состоит в том, что у поэта есть протяженность во времени — его труд остается «в веках». Актеру же требуется сиюминутное самовыражение.

Михоэлс, лишенный из-за бесчисленных нагрузок возможности создавать новые роли и новые постановки, вынужденный играть на сцене образы, созданные еще до войны, пытался всеми силами заполнить этот пробел. Вот один из примеров.

Летом 1942 года жена Алексея Толстого пригласила нас — Асю, Нину и меня — в числе еще нескольких «академических дам» нашего дома принять участие в устройстве благотворительного вечера. Решено было устроить лотерею. Призы были неслыханной роскоши — пучок лука, мыло, галоши и прочие находки военного времени.

Мы занимались подготовкой к вечеру целыми днями: бегали на базар, скатывали лотерейные билетки, писали приглашения, носились в поисках призов. А в Ташкентском оперном театре тем временем проводились репетиции программы вечера, в котором готовились принять участие лучшие актеры, находившиеся в городе.

Последним номером, или гвоздем программы, шла одноактная пьеска, написанная специально для этого вечера Алексеем Толстым. Ставили Михоэлс и режиссер Протазанов, а Толстой с Михоэлсом выступали в пьеске в роли плотников. Сюжет ее напоминает несколько рассказ Чапека «Как это делается». <...>

С дуэта «плотников» началась неожиданная странная дружба Михоэлса и Толстого. Что связывало этих двух столь несхожих людей?

Один — барин. Он знал толк в вещах, коллекционировал антиквариат, во всех его манерах сквозила уверенность, и в жизни он чувствовал себя хозяином.

Другой — скептик, талмудист и мудрый еврей. Что касается вещей, то Михоэлс вещи не любил, и они отвечали ему тем же. Любая вещь просто разваливалась в его руках. Коллекционировать же что бы то ни было ему даже в голову не приходило. Среди скептиков не бывает коллекционеров. Да и расположиться по-хозяйски в жизни ему мешал его скептицизм.

Скорее всего их влекло друг к другу взаимное любопытство, ибо каждый был абсолютным представителем своей «породы», своих далеких корней.

Вообще живое любопытство к людям было одним из определяющих свойств его характера. Дом, в котором мы жили в Ташкенте, весьма способствовал удовлетворению этого любопытства. Нередко случалось, что, выйдя из комнаты на минутку, отец исчезал на пару часов. Заставали мы его то у известного химика Каблукова, то у историка Бертельса, то у профессора-лингвиста Жирмунского. <...>

Зная, что недоедание потихоньку мучило всех наших гостей, мы с Асей при всей скудности пайка утаивали загируху, редьку или картошку, оставшиеся после обеда, чтобы подкормить их. Да и папа всегда старался привести с собой побольше голодных друзей, чтобы справедливо разделить между ними нашу скудную военную трапезу. <...>

В мае 1942 года Михоэлса неожиданно вызвали в Москву. Поселили его в гостинице. Насколько мне известно, именно тогда его пригласил председатель Совинформбюро Лозовский и сообщил о решении создать еврейский антифашистский комитет во главе с Михоэлсом.

<...> Папа вернулся в Ташкент в конце мая или начале июня 1942 года.

«Фрейлехс»

<...> Надо было работать, откликаться, как это называлось тогда, на все события современной жизни. И Михоэлс откликнулся на победу. Он сам написал либретто пьесы, которую назвал «Фрейлехс». <...>

В основу спектакля «Фрейлехс» он положил традиционный еврейский свадебный обряд. Сцена погружалась во мрак, и под звуки торжественно-траурной музыки на горизонте появлялась одинокая звезда. Одновременно в противоположных концах сцены возникали семь горящих свечей, которые, медленно приближаясь друг к другу, превращались в семисвечник. <...>

Этот дерзкий прием, впрочем, как и вся идея спектакля, не остался без внимания и несомненно пополнил досье Михоэлса.

Неожиданно сквозь музыку прорывается возглас: «Гасите свечи! Задуйте грусть!»

Сцена заливается ярким солнечным светом, и перед зрителями оказывается шесть молоденьких синагогальных служек, держащих свечи, которые задувает свадебный

бадхен (шут). Два бадхена заправляют свадьбой-карнавалом. Первый — воплощение духа народа. Второй — его плоти.

Зускин, игравший первого бадхена, обращался к залу, в тот период посещавшему только евреями, со словами сочувствия и утешения. Он сверкал, блистал, летал по сцене, вызывая жениха и невесту, родственников и гостей. Но в моменты, когда действие переключается, он застывает и облик его выражает горечь и боль...

Свадьба — канва, на которой вышиты судьбы целого поколения. Каждый из гостей в танце или песне рассказывает о пережитом. Вот боевой командир — он прибыл на свадьбу прямо с фронта: вот мать, потерявшая на войне своего единственного сына; а вот бывший николаевский солдат... Его танец отец задумал и исполнил сам, а затем по этому рисунку он был поставлен, как и все танцы в этом спектакле, замечательно талантливым балетмейстером Эмилем Мейем.

В казенных маршевых ритмах, в угловатых резких движениях передавалось ощущение рабства, унижения николаевского рекрута.

Наряду с этим танец-пантомима «Рождение скрипки» — рождения музыки, искусства, утверждение жизни.

Лирическому дуэту жениха и невесты вторит дуэт старенькой пары, трогательно и с юмором рассказывающей о прожитой жизни.

В этом, по существу, бессюжетном спектакле Михозэлс, как в каждой своей работе, показал на примере «мира малых судеб, микрокосма», как он сам говорил, «мир больших судеб, макрокосм». И ему это удалось.

Этим спектаклем, одновременно трагическим и жизнеутверждающим, который сверкнул как молния, фактически закончилась жизнь ГОСЕТА.

Михозэлс не был рационалистом, но был мыслителем в искусстве. Как всякий большой художник, он был одержим одной идеей и находил ей образное выражение. Его идея — человечность, гуманизм. <...> Именно с идеи гуманизма начинался двадцатый век. Поэтому для людей поколения отца она была органична. Несмотря на то, что дальнейший ход истории больше чем когда-либо доказал полную ее несостоятельность, вернее нежизнеспособность, для Михозэлса идея гуманизма оставалась главной на протяжении всей жизни. В одной из традиционных бесед с молодежью в клубе ВТО он говорил: «Меня больше всего волнует тема: человек, поставленный лицом к лицу с миром, поведение этого человека, движимого страстью к познанию. Человек вглядывается в мир в страстном желании познать и объяснить его. Страсть познания самая сильная, ибо даже любовь есть, собственно говоря, разновидность этой страсти познания. И когда ты видишь вопиющее нарушение элементарной справедливости, видишь страшные преступления, совершающиеся в мире, ты должен объяснить, познать, занять позицию в отношении происходящего вокруг. Вот почему трагический образ человека вечно ищущего, мятежного ошибающегося и приходящего в конце концов к тому, чтобы заплатить жизнью за кроху истины, — тема, которая больше всего меня волнует».

Эту тему «человека ищущего, ошибающегося» он нашел в прекрасном драматургическом воплощении Д. Бергельсона «Принц Реубени» по Макс Броду.

Работа над ним началась в 1944 году после папиного возвращения из командировки в Америку, но спектакль, законченный в конце 1947 года, так и не увидел света.

Ни одна постановка, даже «Лир», не заняла у отца столько времени. Объяснялось это той нечеловеческой нагрузкой, которую он взвалил тогда на свои плечи. Над «Реубени» он работал с огромным увлечением. Впервые после «Тевье» ему представилась возможность создать значительный и новый образ. Да и в режиссерском плане эта работа давала больше пищи для воображения, чем спектакли на современные темы. Несмотря на столь длительный период работы, мне не удалось побывать ни на одной репетиции. Но по рассказам тех, кому пришлось повидать репетиции «Реубени», это было «самое грандиозное из всего, что он создал как актер и режиссер». Это говорил художник оформитель спектакля Исаак Рабинович, да и не только он.

Когда папа уезжал в Минск, была уже намечена приблизительная дата премьеры, которую все ждали с нетерпением.

Каково же было мое удивление, когда в книге Михозэлса «Статьи, беседы, речи», куда включены и воспоминания о нем, я прочла следующее: «Однако тщательно изученная и талантливо разработанная Д. Бергельсоном тема, возбуждая некоторые современные иллюзии и выдвигая определенные аналогии, не могла, разумеется, принести с собой близкую современности современную программу. Ибо в прошлом нетерпимости одной веры могла противостоять только другая вера, одной религии — другая ре-

лигия. Извлечь из сложнейшей коллизии, связанной с появлением в Португалии в шестнадцатом веке мессии-самозванца Реубени, идею, которая хотя бы косвенно совпала с идеями, воодушевлявшими советских людей в их борьбе против фашизма, не могли ни Д. Бергельсон, ни С. Михозэлс. Энергичные усилия преодолеть источаемый этой коллизией дух национализма к успеху не привели. В конце концов Михозэлс, непримиримый атеист и последовательный интернационалист, от пьесы отказался. (!)

Собственно, можно было и не удивляться. <...> Но эта книга выходила в 1960 году, в самый разгар оттепели, когда многим, в том числе и мне, казалось, что можно обойтись без лжи.

Возможно, до автора статьи дошли тогда отклики о «порочной идее и формалистическом воплощении „Реубени“», и он просто решил «оправдать» Михозэлса. Но только Михозэлс в его оправдании не нуждался, как не нуждается в оправдании и идея гуманизма — не «воинствующего», разумеется.

Сейчас, восстанавливая в памяти те годы, я понимаю, что работа над «Реубени» была единственным светлым пятном в папиной жизни того последнего периода.

И хотя всегда перед уходом на спектакль он тяжело вздыхал, ворчал и кричал, что «терпеть не может играть», мы видели, с какой радостью он отправлялся на эти последние в его жизни репетиции.

Спектакль «Принц Реубени» не увидел света не потому, что Михозэлс «от пьесы отказался», а потому что он становился все более неугодным хозяину и наступало время расплаты с ним. <...>

В первых числах января он был командирован в Минск, откуда уже не вернулся.

«...Не завершен твой грым, но он в веках прославлен»

Как могло случиться, что меня не мучили предчувствия, не преследовали страхи, не изводили по ночам кошмары? Ведь если бы тогда я что-то почувствовала, то, может быть, смогла бы его остановить, придумала бы что-нибудь, пошла бы на что угодно, лишь бы он не поехал в Минск!

Хотя что могло удержать адскую машину, уже пущенную в ход? Не Минск, так Тбилиси или Ленинград. Так или иначе, он был уже обречен. В то время наши роскоши составлялись не где-нибудь, а на Лубянке. А звездочеты были палачами. Моему отцу они предназначали смерть, а что предназначено, того, как известно, не избежать.

Итак, я попытаюсь упорядочить лихорадочный хаос тех страшных дней.

Вторник. 13 января.

Одиннадцать утра. Солнечно, ясно. Муж собрался куда-то, я провожаю его, на лестнице мы прощаемся, и я с удивлением замечаю, как мимо нас пробегает к себе наверх Зускин, почему-то не поздоровавшись.

Двенадцать часов. Я одна дома. Звонит телефон. Директор театра просит моего мужа срочно прийти. Я говорю, что его нет дома, и в ответ на свой естественный вопрос, а в чем, собственно, дело, слышу лишь невнятное бормотание: «Да нет, ничего, позвоним попозже, передай, чтобы он срочно зашел» и т. д. Меня это почему-то не настораживает.

Минут через пятнадцать, когда муж уже вернулся, снова звонок из театра.

«Просят, чтобы я зачем-то пришел», — сообщает мне муж самым ровным голосом и уходит.

Час дня. Снова телефон. С этого момента вся жизнь четко распадается на два отрезка — до и после. Голос директора произносит слова, смысл которых не доходит в первое мгновение до сознания:

— Сейчас же приходи в театр. С папой случилось несчастье.

— Он... жив?

Мне страшно услышать ответ. Пауза.

— Нет...

Из ворот театра выезжает машина. В ней мелькает лицо Зускина.

В проходной от меня шарахается в сторону наша дежурная.

Не помню, как поднимаюсь по лестнице и вхожу в кабинет. Из толпы актеров ко мне бросается жена Зускина Эда.

— Что с ним?

В ответ она прижимает меня к себе.

В полной тишине звонит телефон. Кто-то приглушенным голосом отвечает:

— Это правда... Автомобильная катастрофа.

Откуда возникла эта версия, кто первый начал ее распространять?

Об этом мы узнали лишь спустя двадцать лет из книги Светланы Аллилуевой «Только один год». Вот что она пишет: «В одну из тогда уже редких встреч с отцом у него на даче я вошла в комнату, когда он говорил с кем-то по телефону. Я ждала. Ему что-то докладывали, а он слушал. Потом как резюме он сказал: «Ну, автомобильная катастрофа». Я отлично помню эту интонацию — это был не вопрос, а утверждение, ответ. Он не спрашивал, а предлагал это — автомобильную катастрофу. Окончив разговор, он поздоровался со мной и через некоторое время сказал: «В автомобильной катастрофе разбился Михозэлс». Но когда на следующий день я пришла на занятия в университет, то студентка, отец которой долго работал в Еврейском театре, плача рассказывала, как злодейски был убит вчера Михозэлс, ехавший на машине. Газеты же сообщали об «автомобильной катастрофе»...

Он был убит, и никакой катастрофы не было. «Автомобильная катастрофа» была официальной версией, предложенной моим отцом, когда ему доложили об исполнении... У меня стучало в голове. Мне слишком хорошо было известно, что отцу везде мерещатся «сионизм» и заговоры. Нетрудно догадаться, почему ему докладывали об исполнении».

Что касается нас, то первое время мы даже не задумывались над тем, как это произошло. Мы знали только, что расстались на несколько дней, не ведая, что расстаемся навсегда.

...Страшно уходить из театра. Страшно возвращаться домой. Все происходящее пока что воспринимается мной как назойливый кошмарный сон, но я цепляюсь за него, смутно ощущая, что страшный сон обернется еще более страшной явью, когда мы переступим порог дома, в который он больше никогда уже не вернется.

Дома внизу нам открывает дверь Ася. Мы ничего не говорим друг другу. Из коридора слышу голос моей младшей сестры:

— Я все знаю!

Сестра занималась в Еврейской театральной студии. Когда там стало известно о случившемся, дирекция, опасаясь паники среди студентов и преподавателей, решила отправить Нину из студии под каким-нибудь благовидным предлогом. Была сессия, ее вызвали прямо с экзамена и впопыхах куда-то послали в сопровождении соучеников. По дороге она узнала правду.

...Мы стоим у окна, за которым воет вьюга.

Из передней доносятся рыдания. Начинает собираться народ. В комнату входит заплаканный Михаил Степанович Григорьев, профессор русской литературы. С ним рядом толпятся незнакомые нам люди. Оказывается, все они пришли с какой-то конференции, которая происходила в эти дни в ВТО. Шло заседание, и вдруг по залу пронесся слух: умер Михозэлс. Заседание прервалось, и люди, не сговариваясь, потянулись к нам в дом. Потом многие рассказывали, что «сразу все поняли». Не знаю, не уверена. А если и поняли, то не делились своими догадками, как утверждали впоследствии.

Мы же ничего не поняли. Нам было не до того. <...>

Первая ночь. Зускин непрерывно куда-то дозванивается. (Сталину, как известно, не спалось, и вся государственная машина работала по ночам.) Наконец он сообщает: — Нет. Они не разрешают.

Как только пришло страшное известие, Зускин поехал на аэродром за билетами в Минск. Порыв более чем естественный. У него затребовали паспорт (билеты на самолет продавались тогда по паспортам) и тут же отказали, кажется, без всяких объяснений. Ночью он продолжал дозваниваться во всевозможные инстанции и добиваться разрешения вылететь в Минск. Однако так его и не пустили. И нас тоже.

Двое суток проходят как одна бесконечная ночь.

Телефон непрерывно звонит, и кто-нибудь постоянно отвечает: «Кажется, автомобильная катастрофа».

14 января. Непрерывное мелькание заплаканных лиц. Многие приходят и остаются. Некоторые уходят и возвращаются. <...>

— Что с ним случилось?

Время от времени то меня, то Нину вызывают к нам наверх, где самые близкие друзья встречают и провожают нескончаемый поток людей. Шостакович, между прочим, рассказывает, что 7 января, в день папиного отъезда в Минск, вызвали в ЦК Прокофьева, Мясковского, его — Шостаковича — и еще нескольких композиторов и лично

товарищ Жданов их сурово отчитал за «пессимизм», «формализм» и прочие вражеские выходки в музыке. Я вспоминаю, что уже на вокзале, 7-го, папе кто-то об этом рассказал, и он мрачно откомментировал: «Боюсь, им еще придется покукарекать».

И снова оказался прав. Постановление об опере «Великая дружба» Мурадели, которым началась кампания против «формализма в музыке», заставило многих крупнейших композиторов, в том числе и Шостаковича, умолкнуть на долгие годы. Они и в самом деле вынуждены были «покукарекать». <...>

...Наверху и внизу сменяются люди. А в его кабинете еще долго как ни в чем не бывало сохраняется жизнь и мучительно притягивает взгляд календарь со сделанной его рукой, а потом почему-то зачеркнутой записью о какой-то деловой встрече, назначенной на 20 января.. На письменном столе, ни о чем не подозревая, лежит раскрытый «Князь» Макиавелли — папа готовился к постановке «Реубени — князь иудейский» и, как всегда, тщательно изучал эпоху, прежде чем приступить к работе над спектаклем.

Идея смерти настолько не вяжется с Михоэлсом, настолько немислима и абсурдна, что в общем настроении скорее преобладает смятение и растерянность. Горе придет вместе с осознанием случившегося, а пока еще невозможно поверить. Невозможно поверить... Моя подруга Флора Литвинова возится с нашей крошечной дочкой. Впервые я не знаю, чем ее покормили, кто ее уложил спать. Кто-то пытается нам что-то сунуть поест. У меня, кстати, надолго атрофировалось обоняние, и я совершенно не чувствовала вкус еды.

Мысль беспрерывно гвоздит один и тот же вопрос: успел ли он понять, что умирает? И нестерпимо сознание его одиночества в последние минуты.

Ночь с 14-го на 15-е.

Из Минска приходит первая вест. Портье гостиницы, где они остановились, рассказал, что 12 января часов в десять вечера Михоэлса вызвали к телефону. Было плохо слышно, и разговор происходил достаточно громко. Портье запомнил имя, которое отец несколько раз упомянул: не то Сергей, не то Сергеев. Судя по всему, его куда-то вызывали. Закончив разговор, Михоэлс с Голубовым ушли из гостиницы. Спустя несколько часов они были убиты.

Кем мог быть этот Сергей? Сергеевых знакомых никто припомнить не мог. А Сергей? Был у нас знакомый — генерал Сергей Георгиевич Трофименко. Отец с Асей познакомились с ним во время войны в Ташкенте. После войны Трофименко был назначен начальником Белорусского военного округа и жил с семьей в Минске.

Стали звонить Трофименко. Его к телефону не позвали. Говорили с перепуганной, взволнованной женой. Сквозь плач она пролепетала, что придет 16-го на похороны, но так и не приехала. Выяснить у нее ничего не удалось, хотя, по ее словам, папа у них в тот вечер и вообще за весь приезд ни разу не был, и Трофименко сам ему тоже не звонил.

15 января.

У нашего дома на Тверском бульваре выстроилась вереница машин. Нас сажают и везут на вокзал. На площади Белорусского вокзала противоестественная мертвая тишина. Движение перекрыто.

Наша машина медленно продвигается сквозь толпу. Выходим и идем на перрон. Десятки тысяч людей, собравшихся на площади, в глубоком, каком-то неправдоподобном молчании ждут поезда с папиным телом. Какая ошеломляющая страшная тишина...

Подходит поезд. И вдруг сквозь тишину чей-то пронзительный высокий голос: «Гробы привезли!»

Мы идем по перрону за двумя гробами, в одном из которых папа.

Его привозят в театр, но нас к нему почему-то не пускают: «Вам придется немного подождать». Ждать? Чего? Мы не догадываемся, да и не спрашиваем. Нас отвозят домой, и мы ждем.

Сколько? Не знаю.

В комнате внизу тесно и тихо. Кто-то шепотом произносит:

— Тысячи людей ждут, когда начнут пускать.

— Да, я, когда проезжал, видел очередь от площади Маяковского через весь Тверской бульвар.

— Такой мороз, а люди не расходятся..

— А кто с ним поехал?

— Вовси, Зускин и Тышлер.

Тышлер так описывает эти дни: «А пятнадцатого января утром в морозный день мы встречали Михоэlsa уже в гробу...

Больше вспоминать ничего не хочется. Добавлю только: я сопровождал его тело к профессору Збарскому, который положил последний грим на лицо Михоэlsa, скрыв сильную ссадину на правом виске. Михоэлс лежал обнаженный, тело было чистым и неповрежденным».

Зускин, Вовси и Збарский, которые видели чистое, неповрежденное тело Михоэlsa после «автомобильной катастрофы», вскоре были арестованы.

15 января, пять часов вечера. В зимних сумерках на крыше маленького дома напротив театра старый еврей играет на скрипке кол-нидрэ (погребальную мелодию).

Нас привезли в театр и одних провели в зал. Посреди зала стоял цинковый гроб. Отец лежал со сжатыми кулаками. Под правым глазом разлилась синева. Правая рука, в которой он обычно держал трость, сломана. Губы сжаты в горькой усмешке.

В ту же ночь Маркиш написал поэму, в которой впервые открыто назвал случившееся убийством:

Разбитое лицо колючий снег занес,
От жадной тьмы укрыв бесчисленные шрамы,
Но вытекли глаза двумя ручьями слез,
В продавленной груди клокочет крик упрямый:

— О, Вечность! Я на твой поруганный порог
Иду зарубленный, убитый, бездыханный.
Следы злодейства я, как мой народ, сберег,
Чтоб ты узнала нас, взглядевшись в эти раны.
.....

Течет людской поток — и счета нет друзьям,
Скорбящим о тебе на траурных поминках,
Тебя почтить встают из рвов и смрадных ям
Шесть миллионов жертв, запытанных, невинных.

Маркиш все понял и все сказал. Думаю, что эта поэма была впоследствии одной из самых грозных улик в его деле. Маркиша забрали в первую годовщину папиной гибели. 12 августа 1952 года он был расстрелян.

Начали пускать народ. Люди идут и идут. Непрерывно сменяется почетный караул актеров Мужчины, не стесняясь, вытирают слезы.

Время остановилось.

Нас кто-то уводит за кулисы. Они переполнены актерами всех театров Москвы. Слышатся приглушенные рыдания. Гарханов целует нас и восклицает: «Звонкий был человек!»

Поток людей не прекращается. За сценой оркестранты играют отрывки из спектаклей. Невыносимо.

...Под этот струнный звон к созвездьям взвейся вывы!
Пусть череп царственный убийцей продырявлен.
Пушкой лицо твое разбито — не стыдись!
Не завершен твой грим, но он в веках прославлен.

В ночь с 15-го на 16-е театр не закрывали. Трудно сказать, какое количество людей так и не легли спать, чтобы простоять несколько часов на лютном морозе, попасть наконец в театр и попрощаться с гробом Михоэlsa.

Тышлер Фальк и Рабинович всю ночь напролет делали зарисовки — последние папаны портреты Маркиш написал поэму Нас варут отвезли домой Думаю, что по распоряжению Мирона Семеновича Вовси который через пять лет был назван «убийцей в белом калате». Врач божьей милостью стал одним из главных обвиняемых в напумевшем «деле врачей» <...>

После Михоэlsa Зускин возглавил театр Ненадолго, правда.

В декабре 1948 года театр поехал на гастроли в Ленинград Естественно, что Зускин как руководитель театра и актер, занятый почти во всех спектаклях, не мог оставаться в Москве Но, к всеобщему удивлению, он наотрез отказался ехать. Через несколько дней после отъезда труппы, в один из тех тягостных зимних вечеров, когда зловещие предчувствия уже не растворялись в воздухе, а стучались, образуя почти физически осязаемую материю, к нам забежал директор театра и сообщил,

что к Зускину направляется целая делегация уговаривать его поехать в Ленинград. Немного посидев у нас и посетовав на капризы художественного руководителя, он поднялся наверх для переговоров. Через несколько минут раздался условный зускинский звонок, и совершенно бледный, но непривычно решительный Зускин вошел и потребовал, чтобы мы все оставили комнату, в которой находился телефон. Не прошло и двух минут, как он закончил свой таинственный разговор, вышел из комнаты и, не сказав никому ни слова, поднялся к себе. С этого момента в глазах его застыл ужас, по которому мы научились в то страшное время узнавать обреченных. Как мы впоследствии поняли, с Зускина была взята подписка о невыезде, и телефонный разговор подтвердил приговор.

Прошло несколько дней, и Зускина положили в больницу лечиться электросном от нервного истощения. Дома оставалась его двенадцатилетняя дочь с двумя одинокими старыми тетками, сестрами матери, как раз уехавшей на гастроли в Ленинград.

Утром 28 декабря мы проснулись от стука в стенку. Прислушались. Мерное постукивание доносилось сверху. У меня все оборвалось внутри, но еще не верилось. Я продолжала напряженно вглядываться в потолок, когда часов в девять позвонили из театра и рассказали, что звонят все время к Зускину, но там не берут трубку, послали администратора, а тот что-то не возвращается — не можем ли мы посмотреть, что там у них происходит.

В этот момент с лестницы послышались шум, крик, лай собаки, и, открыв дверь, мы увидели, как по лестнице сверху вниз несется, не держа, а прямо-таки держась за собаку, наш сосед со второго этажа. Упав в кресло и задыхаясь от волнения, он едва слышно прошептал: «Они». Это мы понимали и сами. Но что с Зусой? Ведь не может быть, чтобы его взяли больного, с кровати!

Да. Его забрали больного, спящего, ночью. Поволокли из больницы прямо на Лубянку. Как все это было, нам много лет спустя рассказал врач, который в ту ночь дежурил в больнице. Три года и восемь месяцев держали Зускина под следствием. 12 августа 1952 года он был расстрелян.

Человек наивный и трогательный, как ребенок, лучший актер, какого знала еврейская сцена, был убит в возрасте пятидесяти трех лет. За что? Таких вопросов там не задавали.

...16 января, четыре часа дня. Закончилась панихида. Зал пустеет, и мы остаемся наедине с папой. Я глажу его разбитую, поломанную руку, а до сознания все еще не доходит, что мы расстаемся навсегда.

Больше ничего я не помню. Ни как мы выходим из театра, ни похорон в крематории. Знаю только по рассказам, что старый еврей продолжал в двадцатиградусный мороз играть на крыше кол-нидрэ до самого конца панихиды.

За похоронной процессией ехали семь грузовиков с венками и бесконечное количество легковых машин. Официальными инстанциями не было предусмотрено, что похороны Михоэlsa примут такие масштабы: толпы народа выстроились вдоль мостовой на всем протяжении от театра до крематория, и в итоге милиция вынуждена была дать непрерывный зеленый свет, чтобы процессия могла двигаться без остановок. <...>

Примерно в середине марта 1948 года мне позвонила Ася и попросила немедленно зайти. У меня сидела подруга, и мы спустились вместе.

Посреди комнаты над закрытым чемоданом неподвижно стояла Ася.

— Только что позвонили в дверь и принесли.

Мы перетащили чемодан на кресло и открыли его, подавляя дрожь.

Поверх вещей лежала бумага, не бланк, а просто желтовато-серая бумага. От руки, неумелым почерком первоклассника было написано: «Список вещей, найденного у у б и т о г о Михоэlsa».

Какой-то незадачливый милиционер сунул этот листок в предназначенный для передачи нам чемодан, а халатные сотрудники забыли проверить.

— Вот они и проболтались,— сказала моя подруга.

Они сами открыли нам непроизносимое слово. Но кому могли мы об этом рассказать? Ведь только факт, что мы знаем, таил в себе опасность. Да и что с того, что мы знаем? Разве это может его вернуть? Или мы можем отомстить? Мы, бесправные немые париш,— о какой мести могли мы помышлять?

«Странно только,— шипит Надежда Мандельштам,— что все это делали люди, самые обыкновенные люди: такие же люди, как вы, с глазами, вдавленными в череп, такие же судьбы, как вы... как это объяснить, как это понять? И еще один вопрос: зачем?..»
Зачем?..

Начали вынимать вещи из чемодана. Сверху лежала шуба. На меховом воротнике сзади остался след запекшейся крови. Такой же след на шарфе. Палка сломана. Часы, стрелки остановились без двадцати девять.

— Значит, утра,— почти беззвучно сказала Ася.

Мы кивнули — ведь вечером он еще в десять был в гостинице.

Костюм. На дне чемодана сложено содержимое карманов. «У Миши не карманы, а письменный стол»,— говорил Саша Тышлер. Ручки, зажигалки, записные книжки, деньги, какие-то бумажки, трамвайный билетик и, наконец, «талисманы».

С самого раннего детства, сколько я себя помню, папа, суеверный, как все актеры, просил у меня перед отъездом на гастроли какую-нибудь игрушку на счастье, талисман. Так я и думала в детстве, что талисман — это маленькая игрушка. За многие годы у него набралась целая коллекция «талисманов». Одну за другой мы вытаскиваем из чемодана крохотную куколку, игрушечный маленький автомобиль с приставшим к нему табаком, какие-то стеклянные шарики и, наконец, резинового негртенка — последний подарок моей двухлетней дочки.

В полном молчании извлекаем из боковых карманов костюма документы и наши семейные фотографии. Среди документов командировочное удостоверение. «выданное гражданину Михозлсу Соломону Михайловичу с 8-го по 20-е января 1948 года». Паспорта мы не находим. Тут только мы обращаем внимание на то, что свидетельство о смерти выписано на фамилию Михозас (а в СССР свидетельство о смерти выдается только на основании паспорта), в то время как по паспорту папа Михозэлс-Вовси. Следовательно, свидетельство о смерти было оформлено на основании командировочного удостоверения, выданного на фамилию Михозэлс, а паспорт поторопились отвезти куда следует в качестве доказательства, что операция выполнена.

По еврейскому обычаю театр не играл семь суток. На восьмой вечер шел спектакль «Леса шумят» — последняя постановка Михозэла. Все билеты были проданы, кроме тринадцатого места в шестом ряду. Это было постоянное режиссерское кресло Михозэла. По своему суеверию он всегда боялся числа тринадцать, но число это странным образом преследовало его всю жизнь. Поэтому если начало какой-нибудь новой работы совпадало с тринадцатым числом, то он делал все, чтобы перенести его на другой день. Он так страшился этой цифры, что постоянно подсчитывал номера проезжавших мимо машин. «Все время попадаете тринадцать»,— жаловался он и, решив однажды бросить вызов судьбе, выбрал себе кресло номер тринадцать. Однако судьба не приняла его вызов и, задумав с ним расправиться, выбрала для этого тринадцатое число.

Перед началом спектакля на авансцену вышел исполнитель главной роли В. Шварцер и произнес: «Сегодня мы впервые открываем занавес без нашего руководителя, дорогого Соломона Михайловича Михозэла. Прошу почтить его память вставанием». В зале послышались всхлипывания. Кажется, спектакль так и не доиграли до конца — у кого-то из актеров стало плохо с сердцем.

В антракте мы зашли в примерную отца. Над зеркалом как ни в чем не бывало горели свечильники, освещая столик и папину коробку с гримом, так и оставшуюся открытой.

Первое время мы почти безвыходно сидели дома. Дома нам все казалось, что мы как-то ближе к нему и что вот-вот откроется дверь, он просунет голову и, посмеиваясь, спросит: «Ну, что я сегодня разбил?» У нас вечно билась посуда, и, зная, что папе не влетит за разбитые чашки, тарелки и вазы, мы коварно сваливали вину на него, а потом со всех ног летели в театр предупреждать, и он охотно включался в игру.

А теперь у дверей лежала в ожидании хозяина собака, категорически не желавшая выходить на прогулку, чтобы не пропустить его возвращения. <...>

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СЕРГЕЙ КОСТЫРКО

*

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ СВОБОДЫ

Потребность продолжить разговор, начатый на страницах журнала Владимиром Потоповым¹, вызвана у меня отчасти тем, что век таких понятий, как «литература андерграунда», «новая волна», «новая молодежная проза», оказался неожиданно коротким. Постепенно выясняющиеся творческие связи «новых писателей» с уже существующими (или существовавшими) в литературе школами и направлениями, по-видимому, гораздо прочнее и принципиальнее, нежели связи, удерживающие этих писателей в их «андерграундном» единении. Бессмысленно рассматривать в едином ряду, скажем, прозу Валерии Нарбиковой, игровую, виртуозную и камерную, и строгую философско-психологическую прозу Леонида Бородина; наследника обэриутов Аркадия Бартова — и Бориса Иванова, как бы вышедшего из городской романтической повести 60-х годов. И все же есть вопросы, по крайней мере один, в котором легче разобраться, рассматривая новых писателей вместе. Это вопрос о внутренней свободе писателя. Но можно ли ставить его применительно к литераторам, для которых главным и творческим и жизненным, определившим их судьбы принципом стала свобода творчества? Собственно (уже по самому определению), это литература тех, кто отказался от работы в официально отмеренном эстетическом и идеологическом пространстве; это литература, создававшаяся — воспользуемся новейшим романтическим клише — в «бойлерных» Москвы, Ленинграда, Свердловска... А также проза, созданная теми, кто увез на Запад свой так и не реализованный на родине дар и публиковался на страницах «Граней» или «Континента», доступных крайне узкому читательскому кругу. Это ведь тоже, в сущности, «вариант бойлерной».

Казалось бы, какие могут быть проблемы у таких писателей с внутренней свободой? Любые другие проблемы — да, но эта?

...Действие повести Бориса Дышленко «Что говорит профессор» («Нева», 1989, № 9) происходит в условном, но очень похожем на наше обществе. «Экстрасенсы», представляющие одну тщательно укрываемую от граждан, но могущественную организацию с не совсем ясными, как бы законспирированными целями, заинтересовались неким профессором — философом и писателем. Они пытаются привлечь профессора к сотрудничеству. Тот отказывается, и тогда «экстрасенсы» начинают преследовать его: слежка, прослушивание телефона и квартиры, попытка выяснить каналы, по которым профессор отправляет свои рукописи в печать, хулиганское нападение на улице и т. д. Однако все могущество тайных хозяев страны оказывается бессильным перед упорством профессора, вооруженного знанием и молчаливой поддержкой творческой интеллигенции. Финал повести трагичен и оптимистичен. «Экстрасенсы» убивают профессора, инсценировав естественную смерть, убивают, поняв, что им не совладать с той силой, которую представляет профессор.

Вот повесть, писавшаяся свободно, без оглядок на цензора и редакторов (она закончена в 1985 году) и притом с глубокой серьезностью. Однако сегодня повесть эта читается как банальный комментарий к недавнему прошлому, не более того. Как ни парадоксально, но недолговечность ее определилась как раз тем, что еще пять лет назад могло принести ей популярность: узнаваемостью в созданной автором фантастической картине знакомых нам ситуаций. Узнаваемость здесь такова, что читатель невольно начнет прикидывать, кто конкретно мог послужить прототипом для профессора. Символа, многозначного объемного художественного образа не получилось. Вместо него плоская аллегория: борьба карательных органов со свободомыслящим интеллигентом...

Еще один автор девятой «Невы» за этот год (номер журнала отдан полностью, как сказано в редакционном врезе, авторам «второй литературной действительности») —

¹ Владимир Потопов, «На выходе из „андерграунда“» («Новый мир», 1989, № 10).

Игорь Долиняк — представлен повестью «Прогулка в дурное общество». 1952 год: некто Ерофеев, человек мягкий и деликатный, институтский преподаватель общественных наук, читает перед рабочими лекцию. Почти искренне, убежденно говорит он о высокой нравственности советского человека, о его миролюбии, свойственном даже советским уголовникам. И так случилось, что в тот же вечер Ерофеев случайно сталкивается с жаждущей крови компанией бандитов в глухом, безлюдном месте. Герой обречен. Но после нанесенного ему смертельного удара он почему-то приходит в себя живым и невредимым в каком-то незнакомом ему помещении. Ерофеев пытается понять, где он, как сюда попал и что произошло с его памятью: ведь он отлично помнит, что вчера его убивали на пустыре, но при этом точно знает, что дожил до 1976 года вполне благополучно, читая свои лекции и заведя кафедрой, вплоть до тяжелой болезни, уложившей его на операцию. И в этот момент перед Ерофеевым появляется некто. Это дьявол, объясняющий герою, что тот умер во время операции, сейчас находится в аду и ему предстоит нести наказание за ложь, которой он служил всю жизнь. Наказание особое — испытать на своей судьбе все те тезисы о гуманности и справедливости нашего общественного устройства, которые развивал Ерофеев с кафедры. Встреча с бандитами — часть этого наказания. И вот герой снова видит себя в том же самом 1952 году идущим на демонстрации, а сквозь толпу уже пробиваются к нему «двое в габардиновых макинтошах и черных шляпах», чтобы произнести зловещее: «Пройдемте с нами».

Рассказ помечен 1978 годом. Как и повесть Дышленко, он явно не был рассчитан на скорую публикацию. Однако до того времени, для которого он как бы предназначался, рассказ не дожил. В контексте современной литературы мысль рассказа выглядит прямолинейной и плоской. С ним произошло то же, что и с повестью Дышленко.

Но почему? Ведь оба автора — безусловно одаренные писатели, оба, повторяю, были совершенно свободны от идеологических и эстетических ограничений в обращении со своим материалом. Оба взяли запретные или полузапретные тогда темы, оба воспользовались свободой в выборе художественных средств: у Дышленко — зловещая фантастичность, гротесковость условного мира, у Долиняка — вольное обращение с художественным временем, переброс героя из реального мира в условный и т. д. Почему при таких стартовых возможностях такой результат?

Давайте внимательно присмотримся к тому, как распорядились свободой эти авторы. Следуя за персонажами повести Дышленко, читатель убеждается, что все задействованные автором средства иллюстративны, что мысль о неподвластности свободного духа голый силе оказывается полностью исчерпанной задолго до патетической развязки. Автор воспользовался возможностями условной, обобщенной манеры повествования, но не как средством проникнуть внутрь своего материала, а как средством эзопова языка. Получилось движение от общего, вневременного к частному, временному. Многие в повествовании Дышленко как бы рассчитано на разного рода аллюзии. И в конце концов мы будем вынуждены признать, что все содержание вещи, ее функция сводятся к тому, чтобы проинформировать читателя о наличии в реальной жизни нашего общества подобных сюжетов.

То же, по сути, у Долиняка. Условность и символичность, вместо того чтобы развернуться, показать богатство заложенных в выбранном им сюжете смыслов, используются для однозначного комментирования ситуации.

Иными словами, в произведениях этих двух писателей мы сталкиваемся с развитием образа, прямо противоположным тому, что содержит проза художников, печатавшихся в стесненных условиях цензуры, скажем, у Ю. Трифонова или Б. Можая. Вспомним характерные для этих писателей зачины: «В июле мать Дмитриева Ксения Федоровна тяжело заболела... Вот именно тогда... жена Дмитриева затеяла обмен: решила срочно съезжаться со свекровью...»; «Федору Фомичу Кузькину, прозванному на селе «Живым», пришлось уйти из колхоза на фролов день». Писатель начинает с как бы частного социально-бытового факта и строит, развивает его образ так, что сквозь конкретику отчетливо выступают вечные для искусства темы (я уж не вспоминаю здесь мощно работающую символичность в прозе Т. Пулатова или В. Маканина). Иными словами, от ограниченности конкретного факта, явления — к безбрежности его смыслов, к свободе его художественного осмысления.

Парадоксальнейшая ситуация: «несвободные» писатели оказываются достаточно свободными в выбранном ими пространстве художественного исследования жизни, а писатели «андерграунда», вольные художники в ничем не стесненном, ничем не ограниченном пространстве — пишущие в стол! — выбрали эзопов язык. Так кто же на самом деле свободен? Я думаю, что разобраться в этом вряд ли поможет заявленная в современной критике не-

хитрая схема: раньше была несвобода, и поэтому талантливые писатели вынуждены были говорить эзоповым языком. Отсюда, дескать, и усложненность повествовательной манеры, художественной формы, скажем, у Платонова или Булгакова. Но вот сейчас во всей нашей печатной литературе происходит «смена языка», теперь писатель может говорить обо всем открыто и, значит, обретает подлинную свободу творчества... Да, разумеется, цензурные запреты в литературе десять и двадцать лет назад были, — они искорежили не одну литературную судьбу, напротив лишили жизни нашу историческую публицистику, отрезали от нас русских философов XX века и т. д. и т. д. Но утверждать, что они полностью лишили нашу литературу жизни, что они проникали в ту глубину художественного исследования, на которой работали и Трифонов, и Искандер, и Маканин, и Пулатов, и Ким, что эти запреты влияли на самое существо их творчества, мне кажется, было бы несправедливо. Я уверен, что, скажем, язык прозы Платонова как раз и предназначался для тех категорий бытия, которые он исследовал. Сводить все это к способу кодирования некой запретной информации нельзя. Лучшие писатели обладали и тогда средством для прорыва сквозь внешний, общедоступный облик реальности к сущному в ней, к бытийному.

Давайте представим себе такую невероятную ситуацию: рассказ Долиняка появляется в печати в 1978 году, на фоне уже известной прозы Шукшина, Битова — автора «Уроков Армении», Трифопова, опубликовавшего «Другую жизнь», Искандера с его поразительным по внутреннему бесстрашию и горечи «Морским скорпионом» и т. д. Разумеется, Долиняк обратил бы на себя внимание, но главным образом дерзким нарушением тематических границ. А вот внес ли бы его рассказ ощущение свободы в литературу, не уверен. Возможность говорить обо всем — это еще не свобода творчества, это скорее одно из ее условий.

На фоне сегодняшней борьбы за гласность, за свободу художника сказанное мною может, наверно, показаться ретроградным. Что за претензии к людям, отказавшимся от компромиссов, мужественно противостоявшим недавней ситуации самим фактом одинокой упорной работы, почти без надежды на аудиторию? Ведь невозможно требовать от писателей полной свободы от своего времени и его обстоятельств.

Но речь о другом: искусству нет дела до того, насколько тяжело прошла история по твоей судьбе, до твоих счетов со временем. Каким бы мощным ни был гражданский темперамент художника, какой бы благородной и нужной ни казалась ему деятельность в сфере гражданской проблематики, говорить-то ему полагается не только от имени своего времени, но и от имени всех времен. Ибо одна из главных функций искусства — воплощение и передача обществу ценностей, рожденных духовной жизнью, духовным напряжением десятков поколений.

Писатели, о которых шла речь выше, свою гражданскую и человеческую независимость отстаивали, сохранили. Но вот независимость художника — нет. Обстоятельства подмяли их не с той стороны, с которой велась оборона, а зашли с тыла. Борясь с навязывавшейся ангажированностью, «антиофициозные» авторы впадают в ангажированность другую — разумеется, добровольную, благородную, но тем не менее лишающую их произведения долговечности.

«Вольный художник» — сложное и противоречивое понятие. Оно подразумевает столько же воли, сколько и неволи. Неволи, которая всегда сладостна для писателя, сознающего, что он подчиняется в своем творчестве чему-то, что более значительно, чем он сам. И воли подчиняться именно этому, именно своему писательскому предназначению, а не кому-то или чему-то со стороны.

Абсолютно свободным художником считает себя живущий в Париже Эдуард Лимонов, уже добившийся европейской известности. С его творчеством можем теперь познакомиться и мы — одновременно в Москве и в Париже опубликована его последняя повесть «...У нас была Великая Эпоха».

Внешне это вполне традиционная для русской литературы книга. Рассказ о послевоенном детстве: мама, папа, коммуналка в Харькове, родственники, сверстники, круг интересов семьи, ее уклад и т. д. Проза, обладающая своеобразным обаянием раскрепощенной, даже несколько своевольной речи.

Итак, повесть о детстве, повествование как бы открытое, бесхитрое, приглашающее читателя к собственным воспоминаниям, к погружению в тот уже почти ушедший мир. Но вот погружения этого как раз и не получается, мир, возникающий под пером Лимонова, обладает странной, не сразу осознаваемой непроницаемостью, в нем как будто

не хватает пространства для жизни конкретного реального человека. Повествование уподобляется непомерно затянувшейся ремарке к пьесе, которая все никак не начнется. Автор не сбивается с чуть ироничной интонации, даже обращаясь к самому интимному, задушевному, — странная бесстрастность и отстраненность при наличии почти всех атрибутов взволнованного лирического повествования.

И еще одна странность этой прозы — необъяснимая поначалу обстоятельность в описаниях тех примет времени, которые и так хорошо знакомы читателю. Ну, скажем, зачем так подробно объяснять, что такое русская шинель или что такое барахолка? Или, например, зачем доказывать нам, что основная тяжесть последней войны легла на русских, а не на англичан или американцев? Это кажется странным, пока не начинаешь понимать, что основной адресат повести — западный читатель, в представлении которого повседневный быт советских людей предельно фантастичен и угрюм. Видимо, поэтому реалии нашей жизни автор так часто объясняет через их западные аналоги. Скажем, атмосферу вечеринки в коллективе армейской художественной самодеятельности сравнивает с атмосферой «ночного клуба, какого-нибудь „Крейзи Хорс салуна” или „Распутина”». Или вот образ калеки: «...бюсты на деревянных постаментах, снабженных подшпинниками, — первые «роллер-скейтэрс» в мире, — советские безногие калеки». И т. д.

Ориентированность на восприятие своего западного читателя сказывается и в тональности повествования Лимонова. Странно легко, непривычен для нас тон, в котором пишет автор о войне. Для него как будто не существует того трагического звучания этой темы, которое до сих пор ощущается в духовном климате нашего общества и которое определенным образом окрашивает обращение с ее реалиями в нашей литературе. С войной он «накоротке»: «Дедовские страсти привели его в поле под Ленинградом. И сгинул он в поле, вспаханном так круто немецкой артиллерией, почище Вердена, говорят, было вспахано это поле, что невозможно было найти ни единого дедовского куска. То есть кусков было много, больше, чем нужно, но кому они принадлежали, определить было невозможно...»

Ну допустим, что война незнакома Лимонову, это могло бы объяснить проявление некоторой душевной бестактности. Обратимся к пережитому автором: мать, отец — детство. Однако при обилии деталей из жизни родителей внутренняя дистанция, на которой автор держится от изображаемого, остается прежней. «Мама Рая выглядела сногшибательно. Она зачесала волосы волной на одну сторону, встала на каблуки и надела новый костюмчик... оригинальный, узкий в талии и широкий в плечах „а-ля Дина Дурбин или Марика Рокк”» — автор даже и не попытался почувствовать себя тем ребенком, которым увидел маму на празднике: «сногшибательная», «оригинальный костюмчик», «а-ля Дина Дурбин» — это уже восприятие сегодняшнего ироничного и удаленного от того времени Лимонова.

Последуем за авторским взглядом дальше. Вот сценка: дети, пораженные убогим видом пленных немцев, спрашивают у соседа-старшины, как могли такие дойти до Сталинграда, почему их не победили сразу. «„Гэ-гэ, — засмеялся почему-то Шаповал. — Русскому человеку, чтобы раскататься, время необходимо. Но уж если раскатается, тогда — держись, враг!” И протерши жилистую, набухшую венами солдатскую ногу рукой (на этих ногах он дошел до Берлина), старшина стал аккуратно заматывать ее портянкой». Если бы не привычная доля иронии, это была бы картинка для плакатного кича 50-х годов. Она вполне отвечает всему колориту повествования, рисующего послевоенную страну в стиле, создаваемом на наших глазах Лимоновым, — стиле «а-ля советик». Для этого стиля как раз органичен вот такой солдат с портянкой, с ногой, дошедшей до Берлина, произносящий с «народной», с «эпической» простотой такие простые и понятные слова о русской душе.

В том же стиле Лимонов рисует образ Великой Эпохи. Это словосочетание он употребляет, конечно, с иронией. Но с иронией над теми, кто захотел бы скорректировать такое определение. В облике Великой Эпохи — в скудном, аскетичном, полуголодном, полураздетом времени, но времени судьбоносном для страны и мира, с суровыми, но справедливыми людьми — автор видит много импозантного. Автору импонирует даже ее жестокость. И образ этот держится не только на импрессионистических зарисовках быта и типов. Повесть содержит и его идеологическое обоснование: это бестолковый мятежный народ и железный Кесарь над ним. Кесарь мудр и суров: «Нелегко было сразу заставить военных, прошедших с оружием пол-Европы, опять быть смиренными и послушными... вооруженный бандитизм был... нормальным явлением. Именно поэтому Сталин ввел в 1949 году смертную казнь... С большим трудом к середине пятидесятых... стягивая все туже и туже солдатскую вольницу, вернули довоенное послушание».

С солдатами, знаете, вообще нельзя без строгости. У нас почему-то военные писатели обходят тему заградотрядов. А чего стесняться, дело-то простое: оказывается, немцы на передовой смущали покой наших солдат, запуская через громкоговорители лирические песни в исполнении искусительных голосов русских певиц, и, дабы «солдатские сердца менее склонны были искуиться призывами русской девки, за спинами солдат варили свои каши заградительные отряды». А что? Весьма эффектное и, видимо, доступное потенциальному читателю Лимонова объяснение.

С народом нужно только так. Дик уж очень этот народ. Автор рассказывает, как в голодном послевоенном Харькове люди ходили на сельхозвыставку посмотреть на забытые ими молоко, мясо и прочие продукты. Если отвлечься от авторской подачи материала, картина возникает жутковатая, вызывающая боль и сострадание, голодные идут смотреть на недоступную им еду, идут толпами, сметая на своем пути не только солдат из оцепления, но давая друг друга... У Лимонова же свой угол обзора. Алчные взгляды граждан на свинью с поросятами вызывают у него отвращение («канибальи взгляды»), как и вообще бесжолковость, неуправляемость толпы, — автор бережно переносит в повесть слова офицера из оцепления: «...следует вооружить хотя бы нескольких солдат в каждом взводе дробовиками с обрезанным дулом... отличное средство для разгона». К функции солдат оцепления автор относится с пониманием: «Сказать, что обслуживающие овец овчарки и настухи не нужны стаду и противны природе вещей, значит сказать глупость».

В этой же системе нравственных координат дано, например, такое замечание по поводу купленного на барахолке трофейного детского костюмчика: «У автора нет никаких слезливых чувств по поводу оставшегося без костюмчика немецкого мальчика, как не было таковых чувств у русского народа в ту пору. Солдат должен брать в покоренных городах свою солдатскую долю добычи — мизерная плата за то, что он играет со смертью каждое мгновение». Текст здесь как бы играет с читателем, как бы дразнит своей двусмысленностью, рискованностью, балансированием на грани с безнравственным, и если даже автор переступает эту грань, все отыгрывает ироническая интонация, смазывающая буквальный смысл произнесенных слов. Ну действительно, ведь речь у Лимонова идет не об оружии, снятом с убитого врага, а о трофее другого рода — костюмчике, отнятом у немецкого мальчика вооруженным грозным пришельцем. С точки зрения сегодняшней морали — мародерство. Но кому захочется быть ригористом в такой деликатной ситуации. Одно дело — громкие лозунги, памятник в Трептов-парке, другое — реальная жизнь и ее понятия, которые всегда, или почти всегда, ближе к правде. И автор-то говорит, в сущности, правду — никаких сомнений по поводу подобных трофеев у людей того времени, той ситуации не было. И это, наверно, естественно. Но ведь пишет-то наш современный, человек, как и мы, живущий в обществе с уже давно другой, принадлежащей мирному времени шкалой нравственных оценок. И все же серьезность, с какой следовало сказать автору, что текст его выглядит безнравственным, что русские солдаты пошли на ту войну не за добычей и потому слова о праве «брать в покоренных городах свою солдатскую долю добычи» могут быть оскорбительны для них, — вот эта серьезность по отношению к лимоновскому тексту может выглядеть даже комичной. Ведь автор-то вроде как и не всерьез пишет. С иронией.

Но что это за ирония, над чем? Давайте разберемся в ее характере — это ведь важно и для понимания авторской позиции. Думаю, легко представить реакцию современного читателя, давно снявшего розовые очки, уставшего от трескотни громких слов, на речь, произносимую с пафосом, торжественно, высокопарно. Скорее всего такой реакцией будет некоторая конфузливость и неловкость за произносящего речь. Возвышенная манера говорить порядком скомпрометирована. И в подобной ситуации очень выигрышной была бы легкая доля самоиронии оратора, как бы извиняющегося ею за торжественность своей позы. Подобная ирония не снижает, напротив — снимая недоверие к говорящему, она в конечном счете усиливает пафос. Характер самоиронии Лимонова именно таков. На самом-то деле, несмотря на лукавую игру со смыслами, на постоянную ироничность автора («...У нас была Великая Эпоха»), это повествование, проникнутое пафосом. Пафосом блудного сына, который «взбунтовался против родителей и в конце концов покинул их. Он не сходил с ними во взглядах на семью, на общество, на политику, на государство». Однако с годами повествователь осознает, что он «не только плоть от плоти и кровь от крови... российских деревень, но и дух от духа их». Чему учили его родители? «Тому же, чему учат детей крестьяне Бургундии, Рейна или фермеры Миссисипи». Безотказное средство завоевать симпатии читателя, в особенности западного, пережившего уже возвращение «бунтующей молодежи» под отеческий кров. И потом, уже можно с покоренным чита-

телем и поиграть в разные пикантные игры, например дать соответствующий портрет Сталина, или воскресить предписанную тогдашней государственной идеологией мораль, слегка подсмеиваясь над читателем отечественным с его нынешней серьезностью и непримиримостью и над простодушной доверчивостью западных читателей, поверивших Домбровскому и Шаламову. Можно даже поиронизировать над своей ролью певца Великой Эпохи. Но до известных пределов. Роль блудного сына, возвращающегося к родному очагу, к ценностям своего детства, объясняет. «Эта книга — мой вариант Великой Эпохи. Мой взгляд на нее. Я пробился к нему сквозь навязанные мне чужие. Я уверен в моем взгляде».

Как относиться к такому вот неожиданному воскрешению, казалось бы, окончательно скомпрометированного нашей историей мифа? Думаю, что относиться всерьез глупо. Отнесемся так, как сам Лимонов. А чтобы уточнить, как именно, обратимся к самой фигуре писателя. (Он дает для этого право, сделав собственную жизнь содержанием почти всех своих книг, превратив ее в факт литературы.)

Моментом переломным и для судьбы Лимонова и для его творчества стала эмиграция в США в 1974 году. Молодой, известный в литературных кругах поэт с красавицей женой отбывает за рубеж. Первое потрясение он испытывает немедленно — «уже находясь в Вене, я сразу понял, что нам продали не то, что мы хотели купить» (из интервью² с Лимоновым, 1983). Второй удар его настиг уже в США — от него уходит жена. Сдвоенный удар страшен. Болью от него и написана первая прозаическая книга Лимонова «Это я — Эдичка». Книга о крахе надежд, об измене жены, о том, что вместо жизни «национального героя» и «крупнейшего современного русского поэта» в изгнании — бесконечно чужая страна, одиночество, поденная работа «на дне», тяжелая борьба за существование. «Это я — Эдичка» — исповедь Лимонова. Но исповедь особого толка — исповедь-вызов: может, я и противен вам, может, я и омерзителен, но люблю я себя таким и мне плевать, что обо мне подумает мир.

Что касается драмы героя как литератора, то Лимонов клеймит заманивших в Америку и обманувших его — «западную пропаганду», «наших Духовных Вождей» и т. п. А на что, собственно, рассчитывал он, полагающий себя крупнейшим национальным поэтом и при этом уезжающий в чужую страну, с чужим языком, чужой культурой, образом жизни? И наконец главный вопрос, который вызывает чтение этой книги: а зачем, собственно, приехал герой на Запад, для чего ему как писателю обретаемая такой страшной ценой свобода? То есть с каким делом ты приехал? Судя по тексту, вот на этот вопрос, кроме вполне бессодержательного «за свободой приехал», герой ответить не в состоянии. О том, что у писателя может быть своя миссия, свой долг перед отечественной и мировой культурой, которые вынуждают при известных обстоятельствах на такой шаг, герой, видимо, не подозревает.

Иными словами, для той драматической напряженности, которую пытается создать автор «Эдички», явно недостаточно энергии, заключенной в самой ситуации. И, чтобы обострить повествование, в ход идут крайние средства: эпатажирующая размашистость политических суждений, поразительная плотность употребления матерных слов и, наконец, эксгибиционистская откровенность в описании сексуальной жизни героя, его жены и окружения. Средства эти, подкрепляя не соответствующий такому надрыву сюжет, оставляют впечатление не силы, а слабости, которая тщится выгладеть силой. И еще — если герой исповеди так презирает окружающий мир, зачем же он перед ним обнажается? Вопрос неизбежный и, увы, предполагающий, видимо, только один ответ, до обидного незамысловатый: потребен имидж. Нужно обратить на себя внимание западного читателя, чтобы выделиться в толпе русских, уже начавших выходить из моды со своими бесконечными разговорами о лагерях, о тоталитаризме, о судьбах страны и мира. Ведь, по сути, главное, что движет героем в повести, это стремление выжить, пробиться сквозь равнодушие, вырваться из безвестности. И Лимонов пробился именно этой книгой. Исповедь его, не вызвавшая особой признательности у русских читателей, исключая, впрочем, «Литературную газету»³ (уж очень хорошо монтировался созданный Лимоновым образ с бывшими тогда в ходу типами эмигрантов из статей Цезаря Солодаря), заставила раскошелиться западных издателей и читателей, привлеченных еще одним изгибом загадочной славянской души. На ближайшие годы литературные перспективы Лимонова смотрелись обнадеживающими («Мне заказали написать что-то в духе «Эдички» о Франции. Издательство «Рамзей» заказало» — из интервью 1983 года). Но имидж, каким бы эффектным он ни был, надо обновлять. Возможно, что на эту мысль навел Лимонова успех его книги «Подросток Савенко»: «Книга

² А. Мирчев. 15 интервью. Нью-Йорк. Изд-во А. Платонова. 1989.

³ «Литературная газета», 1980, 10 сентября.

была интересна тем, что... французскому читателю предстала жизнь советской провинции, не политизированная вовсе... Это их удивило, потому что после (десятилетия диссиденты рвали рубахи на груди, уверяя всех, что приехали из ада) вдруг вот они прочли, что в тоталитарном обществе столько, оказывается, типов людей, жулики, преступники, слушающие Элвиса Пресли... Обо мне в связи с этой книгой даже сняли телевизионный фильм...» «Планы? Хочу перескочить в следующий социальный класс: стать писателем мне удалось, хочу стать хорошо продающимся писателем и хочу сделаться персоналитом» (из интервью 1988 года). И вот заявлен новый имидж Лимонова: вы что-то там сильно ополчились на Сталина, на органы, у вас теперь в моде идея покаяния, так вот вам — у нас была Великая Эпоха, как раз та, по поводу которой вы сейчас собираетесь каяться! Действительно, на фоне русской литературы зарубежья такая поза способна остановить взгляд.

Как на это реагировать? А никак не надо. Все очень просто: автор сменил имидж. Лимонов сообщает, что ему привезли «нелегально из Союза Советских в чемодане две шинели». «Автор надел шинель с погонами «СА» и ходит в ней по Парижу счастливым».

Признаться, ситуация с Лимоновым даже способна как-то удручить классическим подтверждением того, что нельзя, мол, жить в обществе и быть свободными от общества». Цель его — понять, на что есть спрос, и повернуть, приспособить то, что ты знаешь и умеешь, таким образом, чтобы спрос этот удовлетворить. Поэтому, если есть спрос у западного читателя на Великую Эпоху, будем писать про нее, упадет спрос — напишем про другое.

Свободен ли Лимонов? От наших канонов, наших запретов — да, разумеется. Он отказался от «ужасающе серьезных, тягумных» традиций русской литературы. Он может позволить себе все что угодно. Но... в известных пределах. Пределы четко обозначены — это необходимость постоянно оглядывать себя перед зеркалом прессы: как я смотрю, сохраняю ли прежний «товарный вид»?

Столь подробный разбор книги Лимонова в нашей статье вызван тем, что подобная разновидность внутренней несвободы — новое явление для нашей литературы. Но, увы, наметившийся сегодня процесс коммерциализации художественной литературы, похоже, может сделать такой род несвободы распространенным.

Ну а все-таки для чего нужна свобода творчества? О чем и зачем писать писателю? Мне кажется, какой-то наводящий ответ содержится вот в этом высказывании: «Наша нынешняя трагедия заключена в чувстве всеобщего и универсального страха, с таких давних пор поддерживаемого в нас, что мы даже научились выносить его. Проблем духа более не существует. Остался лишь один вопрос: когда тело мое разорвет на части? Поэтому молодые писатели наших дней — мужчины и женщины — отвернулись от проблем человеческого сердца, находящегося в конфликте с самим собой, — а только этот конфликт может породить хорошую литературу, ибо ничто иное не стоит описания, не стоит мук и пота... Они должны убедить себя в том, что страх — самое гнусное, что только может существовать, и, убедив себя в этом, отринуть его навсегда и убрать из своей мастерской все, кроме старых идеалов человеческого сердца — любви и чести, жалости и гордости, сострадания и жертвенности, — отсутствие которых выхолащивает и убивает литературу». Сделаем поправку на нашу отечественную историю, может быть, более жесткую и всезасасывающую, нежели стиль жизни и быт американского городка Оксфорд, где писались Фолкнером эти строки, и согласимся с тем, что в основе любого настоящего произведения — жизнь человеческого сердца.

Вот два писателя из тех, кого можно отнести к «андерграунду», — Вениамин Ерофеев и Борис Вахтин. Они имеют дело с разным жизненным материалом: у Вахтина в повести «Одна абсолютной счастливой деревня» («Нева», 1989, № 9) — история русской деревни, у Ерофеева — жизнь городского дна. Материал этот почти одинаков по своей, если можно так выразиться, экстремальности, по способности подчинить себе писателя, поднять его стиль, манеру, пафос. Однако и Вахтин и Ерофеев остаются самостоятельными, независимыми художниками, решающими вопросы не быта, но бытия.

В своей повести Вахтин тоже дает вариант Великой Эпохи, прокатившейся по русской деревенской жизни. История, поведанная героями повествования — Михеевым, Полиной, рекой, колодцем, огородным пугалом, землей, — простая и вечная. Любовь Михеева к Полине, их свадьба накануне войны, гибель Михеева, сиротство его сыновей-близнецов, тяжелая жизнь деревенской вдовы. Художественная свобода Вахтина от этого материала не в том, что он подчиняет его своей мысли, борется с ним, напротив — писатель стремится проникнуть вглубь, доискивается до того, на чем держится эта жизнь, что застав-

ляет двигаться, жить, работать вконец измученную Полину, что дает силы этой деревне сохранить себя, а не просто выжить. А в истоках этой силы все те же любовь и честь, сострадание и жертвенность. В повести, выполненной в очень своеобразной манере — это как бы старинная русская песня, исполняемая на разные голоса, печальная, озорная, скорбная, радостная, — автору удается показать саму природу этих понятий, природу силы, которая обитает в Полине, в Михееве, в деревенском философе деду. Вахтин видит прямую связь между нравственным бытием героев и тем естественным круговоротом вещей и явлений, в который вовлечены жители деревни, который часть их жизни. Автор, например, почти демонстративно отказывается от привычной мотивации в привычной для нашей литературы сцене: Михеев наутро после свадьбы, узнавший, что началась война, спешно принимается за сборы. «Газет ты начитался... — упрекает Полина молодого мужа, — вот и лезешь первый...» «Слово тебе даю, не вчитывался я в газеты... Не хочу я там стать героем...» Просто случилась беда, и с ней надо справиться побыстрее, чтобы жить дальше, по хозяйству работать, жену любить; «потому и тороплюсь сейчас, чтобы поскорее его (военное дело. — С. К.) делать начать и поскорее кончить и к тебе вернуться, и тогда нам никто помешать не сможет, и будем мы жить, как хотели, даже еще лучше, потому что оба сильно наскучаемся, нестерпимо так наскучаемся, вот и сейчас я уже скучать начинаю». Мир, который воссоздает Вахтин, далек от абстрактных категорий, а точнее сказать, категории эти проверяются у него естественной правдой жизни. Собственно, герои тем и заняты, что пытаются понять, связать в какую-то систему то, что с ними происходит. А мысли в них живут, утверждает Вахтин, «простые... похожие на корни деревьев, отнюдь не запутанные, потому что нет ничего в корнях запутанного, запутывается в них только невежественный человек, а дерево в них не запутывается... Оно пускает корни со смыслом, на нужную глубину и вширь по потребности...».

Не углубляясь в содержание пьесы Вениамина Ерофеева «Вальпургиева ночь, или Шаги командора» («Театр», 1989, № 4), отмечу и здесь свободу обращения автора с материалом, который того свойства, что на литературно-критическом жаргоне именуется чернухой, — действие происходит в психиатрической больнице в отделении для алкоголиков. Режим жизни, установившийся здесь, практически ничем не отличается от режима лагеря или тюрьмы: полный произвол медперсонала, не церемонящегося с «отбросами общества», свои «паханы», свои надсмотрщики, пыточных дел мастера. Было бы очень легко найти в сгущенных образах пьесы аналогии с некоторыми чертами «нормальной жизни» за стенами больницы. Но для Ерофеева этот самый наружный и очевидный слой — не более чем исходные условия, в которых происходит действие. В силу этих условий пациенты, живые люди, принуждены испытывать давление персонала — некой разновидности биороботов, созданных социальными обстоятельствами, существ, не способных к размышлению, к рефлексии. (Единственное исключение автор делает для медсестры Натали, воплощающей в пьесе почти неосмысленную, не осознающую себя энергию красоты и женственности.) Основная же драма, драма идей, происходит между сведенными в одну палату героями — остро думающими людьми, типами, представляющими как бы разные срезы нашего общественного сознания. И вместе с тем персонификация этих идей у Ерофеева предельно заострена, гротескна, ведь их носители — полусумасшедшие алкоголики.

Искусство создает — и в этом его назначение — собственную реальность. Так, вино, имеющее исходным материалом виноград, перебродив, теряет вкус и другие натуральные свойства винограда, но именно в этом своем новом качестве оно и способно сохранить энергию винограда.

Ставка только на «сопротивление», на язвительный комментарий к реальности утрачивает ныне свое обаяние. Способными жить, работать в новом литературном пространстве, в нашем новом времени оказываются вещи с более позитивным, преобразующим заданием.

Увы, в нашей критике уже закрепился стереотипный образ писателя «андерграунда», обязательно бунтаря, ниспровергателя, посягающего на самые основы литературных традиций. Никак не вяжется с этим стереотипом, скажем, творчество Юрия Карабчиевского, одного из самых заметных писателей вчерашнего «андерграунда». Этот писатель традиционен во всем: в своей повествовательной манере, в выборе тем, в бережном, я бы сказал, болезненно-взыскательном отношении к слову, в стремлении к предельной точности и экономности средств для выражения мысли, чувства, их оттенков. В технике его прозы чувствуется школа мастеров 20—30-х годов, а в этическом, нравственном содержании это прямое продолжение традиций русской литературы XIX века. И свидетельство этому его по-

весть «Тоска по Армении» («Литературная Армения», 1988, № 7—8), продолжающая традицию, связанную в русской литературе XX века с именами Мандельштама и Битова. Повествование, сосредоточенное на теме Дома. Дома армян и Дома русских, Дома вообще. Это органичная тема для Карабчиевского, представляющего в нашей литературе душевный опыт поколения, может быть, первого в нашей истории относительно благополучного в житейском отношении, но хранящего где-то очень глубоко, на уровне «генного сознания», образ обледенелой трубы над обугленными остатками Дома, образ XX века, пропитанного едким запахом гари, запахом бездомности, кочевья, несчастья. И вот оказавшись в Армении, всматриваясь в современные черты, уклад страны, автор ощутил сохранившееся, несмотря на все ветра, продувавшие наш Союз нерушимый в последние десятилетия, тепло национального, народного очага, у которого можно согреться и хозяевам и гостям. И быть может, даже не само тепло национального очага, но потребность в нем, тоска по нему — одна из тех ценностей, которые прошедший опыт переводит для нас в ценности главные...

Почему проза этого писателя, обязанного репутацией «мятежника» своей талантливой и, по сути, традиционно гуманной книге «Воскресение Маяковского», так же как и проза Вениамина Ерофеева (или Саши Соколова, Бориса Вахтина и других), квалифицируется как авангардная, модернистская, как проза, разрушающая основы? Видимо, со вчерашним «андерграундом» все еще связаны весьма определенные ожидания — вот этой только бунтарской роли. Такой подход к литературе как раз и предполагает в свободном, вольном художнике всего лишь волю обслуживать свое время, свободу комментария, не более.

Но есть надежда, что сегодня, когда ореол принадлежности к «андерграунду» рассеивается, вместе с ним растает и плоский, одномерный образ «борца за свободное слово» и литература наша займется тем, для чего, собственно, она и предназначена, — постижением человеческого бытия.



ЖН ИЖН ОЕ ОБ ОЗ РЕЖИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

*

ПОЛИТИКА И НАУКА

Вс. Вильчек. За гребнем успеха.

Политика и наука

ЗА ГРЕБНЕМ УСПЕХА

Постижение. Социология. Социальная политика. Экономическая реформа.
М. «Прогресс», 1989. 591 стр.

Человек выше сытости, но лишь тогда, когда он сыт и уверен, что вскоре не начнет голодать. Поэтому я, будучи социологом по профессии, не стыжусь признаться, что начал читать сборник не с первых его статей, содержащих суждения о проблемах социологии как науки, а сразу с той статьи, тема которой равно волнует сегодня и 40 миллионов человек, оказавшихся за чертой бедности, и граждан, желчно острящих, что пророчество про унитазаы из золота не сбылось, но оклеивать туалеты купюрами уже можно. «Материальное благосостояние» — вот эта тема, вынесенная В. А. Лисовым в заголовок. Автор — за ликвидацию начальных привилегий, за социальную справедливость в распределительных отношениях. Все это хорошо. Однако какова центральная идея статьи?

«Имеется опасность потерять приоритет такой важной для социализма ценности, как совершенствование человеческой личности членов общества, в пользу удовлетворения их материальных потребностей... — пишет Лисов. — Опыт построения социализма в советском обществе тем не менее показывает, что и в планировании, и в хозяйственной практике приоритет был явно смещен в сторону удовлетворения материальных потребностей...»

(«Неужели не видите: с жиру бесимся», — как сказал мне один из бастующих горняков.)

С Лисовым в существенных моментах согласен и другой автор сборника, П. Г. Олдак: «Вспомним восприятие жизни 20-х годов. А ведь люди имели скудный — чтобы не сказать нищенский — материальный достаток». Автор уверен, что знает, как снова нас осчастливить: требуется всего лишь осознать, «в ответах на какие фундаментальные проблемы современности мы видим преимущество наших позиций, способность социалистического строя обогнать не догоняя; где будет наш пример, наша гордость?». Суть в том, объясняет Олдак, что мы жи-

вем в эпоху перехода от «предыстории к истории», от стихийного к сознательному развитию. «Иначе говоря, утверждение новой цивилизации мыслится как изменение типа общественного развития, переход к управлению общественным развитием. Последнее возможно лишь в том случае, если будет признан приоритет общечеловеческих интересов над национальными, национальных — над частными».

Словом, автор предлагает нам теорию того самого социализма, какой предстает в романах Замятина, Хаксли, Оруэлла. Благо мы это уже проходили: и про подчинение частного надличному целому, и про управление общественным развитием, неизбежно порождающее Главное Управление...

Сегодня центральной стала проблема частного интереса, частной собственности. Важно постичь теоретические закономерности превращения государственно-бюрократической собственности в общественную, да и просто непредвзято присмотреться к тому, что естественным образом происходит в жизни, где уже появились и частные предприятия и акционерные фирмы. Тревозно звучат голоса о необходимости выровнять «стартовые возможности»... Словом, вопросы, связанных с переходом к рынку и демократической экономике, тьма; логично попытаться найти в сборнике ответы хоть на некоторые из них.

Возьмем статью В. А. Найшуля, которая так и называется: «Проблема создания рынка в СССР». Ученый объясняет, что все у нас общее, а свое выкупать — абсурд. Поделить физически тоже, разумеется, невозможно. Как же быть? Очень просто: напечатать соответствующее нашему всенародному достоянию количество особых дензнаков, бонгов, справедливо поделить их между всеми, чтобы устранить стартовое неравенство, и пусть потом каждый вкладывает свои бонги куда пожелает, становясь совладельцем хоть магазина, хоть автозавода.

Не подумайте, что автор за уравниловку (хотя вопрос о том, равное ли право на общепризнанное достоинство имеют, допустим, младенец и ветеран труда, ученого не волнует). Нет, он против примитивного популизма. Найтуль, например, считает, что номенклатурным гражданам надо дать больше бонусов, чтобы они смогли в смутное переходное время оставаться влиятельными фигурами, чтобы не был потерян их опыт руководящей деятельности. Впрочем, не буду вдаваться в частности. Подобная тотальная приватизация капитала, окажется она вдруг реальной, была бы не энгельсовским вступлением общества в непосредственное владение средствами производства, а впадением в детство. В детство подчас впадают не только люди, но и народы, однако никто еще не впадал в счастливое детство. Но что поделать: раз у ученого есть идея, он имеет право ее свободно высказывать...

Впрочем, что касается плюрализма, на этот счет у другого автора сборника, Л. А. Гордона, есть сомнения, выразившиеся и в названии его статьи: «Возможен ли плюрализм в советском обществе». Вопрос не из легких. Очень острым стал, скажем, спор о многопартийности. Что случится при реальном смещении центра власти к Советам? Не начнется ли конфронтация, кризис? Сохранит ли КПСС доминирующие позиции или превратится в одну из множества сил, конкурирующих на политической сцене? Придем ли мы к многопартийности польско-венгерским или каким-то иным путем (например, через радикальную демократизацию партии и постепенную автономизацию фракций)?.. Но А. А. Гордон не о том. Его интересует, является ли советское общество абсолютным идеологическим монолитом или в нем все же есть и некоторые плюралистические потенции. Не улыбайтесь: социолог Гордон знает жизнь — видел по Ленинградскому телевидению. «Многие из тех, кто подходил к микрофону, установленному на улице, высказывались за создание в СССР социалистической многопартийной системы. Я убежден, однако, что в общественном сознании народа абсолютно преобладает ориентация на однопартийную систему». Тем не менее, успокаивает ученый, перспективы плюрализма не безнадежны. В партии — пока не состоялось голосование — могут быть разные мнения по тем или иным вопросам, даже разные платформы, течения, не переходящие, однако, во фракционность. Вглядываясь в племя молодое, незнакомое, исследователь обнаруживает завязи плюрализма и здесь — например, в молодежных политклубах социалистической ориентации.

Читаешь и думаешь: на севере бастуют, на юге постреливают, на западе колбасу продают по визитным карточкам, в подмосковных домах творчества обсуждают, с помощью каких сепараторов отделить русскоязычную литературу от русской... Узнать бы, в каком заповеднике, в какой райской обители проживает коллега, махнуть бы туда на недельку в отпуск!

Статья С. Ю. Андреева «Наше прошлое, настоящее, будущее: структура власти и задачи общества» занимает в сборнике — как родная державна на карте мира — шестую часть. Но не только в размерах дело. Есть и другие причины поговорить об этой статье.

С. Ю. Андреев задался хорошей целью: проанализировать, почему у нас так плохо идут дела, почему мы отстали, почему превратились — по очень злomu, жестокому, но не лживому определению одного из авторов сборника — в огромный музей истории науки и техники под открытым небом. Вывод, к которому привел исследователя анализ причин провала «косыгинской и других реформ», оказался столь неожиданным, что поверг в изумление самого же автора: «Трудно в это поверить, особенно учитывая наше кондовое убеждение, что в общественных дисциплинах ничего нового открыто быть не может, а Марксом и Лениным сказано все». Опираясь на ленинское определение социального класса, автор открыл, что в советском обществе классов не два (рабочие и крестьяне-колхозники), а три. Третий-лишний — это производственно-управленческий персонал, подпадающий под все характеристики класса: большая группа людей (18 миллионов), отличающаяся от других групп местом в системе производства (управленцы, естественно, управляют), отношением к средствам производства (они их распорядители), источником дохода (казна) и возможностью присваивать труд других. Управленцы, по Андрееву, получают доходы не за труд, а за свое положение, перераспределяя в свою пользу часть результатов труда рабочих. Чем хуже дела в экономике, тем больше нужно толкачей, погонял и т. д., тем прочнее их положение. Поэтому, борясь за свое классовое господство, производственно-управленческий персонал саботирует преобразования, которые могут сократить его численность, прибирает к рукам партийно-государственный аппарат, а в целом укрепляет каркас административно-командной системы.

Открытие выглядит настолько эффектно, а пафос исследователя столь чист и искренен, что, честное слово, не хочется прев-

ращать перо с чернилами в ложку с дегтем. Однако приходится. Хотя бы из чувства жалости к зачумленным мастерам и прорабам, вынужденным закрывать наряды за просушку снега, чтобы «эксплуатируемые» не швырнули заявление об уходе, и ко множеству других управленцев, о которых любой прокурор скажет: «С такой деловой хваткой, с таким чувством нового, с такой заботой о людях — и еще на свободе? Странно!» Примерно то же самое, что у Андреева, только гораздо серьезней, изложено в книге М. Джилласа «Новый класс», известной всем профессиональным социологам мира. Однако и открытие Джилласа было, по существу, не открытием, а лишь прозрением, отвержением догмы, согласно которой в основе классовых различий лежит различное отношение к собственности. Но это отнюдь не марксистская догма. По Марксу с Энгельсом, в основе разделения общества на социальные классы лежит закон разделения труда. Речь не об отраслевом разделении, а о функциональном, которое в прошлом веке представлялось разделением на физический и умственный труд. Сегодня достаточно ясно, что это не так: прораб на стройке или конструктор у кулмана затрачивают не меньше физических сил, чем токарь, работающий на станке с ЧПУ. Но столь же ясно и то, что в любом обществе кто-то должен продуцировать знание, кто-то должен это знание овеществлять, материализовывать, а кто-то должен руководить, поддерживать порядок, стабильность.

Специализация относительно этих трех функций и порождает социальные классы, свои в каждом историческом типе общества. В современном индустриальном обществе это рабочий класс (городской и сельский), интеллигенция (научно-техническая и гуманитарная) и класс управляющих (политических и экономических, которые могут быть и собственниками и наемными чиновниками, менеджерами). У современных классов есть выраженные ядра и многочисленные периферийные группы, сливающиеся друг с другом, весьма неявно тяготеющие к тому или иному ядру. Между классами современного общества нет сословных барьеров, а любой индивид может принадлежать к двум (сельхозрабочий и он же владелец фермы, ученый-администратор и т. д.) и даже (ситуационно) к трем классам одновременно.

Из сказанного следует несколько выводов. Во-первых, коль скоро существование классов обусловлено разделением труда, то классы — отнюдь не зло, с которым надо скорей кончать, а классовая борьба — это

лишь регулятор условий классового сотрудничества. Во-вторых, классовые отношения вовсе не обязательно являются определяющими, основными в обществе; в разных ситуациях доминантными могут становиться национальные, идеологические и любые другие отношения. Но если говорить именно о классовых, то сегодня более актуальными представляются не межклассовые, а внутриклассовые, групповые противоречия, хотя самые жестокие рубежи, вероятно, проходят даже не между группами, а между индивидуумами, более того — по живому, едва ли не в каждом из нас.

Выдвинув «классовое» объяснение нашей стагнации, С. Ю. Андреев спутал следствия и причины. Не производственно-управленческим персоналом создан внеэкономический тип хозяйства, а внеэкономический путь развития, ориентированный не на рынок, а на достижения политических и идеологических целей, превратил управляющих в бюрократию. Конечно, в переходе к нормальной организации общества чиновничество видит для себя угрозу: придется менять привычки, переквалифицироваться. Но не меньшие испытания предостоят большому числу рабочих и очень многим интеллигентам (о чем, кстати, дальновидно предупреждает в сборнике академик Т. И. Заславская).

Не нужно делать из аппаратчиков, функционеров врагов. Неразумная, огульная критика, под огонь которой невольно попадают и те, кто просто честно тянул лямку, заставляет их консолидироваться, создает среду для консервативных движений, способных принимать любую окраску. В народе и так уже ходят слухи о саботаже, хотя, думается, мы пока наблюдаем не саботаж, а анабиоз — типичную реакцию части живых существ на угрозу. Аппарат парализован страхом и неуверенностью, чиновники опустили руки, и этого оказалось достаточно, чтобы начала разрушаться система хозяйства, державшаяся на иерархических и неформальных связях.

Но самое опасное — объяснять наш кризис не фундаментальными причинами (невозможностью развития индустриального производства без органически присущих ему рыночных, то есть капиталистических, регуляторов), а действиями неких враждебных сил. Очень важно понять, что очередные поиски «классового врага» ведут лишь к реставрации той системы, которую мы так хотим реформировать. Эта система не может жить без врагов; она является оборонной, мобилизационной системой и лишь в этом качестве эффективна. Не случайно первой радикальной предпосылкой ее трансформации стало преодоление мифа о враж-

дебном империалистическом окружении. Так надо ли создавать образ врага внутреннего, результатом борьбы с которым может явиться не демократия, а лишь нечто противоположное ей?

...Не хочу, чтобы у читателя создалось впечатление, будто «Постижение» не состоялось вообще. В книге есть несколько сильных и глубоких статей, расположенных как бы вообще в другой системе интеллектуальных координат, знаменующих нечто очень важное: переход от идеологической к объективно-научной парадигме в общественведении. Если, например, в сборнике «Иного не дано» наши беды многими авторами рассматривались как результат отступления от «истинного завета», искажения «идеального плана», то в «Постижении» размышления Б. В. и Г. Я. Ракицких о том, что у нас произошло с социализмом (деформация или перерождение), как и другие подобные схоластические беседы, выглядят уже явным анахронизмом. Социализм мыслится как нормальное общество, то есть общество парламентской демократии, предполагающей идеологический плюрализм и консенсус различных политических сил, основанное на рыночной экономике, с сильными государственными позициями, позволяющими успешно решать социальные, экологические и другие проблемы.

В этом интеллектуальном пространстве естественно звучит в сборнике страстный монолог Л. И. Пияшевой под названием «Контуры радикальной социальной реформы», привлекает внимание острый анализ причин экономического, политического, морального кризиса в статьях А. Г. Вишневского «Социальные регуляторы и человек», Ю. А. Левады «Какие ресурсы сегодня исчерпаны?», Л. Я. Косалса «Монополизм — тормоз развития советского общества», Г. И. Ханина «Почему пробуксовывает советская наука?» (последнюю хочется особо отметить: статья на такую, казалось бы, «специальную» тему написана умно, емко и в то же время ясно и доступно).

Новая система координат предопределила и то, что при анализе прошлого авторов больше интересуют не зловещие персонажи истории, вообще не случайности, а закономерности. Открытием составителей сборника стали, на мой взгляд, С. А. Васильев и Б. М. Львин: их размышления о неслучайности Октября и послеоктябрьского пути развития, равно как и их утверждения о малой вероятности «мягких», растянутых во времени, безболезненных трансформаций системы, представляются мне очень серьезными.

К сожалению, читая сборник, нередко ловишь себя на мысли, что сегодня самая легкая работа в нашем отечестве — быть пророком. Через десять — пятнадцать лет (лишних пять я беру на случай, если одной из дат в нашем календаре окажется 18 брюмера) мы станем нормальным обществом. Историко-философская проблема тут только в том, что велика опасность вновь оказаться самой мещанской страной Европы, утратить исторический смысл бытия, собственный образ жизни, о чем, увы, мало думают «прогрессисты». Но насколько легко ныне быть пророком, настолько же тяжело — политиком, способным описать конкретные механизмы перехода из нынешнего в нормальное состояние. Поэтому заслуживает благодарных слов статья В. Л. Шейниса «Перестройка на новом этапе: опасности и проблемы», содержащая целый комплекс конструктивных идей, хотя и изложенных бегло, скороговоркой.

Оставь составители в сборнике лишь половину из включенных в него тридцати двух статей — получилась бы книжка, возможно, не очень яркая, чрезмерно «занаученная» для ее тиража, но достаточно содержательная и цельная. Так стоило ли мне как рецензенту показывать сборник с невыигрышной стороны? Не лучше ли было бы рассказать о наиболее интересных статьях, отметив в заключение и досадные недостатки?

Тенденциозность моего прочтения объясняется не завышенным уровнем ожиданий и не дефицитом доброжелательности, а реальной опасностью, на которую я хочу обратить внимание. «Постижение» вышло в свет с хорошей рекомендацией: книга представлена читателям как продолжение серии, начатой сборником «Иного не дано», ставшим (при любом отношении к тем или иным статьям) событием в нашей духовной жизни, прорывом публицистики в пространство свободы. И вдруг обнаруживается: мы умеем прорываться к свободе, готовы идти ради нее на жертвы, но единственное, чего мы не умеем, это быть свободными. Свобода оборачивается некой необязательностью, аморфностью, утратой качественных критериев, эклектизмом. Мы настолько привыкли не просто жить, а непременно бороться, что становимся вялыми, скучными, если не встречаем внешних препятствий или не находим врагов.

Мне кажется, «Постижение» нечаянно смоделировало ситуацию, о которой прекрасно сказал С. С. Аверинцев: «Тот, кто не имеет опыта свободы, кто не воспитан свободой, не станет задумываться, где положить для себя самого предел...»

Вс. ВИЛЬЧЕК.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

О НЕКОТОРЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЦИТАТАХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Д. ШОСТАКОВИЧА*

В «Архипелаге ГУЛАГ» (пятая часть) А. И. Солженицын рассказывает: однажды он услышал в заключении старую тюремную песню «Как дело измены» — ее пел эзк Дроздов. «В такой тюрьме, да такую песню! Всё в лад. Всё в лад тому, что ждёт наше арестантское поколение». А в примечании писатель добавляет: «Очень не хватало Шостаковичу перед 11-й симфонией послушать эту песню здесь! Либо вовсе б он её не тронул, либо выразил бы её современный, а не умерший смысл».

Мне хотелось бы поспорить с этим мнением Александра Исаевича и указать на возможность иной трактовки Одиннадцатой симфонии, тем более что в это время я часто виделся с композитором, знал его замыслы.

В Одиннадцатой симфонии композитор ставит перед собой задачу прямого воздействия на слушателя поэтической образностью старых тюремных революционных песен. Самих текстов в симфонии нет, звучат только мелодии, однако популярность этих песен так велика, что вместе с напевами как бы слышны и связанные с ними слова.

В первой части симфонии вспоминаются начальные строфы тюремной песни:

Как дело измены, как совесть тирана,
Осенняя ночка черна.
Чернее той ночи встает из тумана
Видением грозным — тюрьма.

Кругом часовые шагают лениво,
В ночной тишине, то и знай,
Как стон раздается протяжно, тоскливо
— СЛУ-ШАЙ!

Переключка часовых «СЛУ-ШАЙ!» — припев песни — воссоздает тягостную атмосферу тюрьмы, неизбежную тоску узников по свободе. Таково же воздействие и второй песни в первой части симфонии. Вот ее начало:

Ночь темна, лови минуты,
Но стена тюрьмы крепка.
У ворот ее замкнуты
Два железные замка.

Тюрьма Одиннадцатой симфонии — это обобщенный символ неволи. Над мрачной картиной как бы нависает образ тирана с его черной совестью, этот образ открывает и завершает картину.

В последней части симфонии звучит напев известнейшей революционной песни «Беснуйтесь, тираны»:

Беснуйтесь, тираны, глумитесь над нами,
Грозите свирепо тюрьмой, кандалами!
Мы сильные духом, хоть телом попараны!
Позор! Позор! Позор вам, тираны!

Мелодии звучат в симфонии сначала в привычной форме, в дальнейшем же, поскольку они в некотором роде играют роль действующих лиц драмы, получают сложную симфоническую разработку, анализ которой здесь, однако, не входит в нашу задачу. Все же укажем, что эта исключительно содержательная, живая и выразитель-

* Автор заметок Л. Лебединский — музыковед, член Союза композиторов СССР. Им написано около 200 статей о классической и современной музыке и несколько книг, среди которых «Седьмая и Одиннадцатая симфонии Шостаковича» (М. «Советский композитор», 1960). Многолетняя дружба связывала Лебединского с великим композитором. Была и общая работа. Так, Лебединский создал либретто для сатирического «Райка» Шостаковича. (Подробнее об этом: «Эхо планеты», 1989, № 16.)

ная драматическая разработка (как, впрочем, и предшествующая ей экспозиция) ясно дает почувствовать, что произведение посвящено не столько истории, сколько современности.

В 1957 году Шостакович, работая над Одиннадцатой симфонией, ввел в нее песню «Как дело измены» именно в том значении, какое придавали ей эзки, певшие ее в тюрьмах и лагерях. Композитор как бы подхватил это пение, и, поднятая на высоту могучего симфонизма, песня зазвучала не только в нашей стране, но и в городах Европы и Америки. Это было произведение, родившееся в русле того же искусства, что и «Архипелаг ГУЛАГ», заметим, написанное за восемнадцать лет до того, как мир услышал о великом произведении Солженицына. Не все расслышали современное содержание симфонии, но ведь русское искусство неоднократно обращалось к спасительному эзопову языку. И одно лишь напоминание о «совести тирана» («черной, как ночь») наполняло песню-цитату антисталинским протестом и обращало ее вообще против всякой тирании.

Замечание Солженицына о том, что «очень не хватало Шостаковичу перед 11-й симфонией послушать эту песню здесь» (то есть в тюрьме), может быть истолковано еще и в том смысле, что, мол, тот, кто воочию не видел сталинских лагерей смерти, не знал смертной тоски эзков по свободе, не слышал, как поют заключенные, не может придать революционной песне «современный», не «умерший» смысл. Но в отношении Шостаковича это вряд ли справедливо.

Шостакович не был ни в тюрьме, ни в лагерях, но ужас, царящий в них, общая страшная атмосфера тюрем и лагерей переданы им сильно, ярко и правдиво. Дело здесь не только в гениальности Шостаковича, но и в том, что он на протяжении долгих лет, особенно после гибели близкого друга — Тухачевского, — ожидал ареста, а то и казни. Его обостренная художественная интуиция и воображение постоянно воссоздавали атмосферу лагерей, он жил в ней, полный сочувствия эзкам, презрения и ненависти к палачам и тюремщикам.

Истинную — остросовременную — программу Одиннадцатой симфонии автор намеренно прикрыв исторической программой. Но в государстве Сталина произведение, включавшее старые тюремные революционные песни, неминуемо воспринималось не только со стороны исторического содержания; перефразируя пословицу, можно сказать: в доме палача не говорят о веревке. А если все же говорят, и даже громко, и даже поют, это уже протест против палачества.

Но, быть может, современный смысл симфонии был запрятан композитором настолько глубоко, что слушателю было не под силу его обнаружить? Нет, нельзя и этого сказать. В Москве и Ленинграде находились люди догадливые, хотя, возможно, опасавшиеся додумывать свои догадки до конца. «Да ведь это же не ружейные залпы, здесь режут танки и давят людей», — громко сказала одна пожилая слушательница во время первого исполнения симфонии в Ленинграде. Она была права: Шостакович с его всемогущим оркестровым мастерством сумел во второй части симфонии — «9 января» — передать и рев моторов, и лязг стальных танковых гусениц, превратив сцену расстрела толпы в драму восставшего в 1956 году Будапешта. В параллель только что приведенным словам Солженицына: «В такой тюрьме, да такую песню!» — и мы могли бы воскликнуть: в столице, сразу же после 1956 года, когда все еще переживали ужас подавления будапештского восстания, да такую симфонию, с такими песнями и с такой программой! Одиннадцатую симфонию можно назвать произведением освободительного антитоталитарного движения. Помимо таланта и мастерства в ней нашли выражение мужество и ум композитора. Равнодушие, а иногда и прямое недоброжелательство, проявляемое некоторыми советскими музыкантами (в том числе многими его так называемыми учениками) в отношении Одиннадцатой симфонии, явились, на наш взгляд, следствием их художественно-музыкальной и общественной глухоты, непонимания того, что Шостакович выступил в этом произведении создателем до сих пор неведомого, совершенно нового жанра — симфонизма публицистического, политического.

Стремление Шостаковича соединить в музыке лирическое и публицистическое начала четко выражено в 8-м квартете, одном из самых своеобразных, ярких и драматичных.

Первая фраза квартета начинается звуками D, Es, C, H. Это авторская музыкальная монограмма; в русской транскрипции монограмма читается как Д, Ш., то есть Дмитрий.

рий Шостакович. Многочисленными, следующими одна за другой темами из своих произведений композитор как бы восстанавливает главные вехи собственной жизни, одновременно фиксируя внимание слушателей на самых сокровенных и значительных сочинениях, начиная с Первой симфонии, написанной в 1926 году¹.

Но вот слышится траурный напев «Замучен тяжелой неволей» — уже не тема из сочинений Шостаковича, а революционная песня, ставшая народной. Отметим также, что композитор посвятил квартет жертвам фашизма. Таковы объективные данные, характеризующие 8-й квартет. Ясно, что здесь есть элемент «шифровки».

Что такое звучащая вначале нотная авторская монограмма Д. Ш.? Указание композитора на то, что квартет написан о нем самом, что в квартете в известном смысле запечатлены личность композитора и его судьба. Как понимать музыкальный тематизм квартета? Это как бы обзор-воспоминание автора о своем творчестве, а вместе с тем и о своей жизни. Что означает введение популярной траурной мелодии в квартет, написанный на основе тем из собственных произведений? Думаю, здесь отчетливый намек на то, что квартет повествует о гибели некой личности, причастной к русскому освободительному движению. Что это за личность? Исходя из авторской монограммы — перед нами сам композитор. Применимы ли к композитору слова песни «Замучен тяжелой неволей»? Да, положение Шостаковича было предельно тягостным (что знали все, это было написано на его лице). Что конкретно его мучило? Прежде всего неволя. Свободолюбивый демократ, он должен был жить и творить в условиях тоталитарного строя, стремившегося сделать его винтиком своего механизма.

Почему композитор ввел в квартет музыкальный обзор своего творчества? Потому что считал, что 8-й квартет завершит все им созданное. Отсюда и обзор-воспоминание, а также песня похоронного шествия. Квартет был задуман как документ, объясняющий обществу причину его, Шостаковича, гибели.

Но разве в 1960 году, когда был написан 8-й квартет, перед композитором вырисовывалась перспектива гибели? Ведь квартет был написан сразу после заявления композитора о вступлении в КПСС. Именно это насилие — вступление в партию — и было, как считал сам Шостакович, равносильно его гибели.

Что же заставило композитора подать заявление о вступлении в партию? Возможно ли, что в данном случае на композитора был оказан нажим? Свет на это событие проливает следующий получивший широкую огласку факт. Разрекламированное открытое партийное собрание, на котором должен был состояться «прием в ряды» Шостаковича, с треском провалилось из-за неявки на собрание... самого композитора. Пришлось пойти на очевидный обман и объявить о внезапной болезни Шостаковича, вспыхнувшей якобы настолько неожиданно, что приглашенных не успели оповестить об отмене собрания. Так как народу собралось видимо-невидимо, отмена приобрела характер общественного скандала. Пришедшие на собрание вынесли твердое убеждение в том, что Шостакович вовлекался в партию насильно. И хотя спустя несколько месяцев прием композитора в партию все-таки состоялся, скандальная ситуация первого собрания бросила отсвет на содержание 8-го квартета, совпавшего по времени с этим событием. Лишь немногим из близких композитора известно, что Шостакович после написания 8-го квартета задумал покончить с собой; друзья сумели предотвратить эту попытку.

Не подлежит сомнению, что 8-й квартет был задуман как сочинение автобиографическое и последнее.

До некоторой степени автобиографична и Пятнадцатая, последняя, симфония Шостаковича. В ее первой части довольно неожиданно, но «очень к месту» возникает знаменитая бодрая маршевая тема из увертюры к опере Россини «Вильгельм Телль». Зачем она понадобилась тут композитору? Этот марш символизировал юношеское мировоззрение Шостаковича; с точки же зрения 70-х годов, оно было оценено им как безусловно идеалистическое, романтизирующее общественную борьбу за свободу. Не

¹ Мы бы назвали тему из Первой симфонии, звучащую у литавр (внесенную впоследствии в 8-й квартет), темой «эшафота». После эпизода «Казнь героя» в оркестре разливается сияние, символизирующее бессмертие. Таково было отношение юного композитора (в 1926 году ему было двадцать лет) к героической смерти. Этого сияния нет и не могло быть в 8-м квартете, посвященном прощанию с жизнью. Могильный мрак господствует и в Четырнадцатой симфонии, финал которой провозглашает: «Веселина смерть»; причем композитор полагал, что это самый правдивый финал из всех, когда-либо им написанных.

без иронии композитор называет первую часть Пятнадцатой симфонии «Музыкальный магазин», что дало повод наивной музыкальной критике растроганно лепетать о «звучащих детских игрушках».

Во второй части симфонии настойчивым вопросом звучит знаменитая тема из оперы Вагнера «Гибель богов». Композитор передает переживания последнего периода своей жизни, когда он безуспешно старался уйти от неотвязной мысли о смерти, обманывал себя, обращаясь к беззаботным и легким темам, создавал иллюзию отдаления неизбежного конца. Но конец неотвратимо встает перед ним вновь и вновь. Затем следует картина физического умирания. Почти реально мы слышим агонию, борьбу с удушьем, предвиденную композитором в деталях.

Смерть — вот ответ на вопрос, поставленный выразительнейшей цитатой из «Гибели богов» Вагнера. Если в предыдущей Четырнадцатой симфонии в финале звучат слова «Всесильна смерть», то в Пятнадцатой смерть — главное «действующее лицо», хотя финал решается, конечно, в ином плане и подается в ином освещении.

Иногда композитор прибегает к цитированию известных произведений классиков в сатирических целях. В сочинении Шостаковича «Пять сатир на стихи Саши Черного» одну из сатир, в соответствии с ее названием «Крейцера соната», композитор начинает с аккордов знаменитой сонаты Бетховена. Прием нарочитого сопоставления великой музыкальной патетики с будничной прозой стихотворного текста порождает острый сатирический эффект:

Квартирант сидит на чемодане
И задумчиво рассматривает пол;
Те же стулья, и кровать, и стол,
И такая же обивка на диване.

В другое произведение из того же цикла композитор вставляет музыкальную цитату из романа «Весна» Сергея Рахманинова. Открытая ликующая лирика фразы «Весна идет! Весна идет!» сопоставляется с мрачно-карикатурной картиной петербургской городской весны, нарисованной поэтом:

И кактус мой, — о, чудо из чудес —
Залитый чаем и кофейной гущей,
Как новый Лазарь, — взял — да и воскрес
И с каждым днем прет из земли все пуще.

Ирония, органичная черта натуры Шостаковича, часто дает знать о себе в его музыке в самых неожиданных местах и в неожиданной форме — вспомним хотя бы 9-ю симфонию. В третьей картине оперы «Катерина Измайлова» один из эпизодов вызывает у композитора ироническую ассоциацию, и он с чисто пушкинской непосредственностью немедленно делится этой ассоциацией со слушателем, вводя в сцену большую цитату из... «Евгения Онегина». При этом Шостакович не ограничивается лишь музыкальной цитатой, он вводит в оперу и самый текст речитативной фразы Чайковского, заставляя приказчика Сергея, обхаживающего Катерину, пропеть: «Книги иногда дают нам бездну пища для ума и сердца». Благодаря этому приему в опере Шостаковича как бы начинает звучать голос самого автора, наблюдающего со стороны за пошлым, претенциозным персонажем и даже посмеивающегося над всей ситуацией.

Особую, из ряда вон выходящую задачу поставил перед собой Шостакович в Первом концерте для виолончели с оркестром. Как известно, в концерте звучит мотив грузинской песни «Сулико». Это слышат все, по крайней мере каждый, кто хочет услышать. Тема «Сулико» в разработке принимает иной раз прямо-таки дразнящий характер: едва появившись, она как бы спешит скрыться, спрятаться; затем вновь появляется и вновь «убегает», словно показывая кому-то язык. Почему Шостакович именно так использовал эту грузинскую мелодию? Однажды его рассмешил эпизод, о котором он услышал от скрипачки Галины Бариновой, как-то исполнившей напев «Сулико» «специально для вождя». Это произошло в Крыму, во время Ялтинской конференции. После импровизированных выступлений артистов и ужина с обильными возлияниями талантливая скрипачка — и привлекательная молодая женщина — подошла к Сталину и, сказав ему: «А это я исполнила специально для вас, Иосиф Виссарионович!» — начала играть «Сулико». «После первой же фразы песни я внезапно увидел, как лицо Сталина исказилось гневом; легкий хмель мгновенно улетучился у меня из головы, и как я доиграла эту невинную песенку — сама не помню! — рассказывала Баринова Шостаковичу. — «А почему это, собственно говоря, для меня?» — мрачно

задал мне вопрос Сталин. В замешательстве я молчала. Да, я совершила ошибку, подумала я, ведь Сталин считал себя вождем всего человечества и хотел быть вне какой-либо национальности, а я во всеуслышание, да еще в присутствии Рузвельта и Черчилля, неосторожно коснулась этого вопроса. Оказывается, его нельзя было даже затрагивать!» Шостакович воспользовался анекдотическим случаем, рассказанным Бариновой, для собственной музыкальной насмешки. Предвижу, что слова о таком отношении Шостаковича к Сталину и будут старательно опровергаться ссылками на многочисленные, получившие широкую известность факты печатных заявлений композитора. Но, полагаю, истинную оценку им дал английский музыкальный критик Мартин Купер, в одной из своих статей назвавший подобные заявления Шостаковича «пеной на губах человека, которого заставили есть мыло».

Шостакович — композитор совершенно особой природы и особого склада. Почти во всех его произведениях живут оригинальные мысли и концепции социального, политического или философского порядка, доводимые до слушателя его неповторимым музыкальным языком. Известно, что, задумывая какое-либо масштабное произведение, он всегда начинал с выработки его ясной концепции (главное в музыке — мыслить, говорил он). Такие концепции рождались в его сознании в виде определенных музыкальных образов. В дальнейшем сложное видоизменение этих образов и их взаимодействие происходило по законам развития литературно-музыкального произведения, что неудивительно. Глубокий знаток литературы, и прежде всего литературы русской, композитор утверждал, что именно она (не кино, подчеркивал Шостакович, а литература!) — важнейшее из искусств.

Все это Шостакович повторял неоднократно, особенно во время обсуждений различных музыкальных произведений и музыки к кинофильмам. (К сожалению, эти его выступления почти никогда не записывались и не стенографировались, хотя сохранились в памяти многих музыкантов; их не найдешь среди статей, подписанных его именем, но на 90 процентов не им написанных, а часто даже им не читанных.)

В печати много раз высказывалась мысль, что, по сути, все симфонии Шостаковича программны. До известной степени это справедливо, но требует оговорки. Программность симфоний Шостаковича не совпадает с традицией программности сюжетной. Скорее всего ее можно определить как программность драматически конфликтных концепций, причем Шостакович слышал их в процессе сочинения уже в их инструментально-тембровом звучании. Многим композиторам это было совершенно неоступно и непонятно, в связи с чем иногда возникали странные ситуации.

Однажды во время утренней репетиции в Большом зале Московской консерватории в перерыве к Шостаковичу подсел Ю. А. Шапорин и, протянув ему строчку клавишной нотной бумаги, на которой была написана большая фраза из сочинявшегося им произведения, спросил: «Как по-твоему, Митя, поручить эту тему кларнету или флейте?» «Кларнету или флейте», — отвечал Шостакович. «Вот я и спрашиваю тебя: кларнету или флейте?» «Или кларнету, или флейте», — повторил Шостакович, у которого музыкальная мысль рождалась темброво оформленной, и вопрос Шапорина казался ему бессмысленным.

Далее, как опять-таки хорошо известно, не создав в своем воображении симфонии в целом, во всех ее деталях, Шостакович не прикасался к нотной бумаге. Поэтому он всегда писал сразу партитуру — способность, вызывавшая зависть у многих композиторов, обычно сочиняющих за роялем, затем пишущих клавиру, то есть фортепианное изложение произведения, и лишь после этого оркеструющую партитуру.

Итак, почему Шостакович прибегает к цитированию — вводит в свои произведения народно-песенный материал, мотивы, а то и целые фразы из сочинений других композиторов, а также своих собственных? Он стремится довести до широкого слушателя общественно-публицистический смысл своих произведений. Вводимый им чужой материал обычно обладает качеством музыкальной эмблемы, музыкального символа, иногда символа определенной эпохи, а иногда определенной социальной среды или определенного эмоционально-психологического комплекса. Композитор-мыслитель, мощный драматург и архитектор-строитель музыки, Шостакович точно определял место для подобного коллажа. Его сильная композиторская индивидуальность легко подчиняла своим замыслам чужой материал, естественно соединявшийся с его оригинальным и исторически новым композиторским стилем.

Конечно, композитор прибегал к такой форме коллажа совершенно открыто. Поэтому однажды на слегка язвительное замечание С. С. Прокофьева: «А тема-то у вас брамсовская», — он удивленно, но резко парировал: «Это всякий дурак слышит».

Насколько гибко и свободно Шостакович создавал и развивал свои музыкально-литературные концепции, насколько был подвластен любому его замыслу и намерению литературно-музыкальный материал, видно на примере одного исключительно характерного для композитора эпизода из последней части Тринадцатой вокальной симфонии. В стихах Е. Евтушенко мы читаем:

Итак, да здравствует карьера,
Когда карьера такова,
Как у Шекспира и Пастера,
Ньютона и Толстого Льва.

Этот эпизод получил в музыке Шостаковича неожиданное решение: последние три слова «...и Толстого Льва» очень расширены. Со стороны временной — по количеству одинаковых метрических единиц — они оказались равными трем предыдущим фразам, вместе взятым, и даже несколько превышают их. Но интереснее всего — каким образом композитор выделил эту последнюю фразу: она оказалась расширенной за счет растягивания-распевания второго слога в слове «Толстого», причем все слово вместе со слогом «го» еще и повторяется. В связи с этим происходит задержка вступления. Наконец, когда ожидаемое слово-слог звучит, оно оказывается вопросом: «Льва?» — нетерпеливо спрашивает солист. «Льва!» — отвечает фортиссимо хора. Схема строчки дает нам следующее: «И Толсто-о-о-го... И Толсто-о-о-го... (солист) Льва?.. (хор) Льва!» Привлекая внимание к слову «Толстого» путем задержки рифмы последней строки и вопроса на рифмуемом слове, композитор заставляет слушателя подумать: «Разве кроме Толстого Льва есть еще Толстой, которого можно поставить в ряд с Шекспиром, Пастером и Ньютоном? Во всяком случае, в этом ряду не может оказаться Алексей Толстой, сделавший быструю карьеру при Сталине».

Здесь не рассматриваются произведения Шостаковича, широкий гуманистический смысл которых прикрыт декларативными заявлениями об их программе. Такова, например, Седьмая, Ленинградская, симфония, задуманная и начатая еще до войны 1941 года. Тогда знаменитая тема в разработке первой части была определена Шостаковичем как тема сталинская (это было известно близким Дмитрию Дмитриевича). Сразу же после начала войны она была объявлена самим композитором темой антигитлеровской. Позднее эта «немецкая» тема в ряде заявлений Шостаковича была названа темой «зла», что было безусловно верно, так как тема эта в такой же мере антигитлеровская, в какой и антисталинская, хотя в сознании мировой музыкальной общественности закрепилось только первое из этих двух определений. В Восьмой и Десятой симфониях композитор продолжил ту же линию разоблачения «зла», имея в виду тоталитаризм с его культом военщины и чудовищной жестокостью (вспомним хотя бы скерцо Десятой симфонии, 1953).

Упомянем в заключение Двенадцатую, так называемую «ленинскую» симфонию — редкостную в его творчестве неудачу. Об истории этой неудачи общество не имеет ни малейшего представления. Между тем симфония (я знал об этом от самого композитора) была задумана как критика Ленина. Однако за две недели до ее премьеры в Ленинграде композитор, поняв, что его замысел ничем не прикрыт и крайне опасен, в кратчайший срок, работая день и ночь, написал нечто хотя и совершенно новое, но маловразумительное. Тем не менее этот неудачный опус был объявлен льстивой и беспринципной критикой гениальным, в то время как сам композитор был в отчаянии. Будем надеяться, что историки разыщут первоначальную рукопись.

Еще раз напомним, что наши наблюдения касаются лишь той стороны творчества композитора, которая представляется почти неисследованной, — борьбы Шостаковича с идеологией тоталитаризма в стране, где он жил и работал. Разнообразные приемы эзоповой речи, конечно же, явились следствием его постоянного стремления возродить в поработанном обществе дух свободы — хотя бы в замаскированной форме.

Л. ЛЕБЕДИНСКИЙ.

КОРОТКО О КНИГАХ

*

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА. Литературно-критический сборник. Л. «Советский писатель». 1988. 535 стр.

В статье Б. Никольского, открывающей «Панораму», есть выразительный эпизод, который так и просится в начало этой рецензии. В давние, еще студенческие свои времена ее автор слушал выступление одного известного поэта, проехавшего после войны от Ленинграда до Москвы. «Я увидел разоренные деревни, — говорил поэт, — я увидел такие картины страданий и бедствий, от которых сжималось сердце. Но если гражданский долг Радицева заключался в том, чтобы возвестить об увиденном во весь голос, чтобы написать свою книгу, то мой гражданский долг как советского писателя заключался в том, чтобы промолчать...»

«Молчащая литература» сформировала особую критику. Пока одна ее часть потворствовала, алала и писала панегирики, другая старалась петь «тайную свободу» и радовалась каждому обнаруженному намеку, который не заметили и не отфильтровали (именно к этому типу критики тяготел первый сборник «Ленинградская панорама», появившийся в 1984 году). Когда ситуация в нашей общественной жизни круто изменилась, обе разновидности критики попали в трудное положение. Первая оказалась скомпрометированной, вторая обнаружила неумение говорить «во весь голос», без самоцензуры и недоговорок. В одночасье этого не изживешь, и литературно-критический сборник представляется сегодня одним из необходимых и важных шагов на пути обретения полного голоса.

Состоит он из четырех разделов. Первый — «Портреты. Судьбы. Обзоры» — включает статьи о Вере Пановой, Глебе Семенове, Леониде Пантелееве, Вадиме Шефнере, Викторе Конечком, Валентине Пикеле, Валерии Попове, Геннадии Николаеве, Валерии Мухаханове. Не могу говорить о каждой статье отдельно, вот общее впечатление: при всем профессионализме их авторов непрописанным, курсивом не выделенным осталось состоявшееся или не состоявшееся противостояние этих писателей времени, которое могло бы стать «магистральным сюжетом» книги.

«Творческая мастерская» — второй раздел сборника. Он состоит из пяти статей, из них две (И. Метгера и А. Кушнера) — интересные самоописания и только одна — прекрасная работа Е. Невзгладовой «Повод и сюжет в лирическом стихотворении», не скрывающая своей зависимости от книг Л. Гинзбург, — точно соответствует названию раздела. А ведь такие статьи в «Мастерской», думаю, должны преобладать, да и тем накопилось немало: от «Поэтической риторики эпохи застоя» до «Форм эскапизма в исторической прозе», от «Метафоры в поэзии андерграунда» до «Технологии псевдогражданственности в «секретарской» литературе».

Третий и четвертый разделы — «Литературный Ленинград — Петроград — Петербург» и «Публикации». В числе их героев — Достоевский и Чехов, Анненский, Волошин и Гумилев, Блок и Цветаева, Горький, Лозинский, Зощенко, Эйхенбаум. Рассказы о давно ушедших насыщены теми подробностями, которые делают фигуру писателя понятной и которых так часто не хватает, когда речь идет о ныне живущих. Интересны воспоминания В. Лаврова о Грузии, В. Адмони об Ахматовой, А. Панченко о Малышеве, Д. Золотницкого о «Звезде» военной поры. Непонятно, правда, почему «старые памяти», обнародованные в 1988 году, столь безмятежны в своей тональности, почему рассказ о Грузии, о встречах с Ладом Гуднашвили обошелся без упоминаний о тридцать седьмом годе. И страницы об Ахматовой странно выглядят сегодня, очищенные от упоминаний о поэме «осатанелых лет» — о «Реквиеме»...

И вот еще одно ощущение от сборника в целом — ощущение исчерпанности прежних методов. Я вспомнил «Речь о критике» Б. Эйхенбаума, опубликованную эсеровской газетой «Дело народа» в 1918 году. В духе времени и газеты речь была бунтарской: «Господа критики и историки литературы! Давайте признаемся теперь, когда не стыдно признаться в чем бы то ни было, признаемся просто и искренно, что мы не понимаем литературы... Мы должны улавливать в искусстве то, что делает его лабиринтом, чтобы не думали уважаемые читатели, что оно похоже на коридор, приспособленный для гулянья в антрактах».

А ведь похоже, что слова, предназначенные «господам критикам и историкам литературы», звучат по-прежнему актуально?

Михаил Золотовосов.

*

ФРАНЦУЗСКАЯ ЭЛЕГИЯ XVIII—XIX ВЕКОВ В ПЕРЕВОДАХ ПОЭТОВ ПУШКИН-СКОЙ ПОРЫ. М. «Радага». 1989. 687 стр.

Есть хорошая академическая традиция — издавать книги на двух языках, бilingua. Книги с двумя голосами. С двойным взглядом из разных стран, из разных культур, из разных времен. Русскому читателю последние десятилетия французская поэзия с ее зеркальным отражением в России, наверно, лучше всего известна по дважды изданной антологии «Французские стихи в переводе русских поэтов XIX—XX вв.» (М. 1969, 1973), подготовленной Е. Эткиндом.

Значительно уже задача недавно вышедшего собрания французских элегий XVIII—XIX веков в переводах поэтов пушкинской поры (составитель всей книги и автор вступительной статьи и комментариев к русской части В. Э. Вацура, автор вступления и примечаний к французским текстам В. А. Мильчина). Пространство книги ограничено жанром (элегия) и време-

нем (пушкинская пора). Однако по насыщенности материалом и по уровню подготовки текстов ничего подобного этой антологии до сих пор не было.

В заметке «От составителя» В. Э. Вацуро пишет: «В этом хоре поэтических голосов звучат голоса и великих поэтов, и безвестных эпигонов, ибо только совокупность шедевров и «массовой литературы» может дать представление о реальном движении поэзии». И как на страницах журналов и альманахов начала XIX века стихотворения Пушкина и Вяземского перемежались публикациями Глебова и Туманского, так и в этой книге без эстетического предубеждения рисуется картина французо-русской элэгии во всей ее пестроте: русский Парни — Батюшков; совершенствовавшийся в немецких переводах Жуковский; рядом многообещающий дебют — перо Тютчева, и все это в соседстве с расхожим литературным ремеслом.

В комментариях часто встречаются указания: «поэтическое клише», «реминисценция», «романтический штамп», «парафраза», «традиционный образ», «общеевропейский элегический мотив», «цитата из широко известного стихотворения», — в бытовом современном сознании они часто несут уничижительный оттенок: мол, все здесь списано, ничего своего нет. Однако «элегическая поэтика — поэтика узнавания. И традиционность, принципиальная повторяемость является одним из сильнейших ее поэтических средств» (Л. Я. Г и н з б у р г. О лирике. Л. 1974, стр. 29). Один из главных принципов элегической поэтики — стилистическая уместность каждого слова. «Неустанно скрывая и выбирая, отсекая и добавляя», по мысли Ф. Р. Шатобрена, каждый поэт строит свой мир чувствительной души — прекрасный идеал, в основании полагая словесные обозначения внутренних качеств человека. И тут идет состязание поэтов-элегигов. Судите сами, чей перевод стихотворения А. Арно «La Feuille» совершеннее (привожу лишь начальные строки переводов):

Куда, Листочек, ты летишь,
Иссохший, пожелтый?
— Не знаю, — говоришь, —

Сломила буря дуб дебелый,
Который верною подпорой мне служил
И рощи красотою был...

(В. Л. Пушкин, 1816)

От дружной ветки отлученный,
Скажи, листок уединенный,
Куда летишь?.. «Не знаю сам;
Гроза разбила дуб родимый...»

(В. А. Жуковский, 1818)

Листок иссохший, одинокий,
Пролетный гость степи широкой,
Куда твой путь, голубчик мой?
— Как знать мне! Налетели тучи —
И дуб родимый, дуб могучий
Сломали вихрем и грозой...

(Д. В. Давыдов, 1836—1837)

Что вынесет из этой книги современный ценитель поэзии — не специалист по истории перевода, а именно рядовой, обыкновенный читатель лирических стихов? По меньшей мере ощущение совершенно особого места перевода в культуре пушкинского времени, когда еще чувствовалось, что поэт — соревнователь и своим переводом соперничает с переводимым автором в

приближении к абсолютно прекрасному образцу. Тогда могли писать: «К чести Мильвуа заметим и напомним, что поэт Батюшков сочувствовал ему и прекрасно составлялся с ним в некоторых переводах» (П. А. Вяземский). Тогда Жуковский говорил: «...переводы для языка то же, что путешествия для образованного ума».

Елизавета Пастернак.

*

О СТАНИСЛАВЕ КОСИОРЕ. Воспоминания, очерки, статьи. М. Политиздат. 1989. 271 стр.

Солидный тираж — сто тысяч. Солидное издательство. Многообещающая аннотация: «Материалы сборника рассказывают о яркой и трагической судьбе пламенного большевика, видного деятеля Коммунистической партии и Советского государства С. В. Косиора (1889—1939)»...

Обратимся к текстам воспоминаний. Вот тридцативосьмилетний Косиор бодро взбежал на трибуну XV съезда, «открыто, радостно улыбнулся залу, встретившему его продолжительными аплодисментами». Это понятно, ведь он «беззаветно трудился во имя социализма, отдавал работе весь свой ум, энергию, организаторский талант». Вот он мужает как борец за рабочее дело, расширяет идейный кругозор, ведет нелегальную работу, неоднократно попадает в тюрьму и ссылку. Вот он готовит победу над контрреволюцией на Украине, а вот — в центре борьбы за хлеб на Украине». Всюду герой организовывал, неустанно заботился, настойчиво подчеркивал, был непримиримым, вкладывал энергию и организаторский талант, уделял внимание, проявлял принципиальность и человечность, умело направлял... Уф! Придется перевести дух. Даже гибель С. В. Косиора и его родных в сталинских застенках в какой-то мере тушуются на фоне этой трескотни.

Следственное дело Косиора исчезло (знать бы почему!), от него осталась лишь обложка. Это в значительной степени усложняет установление мотивов ареста и расправы. М. Б. Погребинский, реконструируя ситуацию, пишет во вступительной статье, что Косиор не был близким к Сталину человеком, отношения между ними носили официальный характер, к решению кардинальных для себя вопросов Сталин его не привлекал. «Гибель С. В. Косиора — свидетельство того, что недостаточная активность в создании культа, восхвалении «вождя» и попытка иметь собственное мнение явились поводом для Сталина усомниться в «правверности» Косиора и уничтожить его». Примечательно и утверждение автора, что Косиор «особенно большой любовью пользовался на Украине»...

Давайте предоставим слово документам. Вот фрагмент «совершенно секретно» постановления Политбюро ЦК КП(б)У от 25 марта 1933 года, изданного «с целью повышения трудовой дисциплины в колхозах». В числе карательных мер по отношению к полумертвому, голодающему населению предусмотрено: «РИКом совместно с органами ГПУ и милиции организовать изъятие в районных центрах всего бродяж-

нического элемента, как мужчин, так и женщин, и определить всех трудоспособных из них на работу в совхозах, лесоразработках, разработках карьеров и т. д., организуя из них специальные команды под особым наблюдением... Только тогда, когда районные товарищи твердой рукой власти наряду с широкой массовой работой наведут железный порядок в районном центре, в сельсоветях и колхозах, заставят всех работать и прекратят бродяжничество, мы сможем не на словах, а на деле значительно повысить трудовую дисциплину и включить всех колхозников в работу по проведению весеннего сева». И подпись: «Секретарь ЦК КП(б)У С. Косиор».

Вот так: «железный порядок» прежде всего и ни слова о хлебе.

А вот еще один документ — совершенно секретное постановление Политбюро ЦК Компартии Украины от 5 июня 1933 года «О средствах борьбы с детской беспризорностью». Хотя по заглавию можно предположить сердечную заботу о детях и даже расчувствоваться, из текста читатель поймет, почему эти средства были совершенно секретными. Постановление констатирует, что «в последнее время усилился приток из сел беспризорных детей в города», во вместо того чтобы указать действительную причину этого — страшный голод, организованный сталинской кликой, — документ с маниакальной навязчивостью твердит о том, что «кулачество и прочие контрреволюционные элементы развернули усиленную агитацию за посылку детей деревней в города, преследуя этим определенные контрреволюционные политические цели». Эти цели, видимо, услышаны в последнем дыхании умирающих отца или матери, проважавших опухших от голода детишек в город с хоть какой-то надеждой на спасение. Местным органам власти дается нагоняй за то, что они «не только не оказывают никакого сопротивления этой кулацкой агитации в селах, но своей деятельностью ей потворствуют». Постановление предусматривает средства «для полной приостановки притока детей из сел в города», направленные, заметим, не на спасение голодающих детей, а на то, чтобы они не мозолили глаза городскому начальству. Крайним цинизмом продиктован тот пункт постановления, которым обласполкомы обязывались «организовать в селах сбор с колхозников и единоличников молока, яиц, мяса для питания детей». И снова та же подпись.

«Он так любил детей», — замечает о Косиоре Погребинский. Впрочем, известно, что другие тогдашние вожди тоже испытывали необыкновенную любовь к детям...

Вослед указаниям Сталина Косиор изрек свое знаменитое предостережение: «Кулаки хотят задушить советское правительство костлявой рукой голода, мы перебросим костлявую руку голода на горло кулаку». И перебросили. Почему-то в сборнике нет воспоминаний ни тех, кто организовывал изъятие крестьянского хлеба, ни тех, кто переживал голод. А они непременно должны там быть.

Арсен Зипченко,
кандидат исторических наук.

Винница.

*

Н. А. БЕРДЯЕВ. Эрос и личность. Философия пола и любви. М. «Прометей». 1989. 158 стр.

Отличие современности от средневековья особенно наглядно видно в отношении двух эпох к смерти и эросу. Средневековье глубоко разработало тему смерти, обходя молчанием огромную часть темы эротической. Новое время, наоборот, усиленно разрабатывая залежные эротические вопросы, по мере сил изгоняло проблему смерти из мировосприятия, быта, культуры, публичности. Не случайно иной современный человек отуждается от христианства как от мрачной средневековой религии, не отвечающей именно на вопросы пола или отвечающей разрушительным для этих вопросов — а значит, и для задающей их личности — образом. Также не случайно, что возвращение к христианству чаще и легче всего начинается с воскресения в сознании вопроса смерти, на который секуляризованная культура ответа не знает и не желает знать. Смерть — козырь христианства, секс — атеизма.

Русская религиозная мысль, начиная с Вл. Соловьева, приняла вызов атеизма и охватила проблему эроса во всей полноте. Говоря упрощенно, Соловьев дал тезис для решения проблемы, В. В. Розанов — анти-тезис; синтез осуществил Бердяев. Первой книгой бесстрашного философа, изданной в России после семидесятилетнего перерыва, и стала небольшая, но очень представительная хрестоматия его работ по этому вопросу (включившая целиком три статьи и отрывки из книг), выпущенная издательством МГПИ имени В. И. Ленина. К сожалению, издание омрачено обильным опечаткам, в том числе искажающих подчас смысл, а списка их нет. Учитывая уровень современной русской культуры, необходимо было дать и переводы иноязычных цитат.

Новорожденное издательство «Прометей» выбрало тему по соображениям, казалось бы, конъюнктурным, но это здоровая конъюнктурность. Раскрепощение общества возвращает личности интерес не только к своему духу, но и к своему телу, причем духом интересуются одни, а телом совсем другие — и обе стороны хмыкают друг на друга. Бердяев дает возможность примирения. Он возвращает человеку целостность. Краткий и сверкающий диалектикой анализ истории проблемы у него является не основой, а следствием глубоко личного переживания любви как высшей и подлинно всеохватывающей реальности. Бердяев обнаруживает иррациональность и противоречивость любви на богословском и философском, на физиологическом и психологическом уровнях. Читатель вместе с ним погружается в эту противоречивость и иррациональность, но на дне их — тоже вместе с Бердяевым и благодаря ему — обнаруживается возможность любви как свободной и творческой сущности человека. Главное противоречие — любовь (в том числе брак) не может развернуться до конца и совершенно в этом мире, но лишь благодаря ее развертыванию мир существует, существует человек. Насколько человек лю-

бит, настолько он связан с Богом — первоисточником любви.

Ответ Бердяева на вызов атеизма стал вызовом атеизму. Обезбоженная культура сегодня, как и в начале века, усердно обкатывает эротику, но при этом не физиология окультурируется, а культура делается плотской, раскультурируется.

Мысль Бердяева, озадачивая, не исцеляет. Дело в том, что философу приходилось — а мысли его и ныне приходится — быть бесстрашным не столько по отношению к чужим, сколько к своим. Религиозная мысль личности опережает религиозную жизнь общества. Философия Бердяева (и не только его) — это вызов и церковному народу; лишь когда (и если) члены Церкви ответят этой мысли, переварят ее, спор веры и неверия приобретет не умоглядный, а живой характер.

Яков Кротов.

*

Г. И. КАТЫШЕВ, В. Р. МИХЕЕВ. **Авиа-конструктор Игорь Иванович Сикорский. 1889—1972. М. «Наука». 1989. 176 стр.**

Среди первой, послереволюционной волны русской эмиграции немалую долю составляли ученые, инженеры, изобретатели. Кто-то из них не смог укорениться на чуждой почве, приспособиться к непривычным условиям, но есть и такие, кто стал звездой первой величины, гордостью мировой науки и техники. К сожалению, у нас в стране их работы почти не публиковались, а имена были известны лишь узкому кругу специалистов. Примеры? Степан Прокофьевич Тимошенко, крупнейший механик, один из основоположников теории упругости и сопротивления материалов; Владимир Кузьмич Зворыкин, изобретатель иконоскопа (первой передающей телевизионной трубки) и множества прочих электронных приборов; Георгий Антонович Гамов, выдающийся физик и астрофизик, создатель теории альфа-распада, автор гипотезы «горячей Вселенной»...

В эту плеяду входит и замечательный авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский. Столетие со дня его рождения отмечено у нас выходом в свет книги, посвященной его жизни и творчеству.

Сикорский был истинным новатором, с его творчеством неразрывно связаны понятия «первый», «впервые». В России — это первый вертолет, первые русские самолеты, доказавшие превосходство над иностранными марками и принятые на вооружение в русской армии, первый русский гидросамолет... На заре авиации, когда главным условием жизнеспособности аэроплана считалась его легкость, Сикорский наперекор мнению признанных мировых авторитетов отстаивал и на практике доказал целесообразность строительства тяжелых многомоторных самолетов. Созданный им, двадцатичетырехлетним главным конструктором авиационного отдела одного из петербургских заводов, четырехмоторный гигант «Русский витязь» ошеломил современников своими размерами, грузоподъемностью и прочими характеристиками. Следом в 1913 году появил-

ся «Илья Муромец», на котором был осуществлен невероятный по тому времени перелет Петербург — Киев — Петербург. Примечательно, что Сикорский — не только талантливый конструктор, но и превосходный летчик — сам испытывал свои детища, участвовал в сложных полетах, достигал на них рекордных показателей.

«Благодаря Сикорскому и его единомышленникам, — пишут авторы книги, — русская армия в начале первой мировой войны была единственной, обладавшей тяжелым бомбардировщиком и дальним разведчиком... в России впервые в мире налажено крупносерийное поточное производство тяжелых многомоторных самолетов, сформировано первое в мире войсковое соединение — эскадра тяжелых воздушных кораблей «Илья Муромец», разработана тактика его боевого применения».

После Октябрьской революции Сикорский, оставшись не у дел (завод встал, производство самолетов прекратилось), вынужден был эмигрировать во Францию, а затем в Соединенные Штаты. Нелегко сложилась там его судьба. Конструктор, единственным капиталом которого был талант, сколотил группу энтузиастов, преимущественно из русских эмигрантов, и организовал компанию по разработке и изготовлению тяжелых самолетов. Производственной базой стала ферма одного из друзей Сикорского. Как-то в особенно тяжелый момент неожиданно пришла помощь от Сергея Рахманинова, который приобрел акции компании на пять тысяч долларов и тем спас ее от краха. Группа Сикорского вступила в единоборство с солидными конкурентами — знаменитыми авиастроительными фирмами. И выдержала борьбу.

В сентябре 1924 года Сикорский поднял в небо первый многоместный самолет, пущенный его предприятием и сразу же получивший признание транспортных авиакомпаний. С этого момента началось триумфальное завоевание мировых воздушных просторов самолетами Сикорского. 17 апреля 1935 года его летающая лодка, названная «Пан Америкен Клипер», совершила беспосадочный перелет Сан-Франциско — Гонолулу, а вскоре начались регулярные рейсы на самой протяженной трансокеанской линии Сан-Франциско — Новая Зеландия. Самолеты Сикорского установили десятки мировых рекордов.

В конце 30-х годов Сикорский неожиданно для многих переключается на разработку вертолетов, и в 1939 году, через три десятилетия после сооружения им первого вертолета в России, поднимает в воздух свой первый винтокрылый аппарат, рожденный в Америке. От модели к модели совершенствовалась конструкция вертолетов Сикорского. Многие из них справедливо считались лучшими в мире...

Возвращаются на родину имена. Имена писателей, художников, музыкантов, мыслителей, волею судьбы оказавшихся на чужбине. В их ряду, без сомнения должны быть и талантливые русские инженеры, одно упоминание о которых еще недавно расценивалось как идеологическая диверсия

И. Зорич.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

*

ПОЛИТИЗДАТ

К Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин, КПСС о Программе и Уставе Коммунистической партии. 431 стр. Цена 1 р. 10 к.

Г. Габинский. Божественное откровение и человеческое познание («Беседы о мире и человеке») 127 стр. Цена 20 к.

Г. Гече. Библийские истории. Изд. 2-е. Перевод с венгерского. 318 стр., с илл. Цена 2 р. 30 к.

Открывая новые страницы... Международные вопросы: события и люди. 432 стр., с илл. Цена 2 р. 10 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Зверев. Дворец на острие иглы. Из художественного опыта XX в. 410 стр. Цена 1 р. 70 к.

В. Муромцева-Бунина. Жизнь Бунина. Беседы с памятью 512 стр. Цена 5 р.

Е. Ржевская. Знали препинания. Рассказы. 416 стр. Цена 1 р. 60 к.

С. Юрский. В безвременье. Повести, рассказы. 238 стр. Цена 90 к.

«КНИГА»

Н. Агницев. Блистательный Санкт-Петербург. Репринтное воспроизведение издания 1923 г. 63 стр. Цена 1 р.

Ю. Герчук. Художественные миры книги. 239 стр., с илл. Цена 13 р.

Д. Мережковский. Христос и Антихрист. Трилогия. Т. 1. Смерть богов (Юлиан Отступник). Репринтное воспроизведение издания 1914 г. («Из литературного наследия») 415 стр. Цена 15 р.

Ш. Нофье. Читайте старые книги. Новеллы, статьи, эссе о книгах, книжниках, чтении. В 2-х книгах. Книга 1. 271 стр. Цена 90 к.

«СОВРЕМЕННОК»

В. Гроссман. Несколько печальных дней. Повести, рассказы. 431 стр. Цена 4 р.

Женская логика. Сборник женской прозы. 623 стр. Цена 2 р. 50 к.

Г. Медведев. Чернобыльская хроника. 239 стр. Цена 85 к.

В. Розанов. Мысли о литературе. («Любителям российской словесности. Из литературного наследия») 606 стр. Цена 2 р. 60 к.

«НАУКА»

Аннабхатта. Тарна-санграха (Свод умозрений); Тарка-дипика (Разъяснение к Своду умозрений). Перевод с санскрита (Памятники письменности Востока) 238 стр. Цена 2 р. 30 к.

Н. Думова, В. Трухановский. Черчилль и Милоков против Советской России («История и современность») 204 стр. Цена 55 к.

Н. Карамзин. История государства Российского. В 12-ти тт. Т. 1. 638 стр. Цена 5 р. 60 к.

100 лет русской культуры в Японии. 350 стр., с илл. Цена 3 р.

«ПРОГРЕСС»

Г. Грин. Путешествия без карты. Перевод с английского. («Зарубежная художественная публицистика и документальная проза») 456 стр. Цена 1 р. 60 к.

Э. Кош. Это проклятое писательское ремесло. Художественная публицистика. Перевод с сербскохорватского. («Зарубежная художественная публицистика и документальная проза») 429 стр., с илл. Цена 1 р. 10 к.

Новое в зарубежной лингвистике. Языкознание в Китае. Перевод с китайского. 472 стр. Цена 2 р. 30 к.

Словарь античности. Перевод с немецкого. 704 стр. Цена 15 р.

МЕСТНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Воспоминания о Павле Васильеве. Алмата «Жазушы». 302 стр., с илл. Цена 1 р. 40 к.

А. Галич. Возвращение Сборник. Л. Киноцентр. 319 стр., с илл. Цена 3 р.

Л. Гумилев. Древняя Русь и Великая степь. М. «Мысль». 765 стр. Цена 7 р.

Россия XVIII в. глазами иностранцев. Сборник. («Страницы истории Отечества») Л. Лениздат. 544 стр. Цена 2 р. 80 к.

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов**, **Д. А. Гранчи**, **И. Я. Звездонис**, **В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крупин**, **Д. С. Лихачев**, **П. А. Николаев**, **Б. И. Олейник**, **Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **И. Б. Роднянская**, **В. И. Селюнин**, **М. В. Тимофеева**, **О. Г. Чухонцев**, **В. А. Ярошенко**

Технический редактор **А. Гинзбург**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2 Тел. 200 08-29

Сдано в набор 19 12 89 г. Подписано к печати 06.03.90 А 08444.

Формат бумаги 70×108/16. Бумага кн-журн. Высокая печать. Объем 17 п. л.
(23,8 усл.-печ. л., 24,0 усл.-кр.-отг.) 27,02 уч.-изд. л.

Тираж 2.680 000 экз. (6-й завод 1650001—2480000 экз.). Зак. 4736 Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798. Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. 103798, Москва. Пушкинская пл., 5.

1 р. 20 к.

Индекс 70636

ISSN 0130-7673 Новый мир, 1990, № 3, 1—272.